

КОНСТАНТИН  
СКРИПКИН

ГОРОДА



КОНСТАНТИН СКРИПКИН

ГОРОДА

КОНСТАНТИН  
СКРИПКИН

# ГОРОД Г...

В этом городе никогда не было никаких партий, движений или объединений, так как объединиться во имя чего-то мешало подозрение... Власть в Городе всегда была скорее номинальной, чем действительной. Ни у кого из людей не было желания править этим бедламом. В Городе было не так много старожилов, но он ежедневно пополнялся **бывшими** людьми, шедшими сюда со всех сторон света. Соседи здесь не знали друг друга, а если и знали, то не общались совершенно. Те, кто были хоть чуть-чуть побогаче, гнушались теми, кто был беднее. А поскольку каждый считал себя лучше соседей, все жители улицы взаимно гнушались друг другом.

ISBN 978-5-91187-011-9



9 785911 870119

КОНСТАНТИН СКРИПКИН

ГОРОД Г...

Часть первая	4
Глава 1. Степан Савраскин	4
Глава 2. Машенька	15
Глава 3. Как Маша и Степан Савраскин встретились.	27
Глава 4. О том, в каком обществе пришлось оказаться нашим героям.	35
Глава 5. О дружбе и взаимовыручке.	43
Глава 6. О борьбе с искушением.	48
Глава 7. О том, как можно оказаться в странном месте.	62
Глава 8. О том, что всегда есть свобода выбора...	69
Глава 9. Люди и Говнюки.	75
Глава 10. О том, как справиться с чувствами.	78
Глава 11. Об облаве на Говнюка.	82
Часть вторая	87
Глава 1. О Тоске.	87
Глава 2. О том, как тоска может стать опасной для жизни, но иногда проходит так же внезапно, как и начинается.	94
Глава 3. О том, как человек возвращается к скучному миру простых вещей и получает любопытное предложение.	97
Глава 4. О том, как можно выжить в самой безнадежной ситуации.	98
Глава 5. О том, как много можно узнать, просто слушая.	104
Глава 6. О том, что каждое усилие когда-нибудь принесет свои плоды.	107
Глава 7. О том, что надежды не всегда оправдываются.	114
Глава 8. О том, что жизнь может неожиданно измениться и никогда не знаешь, к лучшему ли...	120
Глава 9. О том, как много бывает скрыто в семейной истории.	131
Глава 10. О том, как может складываться жизнь маленького мальчика.	141
Глава 11. О том, как часто люди, не услышав друг друга, попадают в неприятности.	146
Глава 12. О том, что жизнь всегда наказывает высокомерие.	151
Глава 13. Об испытаниях.	155
Глава 14. О политической жизни.	167
Глава 16. О том, как ненужно опаздывать.	174
Глава 17. О том, как оказаться в центре грандиозных событий.	177
Глава 18. О справедливости.	187
Глава 19. О результатах дурного воспитания.	193
Глава 20. О стойкости.	200
Глава 22. О том, что каждая ситуация когда-нибудь обостряется.	211
Глава 23. О том, как места раненых мужчин занимают женщины.	220
Глава 24. О том, что бывает во время войны.	231
Глава 25. О том, что события почти никогда не развиваются по плану.	236
Глава 26. О неожиданном везении...	245
Глава 27. О противостоянии.	251
Послесловие	257
Приложение.	257
Сказки для говнюков.	257
Мудрые «некто».	257
Крепость	259

## Часть первая

### Глава 1. Степан Савраскин

Мне-то чего, я человек конченный, но нисколько не страдаю от этого факта, и спорить с ним, равно как и сопротивляться ему, не пытаюсь. Раз так, значит так — другого, вероятно, мне на роду не написано, и нечего протестовать.

Получается, что нет ни одного такого дельца, которого не смог бы я исполнить из-за противоречия со своими нравственными соображениями. Одно время, в ранней юности, я, думая об этих своих особенностях, старался такое придумать себе гадостное задание, на которое ни при каких обстоятельствах, ни при каких заманчивых перспективах не решился бы... И не смог... Не смог придумать ничего такого, чтоб совершенно уж было невыполнимо для меня! Каждый раз выискивалось в моем воображении то необыкновенно прельстительное искушение, ради которого я и на самые крайности был бы рад пуститься, готовый вовсе пренебречь муками совести. Можно даже предположить, что у меня ее совершенно и нет — совести. И, сделав такое заявление, я вовсе не ужасаюсь от его содержания. В этой мысли для меня не содержится никакого кокетства и никакой напускной инфернальности, за которыми могло бы выглядывать телячье желание доверчиво прижаться к чьему-нибудь теплему, заботливому боку. Я на этот счет совершенно спокоен и не расстроился бы, получив окончательное заключение о полном и совершеннейшем отсутствии в моем организме этой пресловутой совести.

Но, чтобы не кривить душой, нужно сказать, что все-таки совесть у меня имеется, и известно мне об этом из мелочей. По-крупному, по-серьезному, возможно, у меня совести и нет, по крайней мере, я о ней ничего не знаю, так как она меня никогда в жизни не беспокоила, а вот в мелочах она проявляется и тем самым подтверждает свое реальное существование. Под мелочами я имею в виду бытовые ситуации, ежедневно, помногу раз возникающие у каждого и на работе, и в транспорте, и в магазине, и еще где-нибудь. Я, например, без очереди никогда не лезу — мне совестно, в метро стараюсь не занимать сидячее место — только если вагон совсем уже пустой, а иначе стою себе и книжечку читаю, держась культурненько за поручень. При случае я всегда дверку придерживаю, чтоб она следующего за мной человека по башке не хлопнула, особенно, если за мной женщина идет или пожилой человек, а еще, если я с кем взглядом случайно встречаюсь, стараюсь улыбнуться тепло и едва заметно так, чтоб это не было похоже на идиотское заигрывание, а просто выглядело как маленький сигнальчик расположения. Люди на такие сдержанные улыбочки очень хорошо реагируют — тоже улыбаются в ответ, доверчиво так и с некоторой симпатичной робостью.

С продавщицами в магазинах я никогда не ругаюсь, легко соглашаюсь со всеми случайными собеседниками — все это потому, что не хочется людей обижать бесполезными мелочами. Но дойди дело до чего-нибудь крупного, по-настоящему существенного — у меня ни один мускул не дрогнет всех этих граждан, которые только что мне смущенно и трогательно улыбались, отправить, например, в концлагерь или своими руками расстрелять.

Я даже иногда представляю себе, как все люди погибнут из-за какой-нибудь катастрофы, а я один останусь и буду себе прогуливаться по пустынным улицам, среди пустых домов, и все будет мое. И в какой-то мере, конечно, будет жалко, но вместе с тем и

радостно, что я оказался избранным: остался один из всего народа жив! Или еще я представляю себе — находясь где-нибудь в общественном месте — на концерте или на спектакле с участием какого-нибудь талантливой, интересного и популярного актера, которого все любят, уважают, который много в жизни преодолел и остался порядочным человеком, как я этого кумира публики, такого с умным прищуром глубокомысленных глаз, неважно, мужчину или женщину, тихонько прицелившись из какого-то незаметного оружия... шлеп, и... убиваю выстрелом в голову. Тут крик начинается, гвалт как же, такой человек погиб! А мне не жалко было бы его нисколечко, я бы еще какую-нибудь незаметную гранату в толпу этих от горя надрывающихся граждан швырнул бы, как делать нечего.

Еще я слышал, что люди, попавшие в экстремальные ситуации, иногда умирают от голода, потому что не могут заставить себя отрезать кусок от погибшего товарища и съесть. У меня бы такой проблемы не возникло. Я вообще в этом сложности не вижу. Человек ведь уже погиб, это же не от живого кусок отрезать.

Если бы я сам, например, погиб и какие-нибудь люди отказались меня из щепетильности в пищу употреблять, игнорируя угрозу голодной смерти, я бы расценил это просто как глупость и больше никак. Можно из брезгливости, например, отказаться или из-за опасения заразиться трупным ядом, хотя если как следует жрать захочешь будет уже не до брезгливости. Мне кажется, в любой ситуации главное — выжить, а дальше можно и пофилософствовать на разные темы, и сладко помучиться, если желание имеется... Но для этого всего нужно в первую очередь остаться живым! Я даже слышал, что солдатам в цивилизованных странах именно такие дают наставления их командиры на случай попадания в плен: «Все что хотите делайте, всех предавайте, как угодно унижайтесь, только, бога ради, сохраните свои жизни, а мы вас потом подлечим, реабилитируем и здоровенькими вернем в строй». Я, в принципе с этим согласен, по-моему — вполне современный подход.

Я и животных вовсе не люблю, иногда только побаиваюсь всяких там дворовых собак, особенно, если их несколько штук соберется, а по сути, мне на них вовсе наплевать. Для меня немного даже противно когда тетки специально выносят дворовым псам объедки, стоят и кормят их этой помойкой, умильно наблюдая, как псины заглатывают жратву.

Не могу себе представить, какое удовольствие можно от этого процесса получать. В глубине души мне кажется, что это все лицемерие: смотрите, мол, люди, какая я милосердная да сердобольная — даже и перед самим собой бывает лицемерие, для него и зрители не нужны. А дома такая бабища, может быть, зверски тиранит свою старенькую мамашу, или мужа, или своих беззащитных детей кошмарит почему зря, на работе ворует по мелочам, за собой не следит, от четверга до четверга не моется и забыла уже, когда читала что-нибудь в последний раз. А здесь зато собачкам жратвы вынесла, или птичкам там, например, — все, стала замечательной — просто ангелом во плоти! Хотя возможно, что и не лицемерие это, или не одно лицемерие, а еще эдакое удовольствие, заключающееся в ощущении своей значительности и контроле — над собаками в данном случае. Были такие здоровые, лохматые, злущие псы, а вот же — приручились за еду, подходят теперь, хвостами крутят, в глаза заглядывают, жрут опять же с благодарностью.

Но остается вопрос: что внутри-то всего этого? Что за этой слюнявой приятностью по-настоящему? Я считаю и еще раз это с полной определенностью могу повторить, что внутри всегда либо пустопорожнее общепринятое кокетство и лицемерие, либо еще какая-нибудь дрянь. И множество раз я находил этому реальное подтверждение в жизни, даже не хочется никаких примеров приводить из-за их реальной многочисленности и общеизвестности. Мне кажется, что я сам даже и честнее многих других, поскольку иллюзий не строю в отношении пресловутой своей совести.

Кто-то может спросить, как же я, такой выхолощенный душевно человек, отношусь, например, к детям своим, или родителям, рассчитывая поставить меня таким вопросом в

затруднительное нравственное положение, когда мне неловко будет по отношению к детишкам своим или к маме с папой все мои предыдущие выкладки применить. Да, неловко, а иногда и жутко, но не настолько, чтоб из-за этого в омут кидаться, хотя дети, конечно, они мое продолжение, им хотелось бы всяческого счастья, но как посмотришь иной раз, что дети вытворяют со своими обессиленными в старости родителями, и... хочется быть очень осторожным в их отношении.

Вот такие получаются конструкции. Умом, из книжек почерпнутым, я знаю, что нехорошо это все, что так жить нельзя, но прислушиваюсь к себе по-настоящему и... не чувствую никакого реального раскаяния или стыда. Вообще ничего не чувствую. Все эти размышления появились у меня, собственно говоря, совсем недавно, когда просто так, сиюминутно среди прочих соображений пришла в голову любопытная мысль — укокошить свою жену. То есть банально убить свою драгоценную супругу. Я об этом думал сугубо теоретически и только в аспекте нравственных категорий представил себе, как это может состояться. Даже улыбнулся тогда про себя — знай жена об этих размышлениях моей головы, она, вероятно, в ужасе развелась бы со мной, спасая собственную жизнь и оставив мне всю совместную жилплощадь. Вопрос ее убийства отпал бы сам собой. Но она живет себе, пребывая в счастливой уверенности, что ее ласковый и предупредительный супруг не может замыслить ничего страшнее банальной интрижки с секретаршей из соседнего офиса. Может, это и так, ведь я только умозрительно все представляю себе, моделируя, так сказать, свое психическое состояние в разнообразных условиях...

Я вот смоделировал себе в голове конструкцию, как я от жены уйду — честно, твердо, решительно, по-мужски, и понял, что никогда не вынесу этого процесса. Не смогу преодолеть такой обструкции с ее стороны, со стороны общих знакомых и ее уважаемой матери. Совсем другое дело, если она по какой-то несправедливой случайности отправится в мир иной, тогда, наоборот, все будут меня жалеть, утешать, а я буду горевать сильно-сильно, но через какое-то время восстановлюсь и, будучи положительным, сильным духом мужчиной с отдельной жилплощадью, найду себе спутницу жизни помоложе и поинтереснее. И здесь единственной загвоздкой остается та самая совесть, потому что трудно себе представить, как она будет себя вести. А вдруг как заест, не даст жизни, лишит аппетита и сна? И тогда, очень увлеченный этим размышлением, я постарался все себе в красках представить... Со всеми подробностями представил, как после моей филигранной подготовительной работы супруга умирает, помучившись самую малость, как я тут же бегая, стараюсь помочь, руки заламываю, зову на помощь, как меня от ее тела оттаскивают, как я рыдаю и все меня успокаивают, как я после, уже успокоившись, сижу себе весь в черном, от горя осунувшийся и всем своим видом выражаю только благородную скорбь, как потом мы с моей новой избранницей трогательно посещаем могилку... И все так хорошо и так по-порядочному получается, что наворачиваются слезы умиления. Так, после этого умственного эксперимента, который в реальности занимал не несколько минут, а целый выходной день был ему посвящен, я понял, что с совестью договорюсь. Возможно, при этом некоторое опустошение появится внутри, но вскоре к нему привыкаешь, как к норме, и... продолжается жизнь как ни в чем не бывало! Вроде бы грустно это должно быть, вроде бы должен я страдать и мучиться, так сказать, недополучать в жизни каких-нибудь радостей и счастья, а вовсе нет... совершенно мне благополучно и комфортно, вопреки убедительным литературным примерам.

Любопытный факт, но и его я рискну объяснить. Я думаю, что люди разные по сути своей. Одному действительно жить станет невыносимо после какого-нибудь негодяйства, а другому — трын-трава, как вот мне, например. И таких, как я, большинство, просто мы сидим себе тихонечко, книжек не пишем, кино не снимаем, с разговорами умными ни к кому

не пристаем: нам и так нормально, а те, которым совесть жизни не дает, они вот и изгаляются, описывая свои душевные страдания со всей возможной живописностью. Но ведь они это про себя пишут или, в крайнем случае, про знакомых своих, а с какой стати я должен быть таким же, или другие люди? Может быть, они, эти совестливые — редчайшее исключение из правил, только шумное, убедительное и красноречивое исключение, а мы — основная часть народонаселения — к таким людям вовсе и не относимся. И еще большой вопрос, кто из нас здоровее и счастливее. Про успешность и состоятельность я здесь вообще не говорю — мы здесь очевидно впереди, вопрос только в тех самых тонких и иллюзорных душевных материях, которые, если не бояться противоречить авторитетам, можно было бы просто-напросто и отменить, не долго думая!

Вот таким образом мне и явилась ясность в том, что совесть свою я, по большому счету, уже аннулировал. Как раз тогда, когда я хорошо-хорошо представил себе, как, если бы я невинную супругу свел в могилу, и никто в целом свете об этом не узнал, и так все сделано, что и не узнает... И когда у меня получилось наконец это состояние почувствовать во всей его полноценной полновесности, я, побыв в нем немного, обнаружил, что оно ничем почти не отличается от моего сегодняшнего, действительного и настоящего чувствования себя, естественного душевного моего ощущения. В нем даже имеется и пустота привычная, и тонкое понимание сущностной мерзости всех окружающих, и далеко-далеко какой-то страх противенький. А страх, как мне тогда показалось — это страх перед своим собственным раскаянием, чтоб, не дай бог, не случилось оно!

Неприятный такой страх, его труднее всего распознать: долго нужно к себе прислушиваться, и только нащупываешь его, сразу обратно стряхиваешь с себя это наваждение с возможной поспешностью и к обычной, размеренной жизни возвращаешься. Невыносим этот страх, поскольку, как только туда прикасаешься, начинает он распространяться и расти очень быстро, превращаясь в ужас и в кошмар, да такой, что ни с одним киношным кошмаром не сравнится, от такого кошмара не просто будешь перепуганный ходить, а и рассудок можно вовсе потерять. И еще, мне кажется, от этого страха можно по-настоящему, физически окаменеть — превратиться в эдакую статую, замершую в каменном окаменении с перекошенным лицом и глазами, навсегда от ужаса вытарашенными.

Так я установил факт своей окончательной бессовестности и спокойно принял себя таким, какой я есть, конечно, не распространяясь об этом своем открытии окружающим и близким людям. Даже стало мне припоминаться, что и в детстве, а будучи подростком, так и подавно, так я себя и ощущал. И мне никогда не было стыдно ни за всякое там подделывание школьных оценок, ни за обманы родителей, ни за злые шутки над одноклассниками.

В армии я однажды, будучи дневальным по роте, у замполита в кабинете тайком сожрал все печенье, которое он купил, чтобы детям своим домой отнести, а потом как ни в чем не бывало сменился, и только что заступивший наряд по распоряжению начальства искал среди своих дневальных «крысу». Даже и нашли: какой-то паренек признался в содеянном. Ему потом две буханки черного хлеба скормили, пока мы всей ротой бегали вокруг него по плацу, и я наравне со всеми бегал, его материл и возмущался такому его негодяйскому поступку.

А когда у меня дочка родилась, так я ей гладил подгузники после стирки только с одной стороны тайком от тещи, нужно было терпеливо гладить с обеих сторон, чтобы полностью исключить занесение инфекции. Тёща еще тактично осведомлялась по поводу моей глажки, с той целью, вероятно, что если я схалтурил, просто переделать за мной. Я честно ей прямо в глаза глядя, с полной искренностью врал, что тщательно с двух сторон уже все подгузники прогладил, а сам только чуть-чуть с одной стороны утюгом поводил —

очень уж спать хотелось. Вот так, получается, хотя свою собственную крохотную дочь обманывал и ничего — совесть меня и здесь не доканывала.

Я в снах своих всегда выгляжу трусом и подлецом. Иногда после такого сновидения даже осадок неприятный случается, но забывается быстро. Если мне, например, снится, что идет война и я где-то с кем-то воюю и попадаю, например, в плен к неприятелю, то всегда я в этом сне всех своих предаю, буду перед врагами заискивать и в доверие к ним втираться — только бы они меня не мучили и не убивали. Обидно даже. Хочется иногда, хотя бы во сне, почувствовать себя героической личностью, а нет... И во сне то же самое, что и в жизни. Я читал, что в снах скрытые человеческие желания реализовываются. Наверное, это и есть мое скрытое желание — быть таким гаденьким, бессовестным, трусливеньким, но зато живым и здоровым.

Возникает резонный вопрос: как мне живется со всем этим? И ответ на него будет очень коротким: нормально! Предложи мне сейчас жизнь заново начать и быть при этом человеком честным и порядочным, как герои романов, я откажусь не раздумывая. Откажусь, потому что жизнь свою считаю удачной и благополучно сложившейся, а если заново жить, да со всякими принципами, как она сложится заново? Вовсе не хочется мне рисковать, тем более что шансы при таком совестливом положении дел, по моему мнению, уменьшаются катастрофически.

\*\*\*\*\*

Квартирка у нас на две комнаты, небольшие, конечно, комнатки и кухня маленькая, потолки два двадцать — низенькие, нет ни лифта, ни мусоропровода, да мы и без них прекрасно обходимся. Живем с женой и дочкой. Мама супруги моей — Василиса Петровна частенько наезжает к нам погостить и остается на неделю и больше. Квартира-то эта нам через нее, мою тещу, досталась, точнее, она подарила нам эту квартиру на свадьбу, меня прописала сюда и даже во время приватизации доли только на меня и жену мою оформили, а теща со своей мамой старенькой осталась жить. Дом пятиэтажный. Мы — на втором, когда лето, прямо за окном веточки зелененькие: протяни руку — и вот она, природа! Хорошо что в прошлом году лавочку около подъезда сожгли, пока она была, эта лавочка, на ней частенько такие компании собирались неприятные, что не только жена и дочка, а и я сам воздерживался мусор вечером во двор выносить — ждал до утра. И окна приходилось плотно закрывать, хотя и хотелось впустить в дом немного ночной прохлады и свежести. Но очень уж кричали эти компании на лавочке, и все такими матерными словами, что и не уснуть было. Лежишь себе, делаешь вид, что спишь, а сам неловкость испытываешь, знаешь, что и жена не спит, и дочка, и им слышна эта вакханалия, сопровождающаяся такими словами, которые женщине даже издали слышать неприлично, одни эти слова, пусть даже ни к кому не обращенные — уже оскорбление. В такой ситуации я, как мужчина, отец семейства, можно сказать, давно должен был положить конец этим безобразиям: замечание сделать этим хулиганам, или спуститься их прогнать, или на худой конец милицию вызвать... А я лежу себе и делаю вид, что сплю. Хотя мои домашние знают, что я вовсе и не сплю, но, щадя, наверное, мое самолюбие, наутро даже подшучивают надо мной, мол, спит — пушкой не разбудишь. Теща с женой даже хвалят меня иногда друг перед другом, относя мою любовь ко сну на счет крайнего переутомления. То есть они так формулируют, что в неустанных трудах по прокормлению семейства мои силы истощаются, и в минуты досуга я должен иметь все возможности, по крайней мере, выспаться. Так они для меня говорят, а на самом деле считают, что я бездельник. Известно мне это достоверно, я случайно слышал, как



они обо мне перешептывались. Теща шепотом своим свистящим интересовалась, не встал ли я, а жена ей таким же шепотом, отвечала, что, мол, спит как мамонт, и куда в него столько сна влезает, и что лучше бы копейку лишнюю в дом заработал. Теща ей поддакивает и добавляет, что согласна, мол, она с таким мнением дочери, но может еще прибавить от себя, что он не только бездельник и никчемный человек, но и еще очень прожорливый, как все бездельники, особенно на все вкусненькое, и что недавно вечером целую банку шпротов сожрал из холодильника, а мог бы попросить, и ему (то есть мне) кашки бы гречневой разогрели, так нет, он (я, имеется в виду) норовит колбасой на ночь налупить, а зарабатывает ли он на колбасу — большой вопрос. Так они шипели обо мне, а я слушал, надо сказать, не без удовольствия, которое всегда испытываешь, проникая в чьи-то секретки, а особенно в секретки, тебя самого касающиеся. Сюрприза никакого здесь для меня не было, так как никаких иллюзий по поводу отношения ко мне тещи и жены я не строю. Вообще, мне кажется, что такие разговоры и отношения такие по большому счету для семейной жизни вещь совершенно естественная и неизбежная, как утром неприятный запах изо рта. Не надо ее близко к сердцу принимать. В семейной жизни важно не заикливаться на ее негативных аспектах. Я вот имею такое любимое занятие, которое для меня в жизни настоящая отдушина, вроде хобби или любимого развлечения. Вечерами, когда жена по хозяйству да с дочерью возится, я люблю в компьютер поиграть. Казалось бы, глупое подростковое занятие, но не скажите... Так это дело меня захватывает. Бывает, до шести утра все играю, и ничего не надо мне, кроме одного — чтоб меня не трогали и не мешали мне, потому что я весь там, внутри моего монитора, в виртуальном мире. И такие страсти во мне по ходу игры просыпаются, такие переживания, которые я по-настоящему и забыл, когда чувствовал! С одной стороны, вроде бы и неловко становится через несколько часов и перед домашними, и перед самим собой за то, что сижу, взрослый, казалось бы, мужчина, и как дурак мышкой по столу вожу да кнопки нажимаю с азартом невероятнейшим. Но от этой неловкости, от осознания совершеннейшей глупости своего занятия, как потери времени, только зло на всех разбирает! Особенно, если что в игре не получается, а кто-то с невинным вопросом лезет под руку... Убить готов! Но я всегда себя сдерживаю, аккуратно ставлю игру на паузу и с милой такой дружелюбной улыбочкой поворачиваюсь, чтобы выяснить, кому чего от меня потребовалось.

Так я увлекаюсь этими играми: забываю и о еде, и о работе и о супружеских обязанностях даже. Просидишь, бывает, часов до четырех — до пяти, по дороге к кровати зайдешь в ванну на себя в зеркало посмотреть — глядь, а в глазах от игрового напряжения даже сосуды полопались и белки прочерчены такими красными извивающими паутинками, частыми-частыми, кое-где вообще белков не видно — одна краснота, башка шумит, в руках дрожание нервное, и от общего возбуждения организма уснуть нет никакой возможности, всякие узоры перед глазами плывут, а сна нет. Провалиешься так два-три часика, а в восемь вставать — дочку в садик, и на работу. Хотя какая там работа. Так, по инерции чего-то ковыряешься, вызывая всеобщую жалость измученным видом, а мысли все они там — в игре, чего бы там как можно было бы сделать и как чего выстроить и где, и с чего заново начать. Иногда по моей рассеянности даже Бенаму догадывается, что чего-то со мной не в порядке и участливо интересуется, что стряслось, ему вру — мол, ребенок заболел, не спали всю ночь, он меня и отпускает домой — выспаться. Прихожу домой, по дороге еще борюсь с собой на предмет лечь спать, как начальство предписывает, или снова за компьютер, и охота, конечно, спать, даже голова пустовато-звенящая, какая-то неприятная от недосыпа, но, как войду в квартиру, как увижу, что нет никого, что никто мне не мешает, тут же сажусь и снова играю до самого вечера. А мог бы за дочкой сходить, из садика ее забрать пораньше, прогуляться с ней или сводить куда-нибудь ребеночка — ей в этом садике не очень нравится, все время плачет, когда туда собирается, говорит, что там нянечка страшная и дети злые.

Один раз она даже сама из садика ушла домой. Это в четыре года ребенок! Куда там смотрели воспитатели? И дошла ведь до самого дома, а это пару кварталов и через скверик еще! Теща, слава Богу, как раз приехала, смотрит, а внучка подходит к подъезду, ножками своими уверенно ступая и глядя так серьезно перед собой. Василиса Петровна, конечно, к ней. Что да откуда, почему одна?.. А девочка наша самостоятельная и говорит, что ушла из садика потому, что ей сказали на чей-то горшок садиться, а ее собственный не могли найти, а ей мама говорила, что только на свой можно. И что ей на полднике не дали булочку в наказание за плохое поведение, а дали только кусок хлеба. Потом еще воспитательница ее больно-больно схватила за руку, когда подумала, будто бы это она у телевизора переключалку отломала, а это вовсе не она. А на руке в тот день у нее и вправду синяки были, как от пальцев — здоровенных таких пальцев по сравнению с ее тонюсенькой ручкой. Как же это нужно схватить ребенка, чтобы такие синяки остались — спортсменок что ли к ним в сад распределяют? Теща тогда вместе с женой ходили в этот детский садик, долго с директрисой разговаривали, носили подарки, потому что у нас в районе больше нет садиков, а куда еще девочку денешь днем — все работаем. Целая история была, как потом ее обратно в это детское дошкольное учреждение заманивали. Сначала на часик буквально в присутствии мамы или бабушки — жена и теща специально брали отгулы. Потом на полдня, и только недели через три удалось девочку, хотя и через слезы, но снова на целый день отводить, а до этого просто было невозможно — она садилась, или ложилась прямо на пол, орала и никто ничего не мог с ней сделать. А дома, у нас, кстати, тихий такой ребенок! Играет сама с собой в куклы, строит чего-то, красит фломастерами и всегда себе под нос попискивает, вроде как разговаривает за своих куколок, или напевает чего. А если увидит, что я за ней подсматриваю, то смущается так забавно. Вскочит, ручками заплещет, смеется или бежит ко мне, начинает рассказывать что-то невнятное... А сад ненавидит и по сей день, как каторга он для нее. Она даже в пятницу у нас засыпает с другим выражением лица, чем обычно, — со счастливым таким, и раза по три глазки откроет и спросит: «А в сад завтра не пойдём?» Ей говорят: «Не пойдём». Она вздыхает так успокоенно и засыпает с улыбкой. И вот я теперь, вместо того чтобы забрать ее, тороплюсь к своему монитору! Понимаю головой, что поступаю нехорошо по отношению к дочери своей, и к начальнику, но сделать с собой ничего не могу, да и раскаиваться не собираюсь — как мне нравится, так и живу.

А в играх я всегда на стороне хороших, положительных персонажей выступаю, никогда не играю за всяких там фашистов или нечистую силу. И всегда у меня мораль в играх — на максимуме, всех я спасаю, всем помогаю, и все меня любят — там, в игре.

Хотя не в игре меня тоже любят, или жалеют, что, по-моему, очень близкие понятия. Помню с детства поговорку: ласковый теленок двух маток сосет. Вот я такой теленок. Меня теща даже на даче работать не заставляет — сама ковыряется на своих грядках, а я как залягу себе спать... Так спится мне хорошо на природе! И все стараются тихо ходить, громко не разговаривать, чтобы мой сон не потревожить. А я люблю иногда на дачу приехать — отдохнуть по-настоящему. Там ведь компьютера нет, можно хоть в себя прийти, такое чувствуется там естественное, природное состояние окружающего мира, что расслабляешься и... сразу засыпаешь. Ничего не могу с собой поделать — ложусь и сплю. Часов по пятнадцать сплю в сутки, когда я на даче. Сначала днем лягу часика на два — три, потом еще вечером пораньше улягусь в постель с журнальчиком. Не пройдет и получаса такой сладкий сон наваливается, и я дрыхну себе всю ночь без задних ног. Да утром еще рано не встаю, а лежу уж до последнего. Все уже давно позавтракают, теща посуду перемывает в тазике, а я только встаю, потягиваюсь и выхожу с эдаким чуть виноватым лицом к семейству. Тут они все умиляются, как будто и вправду до смерти рады моему полноценному отдыху, и говорят, что наконец-то я выспался, и что спать нужно сколько душе угодно, и что, наверное, меня так работа выматывает. Я слегка умываюсь, гляжу — мне уже яишенку поджарили. Завтракаю и

сажусь где-нибудь с книжечкой почитать после завтрака. Потом, бывает, с дочерью погулять сходим, если погода хорошая, а если плохая — можно и в кресле покемарить, потом обед, а после обеда снова — обязательно поспать.

Иногда, правда, я участвую в сборе урожая и заготовках на зиму. Но мне это самому нравится, я в связи с этим чувствую даже некий заготовительский азарт. Мы в магазинах ведь мало чего зимой покупаем, зато у нас морозильная камера в коридоре, не пройти мимо нее, не проехать, но вместительная, и на балконе у нас чего только нет. Без этого мы, конечно, жили бы скудно: все бы на еду уходило, ведь у нас зарплаты не такие уж и большие, а мои дополнительные, как я называю, приработки я в семействе не афиширую, а тихонько оставляю себе, чтобы были денежки. Иногда даже на подарки тем же жене и дочери, ну и на себя, конечно. А отдай я их в общесемейный бюджет, денег этих и духу не почувствуешь, зато в квартире появится какая-нибудь дрянь бесполезная типа микроволновки, видеокамеры или еще чего-нибудь, а мы и без этого живем презамечательно. Зарплата действительно у меня негигантская, хотя и вполне приемлемая: платят мне восемьсот долларов и обещают потихоньку увеличивать. Эти денежки я прямиком жене отдаю в семейный бюджет.

Хотя считаю, что мужчине унижительно быть без денег. И я не могу вовсе без денег для себя. Это один из самых больших моих секретов ото всех — мои личные денежки. Жена временами пытается что-то выведать, но я как кремень — ни слова не говорю, если неучтенную сумму она у меня в кошельке обнаружит. Просто объясняю, что это дело не ее, а мое, и что у каждого мужчины именно свои, а не семейные деньги должны быть обязательно. Напекаю ей, что хотя бы для подарков и сюрпризов. Она на такое объяснение всегда доверчиво соглашается, а сколько у меня дополнительных доходов — это от всех секрет. Даже приблизительно не знает никто. Все думают, долларов еще сто или сто пятьдесят, и то не каждый месяц, а у меня ровнехонько еще долларов по четыреста выходит, никем не учитываемых. Это удается мне благодаря нескольким секретным обстоятельствам и хорошему отношению ко мне господина Жульена Бенаму — моего непосредственного начальника, а в какой-то мере даже и друга, как он думает. Как и все руководство нашего маленького предприятия, Бенаму — француз. Настоящий француз, который при этом довольно слабенько говорит по-русски, здесь бывает в месяц одну-две недели, остальное время во Франции. Когда начальство в отсутствии, мы самостоятельно без него работаем. Мы — это я, Степан Савраскин, за начальника, за весь оперативный сектор (потому что я и есть тот самый оперативный сектор) и в дополнение ко мне секретарь, кассир, бухгалтер и делопроизводитель. Все эти должности у нас объединяет одно и то же лицо — женщина предпенсионного возраста, которую я нашел по Интернету, специально выбрал из всех соискательниц за аккуратность, трудолюбие и кротость ангельскую. Мы — торговое представительство французской фирмы Бенаму. Наш шеф Жульен — партнер и младший внук самого главного Бенаму — Патрика. Вся их семейка занимается текстильным бизнесом. Во Франции у них фабрики, а на Россию остался только Жульен, по всей видимости, не самый эффективный из отпрысков Бенаму, но зато незлобивый, стеснительный и доверчивый. Слава Богу, мамочка в свое время заставила меня выучить французский, хотя бы в некоторой степени. Мне повезло — я подвозил Жульена Бенаму из аэропорта, когда он только приехал весь перепуганный к нам в Россию-матушку.

Тогда у меня в жизни, надо сказать, было не ахти какое благополучие: постоянной работы не было, зарабатывать приходилось частным извозом на тещиной машине, которая до этого вот уже десять лет использовалась тестем, покойником, исключительно в летнее время для поездок на дачу.

А в аэропорту я совершенно случайно оказался в тот день. Только там клиента высадил и решил кружочек дать еще через прилет, так, без особой надежды и настойчивости, на всякий случай, поскольку конкурировать с аэропортовской мафией таксистов я

совершенно не собирался. Чуть только притормозил возле прилета, приоткрыл окошко, и топают натуральный француз, как на картинке из учебника: маленький, плотенький такой, даже немного и рыхлый, можно сказать, на лице идиотская, растерянно-миролюбивая такая улыбочка, в одной руке держит саквояж, в другой — небольшой чемоданчик с веревочной ручкой и на колесиках, на голове — шапочка такая французская типа беретика. Забавно, что костюм на Бенаму был совершенно кошмарный по причине абсолютной измятости. Он был замят ровно так, как во время стесненного сидения в самолете складки образуются. Сейчас я уже понимаю, что ткань, пошедшая на костюм, состояла по большей части из льна, оттого так и помялась катастрофически, и удивляюсь, как это сам Бенаму такой дурацкий костюм себе на поездку приспособил. Но тогда мне это было все равно и я на удачу крикнул по-французски: «Месье, вам не нужна машина в город?» Он так доверчиво заулыбался в мою сторону, я даже в первый момент решил, что он меня спутал с кем-то из своих хороших знакомых, которые должны были его встретить, а это он так просто на родную ему французскую речь среагировал. А местные таксисты, похоже, так и подумали, что я его целенаправленно встречаю, что он меня знает, и мы с Бенаму спокойненько выехали из аэропорта. Я нарезал себе в сторону города и радовался такому везению, и еще радовался тому, что только два часа назад машину помыл, что только вчера купил новый освежитель воздуха в салон, что сцепление сделал еще на прошлой неделе и торпеду утром протер губкой для обуви — теперь тещина реликвия вполне приличное впечатление может производить. Хотя клиенту-то я, конечно, эдак в расслабленной форме пояснил, что езжу на такой скромной машине только по причине высокого уровня криминала в нашем городе, в смысле того, что мог бы дороже и лучше машину купить, но не хочу из опасений, что ее банально украдут. Бенаму (хотя тогда я еще и не знал вовсе, что он Бенаму) понял, языком зацокал, головой закивал, сказал, что все я сделал правильно, даже у них во Франции правила хорошего тона предписывают иметь небольшую скромную машинку, которая не привлекает внимание, которую везде можно припарковать, и недорогую в обслуживании. Он сказал, что моя машина ему вполне нравится, и главное в салоне приятный запах и чистенько. Я еще раз с благодарностью посмотрел на новый освежитель, а он намекнул на то, что я, вероятно, аккуратный и трудолюбивый человек, раз свою машину содержу в таком идеальном порядке. Я скромно потупил глазки, а Бенаму совсем расслабился, полдороги мне о чем-то радостно рассказывал, дал свою визитку, я, правда, понимал его щебетание с середины на половинку, но не забывал все время кивать и, если знакомое слово слышал, — поддакивать. Потом он осторожно спросил о мафии, сильно ли бесчинствует, и имеется ли возможность обращаться в полицию при неприятностях или нужно как-то самому все решать. Я постарался ответить уклончиво, чтобы, с одной стороны, его не напугать, а с другой — чуть-чуть туману напустить о своей собственной значимости. И получилось с моих слов так, что для каждого, конечно, в этой области множество проблем можно прогнозировать, но я знаю по-настоящему порядочных людей в милиции, которых не много, но они пока еще есть, и они, типа того, меня в обиду не дадут. Долго я это выговаривал, сбивался, слова забывал, даже на русский переходил в запальчивости своего вранья, а Бенаму все время кивал, смотрел на меня уважительно, поддакивал, а в конце сказал, что это всегда самое важное — знать в каждой области порядочных людей, тем более в такой важной, как безопасность. До сих пор не знаю, чего я тогда пустился в такие вранья? А просто так! Я же не рассчитывал, что буду у него работать, а надеялся при окончательном везении только повозить его несколько дней, пока он в нашем городе свои дела делает.

На второй день, время было как раз обеденное, я только что моего французика водворил в гостиницу, прилично-таки покатав перед этим по городу, и он меня отправил в Макдональдс, снабдив деньгами и дав полный перечень, чего купить. Огромную очередь я

терпеливо выстоял, благо двигалась она довольно быстро, но все равно это заняло у меня что-то около часу.

И вот я, затарившись наконец всякими гамбургерами, несусь к шефу, мысленно недоумевая, как это на жратву можно тратить столько денег. Прибегаю в гостиницу, поднимаюсь в номер, сам удивляясь откуда-то взявшемуся у меня лакейскому восторгу и ожиданию чаевых или хотя бы хозяйской похвалы, а Бенаму сидит с сердитым таким лицом, как будто за время моего отсутствия он обнаружил у себя пропажу фамильного золотого портсигара, набитого брильянтами, и меня в этом основательно подозревает.

Пакетики мною принесенные он эдак безразлично в сторону отложил, чеки и сдачу не глядя бросил на стол и молчит... Я тоже молчу, не понимаю, в чем дело, а спрашивать как-то неловко, может, у него свои французские проблемы, которые моего ума не касаются, — кто я ему такой, чтоб собственные соображения позволять. Но неприятно все равно, если такое настроение у человека, находящегося с тобой в одной комнате. А Бенаму минут пять помалкивал, потом уселся на стул, меня посадил напротив себя на кровати и начал кушать бутерброды, мне тоже дал два. А лицо у него продолжает быть таким... огорченным что ли, или сердитым, и откусывает он от своих бутеров с каким-то даже остервенением, на меня время от времени через свои жующие щеки посматривая взглядом, не очень располагающим к аппетиту. Я один бутерброд развернул тихонечко и начал есть, а он огромный, в рот не лезет, капуста выпадает какая-то, соус выдавливается, я на Бенамунину кровать чуть не капнул — в последний момент успел салфетку подставить, а рубаху себе так и обляпал этим кетчупом, в общем, не еда, а кошмар какой-то. Еле-еле один бутер я сожрал, второй даже разворачивать не стал от греха подальше. Пепсиколы выпил, она сразу у меня из горла обратно полезла, а неудобно, приходится ее в себя вдавливать, она распирает меня — сил нет, хотя всего-то полстакана и выпил от жадности. В общем, кошмар! Сижу себе, делаю вид, что поел, а у меня в машине четыре бутерброда с салцем и черным хлебушком, два соленых огурчика и термосик чайку с лимоном... Сижу, смотрю на эти импортные неприступные харчи и мечтаю до своей машины добраться и покушать спокойно своей еды, без риска опозориться.

Тем временем Бенаму уписывает за обе щеки, притом у него точно так же, как и у меня, все мимо рта валится, точно так же эта газированная вода из него сразу прет обратно, а он ничего: не препятствует ей, потом промакнет рот салфеточкой и дальше как ни в чем не бывало лопает. Свои бутеры сожрал и на мой показывает: мол, чего я не ем? Я башкой замотал изо всех сил, по животу себя хлопаю, типа объелся уже. Бенаму мой бутерброд тогда в холодильник убрал, а я тем временем все объедки, бумажки и пустые стаканы собрал по пакетикам и приготовил выкинуть.

А мой поевший и ставший вновь дружелюбным французик еще раз серьезно на меня посмотрел и попросил больше никогда его не обманывать. Я остолбенел! Неужели он узнал, что мне в этом Макдоналдсе дали игрушечного зайчика в подарок за большой заказ, а я его в карман куртки заныкал с корыстным желанием отдать дочери? Как он мог узнать, что он, следил что ли за мной? Хотя из его окна этот Макдоналдс как на ладони, но ведь что внутри делается, он знать не мог! И тут меня прошибла мысль, что, наверное, там всем дают какую-нибудь игрушку и Бенаму об этом знает, а поскольку я ему игрушки не принес, он и сделал совершенно правильный вывод, что я ее бессовестно присвоил, и теперь отпираться бесполезно. Жутко мне стало тогда неудобно. Если никто не знает, я чего угодно могу себе простить, но когда меня вот так выводят на чистую воду — просто готов сквозь землю провалиться! Мне даже смотреть на него стыдно было. Я встал, пошел в коридор, достал зайчика, он еще в такой симпатичной коробочке был, принес Бенаму, положил перед ним. Так, наверное, собака очень ценную для себя кость положила бы перед хозяином. Бенаму на меня глаза вытаращил, ничего не понимает. «Что это?» — спрашивает. И по его виду я

чувствую, что ему самому неудобно, очень неловко как-то и все происходящее его тяготит до самой последней, возможной для него, француза, степени. Я отвечаю, так и так, вот дали подарок в Макдоналдсе, а я забыл вам отдать... Он, когда понял, вообще в лице переменялся, как будто испугался чего-то кошмарного, ручками так забултыхал, мне обратно сует этого зайца, чуть ли не с извинениями, и через минуту выясняется, что он больше часа меня ждал и решил, что я по своим делам куда-то мотанулся, а его, бедного, заставил голодного в номере сидеть, несмотря на то, что он мне уже за целый день работы заплатил и я не имел права никуда по своим делам отлучаться, по крайней мере, у него не спросив. Тут я его молча подвел к окну и очередь показал. А он — вот человек, к нашим условиям непривычный, — пока меня ждал, раз сто в окно выглядывал, злился, а очереди этой не замечал! Парадокс человеческого восприятия! Когда до него доперло, что я никуда не отлучался, а все это время в очереди проторчал, он просто чуть шапочку свою не сожрал от стыда. Чего только хорошего он мне не произносил тогда, жалко я понимал не все, наверное, было бы приятно. Потом мы с ним поржали вместе и даже выпили по бутылочке пивка из его мини-бара. Он при этом мне хитро подмигнул и сказал, что это будет мне проверка на мои отношения с милицией. Я гордо заверил его, что с милицией все без проблем, и мы поехали дальше мотаться по городу.

Я тогда с Бенаму хорошо заработал — пятьсот долларов за пять дней плюс его бензин, плюс он мне, когда уезжал, еще немного рублей отдал, у него осталось, а менять обратно на франки уж времени не было. Там, правда, было немного, еще рублей около трехсот, или чуть меньше, но все равно приятно. Бенаму сказал, что это мне для оплаты бензина на обратную дорогу. Еще он продуктов мне оставил — соки там, конфеты, печенья импортные, вода минеральная. Кое-что открыто было, конечно, ну а что с того, что открыто — не испорчено же! Я своим отнес. Они довольны были, хоть попробовали импортных деликатесов, а то мы все собирались купить чего-нибудь такого — дочку побаловать, да как-то не получалось. В семью я тогда отдал полновесные двести долларов, а триста мне удалось потратить на себя. Сначала хотел отдать двести пятьдесят, но потом решил, что хватит и двухсот, потому что обычно я еще меньше зарабатывал и нечего приучать.

На тот момент времени у меня была в голове, да и в сердце, можно сказать, голубая мечта. Так мне хотелось одну вещь себе позволить — просто засыпал с этой мечтой и с нею же просыпался. Эта мысль мне даже жить помогала и улучшала настроение, надежду давала среди серых, усталых будней и грустных мыслей. Я даже, сам того не замечая, улыбался, когда в очередной, сто первый уже, наверное, раз эти свои сокровенные мысли в голове аккуратненько обмусоливал. Все уже продумал до мелочей, все детали, где и как это будет, как сделать лучше всего и так, чтоб поэкономнее. Все рассчитал и только после отъезда Бенаму смог наконец подойти к реальной реализации своего заветного плана. А план состоял в том, что мне давно хотелось самому попробовать... с настоящей проституткой. Купить ее для себя. Я тогда мог из дому преспокойненько в любое время дня и ночи уехать побомбить, так что с отсутствием в семье проблемы не было. Я даже место для своего рандеву уже присмотрел, даже и заходил разочек туда — просто осмотреться, глянуть, как персонал и вообще обстановочку почувствовать. Все понравилось, девчонки вообще улетные, в общем, сразу, как Бенаму отвез в аэропорт, без всяких промедлений рванул я в это заветное местечко. И как раз на все, что я хотел, тех самых трехсот долларов мне только-только и хватило! Если бы немного сэкономил, вообще было бы не то удовольствие.

\*\*\*\*\*

Я работал уже месяцев шесть, когда для окончательного утверждения моей кандидатуры был отправлен за счет компании в город Лион, родину французских ткачей, где, собственно говоря, живет и работает главный дедушка — Бенаму. Он лично проводил собеседования с каждым региональным представителем, вероятно, не столько для проверки и отсева персонала, сколько для сообщения новому сотруднику духа и принципов компании, разъяснения ее генеральной линии и, так сказать, для приведения к присяге. Еще там предполагалась некоторая стажировка, хотя мне это казалось странным: зачем меня стажировать, если я уже полгода работаю.

Теща для этой поездки купила мне костюм. Вместе с нею и женой мы поехали в дорожный магазин, целый час мерили и купили шикарный темно-синий костюм со стальным таким отливом, две белые рубашки — обалденные, с золотыми буквами, вышитыми на воротничке, галстук по моде, штиблетки лаковые, с узенькими носочками, и ко всему этому даже носки, трусы и майку. Теща деньги какие-то, похоже, на самый черный день отложенные, решила-таки потратить на любимого зятя. А мне что? Плохо что ли! Наоборот — отлично! Я как в зеркало на себя посмотрел во все это добро наряженный, просто пять минут оторваться не мог, такой я там был, в зеркале, красивый, стройный и благородный. После этой примерки даже одна из продавщиц стала мне улыбаться как-то загадочно, и взгляд ее приобрел некую приятно щекочущую воображение особую двусмысленность. Теще тоже понравилось, а жена вздохнула, наверное, по поводу того, что не ей столько обновок привалило, но тут же взяла себя в руки, и потопали они в кассу — оплачивать.

## Глава 2. Машенька

Какое счастье, что мне удалось найти такую замечательную работу! Казалось, кому я нужна с моим французским, отчасти испорченным трехлетним репетиторством, с глупыми комплексами, девичьими идеализациями, полная устаревших, никому не нужных химер и совершенно нерешительным характером. Сознательно, конечно, готова была от всего этого отказаться, но боялась, что у меня не получится и при самом большом моем желании и старательности. Я почти уверена была, что не смогу так же, как все, двусмысленно-понимающе смеяться над общепринятыми скабрзностями — мне вместо этого всегда хочется встать и уйти, а если я и заставляю себя поддакивать и хихикать наравне с другими, то это выглядит жалко и неестественно. Боялась, что не буду достаточно расторопной, даже если строго прикажу сама себе не думать ни о чем другом, кроме того дела, что мне поручат... Но мне так трудно не думать. Я всегда думаю о чем-то хорошем! Иду мимо дома, мимо наших помоек к автобусной остановке, а сама думаю о прекрасном молодом человеке, о красивых, благородных людях, о великолепных и тонких женщинах в роскошных платьях и драгоценностях, о том, как можно лишиться всего состояния ради любви, а потом как бы все обратно налаживается чудесным образом благодаря какому-нибудь счастливому обстоятельству. Должны, должны в жизни случаться счастливые обстоятельства! И любовь должна случаться, я это чувствую! Теперь, когда все у меня в жизни так переменялось, я

ловлю себя на ощущении, что жизнь моя только начинается, что впереди еще много хорошего, доброго, неизведанного и восхитительно-радостного. Наверное, это нехорошо так чувствовать себя сейчас, но я ничего не могу с собой поделать, хотя и понимаю, что это очень неприлично в сложившихся обстоятельствах.

Пусть это и неприлично, но я могу еще раз повторить, что мне очень хорошо и я решительно счастлива! Так хорошо я чувствую себя в марте, когда зимний низкий свинцовый свод, давивший на голову с самой осени, как бы растворяется и пропадает под весенними солнечными лучиками, когда прохладный еще воздух становится прозрачным и в нем появляется такой свежий-свежий запах, небо делается ярко-голубым и высоким-высоким, дороги высыхают, грязи становится меньше, серые снежные кучи, всю зиму безраздельно занимавшие улицы и тротуары, сами по себе уменьшаются с каждым днем, на солнышке уже хочется снять шапку и взъерошить волосы, хочется вдыхать и пить это солнце... И самое большое счастье — понимать, что это только начало! Весна только начинается, и впереди еще апрель с его ручьями и птичьим пением, май — самый прекрасный месяц в году, впереди все лето, наполненное ягодами, теплом и ласковым солнышком, потом золотая осень, а зима только что кончилась и никогда она не бывает дальше, чем теперь!

Мама и бабушка обыкновенно очень радуются моему успеху. У меня самая красивая и самая добрая мама, а моя бабушка до конца оставалась веселой, неунывающей и приветливой — она со всеми дружила и все любили ее. Бабушка говорила, что после семидесяти — ее предназначение в развенчивание стереотипа о пожилых людях как о ворчливых, малоподвижных, угрюмых и неприветливых. Она еще говорила, что ни на кого не сердится, никого не боится и, самое главное, каждому желает хорошего, а люди это чувствуют и тоже относятся к ней с симпатией.

Полгода назад мама специально купила мне маленький мобильный телефончик, чтоб я всегда могла звонить ей и бабушке и сообщать, где нахожусь, что я и делаю. Она привыкла, что я всегда рядом с ней, а она всегда рядом со мной, поскольку за последние три года я вообще почти никуда не выходила — ученики приезжали прямо к нам домой, а после занятий бабушка обязательно поила их чаем. Было несколько предложений, приняв которые, я была бы должна сама ездить в разные места, но мы все вместе решили эти предложения отклонить. Мне как-то спокойнее работать с детишками, лучше даже с младшими школьниками. Честно говоря, я не вполне уверена в уровне своего французского и работать со старшими школьниками, а тем более со взрослыми, пока не решаюсь. Так что, несмотря на очевидную выгоду этих предложений по сравнению с копеечными заработками на моей детворе, мы отказались — а нужно было преподавать французский в офисе сотрудникам какой-то фирмы, и еще в одном месте мне было предложено обучать языку какого-то состоятельного человека — бизнесмена, тоже у него на работе. Мой педагог — Нелли Жоресевна — очень уговаривала меня согласиться, уверяла, что я справлюсь, что она меня знает и уверена в моих способностях, но мы не решились. И слава Богу. Так мы тогда переживали, так мучились, мама с бабушкой говорили, чтобы я сама решала и не обращала внимание на их сомнения и неуверенность, потому что они уже ничего в новой жизни не понимают, а хотят мне только добра... Это они, конечно, просто так из деликатности говорили, чтобы меня не сковывать, а дать мне свободу для выбора. На самом деле они у меня умные и современные, но при этом никогда меня не заставляют, а деликатно и с особенной осторожностью выражают свои мысли чтобы не было похоже на родительское нравоучение, десять раз повторив, что я сама могу поступать как захочу. И этого-то от них не допросишься — все время не хотят, чтоб я их слушала, и даже спрашивала, говорят, что я умнее их обеих и только мои решения всегда бывают самыми правильными. Но я все равно с ними очень советуюсь, потому что это самые родные мои люди, которые, возможно,



единственные пока в целом мире мне желают только добра от всего своего сердца. Когда мы решили отказаться окончательно, у меня сразу душа успокоилась, как будто камень свалился, и снова мы вместе и нам снова так хорошо!

Мама и бабушка хорошо знают о моей «девичьей» рассеянности и иногда беззлобно подшучивает, когда я в очередной раз забуду включить стиральную машинку, загрузив в нее белье, или налью себе чаю, да забуду выпить, замечтавшись, а он так и остынет передо мной на столе. Бабушка каждый раз, если я чего-нибудь забуду, как присказку повторяла одну и ту же симпатичную фразу: «Дай тебе Бог хорошего жениха...» Это у нас как заклинание что ли, или игра такая, только нам одним понятная.

Еще мы часто ходили в кино, в театр, на выставки — бабушка все узнавала, мама покупала билеты, и мы шли все вместе — втроем внимать прекрасному. В кино, правда, уже редко — нам современные фильмы не очень нравились, а вот в театре сейчас потрясающие пьесы. Я думаю, наше время когда-нибудь назовут серебряным веком театра. И залы ведь всегда полные, а говорят, что люди забыли о прекрасном. Совсем нет! А сколько я видела в театрах слез и сколько беззаботной, искренней радости. Нет, люди просто не могут забыть о прекрасном, как они не могут забыть о своей душе и о самих себе в конечном счете. Иногда человеку приходится на некоторое непродолжительное время отключаться от реальности происходящего, а заодно и от своей души и от искусства, но это просто чтобы выжить, это когда совсем плохо и душа не в состоянии вынести чего-то ужасного, как можно иногда не чувствовать боли и голода, даже если очень больно и совсем нечего есть. Но природа дает нам возможность не чувствовать страдания не для того, чтоб с ним примириться, а чтоб мы энергичнее искали избавления. Надолго это не бывает, ведь можно просто умереть без еды, даже если и не чувствуешь голода, и любая рана может привести к гибели. Так и люди не могут без светлого и прекрасного, не могут без добра и справедливости, сколько бы они не говорили себе и окружающим разных обесценивающих и злых слов, сколько бы они не придумывали всяких бездуховных и безнравственных теорий.

В консерватории народу поменьше, чем в театре, но это всегда так было: чтобы воспринимать классическую музыку, необходима некоторая музыкальная привычка что ли. Я и сама, честно говоря, не всегда люблю ходить на классическую музыку. А мама с бабушкой обожают! У нас есть абонемент в Зал Чайковского на двенадцать посещений в год. Мы ходили все вместе, но удовольствие от музыки я получаю не каждый раз. Больше всего я получала удовольствие от того, как это нравится бабушке и маме. Мне всегда становится очень хорошо, когда удается сделать им приятное. Счастье смотреть в их яркие, загорающиеся радостью и восторгом глаза, счастье видеть и чувствовать, что мы вместе, что мы такие близкие и хорошие, и что мы очень любим друг друга: я, мама и бабушка.

\*\*\*\*\*

Втайне мне давно и очень сильно хочется любви для себя самой. Я никому об этом не рассказывала, это только мое самое-самое заветное желание. Оно внутри, в самой глубине моей души. Мне уже двадцать семь лет, а у меня еще никого не было по-настоящему. Как-то не удавалось все это время, хотя многие за мной ухаживали и в школе, и в институте, но такого, чтоб чувство меня обожгло, такого, чтоб молния ударила, чтоб я сразу поняла: вот это мой человек, мой принц, мой избранник, такого не было. Просто ради того, чтоб попробовать, мне не хотелось, и я нисколько не жалею об этом. Мне нечего стесняться и переживать — пусть стесняются те, что истаскались по подворотням и даже не помнят имен всех своих любовников. Мы не такие! Меня совсем по-другому воспитывали, и мне

совершенно не нужно побывать в грязных и отвратительных ситуациях, чтоб понять для себя их омерзительность и то, что мне это не нужно, а нужно совсем другое. Я и так это знаю уже давным-давно, знаю крепко-накрепко и окончательно. Иногда бывает грустно, но я верю, что все у меня впереди, а тем более среди моих подруг, и вообще среди общих знакомых, вовсе нет тех отношений, которым можно было бы позавидовать или восхититься, пожелать такого же для себя. Я бы вовсе не хотела жить так, как многие девочки — с малоинтересным, почти чужим человеком, который только и делает, что приносит домой какие-то деньги и справляет свои физиологические надобности с твоим участием. Чем сосуществовать с человеком, не интересующимся тобой самой, твоими идеалами, чем жить с человеком, чьи интересы так же от тебя далеки, по-моему, уж лучше вот так как я — жить с любимыми людьми, которые тебя понимают, разделяют все твои надежды, знают о тебе все и любят тебя больше жизни, пусть даже они всего лишь бабушка и мама.

Мне не нужно кого попало, мне нужно самого лучшего, самого красивого, самого умного и... только моего, чтоб любил меня без памяти, а я — его, и мы вместе жили как в сказке. Я чувствую, что где-то он есть и он так же ищет меня или ждет. Только ни один из тех, кого я знаю или о ком я слышала или читала, включая киногероев и эстрадных звезд, на него даже отдаленно не похож. Иногда на фотографиях в журналах я встречаю мужчин, которые могли бы быть им, по крайней мере, внешне, но это бывает довольно редко и только в каком-нибудь одном ракурсе, а если фотографий несколько, то все другие ракурсы, кроме понравившегося мне, — почти всегда разочарование.

Был мальчик, который довольно долго за мной ухаживал и дома у нас бывал. Сначала мне все нравилось. Он был начинающим художником со смешной фамилией Щепетильников. Мы познакомились на выставке в Галерее Шилова, где этот невысокий юноша, выглядевший неопрятно в какой-то своей неухоженной заброшенности, так забавно распекал выставленные картины, хотя со знанием дела и, как мне показалось, по существу. С такой легкостью и так непринужденно он завел со мной разговор, что поначалу я отнесла его к категории ловеласов и вовсе не хотела продолжать отношения, но чем-то он тогда меня рассмешил или чем-то заинтересовал... нет, он маме моей понравился! Конечно-конечно, как только мама к нам подошла, он начал осыпать ее комплиментами и говорить, что без ума от ее дочери, то есть от меня, еще он мило шутил, что хорошо может понять, почему дочь такой приятной и моложавой женщины стала такой красавицей... В общем, заболтал он нас тогда вконец, и мама пригласила его в гости на следующий день, тем более что он очень заинтересовался одним этюдом Саврасова, которым мама ему похвасталась, и не пригласить уже не было никакой возможности, как потом мама мне объяснила. Еще она сказала, что если я не забочусь о личной жизни, то ей придется этим заняться.

Потом мы очень хохотали, потому что я ответила маме, что она может взять эту личную жизнь на себя окончательно и полностью ее осуществлять. Мама сначала фыркнула, хотела даже обидеться, но я ее растормошила, и мы начали смеяться. Чуть погодя, я продолжала делать маме смешные укольчики насчет того, что это ей молодой человек делал комплименты даже больше, чем мне, и именно она его пригласила, и что, может быть, я вообще завтра не нужна... Так мы переглядывались и хихикали всю дорогу, на нас даже в метро оборачивались.

Юноша назавтра пришел с букетом цветов и тортиком, мы ужинали вместе, он был уже гораздо менее разговорчив чем накануне. Под нашим нажимом, вызванным такой метаморфозой, признался, что вообще с девушками не умеет знакомиться и вчера у него случился такой приступ болтливости от отчаяния. В основном говорили мама и бабушка. Они обстоятельно расспрашивали его о всяких жизненных обстоятельствах, особенно бабушка была к нему беспощадна со своими вопросами, а мама в тот вечер, как будто специально давая повод моим подшучиваниям, нарядилась в лучший свой брючный костюм,

довольно рискованный, надо сказать, для ее возраста, и сделала макияж. Мы просидели целый вечер, молодой человек смущался все больше, ответы его становились все короче, пока не сделались односложными. Под конец бабушка даже упрекнула его в зажатости и угрюмом настроении, посоветовав брать пример характера с ее собственного неиссякаемого оптимизма. Еще через пятнадцать минут он засобирился домой, ссылаясь на неотложные дела. После его ухода мы за чаем еще немного поболтали.

Мама сказала, что он — приятный, бабушка тоже согласилась, что по нынешним временам вполне вежливый и культурный экземпляр. Еще бабушка и мама сказали, что ничего страшного нет в том, что у него нет квартиры, вполне возможно и нам потесниться, хотя еще непонятно как. Но, в конце концов, об этом просто нужно как следует подумать, ведь мы все-таки живем в двухкомнатной квартире, хоть одна комната у нас и проходная, но их все же две... Я поспешила уверить своих близких, что говорить о чем-то таком еще рано, что я вообще его не знаю, да и он сам еще ничего определенного не предлагал. Тут я покраснела, бабушка рассмеялась, а мама подошла, обняла меня за плечи и поцеловала в макушку.

Мы еще долго сидели в тот вечер, бабушка рассказывала, как мама отказалась второй раз выходить замуж потому, что я была грудным ребенком и почти не спала ночами, а спала только днем и мне требовался покой, а наша квартирка не позволяла надеяться, что тишину сможет соблюдать еще кто-то, кроме моих мамы и бабушки — самых родных мне людей, которые готовы были даже не на цыпочках ходить, а пусть и по воздуху летать, только бы я хоть чуть-чуть поспала, а потом покушала и начала, наконец набирать вес. Мама молча это слушала, кивала головой, а потом сказала, чтобы я не повторяла ее ошибок и не думала ни о какой жилплощади, а делала так, как велит мне сердце. Я пошла спать счастливая от того, что мои бабушка и мама такие хорошие. Ночью я еще много думала об этом парне, повсякому его себе представляла и смотрела на букет, который он почему-то второпях моей маме подарил.

\*\*\*\*\*

Бабушка перед уходом молодого человека сама написала ему на бумажке номер нашего домашнего телефона, аккуратно приписав внизу, как нас всех зовут, хотя я в тот момент уже смотрела на затею с этим знакомством безо всякой надежды. Была уверена в том, что он ни за что не перезвонит, равно как и в том, что мы обошлись с ним дурно и неправильно. Мне почему-то было очень обидно за него. Что именно в нашем приеме было дурно и что неправильно, я не понимала, и не понимаю по сей день, но смутное ощущение чего-то несправедливого и неприятного оставалось и не проходило. Такое чувство привычно для меня. Я не могу ни с чем связать его появление, но, игнорируя свою логическую несостоятельность, оно частенько посещает меня — мы старые знакомые и уже научились жить вместе. Я почти привыкла его не замечать, а оно каждый раз, приходя, перестало хватать меня железной лапой за горло, перестало выдавливать мою печень из-под ребер и перестало шкодить с моим желудком, прежде непременно расстраивавшимся с его появлением. Это странное чувство, которое прижилось во мне... Я очень благодарна ему хотя бы за то, что оно позволяет мне жить, не убивает меня...

Все эти мимоходные, несущественные мысли, обыкновенно заполняющие мою голову после обеда, вовсе не мешали мечтать о нашем госте, я щедро наделяла его разными героическими свойствами и замечательными качествами. В своих мечтах мы улетали или уплывали с ним в далекие страны, он искал сокровища, а я помогала ему — заслоняла нас двоих от опасностей, которые мне позволяло обнаруживать мое женское предчувствие,

недоступное более никому — только мне. Эти сладкие-сладкие грезы розовым туманом наполняли мою голову, и я становилась еще более рассеянной и забывчивой и вместе с тем все более счастливой... в своих мечтах. Я так много думала обо всем этом, что, возможно, в следующие два дня вовсе не думала больше ни о чем, и образ в моей голове становился все более замечательным, но все менее настоящим. Вероятно, мне не стоило позволять себе так увлекаться книжными фантазиями, это всегда портит мои взаимоотношения с настоящим миром.

Он позвонил через два дня и пригласил меня в театр. Даже и не помню, что была за постановка, помню только какую-то бесконечную натянутость разговора в антракте, как будто мы оба стали глупенькими и косноязычными, как будто стеснялись чего-то неприличного. За этой болтовней в антракте я не успела отстоять очередь в как всегда переполненный дамский туалет, несколько раз поймала его взгляд на других милovidных посетительницах театра, по законам подлости оказавшихся в изобилии кругом нас в тот вечер. По окончании я очень долго ждала, пока он принесет из гардероба одежду, все меня толкали, у меня мороженое растаяло, руки стали противно липкие, и вообще оно мне вовсе не понравилось — это мороженое, я хотела ягодное, а он виновато принес шоколадное с орехами... Вечер не получился таким хорошим, как хотелось бы. Потом мы еще ходили на выставки, просто гуляли по набережной и в парке, однажды он даже пытался меня поцеловать, но это было глупо и преждевременно — у него тогда ничего не получилось. Так мы встречались несколько месяцев, а потом он пропал. Мы уже думали, что больше его не увидим и не услышим, но ошибались. Через месяц он позвонил с известием, что нашел себе девушку и женится на ней, просил прощения, сам не знал за что, и просил плохо о нем не вспоминать. Сказал, что я очень хорошая, и мама у меня замечательная, и бабушка, но он, вероятно, просто не достоин меня. Я спокойным голосом пожелала ему счастья, а потом всю ночь проплакала. Было очень обидно, и казалось, что я сама себе все испортила в жизни, и что-то очень неправильно, и так жалко себя было... Мама потом подлегла ко мне в кровать, обняла, прижала к себе, успокоила — так хорошо стало... Я поняла и почувствовала еще раз, что ближе мамы и бабушки у меня никого в жизни нет...

Потом бабушку парализовало. Наверное, мы сами где-то в этом виноваты. Дело в том, что она у нас очень деятельная и подвижная. Буквально за неделю до того случая она бодренько прогуливалась возле нашего дома, ходила в магазин со своей колясочкой, потихоньку готовила обеды и ужины. Это всегда было незаметно, вроде бы само собой: бабушка картошечку почистила, бабушка котлетки слепила, бабушка отварила свеколку и потеряла ее на терочке для нас с мамой. А мама всегда тревожилась за бабушкино здоровье и давно уговаривала ее лечь на недельное обследование в один из медицинских центров, специализирующийся на болезнях центральной нервной системы. Там у нее была знакомая врач, которая рассказывала ей всякие случаи из своей практики, а мама очень пугалась и немедленно начинала предлагать бабушке разные поддерживающие препараты и собирать ее на обследование. Бабушка очень сопротивлялась, таблетки она не любила, и убеждала маму, что чувствует себя хорошо, говорила, что каждый день делает зарядку, обливается холодной водой, гуляет и ей не нужно и вовсе не хочется проходить какие-то обследования, а тем более лечь в больницу. Она говорила, что в жизни своей не лежала в больницах, если не считать роддома, а когда мама подступала настойчивей, бабушка приводила последний убеждающий всех аргумент. Она говорила, что в больнице умрет, что так она чувствует, и поэтому никуда не поедет.

Согласилась она только после того, как однажды упала во время прогулки по нашему скверику. Шла-шла себе тихонечко, и вдруг закружилось все вокруг, — и она так мягонько, без всяких травм осела на землю. Тут же, придя в себя, бабушка добралась до лавочки, посидела минут пятнадцать, пока все вроде прошло, и сама дошла до дома. Она еще и не

говорила нам ничего до самого вечера, но мама увидела, как бабушка пытается чистить пальто, расспросила с пристрастием, и на следующий день мы отвезли все еще бодрящуюся, но уже напуганную бабулечку в больницу — там как раз освободилось место в неврологическом отделении. Первые два дня все было хорошо. Мы ездили к ней каждый день по два раза — утром и вечером, привозили всякие вкусности, а она все говорила, чтобы мы забирали все это домой и сами ели. Ей не нравилось в палате, не нравились соседки с их пустыми причитаниями, жалобами и постоянным кряхтением, не нравились медсестры, которым, как ей казалось, на всех наплевать, ей даже не нравилась женщина-врач — мамина знакомая, хотя та, по-моему, вовсе этого не заслуживала. Мы с мамой даже поговаривали, что у бабушки в этой больнице как будто вдруг поменялся характер.

В тот день нашей бабулечке было назначено самое важное обследование, которое многое должно было прояснить. Общая клиническая картина была не вполне однозначная, хотя и внушала врачам беспокойство, как они говорили. Мы с мамой прибежали утречком, чтобы подбодрить родного человека. Мама по дороге зашла к доктору, а я напрямик к бабушке в палату, а она... меня не узнала. Почему-то она назвала меня маминым именем, начала спрашивать о каком-то человеке, имени которого я не знала, и вообще говорила бабушка как-то странно, очень невнятно, я испугалась, пыталась объяснить ей, что я не мама, а Машенька, что ей нужно лежать и сейчас я позову врача. Почти силой мне пришлось удержать ее в кровати, она была очень возбужденной, говорила что-то все менее разборчивое, обращаясь ко мне уже как к ее маме — моей прабабушке — Прасковье Васильевне. Потом прибежали врачи, сделали укол и куда-то ее повезли, оставив нас с мамой одних. Мы молча стояли и даже смотреть друг на друга боялись. Потом мама села на стул, за ней я, и мы продолжали сидеть в таком совместном молчании неизвестно сколько, пока не пришла сестра и не дала нам по очереди понюхать нашатырь. Затем она повела нас к доктору, где нам сказали об обширном инсульте, о том, что это инсульт не первый и даже не второй, и много еще всего, чего я теперь совершенно не помню. Я только хорошо помню свое неуместное желание спросить маму о том человеке, имя которого называла бабушка, обращаясь ко мне.

Месяц бабушка пробыла в больнице, потом ее состояние стабилизировалось и нас выписали. Она не двигалась, почти не говорила, но врачи утверждали, что она все понимает, потому что инсульт пощадил зоны, ответственные за восприятие и мышление. Еще врачи говорили, что если бы мы обследовались полгода назад, то это можно было бы предотвратить. Мама себе места не находила потом: все не могла себе простить, что мы столько ждали непонятно чего.

Пока бабушка была в больнице, мама, разбирая ее бумаги в поисках каких-то документов или выписок, нашла завещание. Это была тетрабочка, на которой было написано «Вскрыть в случае моей смерти или парализации». Там лежали скопленные бабушкой деньги — на похороны, еще там было написано, чтобы ее похоронили рядом с дедушкой — нам это показалось удивительным, поскольку они расстались очень давно и бабушка всю жизнь была очень сердита на него, а вот похоронить себя завещала рядом... И еще там было написано, что если ее парализует, чтобы мы наняли сиделку, а сами за ней не ухаживали, чтобы мама ни в коем случае не бросала работу, а я чтобы, наоборот, работу нашла и дома не сидела со своими малолетними учениками. Еще там бабушка почему-то просила у нас с мамой прощения, особенно у меня. Мы толком не поняли, за что и почему, но обе очень заплакали тогда... Мы вообще не знали на тот момент, выживет бабушка или нет. Это только недели через две врачи сказали нам, что не знают, хорошо это или плохо для нас, но у нашей бабушки сильный организм, и она может прожить в таком состоянии еще несколько лет. Мы так удивились и вместе подумали, что конечно это хорошо! Это же все равно лучше, чем бы она умерла.

С самого моего детства я была уверена, что моя бабушка — добрая волшебница и умеет творить замечательные чудеса, только скрывает это от нас по какой-то грандиозной причине типа священного обета молчания или великого неземного запрета на разглашение ужасной тайны. Это ощущение вернулось ко мне, когда мы с мамой пытались послушаться бабушкиного завещания и стали сами за ней ухаживать. Во-первых, бабушка нам сопротивлялась и не помогала, а лицо ее суровело, когда кто-то из нас оставался дома с ней сидеть. Мне, по крайней мере, так казалось, хотя мама говорила, что ничего такого не замечает. Во-вторых, мой педагог Нелли Жоресевна снова позвонила мне и сказала, что ее очень хорошие знакомые, даже почти родственники из Франции, о которых она ничего не слышала уже тридцать лет, а то и больше, прислали ей письмо, в котором много замечательных цветных фотографий и сообщение, что они теперь ведут бизнес в России и предлагают ей с ними встретиться и поговорить о возможной совместной деятельности.

Я в тот день нарядилась как дура, то есть не нарядилась вовсе и даже не сделала прически. Сидела как серенькая мышка, едва не прибитая мышеловкой, и помалкивала, мечтая только об одном — чтобы все это скорее кончилось и мне позволили уйти из ужасного ресторана, где официанты, будучи, вероятно, гораздо более состоятельными людьми, чем мы с мамой, высокомерно подходили ко мне и предельно фальшиво, но изо всех сил выражая любезность, коротко интересовались, почему я ничего не ем из того, что мне приносят, предлагали заменить блюдо, если что-то не так, потом подогреть, потом предлагали какой-то особенный десерт... Я в основном стараюсь ко всем относиться хорошо, но здесь почему-то я рассердилась. Так они были некстати со своими вопросами, с таким деланным огорчением, что я стала ненавистницей всех болтливых официантов. Я вообще старалась на них не смотреть, а полные язвительной учтивости вопросы пыталась игнорировать, если такая возможность представлялась, или отвечать на них вежливо, спокойным тоном, но строго и односложно.

Возможно, я так и просидела бы весь вечер, но зашел разговор о Флобере, а именно о его «Госпоже Бовари», разговор завела мой педагог, а господин Бенаму сказал, что он не в восторге от этого романа и вообще не очень помнит, к своему стыду, о чем он. Нелли Жоресовна перевела свой лукаво-вопросительный взгляд на меня и кивнула мне так поощрительно... Я не смогла сдержаться. Одно время это был мой любимый роман, я ложилась в постель и просыпалась с этой книжкой, когда мне было всего шестнадцать, читала его, конечно, в оригинале. Там столько всего тончайшего, чего и передать-то невозможно современным языком... Про любовь, изломанную такую и несчастную, про надежду, которой долго-долго может жить человек, про душевное страдание, которое сильнее, чем смертельные муки... Я увлеклась и говорила этому Бенаму о своих любимых эпизодах, разъясняла ему, о чем это было сказано, когда он не понимал, и он постепенно увлекся, стал меня слушать, говорил, что теперь обязательно перечитает, а я ему убедительно посоветовала сделать это незамедлительно и храбро заявила, что это счастье — читать по-французски такие книги и преступление — лишать их себя. Он потом смеялся и сказал мне, что если смогу полюбить их продукцию так, как я люблю Флобера, то буду звездой коммерции с моей убедительностью, красноречием, темпераментом и восхитительными великосветскими манерами. Я сначала все это приняла за шутку, немного даже обиделась за Флобера, которого этот человек сравнивал с каким-то там товаром. А он, оказывается, не шутил, а пригласил меня приехать к ним во Францию, чтобы я лучше их узнала и полюбила.

Это было не просто неожиданно, а более чем неожиданно.

Я думаю, никому не нужно объяснять, как мне хотелось во Францию и сколько лет мне уже этого хотелось! Бенаму пригласил и меня, и Нелли Жоресовну, но меня как потенциального сотрудника, а Нелли Жоресовну просто как дальнюю родственницу. Он сказал, что в Москве у него уже имеется маленький офис, но это совершенно техническое

место, где работают всего два человека — секретарь и технический менеджер по продажам. А мне он предложил очень интересную работу, я, по его замыслу, должна была устраивать разные мероприятия с целью, чтобы побольше людей, в первую очередь состоятельных людей, имеющих отношение к светской и публичной жизни, узнали о их замечательной продукции и захотели ее покупать. Оказывается, фирма Бенаму производила роскошные ткани. Господин Жульен рассказывал о тканях pret-a-porter и тканях haute couture, тончайших, невесомых и воздушных, с ручной вышивкой и специальными эффектами. Строгие классические ткани из тончайшей шерсти, ткани из хлопка, из льна, из вискозы, шелк, жаккард — и все это для самой изысканной публики и самого замечательного качества. Он сказал, что количество наименований их продукции измеряется тысячами, имеются ткани самых разнообразных составов и плотностей, но если понять главный принцип, то эти классификации несложно разместить в голове. Еще господин Бенаму пояснил нам, что у их компании нет цели одурачить людей и заставить их покупать бесполезную или некачественную продукцию. Цель совершенно противоположная — чтобы человек мог узнать, почувствовать, какие замечательные ткани теперь существуют и насколько они комфортные и красивые, какие замечательные вещи из них можно было бы сшить, и как прелестно люди смотрелись бы в такой одежде. Мне так это понравилось, что не придется никого обманывать! До разговора с Бенаму я, честно говоря, думала, что торговля — это всегда лукавство и всякие там некрасивые технологии внушения. Мне было бы очень тяжело заставить себя ими заниматься, а здесь — ничего подобного! Просто нужно рассказать людям о замечательном продукте правду, так, чтобы они не отмахнулись от тебя, принимая за очередного лгунишку, а потом сами решили, нужно им это или нет.

Мне так жалко было, что мы сначала сидели и ни о чем таком не разговаривали, а просто обменивались любезностями, а я сердилась на официантов. Теперь, после нашего разговора, когда я поняла, что от меня нужно, и Бенаму пригласил нас с Нелли Жоресовной во Францию, я всех официантов снова полюбила и съела десерт.

Бенаму спросил, что я думаю по поводу его предложения, и внимательно, без всяких светских улыбочек посмотрел мне в глаза. Где-то даже с тревогой посмотрел, он, возможно, беспокоился, что я откажусь или не смогу, а мне стало совершенно невыносимо от его тревоги и беспокойства. Такой хороший человек, и я заставляю его переживать! Еще минуту назад я собиралась сказать, как меня и учила Нелли Жоресовна, что его предложение меня заинтересовало, но мне нужно еще подумать, так как придется отменить кое-какие свои текущие дела... и в таком духе немного подпустить туману. Но я не смогла после этого его взгляда. Я в одну секунду поняла, что он, наверное, всю жизнь слушает такие ответы, напуская на себя важность и пытаюсь придать себе больше значимости, и он с беспокойством ждет, как я себя поведу, останутся ли между нами честные и искренние взаимоотношения, начавшиеся у Флобера и приблизившиеся к вопросам денежным, сломается ли теплое отношение и уступит место неинтересно расчетливому и банально прагматичному? Нет! Нет и нет! Я не хочу быть как все и не хочу ничего на себя напускать!

Я сразу же честно сказала господину Бенаму, что согласна и что это для меня огромное счастье получить такую работу, и я буду очень стараться, но не уверена, что все у меня получится, тут уж пусть сами определяют — подхожу я им или нет. Он так заулыбался, как будто камень свалился с души. Я виновато посмотрела на Нелли Жоресовну, но она тоже улыбалась, и я поняла, что все сделала правильно.

Потом был разговор с мамой, который продолжался долго и окончился совершенно для нас обеих неожиданно. Я с порога ей все рассказала вздохом, а мама помолчала несколько секунд, как бы ко мне присматриваясь, а потом произнесла то, чего я вовсе не ожидала. Она спросила меня: «Ты пила?» Мне сразу стало очень стыдно. И за целый бокал

вина, который я выпила в тот вечер, и за то, что там, в ресторане, я пела соловьиные трели про Бальзака и болтала по-французски, в то время как мама здесь одна переодевала и кормила бабушку, а теперь вот я собираюсь совсем бросить ее и уехать во Францию на целых две недели, а о ней, о своей любимой мамочке, я и не подумала. Я стояла обескураженная этим свалившимся на меня стыдом и открытием своей бессовестности, а мама ничего не сказала, она только улыбнулась, но как-то чуть натянуто и, уходя уже в бабушкину комнату, еле слышно произнесла на глубоком выдохе, что очень рада за меня, а по поводу бабушки... чтобы я не беспокоилась — она сама справится. Я бросилась вслед за ней, схватила ее за плечи и шепотом, сквозь слезы просила прощения, клялась, что я никуда не поеду, называла себя бесчувственной дурой и неблагодарной дочерью, говорила, что мы всегда будем вместе и я никогда ее не оставлю одну. Мама сначала вообще никак не реагировала, а стояла как железное изваяние, потом чуть смягчилась, мы обе вернулись и сели на кушеточку в коридоре, дверь в бабушкину комнату была открыта. Я продолжала с чувством полнейшего раскаяния клясться маме в верности и ненавидела себя за минутную слабость и желание малодушно уехать во Францию, когда такое случилось в нашей семье. Мы держали друг друга за руки, мама сначала молчала, потом слезы потекли по ее щекам, она всхлипнула несколько раз и сказала, что всегда была уверена в своей дочери и всегда ее (то есть меня) любила, и теперь она еще раз поняла, какая я у нее прекрасная девочка, что самая лучшая дочь и она счастлива от того, что я у нее есть.

И еще, что я стала очень умная, гораздо умнее ее, и она уже ничего не понимает в жизни, и я должна решить все, как считаю нужным, и только мое решение будет правильным и окончательным.

Непривычно тихая ночь сегодня, как будто все в мире прислушалось к нам и терпеливо давало нам с мамой выговориться и еще раз признаться друг другу в верности и любви, еще раз позволяло нам прислушаться к тончайшим внутренним ощущениям и насладиться слиянием наших трепетных душ. Несколько раз звонил телефон, но мы не подходили, а все разговаривали о том же самом, о том, что нам хорошо вместе и никому не может быть так хорошо, как нам, что большинство людей вовсе не способны понять тех наших тонких радостей, которые доступны только избранным, но так восхитительны!

Не знаю, сколько бы еще продолжались наши нежности, если бы не случилось то самое неожиданное, удивительное и, вероятно, многое в моей дальнейшей жизни поменявшее — наша Бабушка нас позвала. Целый месяц до этого бабушка не говорила. Сначала мы, конечно, подумали, что нам показалось, удивленно посмотрели друг на друга и поняли, что показалось нам обеим. Со всех ног мы кинулись к бабушке в комнату, она лежала на своей высокой кровати точно так, как мама ее положила, но только руки ее лежали иначе и по бабушкиным щекам текли слезы. Она плакала! Мы кинулись к ней, мама просила бабушку еще что-нибудь сказать, но бабушка молчала и только всхлипывала. Прошло несколько секунд... и она, подняв руку, вытерла себе слезы со щеки. Она двигала рукой! Мы с мамой посмотрели друг на друга так, как будто самое огромное счастье свалилось на нас совершенно неожиданно. Наверное, мы обе в этот момент подумали одно и то же. Мы были уверены, что сила нашей любви воскрешает бабушку, что наше чувство творит чудеса и мы такие молодцы, что правильно все решили и правильно все почувствовали. Мама схватила бабушкину руку и целовала ее, а бабушка прикрыла глаза, как будто отдыхала или собиралась с силами, полежала так минуту и потом, отстранив маму, сказала, чтобы мы сели возле нее. Мы сели, немного встревоженные, бабушка еще немного полежала с закрытыми глазами и начала говорить. Она говорила тихо, не очень внятно, но мы понимали, тем более что бабушка старалась повторять все по нескольку раз. Было видно, что говорить ей очень



трудно, она то и дело отдыхала. Мама, глядя на такие мучения, даже пыталась ей предложить отдохнуть и поспать немного, говорила, что мы пока пойдем, а ей хотела дать успокоительные капли, но бабушка сердито махнула на нее рукой, и мама примолкла. Я тоже не хотела уходить, потому что говорила бабушка про меня, про нее и про маму. Сначала она спросила, прочитали ли мы ее тетрадку, мы сказали, что да, потом она попросила ее не останавливать, потому что не знает, что с ней будет завтра и, должна успеть нам сказать что-то очень важное. Бабушка благодарила Бога за эту возможность сказать нам то, что она давно хотела сказать и не могла, а теперь вот она может говорить, и это прекрасно, хотя она и не знает, надолго ли, и очень боится заснуть, потому что не уверена, что, проснувшись, снова сможет разговаривать. Мы наперебой уверяли ее, что сможет, что она сильная и теперь, возможно, пойдет на поправку. Она снова остановила нас и дальше начала говорить обо мне. Бабушка сказала, что слышала весь наш разговор и все поняла, и что она умоляет нас с мамой не сидеть возле нее и хочет, чтобы я использовала наконец свой шанс и уехала. Она просила маму взять деньги из ее тетради, оставив там только самый минимум на похороны, продать этюд Саврасова, продать ее золотые украшения и нанять самую обыкновенную сиделку, но чтобы мы не проводили свое время возле нее. Мама сказала, что нам совсем не трудно ухаживать за бабушкой, а, наоборот, приятно, и это наша святая обязанность, что она никогда не позволит чужому человеку трогать свою мать, притом что сама она будет празднично проводить время. Сказала, что я сама приняла решение по поводу Франции, и, вероятно, не нужно меня заставлять, так как я взрослый человек. Еще мама говорила, что бабушке нельзя волноваться и она просит ее принять лекарство и уснуть... Все это время бабушка снова лежала с закрытыми глазами, как будто набираясь сил, потом опять остановила маму резким движением руки и сказала, что она все слышала, слышала даже больше, чем мы сами говорили, и что она проклянет нас обоих и не скажет нам больше ни слова, если ее воля не будет выполнена. Мы обе застыли как изваяния, а бабушка, помолчав еще несколько секунд, сказала, что теперь она будет спать и без всякой таблетки и чтобы мы вышли и думали до утра, а утром просто сказали ей «да» или «нет».

Мы вышли из ее комнаты, мама монотонно твердила, что не знает что делать. Потом она позвонила своей знакомой — врачу. Та сказала, что это большая удача, если вернулись речь и хоть какая-то двигательная активность, что теперь нужны обязательный массаж и разные процедуры, а волноваться бабушке нежелательно, и нужно очень следить за давлением, потому что еще одного инсульта она уже не перенесет. Я все это время стояла на кухне какая-то ошарашенная и не могла ни о чем думать. У меня в голове все перемешалось, как в детском калейдоскопе, было невозможно понять, что происходит и где истина. Почему бабушка так категорично требовала выполнения ее воли? А почему я, еще три часа назад такая уверенная и даже давшая уже обещание Бенаму, теперь расцениваю свой отменившийся отъезд как предательство? Хочу ли я вообще ехать? Что будет, если я уеду? Что будет со мной? Что будет с мамой? Что будет с бабушкой? Я постаралась представить отъезд, свою дальнейшую жизнь, я позволила, нет, даже заставила себя думать совершенно эгоистично, думать только о себе, как будет лучше мне! И постепенно мне стало казаться, что я хочу уехать, это страшно произнести, но я хочу уехать и оставить свою мать. Мама тогда вошла и сказала, что нужно поспать хоть чуть-чуть, чтобы прийти в себя, что мы очень устали и сейчас больше не нужно ни о чем говорить. Я послушно легла в кровать, но заснула не сразу. Я все думала о своих чувствах, я думала о тех словах, что мы с мамой говорили друг-другу, мы же говорили очень искренне и полную правду, я и на самом деле была счастлива оттого, что мы вместе и я никуда не уезжаю, а сейчас уже думается совсем по-другому... Как это может быть? Как такое небольшое изменение угла зрения может поменять всю картинку? С тем я и уснула, точнее, провалилась в сон совершенно обессиленная, и даже форточки не проверила по обыкновению.

Поспала я всего несколько часов, проснулась как всегда раньше мамы и встала с кровати почему-то с полной уверенностью, что моя поездка состоится и вообще меня ждет новая, счастливая жизнь. И вовсе это никакое не предательство. В конце концов, я должна зарабатывать на массаж, на сиделку, на дорогие лекарства, а это возможно только во взрослом мире, а не в кукольном мире моих маленьких учеников.

Умывшись, я тихонечко зашла к бабушке. Она не спала и смотрела на меня очень внимательно. Мне подумалось, что я за недавнее время второй раз испытываю на себе такой взгляд. Я сразу закивала ей и прошептала: «Да, да, да!» Она заулыбалась ласково так и с облегчением, затем подняла руку и поманила меня к себе, я подошла, села рядом на кровати, а она тихонько гладила мою руку и молчала. Так прошло почти пятнадцать минут, бабушка не говорила ничего, я даже начала тревожиться. Было как-то непривычно, потому что это была уж не та бабушка, которую мы знали всегда, и не та, которая еще вчера лежала молча и безо всякого движения, — это была какая-то новая бабушка, и я не знала, как с ней заговорить. Мы так и сидели молча, пока не пришла мама. Она тихонечко заглянула в дверь, потом на цыпочках вошла в комнату и, остановившись возле бабушкиного изголовья, спросила тихо: «Ну, как вы тут»? Я только успела повернуть голову и улыбнуться, как бабушка уже сказала, что мы все решили и я еду. Мама повернулась ко мне, улыбнулась и произнесла, что ничего другого она не ожидала. Это было сказано как бы полушутя, как бы не серьезно, но все равно означало, что мама согласна. По крайней мере, не сердится слишком сильно.

Потом мы сделали бабушке утренний туалет и пошли на кухню. Мама, оказывается, всю ночь думала и тоже решила, что бабушка права и мне нельзя упускать свой шанс, но мы должны сесть и посчитать, во сколько нам обойдется сиделка, сколько будет стоить массаж, а сколько — лекарства для бабушки. Еще раз звонили маминной подруге, она дала нам телефоны сиделки и массажистки, объяснила какие курсы бабушке, скорее всего, назначат, мы посчитали, и получилось, что сиделка и массаж обойдутся не меньше четырехсот долларов в месяц и еще лекарства долларов двести. Наших и бабушкиных сбережений при таких расходах хватало только на три месяца. Мама спросила меня, сколько мне обещали платить эти французы, я ответила, что не знаю, так как об этом у нас разговор пока не заходил. Мамочка вздохнула и посмотрела на меня укоризненно. Я сразу пообещала, что узнаю и попрошу, чтобы, если это возможно, мне платили не меньше семисот долларов, чтобы хватало на бабушку и хотя бы сто долларов оставалось нам на питание. Эту цифру — сто долларов я прибавила потому, что приблизительно столько я и зарабатывала всегда на своих учениках — всего сто долларов. Мама посоветовала просить тысячу, так как она где-то слышала, что это считается для иностранных компаний чуть ли не стартовой минимальной зарплатой. На это я просто кивнула, хотя вообще ни в чем не была уверена. Хотя нет, была уверена, но только в том, что никогда не смогу просить Бенаму о размере моей зарплаты, не решусь, по крайней мере, в ближайшее время. Получается, что я первый раз перед мамой слукавила, неизвестно на что надеясь и неизвестно от чего испытывая полную, окончательную и даже эйфорическую уверенность, что все как-то разрешится само собой, а впереди меня ждет много прекрасного и замечательного.

Мама нашла какую-то свою старую знакомую в ОВИРе, и мне за две недели сделали заграничный паспорт. Я еще раз удивилась, что у нашей мамы, оказывается, есть такие обширные знакомства в нужных кругах. Мы никогда в своей жизни ими не пользовались, мама никогда ни к кому ни с чем не обращалась, а, оказывается, можно было.

Мы еще раз встречались в господином Бенаму, уже в его офисе. Там он сам, без всяких моих вопросов сказал, что моя зарплата будет составлять пока пятьсот долларов плюс какие-то проценты от продаж. Про проценты я не очень хорошо поняла, а насчет пятисот

долларов вовсе не расстроилась, потому что это как раз подходило под мое собственное правило, все самые радужные мечты дели на два и радуйся, если получилось хотя бы так, — это и есть самый замечательный вариант. Еще мне сказали, что у них в офисе бесплатные обеды и бесплатный чай с конфетами и печеньями. Я так обрадовалась этим бесплатным обедам, потому что теперь могу маме сказать, что кормить меня дома вовсе не нужно, а это еще экономия — может, нам и хватит в самом деле, если мама хотя бы сто долларов в месяц сможет со своей зарплаты для бабушки выделять.

### Глава 3. Как Маша и Степан Савраскин встретились.

Как, вероятно, может предположить искушенный читатель, наши герои встретились на пути к новым, вожделенным для каждого из них горизонтам — в самолете. Точнее, виделись они еще в аэропорту и узнали о причастности друг-друга к компании Бенаму по одинаковым фирменным папочкам, содержащим авиационные билеты, программу их поездки и рекламные буклеты компании. На регистрации Степан галантно пропустил Машеньку и Нелли Жоресовну вперед себя, помог им поставить чемоданчики на ленту транспортера, в зале ожидания он подвел их к нужному выходу, показал, где буфет, а где уборная. После он тактично уселся в паре кресел от них, чтобы не докучать и не навязываться — он же вовсе не знал, кто они такие, а спрашивать счел неуместным.

Степа был в новом, элегантном костюме, и Машенька, приняв его за значительную персону, сперва побаивалась такого важного господина. Но храбрая Нелли Жоресовна быстро выяснила, что Степа так же, как и Машенька, направляется на стажировку в фирме Бенаму, только его французский никуда не годится, хотя иногда у него и получались довольно правильные фразы с симпатичным южным выговором. Узнав это, Машенька перестала бояться и, наоборот, расположилась к Степе, который показался ей культурным, обходительным и каким-то еще... внутренне несчастным человеком. Ей причудилось усмотреть внутри Степана Савраскина бездну скрытого рыцарства и какую-то боль душевную, от которой он, бедный, мается, сам того не подозревая. Время от времени Маша ловила себя на том, что предается фантазиям больше, чем анализу, и приписывает своему милому попутчику совершенно ни на чем не основанные замечательные качества. Ее осторожная часть намекала, что, возможно, не стоит торопиться со слишком поспешными и радужными представлениями, но другая часть, восторженная, отвечала, что ко всем людям нужно относиться хорошо, думать о них хорошо, и тогда они, возможно, и станут хорошими — по крайней мере, бабушка так всегда говорила.

Как о предмете своего романа Машенька о Степе не думала ни секунды, сразу решив, что это вовсе не ее типаж: не по-мужски красив и слишком вежлив, что вызывает немедленные подозрения в лицемерии и донжуанстве, тем более он коллега по работе, да и вообще, как выяснила настойчивая Нелли Жоресовна, женат и имеет дочь... Так что она с облегчением перевела своего нового знакомого в разряд милых людей и потенциально хороших приятелей, тем абсолютно успокоившись и вовсе перестав его бояться. Она даже позволила себе с ним посеCRETничать, рассказав, что Нелли Жоресовна ей совсем не родственница, а только педагог, хотя они и очень близки духовно, но фамилии у них совершенно разные, и даже Машенькина мама любит про Нелли Жоресовнину фигуру отпускать между делом смешные колкости. За болтовней беспокойство перед новым собеседником мало-помалу растаяло. Он оставался благородно-сдержан, границ переходить

не пытался и большей частью глубокомысленно молчал, что еще больше уверило восторженную девушку в добродетельности ее попутчика.

Степан был смущен такой непосредственностью говорливой попутчицы, испытывал неловкость и предпочитал помалкивать, сдержанно улыбаться и редко поддакивать там, где слышал знакомые слова, как это он привычно проделывал, находясь в неуверенных обстоятельствах. Его поведение определялось еще и тем, что Степан вчера выпил пивка за отъезд, а закончил водочкой, за компанию с чего-то вдруг раздухарившейся на выпивку тещей, так что, несмотря на все утренние гигиенические процедуры, побаивался запаху от себя и, естественно, испытывал то неизбежное утреннее томление и дискомфорт, которые бывают еще невыносимее при необходимости скрываться ото всех — выглядеть бодрым и жизнерадостным, когда чувствуется совершенно противоположное.

Наивная Машенька ничего не замечала и продолжала щебетать, принимая Степину похмельную заторможенность за благородную обстоятельность поведения, а вот проницательная Нелли Жоресовна уже через полчаса тактично предложила Степе таблеточку, которую он с благодарностью выпил. Маша тут же вспомнила, как и у нее иногда болит голова из-за перемены погоды или из-за усталости, рассказала Степану, как у нее бывает пониженное давление и временами из-за мигрени буквально некуда деться, но теперь такая замечательная погода, что мигрени у нее вовсе нет и не предвидится, а наоборот, хочется радоваться и счастливо дурачиться.

Степан про себя отметил, что барышня слегка перезрела, активно напрашивается в койку и даже удивился такой половой настырности этой трескучей, но вполне миловидной, крупненькой, с хорошими формами особы, сперва выглядевшей совершенно недотрогой, а теперь чудо как изменившейся. Он даже решил, что она говорит об отсутствии мигрени, намекая ему на отсутствие у себя месячных, и тем еще больше подбадривая его к интимному посягательству. Различал он и другие признаки женского соблазнения и хотел уже дать ей как-нибудь понять, что воспринял все сигналы, и воспринял благосклонно, и сразу же по приезду непременно выполнит то, чего ждут от него, а сейчас он хотел получить немного отдыха от этой высверливающей голову трескотни и просто закрыть глаза... Предвкушая эту поездку, Степан позволил себе предаваться мечтаниям о некоторой романтической интрижке, размышляя, что когда он станет обладателем полноценного гостиничного номера, то просто глупо будет не случиться в этом номере чему-то распрекрасно-неприличному, тем более впереди целых две недели полного отсутствия жены, тещи и дочери, то есть возможность почувствовать себя полноценно свободным человеком: не оглядываться на часы, не озираться по сторонам, не думая поминутно, что в самый неподходящий момент встретишь кого-нибудь из знакомых. Он представлял себе будущее приключение в самых разных фантазиях, и каждый раз объектами его становились все более значительные и состоятельные женщины. Он мечтал о романе с богатой французской красавицей, или даже не совсем с красавицей, но чтобы она тратила на него деньги и одновременно любила его, как кошка. Чтобы она, пренебрегая приевшимися французскими кавалерами, оценила в нем горячую, дикарскую кровь далекого севера, предлагала жениться и переехать во Францию, в ее родовой замок и вести ее дела. Степан сладко мечтал, как бы он стал состоятельным господином и ловко вписался в элиту французского общества, и как бы все удивлялись: где был раньше такой умный, воспитанный и красивый молодой человек и какое счастье, что он наконец-то украсил их стылую жизнь. Степан представлял, как он немного помогал бы благодарным и раболепствующим перед ним жене и теще, находясь уже на том запредельном для них уровне успешности, где все люди вызывают у окружающих только восторженное благоговение... Иногда в его мечтах вместо богатой француженки фигурировал и богатый француз как потенциальный Степин любовник (или любовница), что вызывало, конечно, в

нашем герое некоторое амбивалентное ощущение, но так или иначе и эта фантазия укладывалась для него в рамки дозволенного.

Теперь, когда отношения с Машенькой для Савраскина были делом почти состоявшимся, он испытывал уже легкую досаду на то, что вместо утонченного романа во французском бомонде он всего лишь вызвал бурный восторг миловидной, но такой же бедной, как и он сам, русской девочки. Хотя его немного тронули ее искреннее желание сделать ему хорошо и некоторая естественная заботливость что ли. Ему понравилось, как она весело и необидно дала ему под запись приличное количество очень важных и красивых французских выражений, как просто и нежеманно она предложила ему в добавку свой самолетный обед, как немедленно, без всякой обиды, отстала со своими разговорами, только он слегка продемонстрировал утомленность. Хотя сам про себя он рассудительно уточнил, что нисколько не очаровался, а просто констатировал сей приятный и полезный для себя факт как ценное наблюдение, имеющее некоторую перспективу.

Закрыв глаза, он думал уже об этой девочке больше с симпатией, чем с раздражением еще и потому, что она, конечно, не являлась препятствием для его предстоящего романа, а даже и наоборот, могла своей непосредственностью, свежестью и очарованием придать ситуации особую пикантность и, возможно, даже в чем-то Степе и помочь.

Нелли Жоресовна, которой Машенька потихоньку рассказала о своих восторженных впечатлениях и о том, что ей так легко от того, что к этому Степе она не испытывает никаких романтических чувств, а определяет его для себя как милого, но приятеля, решила Машеньку не разочаровывать, подумав, что очевидная для ее опытного взгляда девичья влюбленность только пойдет на пользу ее воспитаннице, а в душе посетовала на то, что подобных опытов у Машеньки не случилось лет десять назад, а случилось только сейчас, когда давно пора бы уже ей быть молодой женщиной, а о девичьих своих восторгах и переживаниях вспоминать, как о приятном, но благополучно прошедшем и вполне уже завершившемся жизненном опыте.

Машенька, наскоро вышептав все свои секреты счастливо заснула вслед за Степаном, угнездившись на своем кресле так, будто спит не просто рядом с ним, а где-то и вместе с давно уже посапывающим Савраскиным.

\*\*\*\*\*

А Степан не спал. Он очень хотел уснуть, но был не в состоянии это сделать, так же как он был не в состоянии открыть глаза и заняться чтением либо еще какой-нибудь жизненной активностью, уместной на борту воздушного судна. Спать было невозможно из-за непрекращающегося душевного тремора. Только он смежал тяжеленные свои веки, давая относительный покой измученной голове, внутри него начинались какие-то искры, какие-то тревожные и очень беспокойные разряды, которые сознание его делали крайне возбужденным и даже, вероятно, более возбужденным, чем в обычном положении бодрствования, а так невыносимо хотелось сна... Иногда он проваливался в какое-то беспокойное забытие, что как сон вовсе не ощущалось, а становилось понятным, что он спал, только по тому признаку, что стрелки на часах вдруг перемещались на целых сорок минут вперед, когда, казалось, всего только минуту назад проверял время. Заставить себя расслабить голову и испытать хоть несколько минут здорового, освежающего сна Степан не мог, и знал по опыту своему, что не сможет, поскольку это тяжелое состояние всегда сопровождало его на следующее утро после отравления алкоголем и стойко держалось почти

до вечера следующего дня. Нужно было просто пережить нынешние сутки с минимальными потерями для своей репутации.

В промежутках между короткими периодами забытья Степан на какие-то секунды открывал глаза и, выхватывая из всех доступных его взору пассажиров одного, начинал от скуки думать, что из себя представляет этот субъект и что у него творится на душе, осуществляя, так сказать, внутреннее психологическое предположение о настоящей жизни человека и сущности его по внешним чертам его лица и общему облику. Думал он, естественно, обо всех очень плохо и сперва, конечно, в самой неблагоприятной форме вылепил в своих фантазиях Машеньку и Нелли Жоресовну.

Незаметно для себя Степан дремал все крепче и крепче, и наступил момент, когда он заснул окончательно....

\*\*\*

Они торопливо шли с Принцессой по странной, вымощенной булыжниками и покрытой грязными лужами дороге. Затхлый, тяжелый запах, который прежде долетал до них лишь обрывками, висел в воздухе постоянно, и казалось, что и самого чистого воздуха уже нет, а есть только эта вонь, и они, находясь в этом смрадном пространстве, уже совершенно пропитались ею. Кое-где лужи были так велики, что вода доходила почти до колен, и тогда Принцесса взбиралась к нему на спину, а он, тяжело переставляя ноги и не обращая внимания на потоки грязи, то и дело переливавшиеся через голенища его охотничьих сапог, проносил ее сквозь это невозможное для Принцессы место, где на дне каждой огромной лужи был противный скользкий ил с омерзительным запахом и жили ядовитые пиявки. Пройдя через лужу, он садился на сухом месте, выливал воду из одного сапога, из другого, и они шли дальше, вовсе не отдохнув. Принцесса была измучена не меньше него, но все равно, как и подобало Принцессе, пыталась тепло улыбаться, когда встречались их взгляды. Она пыталась каждый раз тепло улыбаться, но улыбка ее делалась недоуменной и растерянной, когда, вместо того чтобы улыбнуться в ответ, он зло смотрел в ее сторону, глядя даже не на нее, а мимо и куда-то вниз, а потом бормотал сквозь зубы грязные ругательства, про то, что знает, что скрывается под напускным целомудрием и великосветским дружелюбием Принцесс, и что он все и всех уже проклял за эту невыносимую дорогу, и что ему ничего уже не нужно, кроме отдыха. И это были самые вежливые слова из тех, что роились у него в голове. Принцесса не отводила глаз, даже когда он сжимал зубы и стискивал кулаки, она ничего не говорила, но взгляд ее из недоуменного становился грустным и жалостливым, а иногда даже и скорбным, что приводило его еще в большее бешенство. Вероятность наткнуться на Уродов была не очень большая — в этих местах их давно не видели. Но уже вечерело, до ближайшего селения оставалось около часу пути, дорога спускалась в низину, затянутую противным, рвано-клубящимся туманом, и мысль о том, что если и быть Уродам на их пути, то это самое подходящее место и время, все чаще выскакивала между другими хаотично перебалтывающимся в его голове рассуждениями. Он пытался отгонять ужас злостью, но когда приходилось думать про Уродов, злости почему-то становилось все меньше, и ужасу она почти не мешала, а даже уступала ему место, как старшему брату или начальнику.

Они вошли в туман. Сумерки сгущались. И если бы это были одни сумерки или один туман! Но здесь было все вместе: и сумерки, и туман, и грязная вонючая дорога, все это стократно усиливало друг друга и давило со всех сторон, страх становился невыносимым, злость уже оставалась только совсем снаружи, а везде внутри был кошмар! Хотелось закрыть руками уши, чтобы не слышать этой туманной тишины, предательски поглощающей все

звуки, хотелось плотно зажмурить глаза, чтобы не видеть этих белых клубов, перемешанных с темнотой и скрывающих все, что хотело бы скрыться. Он шел впереди так быстро, как только мог, Принцесса едва поспевала следом. Поначалу он еще оглядывался, и если она отставала, огромным усилием воли укорачивал шаг. Но наступило время, когда страх полностью захватил его, и все, что он мог — это удерживать себя от самого позорного бегства. Где-то сзади Принцесса едва поспевала за ним, а он боялся обернуться и увидеть вместо нее довольно ухмыляющуюся морду огромного Урода и поэтому не оборачивался. Он топал изо всех сил, но дорога и туман казались бесконечными: ничего не менялось, все те же булыжники, о которые то и дело спотыкались его ноги, все те же выбоины, в которых ослабевшие ноги то и дело подворачивались, все тот же туман, скрывающий все вокруг, все тот же ужас, переполняющий душу. Он думал, что не может долго такое чувствовать, что-то должно произойти, что-то должно перемениться, потому что он не мог уже выносить продолжения! Даже минуты такой дороги он не перенесет больше! Ужас переполнял все его существо, корежил тело и выламывал голову из плеч. Он шел дальше, но «идти» — было теперь совершенно не естественное для него положение. Повинуясь чувствам, естественно было бы кататься по земле, сучить ножками и залиvisto орать, зажмурив глаза и закрыв уши, но он шел и был в состоянии заставить себя идти дальше только потому, что шел уже давно и переставлял ноги по привычке. Остановись он лишь на секунду или позволь себе повалиться на обочину дороги — больше с нее он бы не поднялся. Зная это, он шел и шел, его ноги топали и топали, раз за разом повторяя одни и те же движения и одни и те же напряжения мускулов, которых сознание его давно уже не замечало.

Они шли еще долго, и ничего не происходило. Дорога пошла в горку, туман начал уже редеть, казалось, должна была вернуться надежда на то, что их путь закончится благополучно и, наконец, случится то, что является заветной мечтой каждого. Но надежда не торопилась стать действительностью. Или не успевала...

\*\*\*\*\*

Когда сзади появились явно запоздавшие Уроды, можно было бы ускорить шаг, побежать из тумана, но он покорно остановился и стал ждать. Он даже сделал несколько шагов назад, подчиняясь громкому реву Уродов, изо всех сил горланивших и перекашивающих свои и без того страшные рожи. Они пытались нагонять жуть только потому, что больше им ничего не оставалось. Они уже опоздали, и добыча была почти недосыгаема, оставалось только для вида поорать и помахать своими здоровенными дубинами, дабы сохранить остатки своего уродского достоинства, а он... подчинился им, как безвольная кукла подчиняется кнопке управления, как обученная и вышколенная собака подчиняется команде. Он стоял и ждал. Принцесса кричала, что надо бежать, что спасение близко, но он не слушал ее... Случилось то, что должно было случиться, это был конец его кошмарам, именно тот конец, который и должен был состояться, который он почувствовал уже давно и с которым уже смирился, оттого что не мог больше переносить неизвестности. Надежда могла бы спасти его тогда, но она опоздала, что-то задержало ее в пути, или она не могла найти к нему путь. Принцесса не могла его бросить и последовала за ним в обратную сторону от спасения — ведь это была настоящая Принцесса.

Уроды схватили Принцессу и, радостно гомоня, начали срывать с нее платье. А ему треснули дубиной сначала по лицу, так что губы и нос превратились в кровавое месиво, потом в грудь, а когда он перегнулся пополам, несколько раз по спине, пока он не упал в

грязь... Уроды весело ржали и с радостным остервенением пинали его, распластанного на земле, по ребрам, по спине, по животу, лицо он старался закрывать руками, но руки скоро так были разбиты, что уже не слушались. Было больно, но совсем не так ужасно больно, как это раньше представлялось ему! Его убивали Уроды, а он думал, даже с некоторым облегчением, что ожидал худшего. Стало немного жалко и обидно за свой страх. Неужели вот именно ЭТОГО он ТАК боялся? Сознание постепенно уходило, и он уже благодарил провидение за такую легкую смерть, но тут Уроды прекратили убийство и, отойдя от него в сторону, встали кучкой. Он разлепил глаза, повернул голову и сквозь кровь и грязь, сквозь узенькие щелочки глаз, едва выполнявших свою функцию на разбитом лице, он увидел Главного Урода. Тогда он отметил про себя, что даже за два шага от смерти человек не перестает удивляться — Главный Урод имел необыкновенно приятную и даже красивую внешность!

Он был светловолосый, с открытым, располагающим лицом, на котором непрерывно выражались внимание, заинтересованность и даже доброта. Единственная странность заключалась в том, что все это выражалось на его лице слишком отчетливо, слишком выпукло. Его заинтересованность граничила с наивной восторженностью, а внимание было такое, что он чуть ли не буравил окружающих его Уродов беспримерно умным и проникновенно-внимательным взглядом. При этом он равномерно одаривал своим сказочным взором каждого, успевая очень быстро перемещаться с одного Урода на другого, но не бегая при этом глазами, а задерживаясь на каждом Уроде столько, сколько это было нужно, чтобы Урод не почувствовал себя обделенным. Это выглядело тем более виртуозно, учитывая то существенное обстоятельство, что Уроды гомонили совершенно хаотически, перебивая друг-друга и чуть ли не подсказывая от желания высказаться. Уроды знали всего по десять-пятнадцать слов и при каждой возможности старались как можно скорее их произнести, наслаждаясь производимым эффектом. Главный Урод смотрел на них ласково, любовь, выражаемая во всем его лице, была похожа на патоку и жидкое варенье — влюбленные Уроды балдели от взаимности. Они уже забыли про то, что нужно добить человека, а только радостно прыгали и непрерывно на разные лады твердили знакомые слова, дожидаясь вождельно-одобрительного взгляда начальника. Ликованию их не было предела. Главный Урод поворачивался в разные стороны, с огромным интересом выслушивал слова каждого подчиненного. Он был такой элегантный, такой подтянутый — просто волшебный! Всем очень хотелось заслужить его одобрение, чем и занимался изо всех сил каждый Урод, пробравшийся поближе.

Только одна деталь вступала в едва различимый диссонанс со всей его располагающей внешностью. Эта деталь не сразу бросалась в глаза и была скорее скрыта, чем выражена у Главного Урода, но, наблюдая вокруг него других Уродов, легко было заметить ее из-за того, что на всех остальных рожах эта деталь была выражена гораздо отчетливее, а у многих совершенно доминировала. Уголки его тонких губ всегда были опущены вниз и оставались такими, даже если он располагающе улыбался. Деталь эта придавала лицу Главного Урода некоторое особенное выражение — такое понимающее, всезнающее и немного саркастическое. Она как бы говорила: «Да я отлично знаю, что и как на свете устроено... но увы... поделать ничего не возможно... мой дорогой... мир таков, каков он есть...»

Смотреть, держа голову на весу, было очень тяжело, и, ухватив все, что удалось увидеть за несколько секунд, распластанный на земле избитый человек снова уронил голову в вонючую грязь и закрыл глаза. Возможно, это спасло его от смерти, потому что если бы Главный Урод понял, что какой-то человек видел его и узнал его, он, вероятно, вежливо распорядился бы убить этого человека, подальше от неприятностей.

Главный Урод смерил Принцессу, которую к нему подтащили, своим внимательным и заинтересованным взглядом, остался очень доволен и распорядился положить добычу на



телегу, а чтобы она не замерзла, накрыть огромной вонючей шкурой из тех шкур, что носили Уроды. Принцесса стояла, опустив глаза, и старалась ни на кого не смотреть. Даже когда Главный Урод схватил ее пальцами за подбородок и резко, по-хозяйски, поднял её голову, она изо всех сил отводила взгляд от его глаз. Все знали, зачем нужно поймать ее взгляд, и все знали, что рано или поздно Главный Урод сделает это, раз уже теперь Принцесса в его руках. Взгляд Принцессы всем без исключения, даже Уродам, давал любовь, а любовь — это единственная сила и энергия жизни. Но если на всех других людей Принцесса могла смотреть сколько угодно, то Уроды выпивали любовь из каждой пойманной ими Принцессы, как болезнь выпивает жизнь из тела человека. Когда любовь совершенно заканчивалась, Принцесса умирала — ведь настоящая Принцесса не может жить без любви. Уроды могли выпивать любовь, а вместе с тем и жизнь не только из Принцесс, а и из каждого человека, и они питались этой любовью, переваривая ее в своих Уродских внутренностях и ничего не давая взамен. Уроды развивались только физически, точнее развивались их здоровенные туши. За счет украденной или отнятой любви Уроды и становились такими огромными и могли управляться со своими здоровенными дубинами. Так они и жили: отнимали любовь у тех, кого ловили в вечернем тумане, питались ею, если везло — здоровели, делались дерзкими и нападали на людей почти в открытую, еще больше здоровели, им казалось, что нет никакой им, Уродам, преграды!

Самая лакомая добыча для Уродов — это Принцесса, ведь в Принцессах любви гораздо больше, чем в обыкновенных людях! Во много раз больше! Тем более люди тоже бывают очень разные. Например, в Героях — любви сколько угодно, но попробуй поймай Героя, от Героев все благоразумные Уроды, какими бы здоровыми и разожравшимися они не были, улепетывают в разные стороны, только и мечтая о спасении своей шкуры, и, надо сказать, спасти свою шкуру при встрече с Героем Уродам удается чрезвычайно редко. Обычно Уроды встречаются с Героем только один раз в своей Уродской жизни — чтобы отправиться в небытие. Один Главный Урод рассказывает всем, что он видел множество Героев, и даже вступал с ними в сражение, и даже побеждал их! Уроды ему верят, но, судя по всему, он бессовестно врет, потому что все маленькие дети отлично знают, что даже десяти или ста Главным Уродам никогда не одолеть хотя бы одного Героя.

Меньше всего любви содержится в Говнюках — в них ее почти совсем нет, и это самый бесполезный для уродов вид людей — поймать их не трудно, но любви у Говнюков едва хватает, чтобы поддерживать их собственное жалкое существование на самом примитивном уровне. И теперь перед Уродами лежал без сознания в грязи такой вот избитый, почти уже дохлый Говнюк, и поднимать его, пачкая лапищи, разлеплять глаза на его разбитом лице, держа его болтающуюся башку, только для того, чтобы в лучшем случае получить всего полплоточка любви, показалось Уродам бесполезным занятием. Говнюка решено было бросить. Главный Урод, сделав все распоряжения, удалился в туман первым, остальные Уроды впряглись в телегу с Принцессой и тоже собирались тронуться в путь. Тут Принцесса приподнялась на телеге, сбросила с себя вонючую шкуру и крикнула изо всех сил: «Стэфан! Очнись!» Говнюк от этого крика опять пришел в себя. Он понял, что Стэфан, это его имя, и устремил свой взгляд на Принцессу. Именно в этот момент, и ни минутой раньше, надежда нашла путь к его сердцу. Пока Уроды выпрягались из телеги и опять накидывали ей на голову свою вонючую шкуру, Говнюк и Принцесса успели посмотреть друг на друга. За эти короткие секунды Принцесса дала ему столько любви, сколько смогла — ведь не так просто отдавать любовь жалкому Говнюку, из-за которого ты попала в лапы Уродов и скорее всего теперь погибнешь, но этого должно было хватить для того, чтоб он не умер теперь здесь — на грязной обочине вонючей дороги. Еще она успела крикнуть ему: «Научись смотреть на себя и спаси меня, когда сможешь!» Он не понял первую часть, а услышав вторую, испугался, что Уроды вернутся и добьют его. Они и впрямь остановились,

но Стэфан собрал все силы, встал сначала на четвереньки, потом на ноги и, бросив прощальный взгляд на повозку с Принцессой, сделал один шаг к выходу из тумана, затем второй, третий... Он вышел из тумана всего через двенадцать шагов. Двенадцать шагов отделяло его и Принцессу от спасения, когда, подчиняясь своему ужасу и гортанным воплям Уродов, он повернул назад и случилось все то, что случилось.

Он еще раз оглянулся. В уходящем тумане уже ничего не напоминало ни Уродов, ни их тележку, как будто все он себе придумал, и даже Принцессы никакой не было... Но боль во всем теле и его разбитое лицо не позволили Стэфану утешиться спасительной иллюзией. Все свершилось, а ничего из того, что свершилось, уже нельзя отменить. Все, это было уже окончательно состоявшимся и никогда не переменится. Такие мысли не привели бы Стэфана ни к чему хорошему, он уже подумывал лечь да умереть себе тихонечко, но надежда, так недавно поселившаяся в его сердце, подсказала ему выход. Она согласилась с тем, что ничего из уже сделанного нельзя переменить, но яростно втолковывала ему, что, не пытаясь изменить прошлое, все и всегда можно исправить в будущем. «Прошлое нам неподвластно, но будущее целиком принадлежит нам», — так говорила надежда, и Стэфан решил пока не умирать. Идти дальше без отдыха он не мог. Силы совершенно оставили его избитое и измученное тело. Он подыскал себе местечко посуше, достал из потайного кармана охотничий припас, развел огонь, нарезал себе немного еловых веток вместо перины, укрылся своим грязным, изорванным плащом и, пытаясь согреться возле костра, уснул, имея твердый план на завтра что-нибудь предпринять. Надежда еще жила в нем, она, вероятно, нашла Стэфана комфортным для себя, а может быть, просто не могла его покинуть из-за того, что кроме нее у Стэфана уже ничего не осталось.

\*\*\*\*\*

Савраскин проснулся с еще большей головной болью, чем засыпал. От неудобной позы, в которой пришлось задремать, все его тело затекло и болело, состояние было такое, как будто его провернули в мясорубке. Он приоткрыл глаза и сразу снова закрыл их на несколько минут, привыкая к кошмарным ощущениям в своих затекших руках, ногах и вообще везде. Нашему герою показалось, что за время этого нездорового сна все его лицо опухло, даже глаза стали открываться как-то не очень широко. Как всегда, ему ничего не снилось, но в целом от сна осталось неприятное, тяжелое, гадкое какое-то впечатление, и первые секунды ему даже мерещился какой-то протухший запах, заставивший Степана с беспокойством прислушаться к своему желудку: не он ли спросонья стал источником этой вони в ограниченном пространстве авиалайнера. Но, окончательно проснувшись и осторожно встряхнув головой, Степан, как ни приняховался, никакого запаха, к счастью своему, уже не почувствовал. Машенька спала рядом, выражение лица ее было то безмятежное, то какое-то трогательно страдальческое, как будто во сне ей медленно вытаскивали зуб. Она то притихала, то начинала дышать прерывисто и даже едва заметно дергать головой, как будто она чему-то сопротивлялась или от чего-то уворачивалась.

Вид Степана после сна был настолько жалобным, что сердобольная Нелли Жоресовна, предположила у него аллергическую реакцию на аспирин и настоятельно посоветовала принять еще одну, уже противоаллергическую таблеточку, пачка которых всегда была в сумочке у запасливой женщины. Степан беспрекословно и даже с благодарностью согласился отдаться в ее врачующие руки, и радостная Нелли Жоресовна,

которая очень любила всех лечить, вместо одной дала ему несколько разноцветных пилюль, среди которых на всякий случай были и против спазмов, и против поноса, и против тошноты, и конечно, как она и обещала, против аллергии.

Маша, проснувшись, чуть сконфуженно улыбнулась Степе и Нелле Жоресовне, как бы принося извинения за то, что так заспалась, аккуратно зевнула в ладошки и, вспорхнув с кресла, побежала умываться.

#### Глава 4. О том, в каком обществе пришлось оказаться нашим героям.

В аэропорту их встретил Жульен. Он сам был за рулем и весело сказал Степе, что здесь, во Франции, он будет возить всю компанию и при этом не возьмет со Степана ни франка. Машенька незаметно перевела своему попутчику то, что говорил шеф, на что Степан запоздало осклабился, выражая понятливость к юмору. Ехать было не близко, как сказал Жульен, часов пять. На пути Маша ежеминутно выражала восторг видами, воздухом и всем, что им встречалось на пути — даже вывесками и колоритностью персонажей, попадавших по дороге, она любовалась откровенно и радостно. Ей очень понравились французские полицейские — женщины, в красивой темно-синей форме, исполненные достоинства и совсем не страшные со своими маленькими, как будто игрушечными, автоматами. Она тараторила то по-русски — для Степы, то, как бы спохватившись, переходила на французский — для Жульена.

Степе тоже стало получше на свежем воздухе, да и таблетки Нелли Жоресовны, вероятно, помогли его организму — он немного оживился и мог уже позволить себе продолжительное время не закрывать глаз, мог даже вертеть головой без риска, что его тут же замутит.

По дороге Бенаму рассказывал о структуре корпорации — какие есть подразделения, кто занимает какие должности и к кому по поводу чего можно и нужно обращаться. Бенаму рассказывал целый час, Машенька переводила для Степы, который каждый раз после того, как она шептала ему на ухо всю фразу Бенаму, удовлетворенно кивал головой и говорил по-французски, что именно так он все и понял.

Из всего экскурса у Маши отложилось лучше всего, что старенький Патрик Бенаму, хотя ему уже больше семидесяти лет, сам фактически управляет всем предприятием, являясь президентом, и ни одно сколько-нибудь серьезное решение не проходит мимо него, хотя старший брат Жульена — Франциск, являясь вице-президентом, тоже имеет большое значение, но какое именно, Машенька не поняла. Здесь она запуталась, а переспросить боялась. Ей было непонятно, чем занимается Франциск Бенаму. Жульен, коротко рассказывая о функциях старшего брата, вскользь упомянул о каком-то особенном направлении, и несколько раз подчеркнул, что что Франциск и Патрик, дед и старший внук, вместе управляют предприятием.

\*\*\*\*\*

Окончив вводную лекцию, Жульен Бенаму рулил по знакомой дороге и думал о своем брате. Ничего радостного или светлого не было в этих мыслях. Он был младше на восемь лет, не очень спортивный и совсем не бойкий. Больше всего Жульен любил тихонько играть

в свои кукольные игры, а еще он любил мечтать, лежа в своей кровати и отвернувшись к стене. Они спали в одной комнате, и Жульен, перед тем как заснуть, обязательно должен был попредставлять себе всяких необыкновенных и магических приключений, как бы поиграть в них про себя. Это было нужно, чтоб отогнать злых и опасных чудовищ, уже готовых, как только выключат свет, напасть на маленького мальчика, а возможно, и на его старшего брата. Играя так, он, сам того не замечая, начинал тихонько озвучивать сцены, возникающие у него в голове. Жульен старался делать это очень тихо, едва открывая рот, но Франциску это шипение, доносившееся из дальнего угла комнаты, всегда мешало спать. Сначала он несколько раз требовал чтобы Жульен заткнулся, потом кидал в него тапки, сначала один, затем второй... Каждый раз Жульен умолкал на некоторое время, а потом опять совершенно незаметно для себя начинал играть, и это в конце концов приводило в ярость старшего брата. Тот вскакивал, срывал с Жульена одеяло и хватал его за шею — он всегда старался схватить брата именно за шею, за самое горло и сделать при этом такое лицо, что маленький мальчик вовсе не был уверен за сохранность своей жизни через минуту. Так, прижимая перепуганного, лежащего перед ним без одеяла в одних трусиках младшего брата за горло к кровати, Франциск, стискивая зубы, говорил неопровержимые и справедливейшие вещи о том, что Жульен живет в его, Франциска, комнате и обязан считаться с его интересами, и еще, что Франциску в отличие от маленького бездельника Жульена, сидящего целыми днями дома, завтра в школу, и он не может быть невыспавшимся из-за того, что маленький полудурок никак не может нашипеться в течение дня и продолжает этим заниматься еще и ночью! Жульен соглашался со старшим братом и изо всех сил старался играть беззвучно или почти беззвучно, но он никак не мог не доиграть совсем, потому что тогда защита от ночных злодеев была бы недостаточной! Как-то раз, когда Жульен еще не заснул, но играл совершенно молча, про себя, и не мешал брату, он услышал какие-то странные, повторяющиеся звуки, перемежающиеся с тем, что Франциск, как будто задерживая надолго дыхание, потом глубоко и прерывисто вздыхал, это было немного похоже на всхлипывание и было очень странно, потому что Франциск не плакал никогда и презирал плакс. Тихонько повернувшись, он заметил, что кровать брата как будто дрожит и одеяло шевелится в такт дрожания кровати. Жульен испугался и окликнул Франциска, просто чтоб узнать, все ли нормально и не нужно ли позвать родителей... Франциск, какой-то запыхавшийся, немедленно высунулся из-под одеяла и повернулся к брату с таким перекошенным яростью лицом, что Жульен уже приготовился получить ужасную взбучку. Но брат отчего-то не стал вылезать из-под одеяла, но почти с рыданием в голосе и потрясая сжатыми кулаками говорил, как он ненавидит Жульена за то, что тот не дает ему жизни и везде его преследует, и что день, когда Франциск станет жить один, станет самым счастливым днем в его жизни, а пока он не живет, а страдает из-за этого маленького подлеца. Тогда Жульен ничего не понял, но наутро за завтраком, когда вся семья была в сборе, он попросился у родителей спать в отдельной комнате, оттого что он уже не так боится спать один и к тому же не хочет мешать брату Франциску трястись... Мама и папа очень смеялись тогда, бабушка почему-то не смеялся, а старший брат с грохотом вскочил из-за стола и убежал, бросив на Жульена кошмарный, уничтожающий взгляд, хотя Жульен ничего плохого тогда сделать не хотел. Мама встала и пошла вслед за Франциском — его утешать, а папа еще посмеялся и, весело сказав бабушке, что старший мальчик уже становится большим, пообещал Жульену отдельную комнату в самое ближайшее время. Жульен тогда не понял, почему трястись ночью — значит становиться большим. Как-то вечером он тоже попробовал потрястись на своей кровати, уцепившись руками за изголовье, но так быстро, как у Франциска у него не получалось, и, честно говоря, он быстро устал от этого утомительного и глупого, по его мнению, занятия.

Через несколько лет, когда Жульен впервые поехал в летнюю школу и узнал о приятных возможностях аутоэротической активности, он вспомнил тот случай, и ему стало стыдно перед братом. Он отчасти понял все раздражение, которое вызывал у Франциска, и понял причину его злых и жестоких поступков. И Жульену стало грустно из-за того, что такая ерунда послужила основанием для их взаимной вражды. Если бы тогда Франциск сказал ему в чем дело, Жульен даже родителям не стал бы говорить и вел бы себя гораздо тактичнее. Но между братьями Бенаму никогда не было такого доверия.

\*\*\*\*\*

Вообще жизнь их семьи делилась на две части: до тех пор, пока родители были еще живы, и после того, как их уже не стало. Жульен тогда очень плакал, а Франциск сказал брату, чтобы тот не разводил девчоночьих соплей и вел бы себя как мужчина, а потом, когда Жульен все равно не мог остановиться, зло дернул его за руку и сказал, что он терпеть не может, когда парни ревут, и если Жульен не остановится, то Франциск будет всю жизнь считать его бабой. Если бы в тот момент не подошел дедушка и не заступился за младшего внука, неизвестно, чем бы дело кончилось. А дедушка обнял Жульена, прижал к себе и сказал, что когда у мальчиков умирают родители, то плакать можно столько, сколько хочется. Дедушка тоже плакал тогда. Маленькому Жульену было всего восемь лет, а Франциску шестнадцать. В тот день брат в первый раз напился, его глаза сделались стеклянными, ничего не видящими и очень страшными — Жульен от страха даже заперся на ночь в своей комнате и все равно долго не мог уснуть. Потом Франциска выгнали из школы, он связался с наркоманами, попал в тюрьму и шесть месяцев отсидел.

Жульен очень переживал, но не мог не чувствовать облегчения, когда его родной Франциск переместился из соседней с ним комнаты в тюрьму. Было очень стыдно так думать и так чувствовать, он посылал брату письма, посылки и один раз даже ездил к нему вместе с дедушкой. Франциск тогда сказал им, что начинает новую жизнь и что хочет учиться, но подальше от дома. Освободившись, Франциск уехал в Америку, там поступил в университет, окончил его, начал работать. Жульен рос без него пять лет, потом брат приехал домой и не один а с женой - очаровательной американкой. Это был уже совершенно другой Франциск. Он не задибался и не обижал Жульена, он стал воспитанным и очень умным. Все окружающие хвалили Франциска и говорили, как колледж и университет благотворно повлияли на характер этого молодого человека. Его ставили в пример Жульену как успешного, умного и сильного, давая понять, что младший Бенаму этими замечательными качествами не очень-то располагал. Только один дедушка не очень радовался, а внимательно присматривался к своему старшему внуку и ничего не говорил.

Франциск вскоре защитил диссертацию по экономике, некоторое время он даже преподавал в университете, но потом все-таки решил подключиться к семейному бизнесу. Теперь Франциск вице-президент компании, а Жульен — далеко не самый удачливый региональный управляющий. Супруга Франциска — Джессика, продавая продукцию Бенаму в Америке, приносит компании гораздо больше дивидендов, чем Жульен, и это не только Франциск так говорит, а действительно так оно и есть. Возможно, Жульену достаются не самые удачные регионы, но ничего не поделаешь — дедушка говорит, что если быть настойчивым и последовательным, везде можно поймать золотую рыбку. Дедушка очень любит Жульена, а весь семейный бизнес, собственно говоря, дедушкин — именно он,

вернувшись с войны, где был летчиком-истребителем и сбивал фашистские самолеты, начал с нуля и построил свою компанию, кредитуясь в разных банках, закладывая все семейное имущество и работая по восемнадцать часов в день. Дедушка рассказывал, что почти тридцать лет они отдавали долги, выплачивая в виде процентов банкам существенную часть прибыли. Он всегда смеялся, что заработал состояние не только себе, но и еще пяти-шести банкирам. Теперь компания Бенаму — устойчивая и процветающая, дедушка уже старенький, и Франциск готовится вступить в управление всем, чем владеет семья.

\*\*\*\*\*

На первый день у новичков не планировалось никаких занятий или поездок, только вечером их пригласили на корпоративный пятничный ужин, рассчитывая, что до этого они должны прийти в себя и отдохнуть. Степан и Маша по приезде были препровождены в небольшую гостиницу за городом, где каждый из них получил маленький отдельный номер. Им было объявлено, что в отеле у них оплачено проживание и ежедневный завтрак с ужином, а днем они будут в разъездах по предприятиям Бенаму, и обедать им предлагается вместе с сотрудниками каждого из посещаемых объектов, на что им и выдали командировочные — по сто франков на день из расчета двухнедельного пребывания. Каждый из молодых людей, получив на руки всю сумму, подумал об одном и том же: что постарается не тратить ни копейки из этих денег на глупые обеды в забегаловках, а использует их с гораздо большей пользой. Машенька очень хотела привезти их домой и отдать маме, а Степан... Степан имел на них более неопределенные планы, но «прожирать» такую сумму считал для себя непростительной глупостью. У обоих новичков, пока они в соседних номерах распаковывали вещи, только и мыслей было о том, как бы сэкономить свои командировочные и вместе с тем не выглядеть скопидомом. Машенька размышляла в связи с этим не придумать ли себе особенную диету для похудения, а Степан подумывал приблизительно о том же, но думал сослаться на нездоровье печени и неприятие организмом недиетических продуктов.

Нелли Жоресовне как личному гостю Патрика Бенаму была подготовлена гостевая комната в резиденции президента. Поймав себя на том, что с гораздо большим удовольствием осталась бы с ребятами здесь, в гостинице, она отправилась туда — к своему непонятному дальнему родственнику Патрику, беспокоясь, что и не помнит его совершенно. Когда-то ее мать, любившая рассказывать о прежних временах, упоминала, что Патрик был очень галантным десятилетним кавалером, и когда Нелчке было всего три годика, он безропотно гулял и играл с нею, если их матерям хотелось в свое удовольствие посплетничать наедине.

Нелли Жоресовна попрощалась со своей ученицей, дала ей необходимые и правильные наставления, которые тут же вылетели у Машеньки из головы, и обреченно отправилась на встречу с неизвестностью. Больше всего она боялась в тот момент, чтобы это все не оказалось ошибкой и чтобы Патрик Бенаму оказался именно тем Патриком Бенаму, мать которого была родственницей ее матери, а не каким-нибудь другим человеком, который, узнав о путанице, отправит назад и ее, и Машеньку.

Она везла с собой десяток старых фотографий, где были ее мать, она сама маленькая и мама этого Патрика, которую она даже и не помнила, как звали. План ее был в том, чтобы

сразу по приезде показать эти фотографии потенциальному родственнику и расставить все точки над всеми буквами.

Так она и сделала, как только бодренький Патрик Бенаму встретил ее у подъезда своего загородного дома. Лишь они вошли в двери, она тут же достала фотографии и, честно сказав Патрику, что желает совершенно убедиться в правильности их предположения о родственной связи и близкой дружбе матерей, дала ему посмотреть, потребовав, чтобы и Патрик в свою очередь показал ей аналогичные свои снимки, если они, конечно, имеются у него. Только начав произносить все эти приготовленные заранее фразы, Нелли Жоресовна увидела в стоящем перед ней долговязом пожилым человеке с волевым лицом черты мальчика на фотографии. Заканчивая фразу, Нелли Жоресовна уже жалела, что ее начала, ей было неловко за свою подозрительность, она уже готова была все скомкать, но это казалось ей еще неприличнее, и она договорила, а он внимательно слушал и смотрел на нее почти так же, как тогда, когда шестьдесят пять лет назад мама привела его фотографироваться.

Жульен Бенаму, привезший Нелли Жоресовну к бабушке и наблюдавший за этой сценой, был очень удивлен, когда такая тихая до этого момента пожилая мадам сразу после приветственных слов вдруг строго потребовала от бабушки доказательства их родства, и бабушка сам почти бегом побежал за старым альбомом с фотографиями. А потом они сидели вместе на маленьком диванчике в прихожей, который и предназначен-то был совсем не для приема гостей, а только для переобувания, и рассматривали бабушкин альбом, фотографии пожилой мадам, затем бурно что-то обсуждали, попеременно тыкая пальцами то в один снимок, то в другой, бабушка еще показывал какие-то старые бумаги, а потом... они вместе плакали, и бабушка обнял эту женщину за плечи, и они сидели так какое-то время молча, не говоря ни слова, а все боялись к ним подойти, чтобы не помешать — даже сам Жульен уселся в отдалении и тихонько наблюдал, ожидая, когда можно будет отвлечь бабушкино внимание на себя.

Головной офис компании Бенаму располагался недалеко за городом в маленькой, чистенькой и ухоженной деревеньке. Он занимал целиком довольно большое старинное здание, возможно, служившее в средние века для каких-нибудь административных или хозяйственных целей. Это был не замок, но довольно большой дом, стены которого снизу составлялись из огромных камней, и часть наружной штукатурки нарочно была убрана, как это делают в музеях, чтобы каждый желающий мог увидеть, как раньше строили. Перед офисом располагалась внушительных размеров стоянка, а задний двор составлял прелестный садик, где росли ухоженные деревья и оригинальные, складывающиеся в причудливые формы кустарники. Мощенная камнем дорожка, вдоль которой были расставлены лавочки, пересекала все это живописное великолепие, за которым и зимой и летом следили целых три садовника. В центре садика располагался небольшой и, вероятно, старинный, как и все здесь, фонтан. Внутри помещения были вполне современными, только коридоры, пожалуй, узковаты, проемы дверей непривычно сводчаты, да окна были по современным представлениям маловаты, что делалось еще заметнее из-за невероятной толщины стен, в которых они составляли просветы. Пятничная корпоративная вечеринка предполагалась в столовой, которая была настолько просторна, что легко вмещала человек до ста одновременно присутствующих за столом. В смежной с ней кухне даже осталась старинная печь с вертелом, и, как сказали новичкам во время первичной экскурсии, на Рождество этот вертел использовался для приготовления какого-нибудь особенного блюда, например, молодого бычка.

Гостиница, где расположили стажеров, находилась буквально в ста метрах от этого интересного дома. В назначенный час к ним в комнаты постучался портье и, выведя гостей из отеля, дал каждому карточку-пропуск и показал направление.

До этого момента молодые люди отдыхали каждый у себя и только один раз созвонились, когда Маша проверяла, как работает телефон. Степан не стал сразу напрашиваться к ней в гости и начинать интимные отношения только по двум причинам: с одной стороны, он еще не чувствовал вполне хорошего своего самочувствия, и, с другой стороны, желал немного ее подержать в неопределенности относительно себя, как бы не отказывая, но и не давая окончательного своего решения о их близости. Степа предполагал, что это еще более раззадорит его будущую коллегу и любовницу. Знала бы Машенька об этих странных, совершенно перевернутых соображениях своего соседа, она в ужасе заперла бы дверь и перестала подходить к телефону, а потом вообще, наверное, попросила бы перевести ее в другую гостиницу — подальше от этого больного человека, который любое дружеское расположение воспринимает как сексуальный сигнал в его сторону.

Прогуливаясь вместе с Машей по направлению от гостиницы к офису без всякого сопровождения, Степан предположил, что в корпорации Бенаму любили дать новым сотрудникам самостоятельность, чтобы посмотреть, что из этой самостоятельности получится. Машенька посмотрела на Степана уважительно и подумала, что ей такая простая и умная мысль в голову не пришла.

Они легко нашли то, что было нужно, показали свои пропуска девушке на рецепции, которая куда-то позвонила, и через пару минут за ними спустилась другая эффектная барышня, личный референт мсье Жульена Бенаму. Степан, глядя на этого личного референта, подумал, что существенно недооценивал своего мешковатого шефа, считая его чуть ли не захудалым и второсортным управляющим. Для Савраскина было совершенно очевидно, что неуспешный и малозначимый в компании человек категорически не может иметь такого сногшибательного помощника. До начала корпоративной вечеринки оставалось еще сорок минут, и, реализовывая учебный план Жульена Бенаму, они все это время гуляли по офису.

Девушку звали Жасмин. Степа, все время, даже когда это было совершенно неприлично, пялился на ее выступающие части и старательно представлял, как у нее могут выглядеть части совершенно скрытые. Мадемуазель старалась не обращать на это внимание, Машенька даже хотела сделать Савраскину замечание, но не была уверена, уместно ли это при их не таких еще и коротких отношениях. Потом Жасмин, перехватив очередной Степин взгляд, или точнее прервав его непрерывное наблюдение, довольно резко спросила у Степана, показывая себе спереди на блузку: «У меня что-нибудь здесь не так?» А такой умный и проницательный, как казалось Машеньке, Степан вообще не почувствовал, что ему делают сердитое замечание, а осклабился и с легким двусмысленным поклоном головы ответил, что наоборот, все очень, очень хорошо, и сам засмеялся своей грубой шутке. Машеньке стало стыдно, она постаралась скорее перевести разговор на что-нибудь другое, совершенно отвлеченное от вопросов пола, за что Жасмин посмотрела на нее с благодарностью и, почувствовав в Маше единомышленницу, выразила взглядом совершеннейшее недоумение и возмущение по поводу такой невоспитанности нового рекрута. Машенька так же — взглядом — передала ей, что он не всегда такой идиот, и сама она в недоумении... Так что к концу экскурсии Машенька и Жасмин, найдя общий язык, уже вполне друг другу симпатизировали.

Время подходило к началу общего мероприятия, и Жасмин чуть заблаговременно препроводила новичков в столовую, чтобы они там хоть немного освоились, когда окруженный почти что толпой восторженных сотрудников обоих полов в помещении проследовал Франциск Бенаму. Машенька сразу поняла, что это именно он — старший брат Жульена и вице-президент компании. Вероятно, приходить на корпоративную вечеринку до мсье Франциска было не очень принято в этом коллективе, и приходить после него тоже считалось моветоном, так что почти все сотрудники норовили войти в столовую с ним



заодно, что создавало некоторую стесненность, если не назвать то, что поначалу происходило в столовой, давкой. Степан и Маша получили места невдалеке от стола для руководства и имели возможность наблюдать за всем происходящим с небольшой дистанции.

Очень быстро Франциск Бенаму очаровал их так же как и всех окружающих. Он мгновенно стал центром общего внимания и общего притяжения. К нему подходили все, он сам заговаривал с каждым, кто встречался, многих знал по именам, помнил, кто чем занимается в офисе, у некоторых он даже интересовался здоровьем детей, проявляя осведомленность даже об их именах некоторых отпрысков своих сослуживцев! Степан понял, что мсье Франциск является председателем совета взаимопомощи на предприятии и многим помог в трудной ситуации. Иногда при разговоре с кем-то его лицо становилось серьезным и озабоченным — он что-то записывал к себе в книжечку, строго назначал кому-то аудиенции, если этого нарочито требовала ситуация, но в основном просто болтал и всех веселил. Во всем чувствовалось, что Франциск Бенаму замечательный человек, отличный руководитель и всеми обожаемый вице-президент!

Минут через тридцать после начала к нему протиснулся Жульен, который опоздал, но имел зарезервированное место. Жульен тоже был в костюме, но на его полноватой фигуре костюм смотрелся не так эффектно, он был ниже брата ростом, его улыбка была скорее вымученная и виноватая, чем искрометная и возбуждающая к бодрости. Когда они находились рядом различие между братьями было такое кричащее и настолько не в пользу Жульена, что Степану стало жалко своего шефа и обидно за него. У Савраскина даже появилась какая-то злость на Машеньку, восторженно поедающую глазами мсье полубога, и на всех этих людей, только и пытающихся расслышать слова своего кумира, заглянуть к нему в глаза, а если уж очень повезет, обменяться с ним парой фраз или рукопожатием. Степан считал себя циничным человеком и действительно поддавался любого рода обаянию очень незначительно и кратковременно. Ему тоже нравился Франциск, но он не мог не заметить, как старший брат Бенаму, после каждого рукопожатия тихонечко помещает руку в карман и там, как казалось Степану, вытирает ее обо что-то, как пару раз после своих особенно удачных пассажей Франциск победоносно и эдак по-хозяйски, как-то хищно и безжалостно оглянулся на своего младшего брата. И еще Степану показалось, что даже когда Франциск Бенаму улыбается своей яркой, широкой, обезоруживающей улыбкой, самые краешки его губ все равно направлены вниз, что придает его эффектному, стильному лицу некую дополнительную остроту и загадочный привкус inferнальности. Все присутствующие, похоже, млели от такого специфического имиджа, казавшегося им верхом проникновенности и ума, а Степана эта незначительная деталь в лице у народного любимца почему-то беспокоила и совершенно испортила ему настроение. Бывает так, что какая-либо мелочь незначительная испортит настроение хуже пренеприятнейшего известия, а сам не знаешь почему. Так случилось и со Степаном в этот вечер. Он постепенно невзлюбил Франциска Бенаму и чувствовал себя совершеннейшим изгоем; тем более Савраскин злился, что этот человек будет руководить их стажировкой и, вероятно, многое зависит теперь от него в Степиной судьбе, и как всегда придется изображать к нему фальшивую симпатию.

Часик побродив среди общего веселья, Степан увидел топающего по коридору Жульена, шедшего, вероятно, из туалета, так как марочный пиджак младшего партнера Бенаму был неприлично забрызган, как случается иногда, если в сердцах слишком сильно включаешь воду в незнакомой раковине, и она, стреляя из крана сильнее чем нужно, отскакивает брызгами от кафеля и оказывается у вас на штанах или на пиджаке в зависимости от вашего роста и высоты крепления сантехники. У Степана в таких случаях всегда позорно окроплялись штаны, а Бенаму-младший был пониже — и у него досталось пиджаку. Савраскин остановил деловито топающего шефа и попросил его на пару слов. Жульен, сделав довольно заметную гримасу раздражения, остановился, но попросил Степу

говорить быстрее, сказавшись занятым. Тому и не нужно было много времени. Он просто сказал, что если ему придется работать в компании Бенаму, то он хотел бы работать под началом мсье Жульена и не хотел бы работать под началом мсье Франциска, хотя ничего плохого, естественно, о мсье Франциске сказать не может, но своим начальником считает мсье Жульена... В конце Степа сбился, забыл нужные слова, немного скомкал, но Жульен понял. Он понял и внимательно посмотрел Степану в глаза. Взгляд его был прямой, немного настороженный, но совершенно твердый, а даже и уверенный, совсем не сочетавшийся со всей его рыхлой внешностью, с немного суетливой походкой и чуть-чуть нервными, беспокойными движениями. Степа вспомнил, как Жасмин рассказывала, что их президент Патрик был в молодости военным летчиком, и подумал, что такие глаза, вероятно, были у Жульенова деда, когда тот сбивал фашистские самолеты. Пауза между ними длилась около минуты или чуть менее того, потом Степану было сказано, что в компании Бенаму нет конкуренции между руководством и все они живут, как одна большая семья, уважая друг друга, и совершенно не нужно Степе принимать чью-либо сторону... Затем Жульен как бы запнулся, несколько секунд помолчал и последней фразой, и последним жестом своим отменил все сказанное им минутой раньше. Он только поблагодарил Степана за его слова, крепко-крепко пожав ему руку.

А Машенька в этот момент была представлена мсье Франциску и его супруге. Они уже поговорили, и Маша была в восторге и от вице-президента, и от его обаятельнейшей, умнейшей и интереснейшей супруги. Франциск уделил Маше всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы все остальное время она оставалась под впечатлением. Мсье Франциск не шел у нее из головы, она с удовольствием повторяла про себя все детали их разговора, с замиранием сердца вспоминая, как отвечала ему и как он хвалил ее за эти ответы, и даже сделал комплимент ее французскому и ее внешности. Вблизи взгляд мсье Франциска был прелестно-щекотящий, немного лукавый и всепонимающий, но без всякой угрюмости, а веселый, как бы поощряющий к чему-то. Даже от воспоминания об этом взгляде у Машеньки внутри поднималось непривычное тепло, разливавшееся по животу, по груди и даже иногда заливающее щеки краской. Это ощущение было для нее внове, она никогда такого не испытывала, и когда ощутила его впервые, заглянув в глаза мсье Франциска, то впечатление было такое сильное, что даже голова ее немного закружилась, и она попросила воды, которую Джессика Бенаму и передала ей с поощрительной и понимающей улыбкой. Машенька не знала, что с ней происходит, — она никогда прежде не бывала на таких вечеринках, состояющихся из близких, симпатичных друг другу людей, которые пьют, веселятся, танцуют, прижимаясь друг к другу, даже целуются... И вовсе не обязательно они при этом муж и жена, и даже может быть наоборот — чужой муж и чужая жена, но никто не стесняется, все двусмысленные слова и даже действия переводя в шутку, и воспринимаются благосклонно.

Так прошло несколько часов, мсье Франциск и мсье Жульен уехали, уехали и многие сотрудники старшего возраста, осталась только молодежь, среди которой выгодно выделялась и оставшаяся на вечеринке супруга мсье Франциска мадам Джессика. Она беззаботно веселилась, нисколько не смущаясь своим высоким положением. Ее запросто приглашали танцевать, и из-за ее стола постоянно слышались взрывы хохота, туда носили множество напитков и блюд с закусками, так как бесплатная выпивка и еда уже почти кончились, и теперь каждый мог заказывать себе сам. Машенька уже собиралась найти Степана, который трижды до этого приходил за ней, чтобы идти в гостиницу, но она просила еще задержаться, каждый раз только на минуточку, как мадам Джессика, заметив ее среди публики, встала из-за своего стола и, не отрывая от Маши своего взгляда, прошла к ней через весь зал, взяла за руку и посадила рядом с собой. Она представила находящихся за столом людей тут были, как оказалось, художники, дизайнеры, модельеры тканей, в общем, люди

творческих специальностей. Выглядели они все очень импозантно: у некоторых молодых людей волосы были подкрашены в светлые цвета или маленькие бородки, одежда на всех была чрезвычайно яркая. В другое время Маша, вероятно, подумала бы, что мужчинам не очень-то идет носить желтые рубашки с цветочками и сиреневые брюки в обтяжку на попе, но в той атмосфере все смотрелось прелестно, очень органично и мило. Девушки смотрели на Машеньку с интересом и даже как-то тепло, чуть ли не нежно. Видя ее смущение, все умилялись почти до аплодисментов и, поглядывая на мадам Джессику, делали Машеньке смелые комплименты.

Кто-то предложил пить «Фраппе». Маша не знала, что это такое, но, присоединившись к общему желанию, тоже согласилась, хотя в ее голове и так уже хватало неустойчивости после выпитого вина. Она не видела, как готовили этот напиток французских студентов, а если бы и видела, то все равно ничего бы не поняла, но когда ей подали стаканчик, храбро выпила его залпом, как это делали другие. Она боялась, что он будет горьким, но на вкус это было как шипучий лимонад, целый стаканчик которого легко залился в разгоряченную впечатлениями Машеньку. Степан, наблюдавший за этой процедурой со стороны, видел, как готовилось это пойло, которое все здесь хлестали из граненых стаканов по двести пятьдесят грамм. Эта «амброзия» состояла из смеси водки, сладкого ликера и шампанского, которую, зажав стакан рукой сверху, изо всех сил встряхивали на весу, а потом стакан еще ударялся о стол. От этого удара смесь вспенивалась — тут-то и нужно было ее пить. Когда Степа увидел, что Машка выхлестала целый стакан этой смеси, он поднялся и пошел за ней. Тут он поступил совершенно правильно и своевременно, потому что успел увести Машу из-за стола и довести до туалета еще до того, как ее начало рвать.

Так плохо ей никогда не было в жизни. Сначала ее выворачивало в женском туалете, где, слава богу, никого не было, потом по дороге — в кустах, тогда запасливый Степан дал ей салфетку. Когда они дотащились до гостиницы, Маша невероятным усилием воли сама попросила свой ключ и, стараясь не упасть, дошла от портье до лестницы. На лестнице она закрыла лицо руками и села на ступеньку — идти дальше она не могла. Степану пришлось на себе затаскивать барышню на второй этаж, притом что девушка вообще не могла идти на своих ногах, говорила, чтобы он ее бросил прямо в коридоре и что она хочет умереть. Когда он дотащил ее до номера, Маша еще раз вырвала в туалете, а потом умирающим комочком, закутавшись в покрывало на кровати, сказала ему сквозь стучащие зубы только одно слово: «Уйди...».

Было поздно, завтрашний подъем планировался в семь утра — спать оставалось всего ничего. Степан завел будильник на половину седьмого, принял душ и забрался наконец в вожделенную, мягонькую кроватку, где простыни пахли свежестью, одеяло было невесомым и очень уютным, а еще в его распоряжении было целых три подушки, на одну из которых он лег, другой накрыл голову, а третью просто прижал к себе, как в детстве он прижимал к себе игрушечного медведя.

## Глава 5. О дружбе и взаимовыручке.

Маша, тяжело опершись на умывальный стол двумя руками, смотрела на себя в зеркало гостиничного номера. Между приступами она успевала набрать в ладошку немного

холодной воды, протереть губы и лицо, прополоскать рот и вытереться салфеткой, иногда еще оставалось несколько секунд ужаснуться на свое почерневшее лицо, выражающее одно только отчаянное страдание. Потом из глубины живота снова поднимался неудержимый спазм, и опять начиналась рвота, выворачивающая ее наизнанку. Когда она первый раз проснулась от этого ужасного порыва, была еще ночь. Машенька вскочила и, зажимая руками свой рот, побежала в туалет, чуть не врезавшись в косяк двери, так как прилично еще покачивалась. Она добежала и обильно вырвала в унитаз. После того, как этот кошмар закончился, стало немного легче, она даже решилась прилечь, думая поспать еще. Но как только Маша коснулась головой подушки и прикрыла глаза, в голове все завертелось, и новый рвотный спазм чуть не вывернул все ее внутренности. Через три раза тошнить было уже нечем, она могла выдавить из себя только несколько капель горькой желтовато-коричневой жидкости и мучилась ужасно. Так она провела остаток ночи, под утро легла в постель, решив: будь что будет. Ноги совершенно ее не держали, глаза не смотрели, руки не слушались. Маша устроила разрывающуюся голову на подушке, превозмогла случившийся тут же приступ головокружения, замерла... и через несколько минут почувствовала секундное облегчение — у нее ничего не болело, голова не кружилась, ее не тошнило — это было счастье! Попробовав сменить положение своей головы, она тут же вернула себе все предыдущие симптомы и поняла, что шевелить головой нельзя ни в коем случае. Машенька снова замерла как мышка, полностью расслабила голову, шею, спину, плечи, расслабила все что смогла и сладко-сладко заснула, вовсе не думая, что всего через два часа ей уже придется вставать и начинать свой новый день.

\*\*\*\*\*

От тяжести физического состояния убежденность, что работу она уже потеряла, и уверенность, что все теперь будут ее презирать, отходили на задний план Машенькиного сознания и почти не волновали ее как факт уже совершенно состоявшийся. А если бы она могла позволить себе размышления (совершенно невозможные тогда для ее организма), то, вероятно, выбирая между желанием спать — вот так, когда найдено положение, в котором ничего не болит, и перспективой сохранить работу ценой безжалостного подъема, она предпочла бы спать, потому что в тот момент это было для нее объективно нужнее.

Степан хорошо знал, что поблажки в деле похмельного страдания — прямая дорога в запой, и в им самим определенное время принялся безжалостно ломиться в Машкину дверь. Она долго не открывала, но, вероятно, решив, что происходит пожар или землетрясение, медленно сползла с кровати, завернулась в халат и, немного приоткрыв дверь, высунула туда свое испуганное личико, не утратившее, как показалось Степану, своей свежести даже в результате давеча случившейся интоксикации. Маша сначала не хотела его пускать, потом не хотела идти под душ, а уронила себя обратно в постель, потом не хотела выходить из душа, и Степе пришлось стучаться и угрожать, что он отомкнет душевую дверь снаружи, потом она отказывалась пить предписанные Степаном два стакана воды с аспирином, утверждая, что тогда умрет от рвоты, но, выпив сначала один, а затем и второй, почувствовала себя лучше, хотя и немного испугалась, так как вчерашнее пьяньное состояние на несколько минут вернулось к ней. Она даже вынуждена была присесть на кровать, чтобы привыкнуть к тому, что стало происходить в голове, а потом весело спросила у Степы, чего это он ей подсунул

выпить. С деланым безразличием распутной женщины она заявила, что ей понравилось так опохмеляться, теперь она станет алкоголичкой и судьба ее — умереть от цирроза печени. Степан не давал девушке расслабиться ни на минуту, как только она начинала закатывать глаза и заламывать руки, изготавливаясь присесть на кровать, имея дальнейшей целью улечься, он обрывал ее намерение как мог сердитее, и Маша подчинялась. Еще вчера Машенька не могла представить себе присутствие постороннего мужчины при ее умывании и одевании, а вот сегодня — пожалуйста. Он отправил ее одеваться в ванную, строго сказав, что у нее не более пяти минут, иначе он сам возьмет в свои руки этот процесс. Потом Степа позвонил в ресторан и, восхищаясь своей щедростью, заказал в номер одну порцию чаю с лимоном, решив влить в Машку чего-нибудь горяченького, дабы компенсировать ее болезненную бледность. Ему нравилось все, что происходило, — он был как добрый и очень авторитетный доктор, который мог позволить себе строгость и вправе был требовать уважения. Теперь, как он думал, Машка станет безропотно все ему переводить — и это было хорошо, но, возможно, начнет вообще бегать за ним хвостиком — чего бы ему не очень-то хотелось, так как вчера на вечеринке Степан нет-нет, да и ловил на себе женские взгляды, притом такие, что дух захватывало! А Машка — куда она денется! Ее, как, вероятно, помнит внимательный читатель, он уже считал решенным вопросом и в связи с этим интерес к ней чуть-чуть поутратил.

Было любопытно, что в процессе пробуждения, подъема и экипирования Маша вовсе не реагировала на доводы здравого смысла. Например, когда Степан уверял ее, что никто вчера ничего не заметил и нужно вставать, одеваться и приводить себя в порядок, дабы и дальше не терять баллов перед руководством, Маша совершенно безразличным тоном отвечала, что ей уже все равно, кто и как будет думать о ней, что все уже произошло и еще какую-то бессвязную галиматью... Тогда Степан перешел на другого качества средства убеждения — он просто начинал с нею говорить очень внушительно, почти грубо, и довольно громко, почти окриками, — это на Машу парадоксальным образом действовало, она покорно, хотя и медленно, производила то, что ей предписывалось. Еще пока Машенька принимала душ, Степа подумал, что запах перегара, вполне уловимый в Машинной комнате, совершенно тождественный, что у него, когда он выпьет, что у этой кукольной девочки, и философски заметил сам себе, что, вероятно, это по такой неизбежной причине, все они, как ни крути, один и тот же биологический вид.

Ни мсье Франциска, ни мсье Жульена в первый день не было. Рекрутам, которых сложилась группа около десяти человек, преподавали сотрудники лаборатории качества, которая была огромной, работали в ней человек пятьдесят народу, и площади она занимала — целый этаж. Процесс обучения был продуманным и современным — объясняемые понятия при малейшей возможности показывались на веселеньких слайдах, чтобы даже дебилы могли запомнить, как подумал Степа. Многое давали потрогать, все тексты лекций, уже распечатанные и уложенные в папочки, ждали каждого рекрута для домашнего ознакомления, так что конспект можно было и не вести, но все студенты неумолимо и безостановочно строчили в своих блокнотах, прерываясь только для того, чтоб поднять пытливым и полный преданности взгляд на тетку-преподавателя. Своим зорким глазом Степан заметил, что не только Машенька после вчерашнего вечера мается похмельем, а и многие! И напротив, такие бодрячки, как Степа, сегодня были в меньшинстве.

Все говорилось по-французски и в таком темпе, что Савраскин мог понимать совсем мало, и если бы Маша не переводила, дела его были бы плохи. Но баланс их взаимной пользы при этом сохранялся, поскольку Степану, как обычно, приходили в голову некие любопытные и оригинальные мысли на основании подробного Машенькиного перевода. Первый день был полностью проведен в лаборатории, где ткани испытывались на

всевозможные свойства и заодно рассказывали, какие они вообще бывают — эти свойства. Казалось бы, чего еще можно из этого довольно скучного материала почерпнуть? Все добросовестно записывали какую-то толщину волокон, виды кручения, стойкости к истиранию, устойчивости цвета и множество разных других характеристик, а Степан, воспринимая всю эту информацию немного рассеянно, глазел по сторонам и рассматривал фотографии, развешанные по стенам выставочного зала, где он видел множество людей в огромных помещениях на какой-то церемонии типа вручения Оскара, и в центре внимания Патрика Бенаму, из-за которого частенько выглядывал Франциск, но не такой эпохальный, как вчера, а немного более умеренный, даже и какой-то второплановый и с подчеркнутой почтительной внимательностью к деду, за которой, как Степе показалось на некоторых снимках, просвечивал некоторый плотоядный оскал великолепного внука.

Обед поставил Степу и Машу перед дилеммой: тратить ли деньги в столовой, куда всех организовано препроводили, или придумывать чего-то, не есть и выглядеть двусмысленно. Внутренняя борьба Степана почти сразу закончилась победой аппетита, и он, найдя цены вполне приемлемыми, с удовольствием заставил свой поднос тарелками. Савраскин выбрал себе на обед обширный майонезный салат из картошки, перемешанной с колбасой, тарелочку ветчины с дынькой, ломтиками порезанные помидорчики с нежным беленьким сырком и какой-то ароматной травкой, супчик-гуляш, скорее походивший на густую, почти из одного мяса состоявшую похлебочку, на горячее — огромный кусок мяса, жаренного на гриле, с расплавленным на нем кусочком чесночного масла, два больших стакана газированного яблочного сока, какого дома он вообще никогда не пробовал, и на десерт здоровенный чизкейк и лохань чаю с лимоном. Вся эта объедаловка вместе с половиной длинного французского батона обошлась ему в пятьдесят шесть франков, то есть от выданного на день у него еще осталось тридцать четыре франка, что даже поставило решившегося уже приговорить свои суточные Степана в двусмысленное положение: копить их, эти оставшиеся франки, было вроде бы уже шагом назад и переменной стратегического решения, а тратить как будто было и не на что. Хотя это только так казалось Степе, что не на что. Казалось до первого ужина, на котором выяснилось, что можно сверху обильной бесплатной еды заказывать пиво, вино и еще некоторое спиртные напитки. Тут-то как раз оченьгодились денежки, оставшиеся от обеда. После ужина у Степана не оставалось уже почти ничего, что удовлетворяло его решительность и позволяло считать себя последовательным человеком и не жмотом.

Маша взяла себе в тот первый день только два стакана чая, но не из одной экономии, а и потому, что ей действительно было не очень-то до еды. Они сели вместе и как будто весело обедали. Маша не испытывала неловкости, поскольку тарелок на их столе было предостаточно, и она даже взяла у Степы кусочек хлебушка, который тихонечко скушала с чайком. Приблизительно так они и питались всю оставшуюся стажировку — Маша почти ничего не ела, довольствуясь незначительными завтраками и символическими ужинами в гостинице, а Савраскин уплетал за обе щеки, прожрал почти все свои деньги, но старался по этому поводу не переживать. Вдвоем им было как раз комфортно: они всегда вставали в столовой вместе, и Степе не было стыдно за свое обжорство, он утешал себя, делая вид, что это он берет на двоих, и Машеньке не было неловко, так как она тоже выглядела обедающей и к тому же очень радовалась за Степу и за его аппетит. Маша однажды, набравшись духу, даже предложила Степану оплачивать его обеды пополам, так она чувствовала себя причастной к этому процессу, но Степа покрутил ей пальцем у виска и строго напомнил о ее матери и бабушке. Как будто если бы у нее не было обязательств перед семьей, то оплачивать половину сжираемого Савраскиным было бы Машиной безусловной обязанностью.

Стажировка шла своим ходом. Машей все преподаватели были очень довольны, а вот Савраскин считался неумным, угловатым, медленным парнем, имеющим один положительный признак — дружелюбие, хотя и немного тупенькое, да непосредственность, так свойственную всем дурачкам, даже и не заботящиеся о том, как они выглядят со стороны. Сам же Степан, как всегда, казался себе неотразимым, испытывал к некоторым коллегам искреннюю, хотя и намного высокомерную симпатию, презрение старательно скрывал и, пытаясь разогнать тоску, строил глазки попеременно всем женщинам. Больше всех особ женского пола Степу вдохновляла мадам Джессика. Как не пытался он отводить от нее взгляд, думать о другом, сосредотачиваться на задании, Джессика была предметом его жеребьячих восторгов и вожделений. Степу так и подмывало пялить на нее глаза, тем более что одеты все были крайне демократично, а мадам Джессика во второй день вообще пришла в тонкой маечке с голым животом и признаками отсутствия бюстгалтера, которые Степан всегда вычислял мгновенно и безошибочно. Она держалась легко, была непосредственна и очень жива в движениях — в общем, вела себя как ни в чем не бывало, хотя, как думал Степан, не могла не знать, что в таком виде очень возбуждает внимание и фантазии. Степа этого понять не мог, у него в голове происходило ежеминутное столкновение действительностей друг с другом, он начал уже подумывать, что это он один такой больной идиот и во всем видит сигналы намеренные и двусмысленные, тем более что все остальные вообще на такой туалет преподавателя никак не реагировали, а в направлении Савраскина Маша несколько раз, когда он увлекался, делала ужасные, красноречиво-круглые глаза для его отрезвления.

В перерывчиках все студенты перезнакомились, Маша тихонько рассказала Жасмин о своем ужасном происшествии, и как Степа ее выручил. Жасмин посочувствовала Машеньке и сказала, что в компании у мадам Джессики есть такие гадкие людишки, которых непонятно почему она терпит, а они специально подпаивают новичков, чтобы потом издеваться. И некоторых даже фотографируют в такие моменты.

От своей новой подруги Машенька узнала много интересных вещей, которые тут же пересказывала Степану с огромным воодушевлением, но чаще всего по-секрету. Самым большим секретом оказалось то, что Машенька даже Степе не решалась некоторое время говорить, так как обещала Жасмин, что вообще никому-никому... Но все-таки сказала, хотя уже и поздно вечером — в гостинице, когда Степан без особого, надо сказать, приглашения приперся к ней в гости и начал вести себя двусмысленно и наступательно в интимном плане, что Машеньку испугало, и она, пытаясь его переключить, поведала Савраскину по огромному секрету, что из всех присутствующих на стажировке планировалось выбрать одного человека, которому была бы предложена очень хорошая вакансия, о которой вообще никто не знает. Эта вакансия — работать в Лос-Анджелесе в группе Джессики Бенаму и какая-то работа очень интересная и с очень хорошей зарплатой плюс проживание и все условия. Мало чего известно о подробностях, но по некоторым признакам Франциск эту вакансию только недавно организовал, с большим трудом убедив дедушку Патрика в ее необходимости, и из этой новой группы рекрутов, похоже, хочет кого-то себе забрать, и теперь они вместе с Джессикой выбирают, кого.

Степа сначала воспринял эту новость без энтузиазма, ему и на Родине постоянная работа в компании Бенаму казалась вполне замечательной и перспективной, и потом он же сам подошел тогда к Жульену и поклялся в вечной верности. Только этот Жульен теперь пропал неизвестно куда... Себя Степан на эту супервакансию никак серьезно не рассматривал, о чем он Машке и сказал, расслабленно растягивая слова и с безразличным выражением на лице, но при этом задумался и приставания свои прекратил на некоторое время. Маша в унисон ему ответила, что и ей тоже совсем не хотелось бы уезжать в какую-то Америку, тем более у нее мама и бабушка дома, и от добра добра не ищут, и как приятно

осознавать, что чего-то для других невероятно вожаделенное для них обоих — совершенно безразлично и вовсе не трогает душу.

## Глав 6. О борьбе с искушением.

Придя в свой номер, Степан, лежа уже в постели и приняв душ, даже и почитав на сон грядущий, никак не засыпал. Савраскин лежал и представлял, сколько хорошего могло бы случиться в жизни, достанься эта вакансия ему. Он прикинул, что зарплата там может быть никак не меньше пяти тысяч долларов, и он мог бы целую тысячу посылать домой, притом и жена, и теща были бы счастливы величиной этой суммы и не только перестали бы в отношении него произносить обидные вещи, но и думать принялись бы по-другому, почувствовали бы наконец настоящую благодарность к нему, как к кормильцу и главе семьи, пусть и к отсутствующему, но благодетелю. Но даже и не их мнение здесь было бы определяющим, потому что имей Степан возможность им целую тысячу ежемесячно отдавать, то сам себя он перестал бы воспринимать как человека чем-то обязанного, почувствовал бы себя сполна рассчитавшимся с долгами и обрел бы наконец внутреннюю свободу, которой как хотел, так бы и распорядился. И никто тогда не смел бы его попрекать и воспитывать, хотя бы и дружелюбно, хотя бы для его же пользы! Все! Он сам бы кого хотел воспитывал и при желании пенял и попрекал бы так же дружелюбно и беззлобно — по-свойски за всякие мелочи, а его обязаны были бы и жена, и теща внимательно выслушивать, а отмахиваться бы от него не смели!

Учитывая дороговизну капиталистической жизни, еще тысячу он прикидывал тратить на себя. Каждый месяц при этом откладывалось бы тридцать новеньких сотенных, притом что оставшееся он потихоньку расходовал бы с осмотнительностью, но без скарденности, и позволил бы себе наконец отключиться от непрерывно присутствующих мыслей о деньгах. А ведь при его скромных запросах, удовлетворив за первое время самые острые потребности, и с этой тысячи что-то могло бы постепенно откладываться, и вот уже в его копилке с каждой новой зарплатой чуть больше денег прибавлялось, а он бы знал, что спокойно может их потратить на себя, поскольку именно для этой цели эти суммы и предусмотрены, но не тратит их, и не потому, что экономит и отказывается от необходимого, а потому, что не хочет.

Целые три тысячи ежемесячно могло бы оставаться для чистого накопления, из которого мог бы произрастать его собственный капитал. Получалось в год — тридцать шесть тысяч, то есть всего три года — и он мог бы стать обладателем капитала в сто тысяч долларов, купить на эти деньги ресторанчик, магазинчик или еще что-нибудь, по крайней мере, приносящее процентов тридцать в год от вложенных денег, и, ничего не делая, получать по две с половиной тысячи долларов ежемесячно! Он вообще мог бы не работать, а делал бы что хотел. Первый раз в жизни Савраскину пришла в голову мысль, что он реально близок к тому, чтобы стать богатым человеком. Не из тех богатых, чье богатство заключается в новом телевизоре или в модном магнитофоне, поставленном в «Жигули» последней модели. А по-настоящему богатым человеком, имеющим свое собственное состояние! А ведь можно и не три года поработать, а десять лет, например, и не сто тысяч заработать, а триста, или если зарплата будет увеличиваться, то, может быть, и пятьсот — полмиллиона долларов! Степан даже вспотел от таких мыслей, от близости такой колоссальной перемены в его



жизни, от такой осязаемой возможности того, чтобы все ЭТО случилось с ним, именно с ним — с Савраскиным. Мысли Степана скакали лихорадочно, он продолжал подсчитывать, что сейчас ему двадцать шесть, и через десять лет ему будет всего тридцать шесть лет! Еще вся жизнь будет впереди, и он уже станет богатым! О-о-о, он не будет транжирить свое богатство на всякие глупости, как это делают жалкие, случайно разбогатевшие людишки. Не станет покупать огромные квартиры, яхты, машины и прочие атрибуты самодовольных и неуверенных в себе нуворишей, только и старающихся доказать окружающим, что они успешны и богаты. «Они делают так, потому что сами не считают себя богатыми по-настоящему, им необходимо через окружающих, через восхищенных прихлебателей доказывать себе свое богатство, но тем самым они богатства и лишаются, приобретая только глупые и ненужные атрибуты, уничтожающие их средства», — так радостно нашептывал Савраскин сам себе и с кристальной ясностью и полной уверенностью чувствовал, что сам он такой глупости не допустит, что сам он вообще не станет больше тратить на себя. Он останется жить так, как и сейчас живет, потому что это совершенно нормально, комфортно и достаточно для человека в себе уверенного, для человека, которому никому ничего не нужно доказывать.

Еще он думал о дочери, как приезжал бы домой — раз в полгода, например, повидаться, иногда дочь приезжала бы к нему на каникулы, и он бы водил ее везде, они бы гуляли вдвоем... «Ради такой жизни можно было бы десять лет кайлом махать», — говорил себе Степан, размышляя, что ничего такого на свете нет, что заставит его от этой идеи отказаться. На все он готовым себя чувствовал и уже представлял себе, как они с мсье Франциском вместе делают разные делишки, и он, Степан, становится у мсье Франциска главным доверенным помощником, потому что нет такого задания, которого не смог бы выполнить Степан Савраскин! Он представлял, как влияние его в компании Бенаму растет и как он будет такой же красивый и обаятельный, как мсье Франциск, и уже не один Франциск, а оба они будут так же эффектно входить на разного рода собрания, Франциск чуть впереди, а Степан чуть сзади, но всегда вместе, а мадам Джессика... Дальше у Степы в фантазиях составлялась небольшая путаница, то он представлял Джессику своей любовницей, но было неловко перед мсье Франциском, если они будут уже почти друзья. То он представлял платонические отношения с нею, состоящие из взглядов и вздохов, из случайных прикосновений, но и это не очень нравилось. Комфортно легла на Степину душу фантазия, что мсье Франциск оказывается гомосексуалистом или импотентом и не возражает, а даже и поощряет его — Степу, к связи со своей женой, имея сам юных любовников или находя удовлетворение в чем-нибудь другом. Но тут сама собой мысль перемещалась в область не очень комфортную, хотя и допустимую, что и он, Степан, мог бы стать предметом вожделения мсье Франциска и как это могло бы быть... а может, они стали бы жить втроем... Эта последняя мысль Степу обожгла своей универсальностью, в ней все составлялось вместе и все замечательно соединялось, не нужно было никого обманывать, и все они были счастливы вместе, втроем, к тому же это так заводило Степу, что он незаметно дал себя волю своим ручкам под одеялом и продолжал представлять себе разнообразнейшие варианты...

Дыхание у Степы прерывалось, он иногда чуть не сквозь туман ловил себя на том, что так долго он никогда еще не задерживал в себе воздух... было сделано последнее напряжение, и приятное чувство начало разливаться снизу вверх... затем наступило облегчение. Сразу появилась некоторая ломота в паху и родилось неприятное жжение в месте его сладострастных манипуляций, следом пришли досада, маленькая гадливость и стыдность самому себе. Он подумал, что, слава Богу, это только внутри одной его головы и больше никто ни о чем не узнает, а лучше было бы и самому забыть...

То, что двадцать секунд назад казалось привлекательным, сделалось противным. Вспомнились неприятные руки Франциска Бенаму, его не очень ровное лицо, его влажные губки и щетину на щеках, вспомнил, как он, закончив жевать, языком вычищал у себя между зубами, вспомнил запах его резкого парфюма, вероятно, отбивающий какую-нибудь мужскую вонь, вспомнил его ляжки и зад, охватываемые легкими брюками — все это было мерзопакостно. Степа встал и, стараясь не дотрагиваться руками до белья, пошел в ванную, тщательно смыл следы своих стараний, улегся обратно в кровать и, продолжая чувствовать ломоту и небольшое жжение, честно принялся засыпать.

Но счастье заснуть пришло к нему только после того, как он трижды еще повторил вышеописанную процедуру с самого начала. Каждый раз он не успевал уснуть, как постепенно представляемые им картины вновь приобретали вожделенные очертания, снова они обретали соблазнительную прелесть, приходило возбуждение, и все более и более разнузданные фантазии заполняли его голову... Потом, когда все кончалось, снова становилось физически неприятно. Моральных угрызений уже не было, просто думать ни о чем не хотелось, но уже вместо сладостных ощущений сразу являлась ломота, и все обрывалось вообще без ожидаемого телесного наслаждения, уже он обнаружил потертость на своей крайней плоти и больно было вообще касаться до нее, когда, зло подумав, что Машка дура и могли бы с ней так хорошо провести время, а вместо этого такое идиотство у него приключилось, уснул наконец-таки, совершенно измучив себя.

\*\*\*\*\*

Наутро Степан уже размышлял о новой вакансии как о совершенно нужной и даже необходимой для себя вещи, с Машкой стал держаться любезнее — на всякий случай. Не имея пока никакого определенного плана, он принялся высчитывать шансы окружающих, сравнивать их со своими, ждать и непрерывно думать, надеясь не упустить возможности.

К мсье Франциску Степан теперь стал испытывать искреннее и даже раболепствующее восхищение, он старался заглянуть ему в глаза и улыбнуться лишний раз, но не был ни разу обласкан и считал это несправедливым. Степан видел, что не блещет успехами в изучаемых предметах, но уверен был, что его козырь не в этом, а в преданности и в безотказности. Только как бы заявить о таких своих замечательных качествах, которых, по соображениям Савраскина, и искал мсье Франциск, а он, Степа, имея их в избытке, не имел возможности свой потенциал продемонстрировать. Он подумывал уже, улучив время, подойти к мсье Франциску и рассказать ему все начистоту, сказать, как ему хочется получить эту вакансию и очень-очень попросить, возможно, даже униженно попросить... Конечно, этим он подвел бы Машку и эту секретаршу Жульена, но зато сразу показал бы будущему шефу свою окончательную преданность. Этот вариант был плох только тем, что не казался ему элегантным, и он решил держать на самый последний момент, а сам продолжал ждать случая. Дни проходили в смятении.

\*\*\*\*\*

Один из классов, в которых занимались рекруты, был оборудован так называемым зеркалом Гизелла — это означало, что одна из стенок кабинета была зеркальной и за ней была еще небольшая комнатка, находясь в которой, можно было, оставаясь невидимым, наблюдать за происходящим, чтобы не мешать процессу тренинга, а потом, собираясь вместе, делиться впечатлениями и с той и с этой стороны.

Все неожиданные и неконтролируемые вещи всегда начинаются с забывчивости или глупой случайности. Так произошло и у Степана. Угораздило же его в один из вечеров забыть за зеркалом Гизелла свою паршивую учебную тетрадку, которую он никогда и не читал дома, но тетради выдали в самом начале учебы каждому по одной, они были, так сказать, частью реквизита, а еще ему не хотелось, чтобы ее нашли уборщицы и принесли к руководству — мол, полюбуйте, какие у вас аккуратные студенты! Тем более Степа там делал некоторые замечания на полях об учителях, которые могли бы им не понравиться. Он решил быстренько сбегать и забрать то, что ему принадлежало. Часом позже он тысячу раз произнес себе, что никогда не нужно нарушать заведенные порядки и делать что-то непредусмотренное. Но это было часом позже, а сейчас Степан, поужинав, топал себе от гостиницы в офис и испытывал даже некоторое трепетное состояние чувств от того, что идет туда один, вечером и во внеурочное время. На рецепции он честно объяснил причину своего появления, его пропустили, но сказали, что необходимо найти мсье Франциска, который находится в офисе, и попросить у него ключи. Степа обошел все известные коридоры, он даже позволил себе тихонько позвать мсье Франциска вежливым голосом, так как в офисе была полная тишина, но и тут никто не отозвался. Тогда огорченный Степан, думая, что теперь его вообще все будут считать за тупицу, неспособного даже найти человека в десяти пустых комнатах и элементарно забрать забытую вещь. Какой из него тогда на фиг продавец или менеджер? Наудачу Савраскин потопал к той двери, за которой ему и нужно было очутиться, машинально дернул ручку... и дверь отворилась! Степа еще раз постучал, даже крикнул из деликатности, потом вошел, немного робея, но постепенно решил, что раз здесь никого нет, а дверь не заперта, он просто возьмет тетрадку и выйдет, а на рецепции все объяснит. За стеклом в зеркальной комнате была темнота, это значило, что там тоже никого нет. «И слава Богу», — подумал Степа, еще не хватало за кем-то отсюда тайком подглядывать. Хотя, если кто-нибудь и находился бы в смежной комнате, Степа не подумал бы подглядывать, а мог просто постучаться в дверь и честно обозначить свое присутствие, но никого не было, и обозначаться было не перед кем. Он стал оглядываться и искать свою тетрадь, но нигде на поверхности ее не было. Это казалось Степану странным, ведь он мог оставить ее только на одном из столов. Тут-то ему и нужно было уходить, и наплевать на эту тетрадку, но он начал шарить по ящикам и ничего в них не обнаружил, кроме мусора, а один ящик одного из столов был закрыт на замок. Конечно, не нужно было Степе открывать этот ящик, а он все-таки попробовал его пошевелить руками и немного встряхнуть. Вероятно, стол был отчасти поломан, и после того как Степа потрянул его второй раз, ящичек отскочил, открывшись, при том что язычок замка оставался выдвинут, и как теперь закрыть его назад — уже стало проблемой. Тетрадки там не оказалось. Зато там оказался конвертик, довольно большого размера, который явно не имел к Степану никакого отношения и залезать в который было совершенно не нужно, но Савраскин, конечно, засунул в него свой нос и увидел там то, что через несколько минут заставило его сердце стучать быстрее, ноги его заставило сделаться ватными, а губы его заставило пересохнуть. К Степе пришло сладкое ощущение, что проникаешь в чью-то святая святых, и тебя никто не замечает, и сейчас ты прикоснешься к какому-то огромному секрету! Там были несколько дискет для компьютера и фотографии. Сверху были фотографии старенького Патрика Бенаму в разных ракурсах, в том числе фотографии явно домашние, неофициальные. Было еще некоторое количество неофициальных семейных фотографий Бенаму. Савраскин просматривал их бегло и

задерживался только на тех, где фигурировала мадам Джессика, особенно где она была возле бассейна, или плавала, или просто сидела за столом, или валялась в пижаме на огромной кровати... В основном, кроме верхних, на всех фотографиях была мадам Джессика. Степан листал фотокарточки, задерживаясь взглядом на каждой и потев от предвкушения, он боялся листать быстрее, боялся вытащить карточку не подряд, а снизу, потому что не хотел спугнуть нечто, что на каждой следующей фотографии выражалось сильнее и отчетливее — это была сексуальность поз, нарядов и взглядов мадам. Только что она просто лежала на кровати в пижаме в нейтральных и относительно целомудренных видах, а вот она уже стоит на четвереньках, прогнув спину, и пижама чуть открывает ее грудь, хотя ничего еще и не видно, но лицо у мадам тоже поменялось, оно такое... поощряющее, притягательное и бесстыдное, а одновременно и робкое, но робость эта насквозь порочна и еще больше возбуждает... Потом пошли фотографии в белье, потом вообще исчезла верхняя часть одежды, у Степы чуть не вылезли глаза, когда он увидел супругу вице-президента компании Бенаму, держащую снизу руками свою грудь и как бы предлагающую ее всем желающим... Затем, разнообразно поднимая ножки, на нескольких снимках мадам играла со своими трусиками... Степа боялся поверить своему счастью, но на очередной фотографии мадам, грациозно и шаловливо улыбаясь, стягивала с себя эту последнюю деталь туалета и дальше, лежа на кровати, демонстрировала уже все! На снимках появились некоторые атрибуты и приспособления, предназначение которых Степан мог только предполагать, но от этих предположений во всем его сознании не оставалось больше ничего, кроме одного пульсирующего органа, который сейчас единолично принимал решения, и будь это решение несовместимым с жизнью, оно без секундной задержки было бы исполнено безоговорочно. Фотографий было много, штук пятьдесят или больше, Савраскин рассматривал их минут пятнадцать, не думая, что именно теперь все его будущее ставится под угрозу. Мадам была воплощением соблазна! Степан не удержался и, оглянувшись зачем-то по сторонам, спрятал одну из фотографий себе в карман. Там мадам была крупным планом и в такой позе, которая позволяла видеть гораздо больше, чем на тренингах, а выражение лица ее было сладострастнейшим. Она пронизывала Степу взглядом и была такая бесстыдно зовущая, что не было в тот момент силы, которая заставила бы вернуть эту карточку на место! Он хотел было еще раз просмотреть все фотки, как вдруг в смежной комнате зажегся свет и замерший от ужаса Степан увидел мсье Франциска с супругой. Они вошли и раселись на креслах. Начальство вольготно расположилось в двух метрах от Степана, и он почувствовал, что застигнут, что сейчас его задушат здесь как мыша, а он и не подумает сопротивляться. Все внутри него похолодело, в голове произошел звон, и в дополнение на Степу напал столбняк — он даже фотографии так и держал в руках, не убирая их в конверт! Так он просидел с минуту, пока начало понемногу возвращаться сознание, и Степан понял, что он-то их видит, а они его — нет! У него была надежда тихонько улизнуть. Савраскин покрылся потом еще больше, губы и руки его задрожали, он начал убирать фотографии, лишь изредка поглядывая на них и боясь оторвать взгляд от мсье Франциска и Джессики, ему казалось, что пока он смотрит на них, его не видно, а чуть он отведет взгляд — и зеркало для Франциска и Джессики тоже станет прозрачным! Он кое-как убрал фотографии, но потом вспомнил, что порядок был другим, снова достал, чуть надорвав при этом конверт, и принялся переключать, смотря уже только на конверт и на фотографии и теперь, наоборот, боясь поднять глаза, потому что казалось, он увидит там устремленный прямо на него страшный взгляд! Один раз он увидел этот взгляд! Степа весь сжался и хотел уже виновато заплакать от отчаяния, но взгляд Франциска только скользнул по Савраскину и миновал его. Он там, в комнате, смотрел на себя в зеркало! Степа вытер пот рукой, аккуратно положил конверт так, как он и лежал, теперь оставалась одна проблема — закрыть ящик. Для этого нужно было его тряхнуть еще раз, но звук... Этот звук неизбежно был бы слышен в соседней комнате!

Савраскин, отдуваясь, сидел и не знал, что делать, глядя исподлобья на господ Бенаму в соседней комнате. А там, по сути, не происходило ничего интересного, просто Франциск с Джессикой были наедине, без кого-либо из зрителей, как им, по крайней мере, казалось! Но насколько иначе выглядели эти два человека! Джессика сбросила туфли, стянула носки и выложила на стол свои ноги, с некрасивыми отпечатками от резинок. Потом она принялась рассматривать на ноге большой палец, сильно наклонившись к нему, и чего-то усиленно ковыряла там, внимательно рассматривая, потом повернулась к Франциску и, судя по жесту, позвала его, но мсье Франциск, сделав откровенную гримасу отвращения, и не подумал прийти на помощь, а Джессика на это высказала ему что-то, имея очень недовольное и сердитое лицо, сделавшееся вдруг простым и совершенно неинтересным. Звука их голосов Степа не слышал — его нужно было включать отдельно, а об этом не было и речи, но вид, поведение этих двух людей сказали Степану даже больше, чем, возможно, ему сказали бы слова! Оба они были крайне неприятны и очень как-то похожи в своей неприятности. Они разговаривали, некрасиво открывая рот, и лица их, обращенные друг к другу, выражали такую сложную гамму эмоций, что трудно было сразу понять, что именно является отталкивающим. Эти два человека разговаривали друг с другом, едва сдерживая взаимное раздражение, презрение и ненависть! Чуть погодя мадам Джессика что-то сказала такое, после чего мсье Франциск подошел к ней близко и, сжав зубы, хотел было схватить ее рукой за горло, но она вывернулась, вскочила и, направив на него указательный палец, что-то кричала ему в лицо, брызгая слюной во все стороны, а он с искаженным ненавистью лицом смотрел на нее и улыбался так, что у Степы от этой улыбочки холодело в паху и на всякий случай сама собой сжималась задница. Они орал друг на друга, и Степан решил потрянуть ящик. Он сделал это один раз — не получилось, потом сразу второй, и ящик закрылся! Но именно в тот момент, когда он потрянул его второй раз, сладкая парочка разом замолчала и оба как по команде повернулись в сторону Савраскина. Их лица разом приняли так знакомые Степану культурные, вежливые и располагающие к себе выражения, и мсье Франциск, бросив энергичный взгляд на супругу, улыбнувшись ему в ответ так, как, наверное, улыбаются женщины, благословляя своего мужчину убить давно ненавидимого обоими общего врага. Степа успел только задернуть шторку, закрывающую его одностороннее окно, и, отскочив к другому столу, начал изо всех сил трясти и так открытый ящик, как на пороге появился мсье Франциск. Он был подтянут, как всегда элегантен и собран, под мышкой у него была тетрадка Савраскина.

— Что вы здесь делаете, молодой человек?

— Я только оставил здесь тетрадь, мсье Франциск, мне сказали найти вас на рецепции, я обошел весь офис и даже громко звал вас, а потом решил на свой страх и риск сам посмотреть в этой комнате, поскольку она оказалась открытой...

— А что, вы забыли свою тетрадь в каком-нибудь из ящиков стола? (Тут Франциск подошел к запертому ящику и как бы невзначай проверил, заперт ли он.)

— Конечно, нет, мсье, я, вероятно, оставил ее на столе, но я подумал, возможно, кто-нибудь машинально сунул ее в стол, а в этих ящиках только мусор, и один вот туго открывался, я и возился с ним, и поэтому...

— Поэтому вы решили трясти стол, рискуя разломать его? Столы и стулья, кажется, ваша особенная слабость, юноша!

— Я прошу прощения, мсье Франциск, я не хотел ничего испортить...

— Если я не ошибаюсь, эта тетрадь ваша! (Франциск показал Степе его тетрадку, достав ее из-под мышки и махая фирменной продукцией компании Бенаму у Савраскина перед носом.)

— Да! Я благодарен, что вы нашли ее...

— Я не только нашел ее, но и, пользуясь правом вашего преподавателя и будущего экзаменатора, открыл ее и даже кое-что прочитал из нее. У вас, вероятно, имеется чувство юмора, молодой человек, но чего у вас нет совершенно, так это благодарности и чувства корпоративности. Люди учат вас, отдавая свое время и оставаясь сверхурочно, учат, получая за это мизерные доплаты к жалованью, они относятся к вам как к будущим коллегам, им кажется, что и вы должны испытывать к ним нечто похожее на благодарность и уважение. А вы испытываете, судя по вашим записям на полях, чувства совершенно противоположные, молодой человек!

— Нет-нет, это просто дурацкая школьная привычка, мсье Франциск, я прошу вас...

— Вы не можете меня ни о чем просить! Вы и так один из худших студентов! Вы лодырничаете, вы едва говорите по-французски, вы очень медленно развиваетесь и еще позволяете себе издевательские замечания на полях вашей тетради не только в отношении ваших товарищей, что тоже низко и безнравственно, а и в отношении тех, кто предоставил вам здесь кров, пищу и желает вам только добра! Что вы за человек, Савраскин?! Человек ли вы вообще?!

— Я прошу вас, мсье Франциск...

— Вы будете отчислены и лишитесь права работы в нашем коллективе! Я не стану афишировать ваши опусы, потому что не желаю распространять эту грязь, но учтите, что на экзамене я буду именно к вам очень придирчив, и пройти через это испытание вам, вероятнее всего, не удастся! Если хотите избежать позора и у вас в душе имеется хоть какая-то остаточная порядочность — откажитесь сами от дальнейшей стажировки, вам выдадут обратный билет, и продолжайте работать таксистом. Это гораздо более вам подходит по уровню развития, молодой человек! А сейчас прошу вас убраться вон отсюда, и впредь никогда не заявляйтесь ни в один из офисов Бенаму без разрешения кого-нибудь из наших постоянных сотрудников — это противоречит нашим правилам и нормальным человеческим представлениям о приличиях! У вас есть ко мне вопросы?

— Нет, мсье Франциск, но позвольте мне...

— Я ничего вам не позволю, извольте покинуть эту комнату! (Франциск Бенаму сделал шаг к двери, открыл ее и энергичным жестом выставил Савраскина вон.)

Когда Степан вывалился из комнаты, опустив голову и едва переставляя негнущиеся ноги, Франциск взялся за занавеску, отодвинул ее, увидав уже обутую, при всем параде стоящую жену, задвинул снова, отпер ключом ящик, достал конверт, заглянул туда и бегло просмотрел фотографии. Потом забрал конверт и, бережно спрятав его в своей папке, вернулся к жене, и они тихо и мирно проговорили еще с полчаса, прежде чем вместе уехать домой.

\*\*\*\*\*

Степа приплелся в гостиницу и хотел было улечься в кровать, чтобы вообще ни о чем не думать, а просто отключиться от всего этого несчастья, но, проведя несколько минут в своем номере, он ощутил совершеннейшую невозможность, невыносимость одиночества — ему требовалось с кем-то поговорить, а этот кто-то, по его соображениям, уже спал, вероятно, сном младенца, посапывая в своей постельке. Безжалостно решив нарушить Машкин сон, Степан натянул штаны, накиннул рубаху и, выйдя в коридор, тихонечко постучался в дверь к соседке. Она, оказываясь, не спала, а сама, заламывая руки, ходила по комнате взад и вперед. Увидев Степана, Машенька обрадовалась ему, как спасителю, и, не

замечая сперва его потерянного лица, принялась радостно упрекать его за отсутствие, говорила, что уже раз двадцать к нему звонила и заходила, а его все не было, а он так ей нужен сейчас... Она усадила Степу на стул и хотела было рассказывать ему все произошедшее, но, собираясь с мыслями, она внимательно посмотрела на Савраскина, выдержала некоторую паузу, как бы не решаясь произнести, а потом медленно спросила его: «Что случилось?» При этом ее лицо мгновенно побледнело и стало выглядеть испуганным, даже губы даже начали подрагивать — Машенька никогда не видела Степана в таком состоянии. Она только что была переполнена необходимостью самой выговориться, ей казалось, что ужаснее ее ситуации быть не может, и собиралась искать у Степана помощи и поддержки, но впечатление от его лица моментально вытерло у Маши из головы все собственные проблемы, она вся подалась к Степе, взяла его за руку и с невероятной нежностью и состраданием, заглянув в его глаза, Маша переспросила: «Что случилось, Степочка?» Никогда раньше она не брала его за руку и не называла Степочкой, но сейчас это было совершенно уместно — Степан сидел перед ней как живой мертвец, с остановившимися глазами и таким выражением на лице, что Маша думала уже про самое страшное и еще более пугалась своих мыслей.

Степа попытался ей улыбнуться и спросил в свою очередь: «А ты чего не спишь?», как будто он не слышал все ее прелюдии и до него решительно не дошло, что и у Маши произошло нечто. Она не отвечала, а еще раз настойчиво попросила рассказать, что с ним. Степа вздохнул, поджал губы, поднял вверх брови и глаза, а затем развел ладони рук, так как это делают, показывая неизбежность чего-то, к несчастью, уже произошедшего. Еще минуту он посидел и сказал Машке, что, вероятно, он теперь должен уехать, не дожидаясь окончания учебы, и не сможет работать вместе с ней в компании Бенаму. Машино лицо в эту секунду оживилось, можно сказать, даже просияло, или хотя бы блеснуло радостью! Она закивала головой, будто Степино решение было для нее совершенно естественным и ожидаемым, и через секунду торопливо сказала, что и она тоже собиралась уезжать и именно об этом хотела и сама со Степаном поговорить.

— А тебе зачем? Ты чего, Машка, перезанималась со своими тетрадками?

— Я не перезанималась, Степочка, я все тебе объясню, и ты меня поймешь, я не вижу другого выхода, но у меня-то все просто, неинтересно и понятно, а у тебя-то что? Что случилось?

— А я сегодня узнал от мсье Франциска, что являюсь самым худшим студентом и ко всему прочему еще и бессовестным, и он мне честно сказал, что его экзамен я не смогу преодолеть, и посоветовал убираться подобру-поздорову и продолжить карьеру таксиста, на что я только и способен, с его точки зрения...

— Вот гад! Но он все врет, а меня он... знаешь... сегодня... пытался... даже не знаю, как тебе сказать...

— Чего?

— Того, Степочка! Останьтесь, говорит, мадемуазель, у меня к вам имеется разговор. Усадил меня, сначала за руку трогал, потом как каракатица выше-выше по ручке начал забираться, и лицо такое стало у него противно-противное. Вроде взрослый дядька, а выражение, как у подростка, такое испуганное и одновременно возбужденное, улыбочка такая омерзительная... Я сижу, вообще не знаю, чего делать, как дура, ни сказать ничего не могу, ни пошевелиться, а он встал, обошел стол, прямо ко мне близко-близко подошел, своими штанами чуть ли не ко мне прижался. И представляешь, начал возле моего лица свою ширинку расстегивать!

— А ты чего?

— Дурак ты, Степа, хоть и семью имеешь, и ребенка. Я убежала...

— Надо было ему еще рожу расцарапать...

— Ой, Степочка, не до этого было, куда там рожу расцарапывать, убежала — и то слава Богу! Знаешь, как я боялась, что он меня догонит, а потом боялась здесь быть одна, что он может вломиться сюда, я даже палку подобрала по дороге, на всякий случай. На меня так косились на рецепции! (Машенька чуть-чуть хихикнула.)

— Да, хорошо что ты мне этой палкой не треснула, когда я постучал!

— А я, Степочка, твой стук от других различаю, так что я знала, что это ты...

— Да, неприятно, конечно. Противно. Такая свинья он, вот Жорес не такой! Но ты, Маш, сама тоже виновата...

— Я?!

— Нечего его было глазами есть, как мороженное, и любовно на него засматриваться... Ты, Маш, иногда действительно ведешь себя так непосредственно, что разное можно подумать...

— Что ты, Степа, что ты говоришь, я вообще ничего такого в мыслях не держала, у него же жена... (Степан хотел тут же рассказать про то, как мсье Франциск общается с женой без свидетелей, но не стал.)

— Нет, Маш, конечно, я его не оправдываю! Тем более так, по-хамски! Если бы он там... поцеловал тебя или обнял... или погладил как-то... а то сразу хер свой человеку в рот запихивать, как будто здесь все только и мечтают приобщиться к счастью его леденец попробовать. Скотина он, конечно.

— Савраскин, ты что, идиот? Мне не надо, чтобы он меня гладил, целовал и вообще я видеть его не могу, этого извращенца...

— Ну, Маш, по сегодняшним временам он тебе ничего извращенческого и не предлагал, по-сути, я думаю, он настоящие свои фокусы чуть позже бы тебе продемонстрировал, если бы ты согласилась... (Степа говорил это все с ухмылочкой бывалого человека, а Машенька слушала, в ужасе округлив глаза.)

— Степочка, не надо больше об этом, пожалуйста, я не хочу это слушать. По мне — он настоящий извращенец, и все. Теперь мне придется уехать, я только не знаю, как объяснить Нелли Жоресовне...

Дальше Степа с Машенькой проговорили полночи, три раза заказывали чай, и все это время Степан убеждал Машу, что ее происшествие не стоит того, чтобы так окончательно менять свою жизнь, а Маша, выслушав от Савраскина все, что касалось его тетрадки и разговора с Франциском, в свою очередь убеждала Степу не уезжать, а говорила, что экзамен принимает еще и Жульен, а он к Степану хорошо относится, и что шанс тут есть, а раз есть шанс, то нужно бороться.

Так они друг друга уговаривали, сидя рядом в одной комнате, и ближе к утру Степа, подчиняясь не мыслям своим, но чувствам, подчиняясь какому-то порыву, ему совершенно непонятному и поднявшемуся изнутри нежданно-негаданно, поцеловал Машеньку, а она, чуть помедлив, ответила ему, сама не зная, что делает, и стараясь не думать ни о чем. Степа целиком отдался своему восхитительному чувству, и они целовались долго-долго, губы у нее были мягкие, теплые и нежные, она так доверчиво раскрывала их навстречу Степе... Самые прекрасные ощущения и мысли переполняли его! Все получалось совсем не так, как он думал об этом, но получалось еще лучше! Так было хорошо, легко, комфортно, светло, как-то непакоствиво, а именно хорошо! Степан нежно гладил Машеньку, он, бережно трогая ее плечи, руки, грудь, думал, какая же она замечательная, думал, что он никогда не встречал такой женщины в своей жизни и что он хочет всегда с ней сидеть вот так — целовать ее, обнимать, ласкать и шептать ей на ухо то, что он сейчас еще не решается ей сказать. А еще было желание отдавать... Степа сам не знал, чего отдавать, не понимал, что это такое было, что это лилось из него в нее, наполняя обоих возвышенной легкостью, силой и светом! Он хотел отдавать все... и так было хорошо от этого!



Прошел почти час, прежде чем Степан, подогреваемый очень определенными уже желаниями и соображениями, что нужно куда-то продвигаться в отношениях, предпринял попытку Машеньку раздеть, но она, как бы мягко очнувшись, нежно отказала ему, сказав, что не готова сейчас и не может так сразу. Еще она сказала, что ни с кем не целовалась так замечательно и что, наверное, Степа прав, и она очень испорченная, так как позволяет себе целоваться с женатым мужчиной, но ей совсем не стыдно, и она не знает почему... Потом они хохотали, еще целовались. Маша сказала, что, может быть, завтра у них что-нибудь и получится. Степа просил сегодня, бубнил что-то про ее жестокость, а Машеньке было весело, как такой большой и умный Степа превратился в такое забавное существо, похожее на теленочка, и все время только и норовил ткнуться в нее своими губками...

Они решили не уезжать, а держаться вместе — так Машеньке было не страшно, находясь вроде как при мужчине, и Степан решил, что будет заниматься вечерами, и ничего нет сложного в том, что они проходили, и все он прекрасно сдаст. Несколько раз Савраскина подмывало рассказать Машке про фотографии и про чуть ли не драку между благородными супругами, но он решил подождать пока. Мало ли чего.

Прежде чем уснуть, Степа рассматривал украденную у мсье Франциска фотографию. Вообще-то он достал ее, чтобы порвать и выкинуть в унитаз. Он достал карточку, и сначала призывно изгибающаяся на ней мадам Джессика не вызывала у Степана особенных эмоций на фоне нежной и уже любимой Машеньки, занимавшей все его мысли. Степа даже смотрел на нее с некоторым чувством превосходства и победительности, ему было наплевать! Ему ЭТО было не нужно сейчас, он хотел уже другого! Но постепенно грязные мыслишки как маленькие юркие змейки начали проникать в него, и уже он улегся с этой фотографией в кровать, и уже Машенька постепенно стала действующим лицом его разнообразнейших фантазий вместе с мадам Джессикой...

\*\*\*\*\*

Наутро следующего дня Степан захотел сделать Маше приятное. На свои обеденные деньги он заказал ей в номер завтрак, и сам вошел следом за официантом, довольный, как медный таз. Она уже встала, была одета и прибрана, весело и чуть смущенно смотрела, как в ее комнату вкатывали столик, сервированный завтраком на две персоны. Когда официант, получив причитающееся, удалился, Машенька нежно поцеловала Степу, он хотел было большего, говоря, что завтра уже наступило, но она резонно, но очень нежно заметила, что нужно скорее кушать и идти на занятия. Так и пришлось поступить. И Степе, и Маше было немного тревожно, но вдвоем, подбадривая друг друга, они добрались до своих учебных классов и влились в группу стажеров. Казалось, все шло невинно и благополучно — занятие двигалось своим порядком, никто не подавал никаких видов, хотя лекцию сегодня читала мадам Джессика, а мсье Франциск несколько раз заглядывал и со всеми здоровался. Во время общего приветствия Степа и Маша, сидящие рядом, опустили глаза и ничего не сказали в отличие от всех остальных, широко расплывшихся в улыбках и бодро произносящих слова приветствия.

Перед обедом мадам Джессика отозвала Машеньку в сторону и, коротко о чем-то ей сказав, передала своей студентке небольшую открыточку. Машеньку от этого разговора всю перевернуло, ее лицо заострилось и посерело, она замотала головой, жалко улыбаясь, не в состоянии подобрать слов, на что мадам Джессика, покровительственно глядя на нее, подняла руку и тихонько ущипнула Машеньку за щечку двумя пальцами, а потом еще

погладила по плечу и по руке. Маша отдернулась, посмотрела мадам прямо в глаза и со всей возможной твердостью вернула ей карточку, сделала поклон и, вежливо извинившись, отошла. Придя в столовую, она под села к Степе и чуть не плача сказала, что ее сейчас пригласили домой к мсье Франциску и мадам Джессике, и мадам говорила, что им необходимо поговорить, а сама смотрела на нее точно так, как вчера на нее смотрел ее муж! Маша чуть не плакала и сказала, что, конечно, отказалась, но, судя по всему, ничего не закончилось, и нужно ей все-таки было уезжать, и она не знает, что теперь будет... Степан нахмурился и ничего не ответил, кроме того, что если будет совершенно невыносимо, то необходимо будет разыскать Жульена, а еще лучше Нелли Жоресовну, и все им рассказать. Маша с ужасом воскликнула, что она никогда не сможет никому рассказать о том, что произошло, и умоляет Степана об этом молчать и вообще забыть, так как это невыносимо стыдно для нее, а сейчас, собственно говоря, о чем ей рассказывать? Что ее домой пригласили, ну и что из этого? Что по ручке погладили, ну и подумаешь? Маша мотала головой, лицо ее делалось суровым, и это было даже забавно, поскольку это лицо вовсе никогда не бывало суровым, и теперь это смотрелось как будто трехлетний ребенок пытается хмурить бровки и строго смотреть на окружающих его дядь и тетю.

Настроение было испорчено, она едва досидела до конца занятий и хотела скорее бежать со Степой в гостиницу и там запереться в номере, и даже не ходить на ужин, вообще носа никуда не показывать. Степану, честно говоря, тоже хотелось припустить бегом из этого классного помещения, но сохраняя достоинство, он не торопясь собирался, пытаясь непринужденно болтать и быть любезным для окружающих.

Маша ждала его уже около пяти минут, когда пришла девушка с рецепции и пригласила Степана в кабинет к мсье Франциску Бенаму, который с ее слов ждал его уже сейчас, и она пришла с намерением проводить мсье Степана Савраскина к мсье Франциску Бенаму. Маша вся впиалась взглядом в эту женщину, пытаясь понять, что нужно им всем от Степы и почему их не оставят в покое. Она чувствовала на душе что-то тяжелое, но что можно было сделать?! Маша только спросила у дежурной, как та думает, надолго мсье Франциск вызывает Степана и стоит ли ей его ждать, на что последовал неопределенный ответ, но как было сказано, мсье Франциск обычно не проводит встречи за пять минут и Машеньке лучше идти, поскольку все классы сейчас будут закрыты. Маша и Степан обменялись только им понятными взглядами, и Степу повели к Франциску, а Машенька пошла домой одна.

У мсье Франциска Бенаму были красивый просторный кабинет на третьем этаже офисного здания, большая приемная, увешанная рисунками детей сотрудников, благодарственными письмами и грамотами. Тут же стояли кубки за разные места на спортивных состязаниях, в приемной играла негромкая музыка, так что вообще не было слышно, что делается в кабинете у шефа. Минут сорок Савраскин ждал, все надеясь, что вот сейчас из кабинета кто-нибудь выйдет и пригласят его, Степу. Но так никто и не вышел, а только мсье Бенаму строгим голосом произнес в селектор своему секретарю — совершенно замученной, безразличной к внешнему миру девушке, едва не падающей из-за своего стола, что мсье Савраскин может заходить. Что-то пискнуло, возле двери зажегся вместо красенького зелененький огонек, и Степан ступил на порог кабинета, где еще пару дней назад мечтал оказаться, надеясь на особенные свои успехи, а сейчас заходил с почти безнадежностью, думая, что его неисполнение совета уехать самому привело к такому продолжению и что сейчас неизвестно что случится. Но унижаться Степан не собирался и заходил, по возможности, сурово глядя себе под ноги, стараясь избегать любых заискивающих или извиняющихся жестов и готовясь к сопротивлению. Степан вошел, и первые две минуты шеф не изволил вообще его замечать, а, отвернувшись от двери, говорил

с кем-то по телефону. Степа подумал, что унижительно вот так стоять в дверях, да еще после того, как сорок минут просидел в приемной, и надо бы сделать несколько уверенных шагов и самому усесться в одно из кресел — это был бы поступок сильный и независимый, но духу не хватало, и Степа молча стоял, набычив физиономию, в ожидании дальнейших приглашений.

Мсье Франциск положил телефон, еще секунд десять-пятнадцать подождал, перебирая какие-то бумажки, и, наконец, повернулся к Степану и указал ему на одно из кресел.

— Мсье Савраскин, я не забыл о вашем возмутительном поведении вчера и о полном отсутствии вашего прилежания еще до вчерашнего дня включительно. Но сегодня ваше рвение к занятиям, со слов мадам Джессики, уже может давать надежду, и я отношу это к похвальным для вас обстоятельствам. Возможно, наш вчерашний разговор не прошел для вас даром и вы сделали какие-то выводы по поводу моей критики. Надеюсь, она не показалась вам несправедливой?.. Я хотел бы услышать ваш ответ на свой вопрос, мсье Савраскин!

— Да, ваша критика была справедливой, мсье Франциск, я еще раз прошу прощения. (Степан сказал это, переполняясь неприязнью к себе самому и недоумевая, отчего же его сегодняшнее поведение показалось мадам Джессике иным, чем в другие дни.)

— Прелестно. То, что мы одинаково понимаем такие важные вещи, уже дает возможность надеяться на более эффективное сотрудничество. Я высоко ценю ваше мужество в оценке своих недостатков и моей критики. Теперь к делу. Бывает, что люди, с которыми наши отношения не складываются вначале совершенно, со временем, напротив, становятся близкими соратниками и занимают ответственные посты. Это происходит, если у этих людей имеется способность менять себя и делать выводы из тех уроков, которые преподносит им жизнь. Вы понимаете меня, мсье Савраскин?

— Думаю, что да, но я не вполне уверен...

— В чем именно вы не уверены, мсье?

— Нет-нет, мсье Франциск, я все понял, мне все понятно. (Степа вообще ничего не понимал, то ли это была обычная демагогия, то ли Франциск Бенаму сам намекал Степану на свою особую вакансию... Но это было совершенно невероятно после всего того, что произошло, и Степан решил не обольщаться.)

— Замечательно, что вам опять все понятно, вы становитесь проницательнее с каждой минутой. Посмотрим, как вы дальше будете справляться с предлагаемыми вам рассуждениями. Пока у вас все идет вполне благополучно. Итак, вы знаете, что интересы деятельности нашего предприятия распространены географически довольно широко и многие наши сотрудники работают вдалеке от дома, подолгу находясь в командировках, сроки командировок зачастую измеряются годами. Естественно, все получают за это материальные компенсации, но кто может измерить деньгами отрыв от семьи и ненормированный рабочий день, когда после напряженной работы в офисе необходимо присутствовать на показах мод, светских вечеринках, модных спектаклях, заседать в различных жюри с одной лишь целью продвигать нашу марку и завоевывать для нее новые рынки. Многие наши сотрудники готовы на такую жизнь, и, я думаю, вы не будете сомневаться, что делают это они не только из-за соображений карьерного роста и материальной заинтересованности. Мы вместе делаем одно дело, и это дело составляет из нас команду, подразделение, армию, которая всегда готова сражаться за своего полководца! Вы понимаете, о чем я говорю, или для вас нужно пояснить примерами, мсье Савраскин?

— Мне кажется, что я понимаю вас, мсье Франциск...

Степа загорелся! Ему вдруг показалось, что именно сейчас он и схватит наконец судьбу за хвост и заставит ее повернуться к нему лицом! Острая, как змеиное жало, мысль пронзила его! Савраскин подумал, что Франциск обнаружил-таки отсутствие фотографии

своей жены, обнаружил надорванный конверт и понял, что Степа вчера видел все — и их безобразную сцену, и эти фотки — и теперь мсье Франциск просто делает хорошую мину при плохой игре и пытается его, Степу, задобрить, хочет заручиться его молчанием, и обещает в награду именно ту секретную вакансию, о которой так мечтал Степан еще два дня назад, а сегодня утром уже и не помышлял! Степан лихорадочно соображал, в голову его шло, что, вероятно, не только страх разочарования управляет сейчас мсье Франциском, а еще из уважения к его, Степиной, проницательности, к умению выкручиваться, к умению изобразить из себя! Да, здесь Степа считал себя мастером! Он сделал понимающее лицо и приготовился слушать дальше, но настроение его из подавленно-настрожившегося приобрело вид заинтересованный, а внешность Степана стала изображать крайнюю форму любезности... Ставка была большой, Степан приготовился к игре, и радостное возбуждение добавило ему уверенности в успехе, он уже чувствовал у себя несколько хороших козырных карт, голова была в порядке, мысль работала без перебоев. Все пока шло по плану. Ничего другого он не чувствовал.

Мсье Франциск выдержал паузу, как будто давая Степе додумать все эти возбуждающие мысли, потом улыбнулся ему уже почти как своему, почти по-заговорщически, и продолжил говорить:

— Теперь, когда мы так хорошо начали друг друга понимать, я прошу вас об одном личном одолжении. Хочу вперед сказать, что вы не обязаны оказывать мне в этом содействие, это лишь просьба моя к вам.

— Я весь во внимании, мсье Франциск.

— Так вот, вчера у меня произошло некоторое недоразумение с вашей коллегой, с той девушкой, которая вместе с вами приехала, я не вполне помню ее имя...

— Ее зовут Маша, мсье Франциск, мы не только вместе ехали, но и живем в соседних номерах и иногда общаемся вечерами...

— Тем легче вам будет выполнить мою просьбу, если у вас с ней имеются не только деловые отношения. Так вот, нам с супругой хотелось бы видеть ее сегодня у себя в гостях, чтобы состоялся-таки тот весьма важный для нас разговор, который по недоразумению не смог состояться вчера. К тому же мне хотелось бы разъяснить мадемуазель Машеньке мои намерения относительно нее, чего вчера я лишен был возможности сделать. Девушка напугана, и здесь как раз мне и нужно ваше содействие, которое будет заключаться всего лишь в том, что вы получите вместе с ней приглашение к нам на этот вечер и убедите ее принять это приглашение вместе с вами. Я думаю, это не вызовет трудностей у такого яркого и обаятельного молодого человека, как вы.

— Думаю, что я смогу это сделать, мсье Франциск...

— Прелестно, и еще одно, чтобы вы понимали, мсье Савраскин. Наш разговор с мадемуазель Машенькой должен быть конфиденциальным.

— Я умею хранить секреты, мсье Франциск.

— От вас здесь не требуется хранить секреты, мы не привыкли отягощать сотрудников лишней информацией. От вас требуется лишь дать нам возможность соблюсти полную конфиденциальность встречи, то есть удалиться, когда это станет возможным и необходимым.

— Она может не захотеть остаться у вас одна...

— Я прошу вас сейчас подключить все ваше понимание, так как вы подключали его в самом начале нашего разговора. Вам не придется согласовывать с нею свой уход, вы просто уйдете и все. Именно в этом состоит моя личная просьба к вам, да и для вас самого это будет лучше — никому не нужны чужие секреты, уверяю вас. Они зачастую отравляют жизнь, а иногда и вовсе не совместимы с нею.

— Могу ли я подумать, мсье Франциск?

— Нет, думать у вас нет времени, если та малость, о которой я вас прошу, кажется вам затруднительной, откажитесь прямо сейчас, мои планы это не сильно нарушит, хотя и лишит вашу коллегу некоторых возможностей в ее карьере, которые нам хотелось ей предоставить.

— Хорошо, я согласен, мсье Франциск, но можно ли мне сейчас отнять у вас еще немного времени и обсудить один вопрос, касающийся меня?

— Конечно, я слушаю вас.

Но только Савраскин, считая себя уже победителем, хотел подобрать слова для окончательного определения ситуации со своей особой вакансией, у мсье Франциска зазвонил телефон. Он взял трубку и, сказав несколько фраз, прервал разговор, повернулся к Степану и попросил его закончить пока на этом их встречу, так как сейчас ему необходима была длительная и конфиденциальная телефонная консультация. Степе ничего не оставалось, как понимающе кивнуть и, взяв два приглашения с адресом, покинуть кабинет мсье Франциска. Он вышел немного обескураженный, как будто его козыри вдруг непонятным образом обратились швалью, но мысли не сигнализировали ни о чем катастрофическом, незаконченная ситуация с вакансией казалась мелочью, все вроде бы еще было нормально.

Теперь предстоял разговор с Машей, который Степа даже не очень-то себе представлял и мысли о котором больно тыкали в грудь чем-то неприятно-туповатым и еще противно сжимали желудок. В голове как-то сами собой рассыпались стройные конструкции и расчеты, только-только там составлявшиеся, а на их месте не оказывалось ничего, кроме неприятной пустоты. Савраскин топал к гостинице, обдумывая сложные и витиеватые фразы, которые он приготавливал для Машеньки, но говорить их не пришлось. Еще с порога Маша бросилась к нему и, узнав, что все нормально и Степу не выгнали, облегченно вздохнула. «Все остальное не может быть для нас огорчительным», — просто и беззаботно сказала Машенька, но тут же обратила внимание на кислый вид Степана.

— Он, наверное, пытался издеваться над тобой, Степочка? Не обращай внимания, ты гораздо лучше, чем он пытается это представлять. Я знаю об этом вот отсюда. (И Машенька приложила свои руки к груди.)

— Да в том-то и дело, что наоборот. Хвалил меня и даже в гости нас с тобой позвал. Я пытался отказаться, но он очень настаивал и говорил, что это нужно и для моей, и для твоей карьеры — о чем-то поговорить конфиденциально. Хочешь, не пойдем, да и наплевать нам на этих господ Бенаму, останемся здесь... (Степан говорил фальшиво и неуверенно, но Машенька, казалось, не чувствовала этого.)

— Ну, вдвоем-то мы можем пойти, это не страшно. Ты же не бросишь меня там одну? (Машенька спросила об этом как бы в шутку, но внимательно взглянула в этот момент на Степана, а он, сделав вид, что устал, закрыл глаза и стал массировать себе пальцами голову.)

Через час они пошли в гости к мсье Франциску и мадам Джессике вдвоем. Кроме них и хозяев там никого не было, но был накрыт стол со свечами, и платье на мадам было очень-очень открытое. Подчиняясь приказу шефа, Степа тихонько улизнул минут через сорок, не прощаясь ни с кем.

Маша в ту ночь не пришла в свой номер, и на следующий день ее не было на учебе, и через день... Один раз она позвонила, но Степа даже и понять не успел, о чем идет речь, и вообще всякую ерунду буровил, о чем очень жалел впоследствии... Двумя днями позже Степан, набравшись храбрости, спросил у мсье Франциска о Машеньке, на что ему был дан ответ, что мадемуазель Машенька в порядке и работает сейчас над особым проектом, который не требует больше ничьего участия, и как только она захочет, то сама свяжется с мсье Савраскиным. Вид и тон мсье Франциска не допускали никаких дальнейших выяснений и уточнений ни о Маше, ни о Степиной вакансии. Но все равно Степан еще надеялся!

Экзамен, которого все так боялись, представлял собой простую формальность, там вообще больше спрашивали о том, как рекрутам понравилось во Франции и что хорошего им больше запомнилось. Собеседование с Патриком Бенаму отменили, ссылаясь на его нездоровье. А с Машенькой Степан увиделся только на вручении сертификатов об окончании учебы. Она показалась Савраскину какой-то другой, на ней было платье, которого Степа у нее не помнил, а лицо ее было несчастно-несчастное. Маша вошла вместе с мсье Франциском и сразу, игнорируя то, что ей говорилось сопровождающими, направилась к Степе. Савраскин встал, она подошла очень близко, взяла его за руку и сказала Степану, что он самый хороший и что она просит его не держать на нее зла. «Я же на тебя зла не держу, Степочка», — именно так она сказала, глядя прямо в его глаза. В ее взгляде не было упрека, а была только скорбь, только боль какая-то невыносимая, и две слезинки скатились по ее щекам на улыбающиеся губы. Мсье Франциск уже уводил ее в президиум, когда она сказала, почти выкрикнула Степану: «Может быть, когда-то ты приедешь и заберешь меня, Степочка! Я буду тебя ждать!» Он ничего не понимал, куда приедешь, когда, зачем, почему вообще она в президиуме, а не вместе с ними? Началась процедура — всем вручили дипломы, а в конце было объявлено, что за особенные успехи и таланты мадемуазель Машенька (именно так и сказал мсье Франциск, лукаво оглядывая зал), так вот, за особые успехи и таланты мадемуазель Машенька удостоивается права на замещение особой вакансии... Дальше он много говорил, что это была за работа и что там была за зарплата — условия действительно были фантастические, и работа находилась в Америке, все в зале смотрели на Машу с восхищением и завистью, а Степа не слышал почти ничего. В его голове был какой-то звон, он только увидел, как Машку о чем-то спросил Франциск, и она ответила: «Да». Тогда он повернулся и вышел из зала, не дожидаясь окончания общего праздника.

## Глава 7. О том, как можно оказаться в странном месте.

Проснулся Стэфан от холода. Костер прогорел, и над ним едва курилась тоненькая струйка дыма. Руками раскопав кучу золы до самой середины, он нашел еще несколько тлевших угольков, и требовалось только подбросить туда каких-нибудь деревяшек, чтобы огонь мог разгореться с новой силой. Все тело промерзло так, что едва шевелилось, — он беспрерывно дрожал, и ничего кроме холода вообще не чувствовал внутри себя. Даже когда, поднявшись с земли, он попытался согреть себя с помощью движений, дрожь не проходила. Потом она мешала ходить, мешала собирать ветки для нового костра, мешала даже думать. Руки, перемазанные засохшей кровью и грязью, тряслись и не слушались, ноги ступали нетвердо, в голове прыгали какие-то бессмысленные и отрывистые образы, казалось, не обозначавшие ничего такого, что Стэфан знал или хотя бы видел в своей жизни. Чтобы сосредоточиться на любой человеческой мысли, требовалось напряжение воли, и очень мешали стучащие зубы, точнее, остатки от зубов. Преодолевая все это, Стэфан терпеливо собирал дрова, потерявшими чувствительность руками, негнушимися пальцами он надрал коры, ножом, едва не выскальзывающим из рук, нащепил тоненьких палочек и, аккуратно положив все это на угольки, принялся тихонько дуть, чтобы дать огню воздуха. Он очень надеялся, что, когда будет тепло и он согреется, руки снова будут слушаться как прежде, пальцы станут гнуться, а ноги смогут так же уверенно носить его, как и в прежние времена. Но, как только разгорелся огонь и тепло начало распространяться по его телу, он

почувствовал какое-то неприятное, болезненное пульсирование и ломоту — сначала в пальцах, протянутых к самому огню и не чувствующих жара, потом в руках, затем стало больно дышать и заболел бок, во рту заняли тысячи ссадин, а выбитые или поломанные зубы начали свою бесконечную, выкручивающую мозги песню. За десять минут все избитое тело Стэфана охватила бесконечная боль, от которой сами мысли перестали двигаться в голове и весь мир превратился в нескончаемый океан страдания. Ему пришлось пожалеть о решении развести костер, он согласен был снова не чувствовать ни рук, ни ног, вообще не ходить и не шевелить руками, только бы не эта боль! Тогда он сказал себе, что встреча с Уродами в ночном тумане — еще не самое страшное из того, что написано ему на роду, и эта мысль показалась ему чрезвычайно смешной, его рот даже скривился в ухмылке, пробравшейся через стиснутые челюсти.

Почти час он лежал возле костра, выпучив от боли глаза, ворочая головой и сдавленно рыча сквозь зубы, когда становилось совершенно невтерпеж. Он лежал с надеждой, что вот-вот сейчас боль начнет утихать и он встанет, чтобы продолжить свой путь. Надежда осталась с ним даже тогда, когда, не почувствовав ни малейшего ослабления своих мучений, но как-то привыкнув к ним, он начал лежа исследовать свое тело, пробуя двигать пальцами, давать усилия на руки и ноги, давить на ребра и ощупывать голову. Правая рука, на счастье, была целой, пальцы шевелились, но на левой руке были переломаны три пальца, сама она была сломана ниже локтя и очень болели несколько ребер с правой стороны.

Больше ничего серьезного Стэфан у себя не обнаружил и посчитал, что малодушничает, валяясь здесь на земле с такими несущественными повреждениями. Он поднялся и еще несколько минут стоял, поднимая то одну, то другую ногу, приседал, наклонялся и не мог поверить, что у него не переломано больше ничего и не перебит позвоночник. Ему приходилось слышать, что любовь Принцессы творит чудеса, но сам он никогда не видел ничего подобного! Ведь уроды били его дубинами не меньше десяти минут, а они знают свое дело! Он чувствовал, как хрустят его кости и рвутся сухожилия! А теперь, если не считать левой руки, ребер и покрывающих все тело синяков и ссадин, он практически здоров! Стэфан напоследок подпрыгнул на обеих ногах, приземлившись тяжело и неуклюже, так как сотрясение отозвалось болью во всем теле, и особенно в голове, но он прыгнул! Это было как заново родиться! Он знал, что до ближайшей деревни уже недалеко, а там добрые люди помогут ему быстро выздороветь, и он примется искать свою Принцессу, он вспомнит слова, которые она крикнула ему напоследок, и найдет ее, где бы она ни была! Еще полчаса он потратил, чтобы сделать из рубахи покойную повязку для левой руки, а потом не мешкая тронулся в путь.

\*\*\*\*\*

Утро еще продолжалось, когда Стэфан добрался до деревни. Это была даже не деревня, а небольшой сторожевой пост возле дороги, обнесенный частоколом, возле которого разместилось несколько домиков. Над крышей самого большого дома, стоящего немного на отшибе, чуть раньше, чем начиналась сама деревня, была прибита огромная деревянная ложка — так обозначались трактиры. Стэфан постоял немного, пока пастух с тремя лохматыми собаками прогнал деревенское стадо, и даже обратился к пастуху с вежливым вопросом о том, как называется это местечко, и правильно ли он понимает, что впереди — трактир. Но пастух, окинув Стэфана безразличным взглядом, никак не отреагировал на его обращение. Он молча прошел мимо, посвистывая и постукивая себя хлыстиком по голенищу сапога, и даже гнал свое стадо так, как будто Стэфана вообще не существовало на пути его коров. Коровы, конечно, мирные животные, и не так опасно

оказаться на пути лениво двигающегося деревенского стада, как, например, на пути диких лошадей. Просто пришлось стоять, иногда отходя на шаг вперед или назад, когда какое-нибудь тупое животное останавливалось, упираясь в Стэфана, и не понимало, что можно его обойти. Пастух, как подумалось Стэфану, был явно не в себе, а возможно, еще и глухой, ведь в пастухи часто подаются люди, больше ни к чему не годные из-за какого-нибудь природного недостатка.

Стадо прошло, оставив после себя множество рытвин и коровьих лепешек. Стефан подошел к двери трактира, вошел и, сделав несколько шагов, сел за первый попавшийся стол возле стены. Все тело благодарно ныло, впитывая в себя отдых. У Стэфана были деньги, и, прикрыв глаза, он ждал, когда к нему подойдет хозяин, чтобы спросить у него комнату, где можно помыться, починить одежду, выспаться на кровати, показать свои руку, ребра и пальцы местному лекарю. Но сначала он хотел поесть чего-нибудь, не требовавшего усердного пережевывания. Он сидел и мечтал об огромной яичнице, на целую сковороду, и вместительной кружке пива, которое придало бы ему сил и отогнало невеселые мысли. Так продолжалось долго, он начал уже дремать и, удивившись про себя, что к нему никто не подходит, приоткрыл глаза: трактирщик стоял за стойкой и, глядя на Стэфана, о чем-то шептался со своей женой. Они оба выглядели испуганно, позади выглядывали такие же испуганные, но еще и любопытные мордашки трех чумазных детишек — двух мальчиков и девочки. Дети были в одинаковых оборванных рубашках, почти до пола, их соломенные волосы были грязны и лохматы, а в руках каждый ребенок держал по хорошему куску хлеба с солью, но ни один не ел. Все молча смотрели на Стэфана. Трактирщик, увидев, что посетитель открыл глаза, вышел из-за своей стойки и, приблизившись на пару шагов, заложил руки за пояс, сделал насколько мог грозное лицо и произнес:

— Говнюкам не место в нашей деревне! Мы не можем ничего тебе дать, и если ты немедленно не уйдешь, я позову на помощь людей, чтобы выкинуть тебя из моего дома!

Стэфан не мог понять, что происходит, и молчал, изо всех сил собираясь с мыслями. Его язык отказывался произносить слова, да и было непонятно, какие нужно произносить слова в таком положении! Тут повисла пауза, которую прервала трактирщица.

— Тебе что, непонятно, оборванец? Здесь ничего не дают Говнюкам, даже Говнюкам с разбитыми рожами и перебитыми лапками здесь все равно нечего искать жалости! Мой муж сказал тебе, чтобы ты убирался, так вставай с нашей лавки и убирайся! Мы не собираемая нарушать закон из-за оборванных Говнюков, даже если этот Говнюк выглядит так, как будто когда-то был охотником! Что ты тарачишь на нас свои глазищи, наверное, хочешь рассказать, как тебе досталось от Уродов, и думаешь, что мы пожалеем тебя! У нас нет жалости к Говнюкам!

Стэфан молча достал из потайного кармана деньги и, высыпав их из кожаного мешочка к себе на ладонь, протянул в сторону трактирщика, который хоть и продолжал стоять в той же решительной позе, но явно был в растерянности и не знал, как поступить. Пару раз он нерешительно оглянулся на свою жену, как бы ища у нее поддержки, но она тоже стояла и смотрела перед собой, ничего не говоря и ничего не делая. Денег высыпалось из мешочка не мало — это были все сбережения Стэфана, на которые планировалось купить маленький домик в тихом и спокойном месте, но сейчас он готов был отдать все, только бы его не выгоняли и оставили у себя эти люди. Стэфан был совершенно уверен, что не проживет и трех дней, если не получит горячей воды для мытья, помощи лекаря и отдыха.

Но эти странные люди молча стояли и не говорили ни слова. Минут через пять жена трактирщика, первая придя в себя, проговорила уже чуть менее вздорным голосом:

— Нечего здесь трясти деньгами, мы не из тех, кто нарушает законы. А свои золотые ты можешь потратить в городе Говнюков, он совсем недалеко здесь — за перевалом. Хотя



чего тебе объяснять, каждый Говнюк знает, где находится город Говнюков. Там очень весело, и все Говнюки, разжившиеся денежками, немедленно отправляются именно туда.

Стэфан покачал головой и произнес:

— Я не дойду... не выгоняйте меня... что я вам сделал, возьмите все, что у меня есть...

Мольба и ужас отчетливо звучали в его голосе.

Трактирщик снова подошел к жене, и они, отвернувшись к стенке, начали шептаться и долго спорили, сам трактирщик в чем-то убеждал свою решительную супругу, слов слышно не было, но Стэфан понимал, что трактирщик пытается уговорить жену его оставить, а она не соглашается. Последние слова трактирщица сказала громко, так, чтобы их было слышно всем, и победоносно оглядела свой трактир, где, к ее огорчению, кроме Стэфана и ее детей никого не было. Она сказала:

— Пока в моем доме живут несовершеннолетние дети, здесь не будет Говнюков!

После этой решительной фразы она повернулась и ушла куда-то внутрь трактира, хлопнув за собой дверь.

Трактирщик тоже посмотрел на Стэфана, и в его взгляде промелькнула какая-то неловкость, этот взгляд как бы говорил:

— Извини, братишка, я бы не против тебя разместить, а заодно и подзаработать, но это не мой трактир, а ее, и она, по сути, права, я хотел бы тебе помочь, но сделать ничего не возможно...

А может быть, ничего такого трактирщик не думал, и все это только показалось Стэфану, готовому увидеть расположение к себе там, где его и быть то не могло. На самом деле трактирщик только вздохнул, тихонько развел руками и поднял глаза вверх, давая понять, что есть вопросы, ему не подвластные. Было видно, что он не хотел выгонять Стэфана, и это еще давало маленькую надежду. Трактирщик стоял и ковырял в зубах, размышляя, а Стэфан так и сидел, держа на ладони, протянутой к этим людям, свои сбережения, и надеясь еще на их милосердие к себе. Взгляд трактирщика прыгал со Стэфана на его деньги, потом он смотрел куда-то на угол и, подумав так некоторое время, он сделал Стэфану свое окончательное предложение:

— Давай мне свои деньги, а я позволю тебе помыться горячей водой у меня на заднем дворе, возле хлева, дам мазь от ушибов, средство для заживления костей и целый мешок еды... Ну что, согласен?

Стэфан, все это время надеявшийся, что у людей проснется к нему сострадание, сначала не понял то, что ему предлагалось:

— Отдать тебе ВСЕ за мешок еды и пару ведер теплой воды для мытья? Ты это мне предлагаешь, трактирщик?

— Именно это, судя по всему, твоя голова пострадала меньше, чем все остальное, и соображать ты еще не совсем разучился, Говнюк.

Стэфан встал и дальше говорил стоя, прислонившись к стене, чтобы не упасть:

— Ты отказываешь мне в крове и хочешь лишить меня ВСЕГО, чтобы я еще недельку побродил уже без всякой надежды, а потом издох в какой-нибудь канаве?! А почему ты смеешь называть меня Говнюком, кто дал тебе такое право?! Между прочим, правая рука у меня не сломана, трактирщик!

— Я не называю тебя Говнюком, ты и есть Говнюк, и каждый тебе это подтвердит. Не знаю, откуда ты пришел, но у нас в стране Говнюков видно сразу и каждому. Даже маленький ребенок у нас умеет отличить Человека от Говнюка. И то, что я тебе предлагаю — лучшее из всего, что предложат тебе за твои деньги. В городе Говнюков ты лишишься их в первый же вечер и не получишь даже и мешка еды, а в других местах с тобой и разговаривать никто не станет. Тебе просто повезло, что мы с женой живем так близко к

Туману, к нам приходят всякие люди, мы уже привыкли и не брезгуем разговаривать с Говнюками, хотя это и недостойно порядочных людей. Хотя во многом ты прав, Говнюк, у тебя большие шансы сдохнуть в канаве, но это не из-за того, что я отказываю тебе в крове, оберегая нравственность своих детей, а только из-за того, что ты сам — Говнюк!

Стэфан, сдерживаясь изо всех сил, слушал этот бред, но ярость начинала заполнять его внутренности, лицо его почернело, брови почти сошлись на переносице, он готов был схватить скамью и из последних сил обрушить ее на голову алчного негодяя! Изменившимся от ярости голосом Стэфан начал говорить, и он сам не знал, чем кончится его речь:

— Ты все врешь, я никакой не Говнюк, я такой, же как и ты...

Громкий голос со стороны входной двери оборвал его:

— Ты настоящий Говнюк, но сейчас ты превращаешься в Злобного Говнюка, а Злобных Говнюков мы немедленно вешаем, да будет тебе известно, если ты такой неосведомленный о наших законах, Говнюк!

Стэфан повернулся на голос и увидел здорового Стражника с двумя солдатами, который стоял в дверях и сурово оглядывал его. Ярость куда-то пропала сама собой.

— Я только хотел получить комнату, и готов заплатить...

Стэфан пытался объяснить теперь с этим новым человеком, он подумал, что Стражник отнес его к бродягам, не имеющим возможности заплатить за себя...

— Мы не имеем дела с такими, как ты, тебе правильно сказали, Говнюк. Свои деньги ты сможешь потратить только в городе Говнюков, и если твоя злость превратит тебя по дороге в Злобного Говнюка, то ты будешь повешен первым патрулем.

Стэфан обессиленно опустился на стул, а Стражник, обращаясь к трактирщику, спросил, не нужно ли помощи. Трактирщик, вероятно, намереваясь все-таки прикарманить денежки Стэфана, заверил Стражника, что все нормально и что он уже привык обращаться с Говнюками, недавно вышедшими из Тумана, и этот еще не самый буйный. На том Стражник и ушел, а Стэфан молча ссыпал свои деньги трактирщику в руки и покорно пошел за ним на задний двор — мыться. Когда они проходили мимо стойки, маленькая девочка в оборванной рубашонке тихо прошептала себе под нос: «Бедный Говнюк...», за что тут же получила от одного из братьев увесистый подзатыльник.

После мытья, в котором трактирщик даже помогал Стэфану, выяснилось, что хозяин трактира сам немного лекарь и может сделать бесплатный медицинский осмотр, но так, чтобы не видела жена. После произведенного обследования трактирщик сказал, что у Стэфана вовсе не были поломаны ребра, а только ушиблены, или, может быть, треснуты, но это самое большое. На левую руку он наложил новую повязку, подложив внутрь аккуратную сухую дощечку, так же забинтовал Стефану каждый поломанный палец. В конце всей этой процедуры он достал из чулана пузырек с черной мазью — для синяков и ушибов, а чтобы быстрее заживали переломанные пальцы и рука, дал другое средство, которое нужно было пить, разводя в теплой воде, им же можно было смазывать раны и порезы, а если, прежде чем выпить, немного подержать это средство во рту, то и дырки от зубов должны были заживать быстрее. Трактирщик, казалось, не испытывал никакой неприязни к Стэфану и даже обещал ему в придачу к мешку продуктов новую рубаху взамен изорванной на повязки, как он сказал: «Совершенно бесплатно». Стэфан, горько усмехнувшись, подумал, что еще немного, и он начнет считать этого лицемера и мошенника своим благодетелем, а трактирщик, не обращая внимания на неразговорчивость и угрюмый вид своего клиента, весело продолжал делать свою работу и безостановочно болтал языком. Он говорил о том, трудно стало последнее время зарабатывать на хлеб, что приезжих посетителей совсем мало, а на своих ничего не заработаешь. А как при этом кормить детей? Он рассказал Стэфану, как пытался заниматься ростовщичеством, но дело у него не пошло, потому что желающих взять деньги было полно, и даже высокие проценты мало кого останавливали, но такого, чтобы

деньги к нему вернулись, не было, со слов трактирщика, ни разу. Трактирщик сказал, что если бы Стэфан не был Говнюком, то он пригласил бы его к себе и показал, какое количество долговых расписок находится у него в специальной шкатулке. Если бы все отдали ему деньги с процентами, он немедленно уехал бы... Дальше он начал говорить шепотом, потому что уехать он мечтал... в Город Говнюков, где собирался открыть какое-то потрясающее и чрезвычайно доходное дело.

Стэфан рассеянно слушал всю эту болтовню, ему просто было хорошо от того, что удалось смыть с себя кровь и грязь, как будто он смыл часть напоминаний о том, что случилось, о том, что наполняло его душу страхом, тоской и унынием, несмотря на то, что надежда еще находилась с ним. Стэфан спросил у трактирщика, как они понимают, кто Говнюк, а кто нет. Тот, попав на любимую тему, затараторил как ужаленный, радостно описывая способы распознать Говнюка, но среди всей лавины слов Стэфан не смог уловить действительных и определенных признаков. Все, что говорил трактирщик, казалось Стэфану подходящим ко всем людям, да и к самому трактирщику в том числе. Но он не стал обнародовать свое сомнение перед мужем трактирщицы, опасаясь не получить новой рубахи, тем более что в конце десятиминутной тирады хозяин трактира высокомерно заявил, подводя итог, что Говнюка нужно чувствовать, но для этого надо самому не быть Говнюком. Тогда Стэфан спросил, как люди становятся Говнюками, или они ими рождаются? Тут трактирщик весело захохотал и предположил, что Стэфану все же досталось от Уродов по голове, раз он не знает таких элементарных вещей.

— Никто не рождается Говнюком, все при рождении — обычные дети, хотя, кстати говоря, дети часто бывают похожи на Говнюков. Но то, что нормально для годовалого или трехлетнего ребенка, никуда не годится для взрослого человека — люди ведь взрослеют, растут и постепенно начинают понимать, что гадости делать не надо, не надо быть трусом и болтуном, не надо быть капризным, жестоким и неуправляемым, надо осознавать, что кругом тебя живут такие же люди как и ты. Все это вроде бы понимают. На словах вообще каждый понимает, но не каждый имеет силы так жить. Чаще всего дети из-за неправильного воспитания вырастают в Говнюков, а не в людей, но бывает, что взрослые делаются Говнюками мало-помалу. Конечно, это получается не сразу, сначала человек только иногда ведет себя как Говнюк, а потом привыкает, иначе и жизни себе уже не мыслит и через некоторое время становится Говнюком. Это незаметно происходит.

Стэфан не удержался и задал опасный вопрос, который давно крутился у него на языке и не давал покоя:

— А ты сам не боишься стать Говнюком? Ведь, если честно говорить, ты же обворовал меня...

Трактирщик несколько не обиделся, а сделал серьезное лицо, — напротив, еще более к Стэфану расположившись как к понимающему и чуткому собеседнику, начал изливать свою душу по этой очень волнительной для него проблеме:

— Честно тебе сказать, ты задел самое больное мое место... Я очень боюсь стать Говнюком, и временами мне снится, что я уже Говнюк, тогда я в ужасе просыпаюсь. Иногда мне кажется, что я медленно, но неотвратно становлюсь Говнюком изо дня в день... Но, знаешь, я два раза в неделю хожу к Мертвому камню, и там обо все рассказываю, каюсь и даже плачу иногда... Может быть, поэтому я еще и не Говнюк. Мертвый камень всем помогает. Хотя знаешь, если иметь много денег и хороший доход, то и в Городе Говнюков можно неплохо устроиться, а там никто тебя не обидит только за то, что ты Говнюк — там и так одни Говнюки. Я слышал, что Говнюки еще чего-то лишаются, когда делаются такими, какие они есть, но не помню именно... наверное, не очень важного, то ли в зеркало они почему-то не смотрятся, то ли еще чего... Но тебе парень я, конечно, не завидую, скорее всего, ты умрешь раньше, чем заживет твоя рука, денег у тебя теперь нет... Как ты

выживешь один, без людей? Знаешь, я дам тебе совершенно бесплатно еще одну вещь, она ценная, ты просто надавил на меня, и я отдам ее тебе просто так, хотя и жалко, конечно, но мне она все равно без надобности, я и пользоваться ей не умею, а ты похож на Говнюка, который был когда-то охотником. Ты же был охотником?

— Наверное, я не помню.

— Да, здорово тебе Уроды башку поправили. Ну, по крайней мере, судя по твоему плащу и по сапогам, ты был охотником раньше. И еще. Мне причудилось, что ты был охотником, а возможно, даже и воином, когда ты вскочил и чуть не попер на меня со своей поломанной рукой... Я даже испугался немного, скажу тебе честно. А ты действительно был готов со мной драться?

— Не знаю...

— Да, Говнюки все туповатые, это точно. Ну, так вот, чтобы моя совесть в отношении твоей Говнючей персоны была спокойна, я дам тебе вот этот кожаный ремешок, специально сделанный, чтобы можно было в него вложить камень и, прицелившись, метнуть его в какую-то небольшую птичку или зверюшку, чтобы подбить ей лапку или крылышко, а потом поймать!

— Это праща?

— Да-да, именно так, по-моему, она и называется. Честно говоря, у меня ее забыл один человек, это было давно, и я думаю, он уже не вернется...

— Спасибо и на этом, трактирщик, но мне кажется, что все-таки ты рано или поздно станешь Говнюком...

— Лишь бы не раньше, чем накоплю на безбедную жизнь в Городе Говнюков, а у тебя действительно большие шансы стать Злобным Говнюком и болтаться на висельнице...

— Очень постараюсь этого избежать, а когда делаешься Говнюком, это навсегда?

— Практически — да! Хотя твое «навсегда», скорее всего, не будет очень долгим... Ха-ха-ха... (Трактирщик весело засмеялся своей остроумной шутке и некоторое время хохотал, с удивлением поглядывая на Стэфана, почему он не веселится.) Да, у Говнюков с чувством юмора так же плохо, как и с соображаловкой. Так вот, я не знаю ни одного Говнюка, который перестал бы быть Говнюком, хотя я и слышал что-то об этом. По старинному преданию, какой-то Великий Герой, освободивший чего-то или кого-то от Уродов или еще более ужасных тварей, был некоторое время Говнюком. Но, по-моему, это просто фольклор и не стоит придавать ему практическое значение. Посуди сам, ну какие шансы у Говнюка стать Героем? Ведь Герой всех любит! Почти как Принцесса, а Говнюков все гонят и шпыняют, ну за что им любить хоть кого-то? И вообще, как можно любить тех, кто тебя... ну ты сам понимаешь, мне не хочется этого произносить, я лучше скажу это Мертвому камню, а повторяться ненавижу... Ну, все, Говнючок, твоя лапка готова, если успеешь в этой жизни еще пару раз принять мое средство, считай, что тебе крупно повезло, потому что его нужно пить не чаще, чем раз в неделю — по глотку. Можешь пить и чаще, но толку не будет, просто переведешь снадобье. Я, как честный человек, даю тебе полную норму — на восемь недель, хотя и жалко просто так выбрасывать хороший продукт.

Стэфан остался сидеть посреди заднего двора трактира. Минут через десять трактирщик вернулся с рубахой, небольшим мешочком продуктов и пращей, завернутой в тряпочку. Стэфан оделся, закинул мешок за спину, пращу сунул в карман и, кивнув трактирщику, снова вышел на дорогу. Он шел через деревню, утро было уже в самом разгаре: кругом сновали люди, они куда-то шли, бежали, разговаривали, но на Стэфана никто не обращал внимания, как будто его и не было вовсе. Это было чудно и даже немного забавно. Стэфан представлял себе, что он невидимка. Почувствовав себя таким незаметным, Стэфан решил украсть топор, который кто-то бросил возле дороги у одного из заборов — это был неплохой, целиком из железа, крепкий топор, не очень большой, но довольно

увесистый — в общем, как раз такой топор и нужен был Стэфану. Присмотрев этот полезный инструмент еще издали, Стэфан, проходя мимо него, невзначай нагнулся, поднял топор и сунул его за пазуху, не обращая внимания на людей, что в нескольких шагах от него занимались каким-то своим делом. Он успел пройти уже почти до конца деревни, как услышал сзади крики и увидел преследующих его. Они орали и улюлюкали, размахивали руками и палками, Стэфан на секунду было остановился с мыслью вернуть топор, извиниться, объяснить безвыходность своего положения, но через секунду он вспомнил Стражника, Трактирщика и его жену, повернулся и изо всех сил побежал вон из деревни. Он бежал, придерживая рукой свой мешок, и бежал так быстро, как мог, пару раз он оглядывался, как преследуемый охотниками зверек — погоня приближалась, но довольно медленно. Вероятно, его преследовали не самые лучшие бегуны, а может быть, и гнали они его только для удовольствия позабавиться, в общем, вскоре за деревней погоня отстала. Когда звуки сзади затихли, Стэфан на всякий случай еще пробежал сколько мог и остановился только тогда, когда сил уже совсем не было, он перешел с бега на шаг, а потом почувствовал, что просто начинает терять сознание. Вокруг Стэфана был лес, дорога осталась где-то левее. Солнце уже поднялось высоко над горизонтом и так хорошо пригревало, что Стэфан позволил себе плюхнуться под деревом и подставить лицо солнечным лучам.

Он вытянул ноги, облокотился на березку и закрыл глаза, собираясь посидеть всего несколько минут и идти дальше, но так хорошо было под этими солнечными лучами, так они нежно грели его тело, что сон сморил усталого Говнюка. Мысли о том, что нужно отойти подальше от деревни, нужно делать себе какое-то жилище, нужно думать о пище, слабо пытались помешать его сну — он должен был спать и не мог заставить себя разлепить глаза. Оставив провидению о себе заботиться, Стэфан мягко провалился в нежную теплую глубину, сначала сидя под березой, а потом и улегшись здесь же на солнышке, завернув тело в свой охотничий плащ, а голову примостив на мешке с продуктами, полученными от трактирщика. Засыпая, Стэфан подумал, что если бы сейчас была не весна, а осень или зима, это, вероятно, был бы последний сон в его жизни, но и тогда он не смог бы отказать себе в удовольствии уснуть. Сквозь дрему ему казалось, что слышатся чьи-то шаги, голоса, приближается опасность, но открыть глаза или пошевелиться было выше его сил.

## Глава 8. О том, что всегда есть свобода выбора...

Чуткий слух не обманул спящего на краю открытой, освещенной солнцем поляне Стэфана. Шаги и голоса, которые слышались ему сквозь сон, принадлежали людям, отправившимся из деревни на его поиски. Их вовсе не устроило, что прохожий Говнюк среди бела дня украл замечательный железный топор, который только на несколько минут оставили без присмотра. Группой поиска руководил тот самый Стражник, который заходил проведать Трактирщика. Он частенько навещался в трактирчик и всегда получал бесплатную выпивку и закуску, как подразумевалось, просто потому, что они с Трактирщиком были друзья. Конечно, Стражник и не думал, что покрывает Трактирщика в его грязных делишках, а только считал, что помогает приятелю и хорошему человеку, тем более Трактирщик очень убедительно объяснял, что этот Говнюк наверняка станет Злым Говнюком и рано или поздно его придется повесить, потому что доброго отношения к себе

он совершенно не понимает и смотрит очень сердито, а тем более теперь, имея боевой топор... Все люди, отправившиеся на увлекательную охоту за измученным Говнюком, отлично знали местный лес, они обшарили все потаенные закоулки, облазили все пещеры, множество раз они проходили в нескольких шагах от валявшегося под березой Стэфана, но не замечали его! Можно предполагать, что этому обстоятельству в некоторой мере способствовал плащ, укрывавший неподвижно спящего человека, такой грязный, что Стэфан, завернувшись в него, совершенно сливался с недавно оттаявшей кочковатой весенней землей. Еще можно думать, что измученный Стэфан, разогревшись на солнышке, заснул очень крепко и совершенно не шевелился, а также что он никогда не храпел во сне, и этим в некоторой мере определился неуспех его поимки... Хотя каждому, наверное, ясно, что совсем не всегда, когда ты, завернувшись в грязную тряпку, дрыхнешь под деревом, тебе удастся стать невидимым для внимательных глаз людей, ищущих именно тебя со справедливой целью покарать за воровство. Это больше было похоже на чудо! Опытные, привычные к жизни возле леса люди, многие из которых были охотниками, по всем правилам облавы с двух сторон прочесывали лес навстречу друг другу. Мало переговариваясь, они аккуратно ступали, соблюдая необходимую дистанцию, несколько раз они спугивали оленей с их дневных лежек, подходя к ним так близко, что можно было охотиться, но сегодня охота была другая... Они разбирали следы, тихо совещались, делали правильные выводы по результатам этих следов, шли прямо за Стэфаном — казалось, не было никаких шансов остаться незамеченным для их глаз, будь ты даже не человеком, а маленьким зайчиком! Вот они уже невдалеке от полянки, на которой силы оставили нашего беглеца, они аккуратно осматривают каждую кучу бурелома, поднимают головы и разглядывают кроны деревьев, забираются в колючие заросли молодых елочек, если там есть хоть малейшее укрытие, и... проходят мимо Стэфана, так же аккуратно и неслышно ступая по подсыхающей весенней земле, тихо переговариваясь и держа наготове оружие. Они проходят дальше, встречаются со своими односельчанами, пошедшими в обход, недоумевают, говорят, что он как будто в воздухе растворился, этот Говнюк! Отдохнув, идут обратно, уже менее внимательно, но все же по привычке обшаривая взглядами недавно прочесанный лес, и... снова проходят мимо спящего Стэфана, теперь их уже вдвое больше, и опять никто не замечает его!

Проснулся Стэфан, когда солнце зашло уже за гору и стало прохладно. Сколько он ни кутался в свой охотничий плащ, согреться не получалось. К тому же спать на земле, которая только кажется ровной, возможно, только если игнорировать разнообразные выступающие из нее корешки, камешки и бугорки, что так и впиваются в тело, тем более когда это тело избито и на нем нет живого места от синяков и ссадин. Игнорировать их больше Стэфан не мог и решил подниматься. Было жалко просыпаться и снова попадать в мир жестокой реальности, но делать нечего. Получилось, что он счастливо проспал целый день, и это, надо сказать, придало ему сил. Проснувшись и придя в себя, он уже не находился в том туманном состоянии, когда всем его существом руководило не сознание, а желание спать, и желание хоть на минуту избавиться от боли.

Для того чтобы согреться и заодно хоть немного обследовать близлежащую территорию, Стэфан потратил около часу на прогулку по окрестностям и, к счастью своему, нашел в небольшом овражке ручеек, где смог умыться и попить. После этого он почувствовал волчий аппетит, раскрыл мешок, который ему дал трактирщик, и обнаружил там несколько кругов черного хлеба, две большие копченые свиные ноги и пятнадцать соленых рыбок среднего размера, хранившихся, вероятно, уже не один год и ставших от этого очень твердыми, почти каменными. Нужно было поесть и устроить себе ночлег. Из всего содержимого мешка остаткам его зубов мог поддаться только хлеб, и то отчасти, мясо он отрезал маленькими кусочками и рассасывал во рту. Учитывая большое желание

немедленно насытиться, это занятие было больше похоже на самоистязание, чем на еду. Было ясно, что долго так не продержаться — и было бы очень здорово сварить это все, но у Стэфана не было никакого котелка или ведерка, вообще ничего, где можно было бы вскипятить воду. Пока он не стал думать об этом, а утолил первый голод так, как получилось, что заняло, конечно, гораздо больше времени, чем он мог себе позволить, но принесло определенное успокоение. Стало уже сумеречно, и вынужденный лесной житель решил на эту ночь не придумывать ничего лучшего, чем разжечь костер, нарубить еловых веток и, сделав из них себе постель, улечься возле ярко горящего огня и продолжать отрезать кусочки от свиной ноги, рассасывая их во рту вместе с хлебом. Так он и просидел допоздна, и его припасы существенно сократились. От целого круга хлеба осталось меньше четвертинки, и одна свиная нога наполовину была съедена, зато восхитительное ощущение сытости и комфорта наполнило его, и если бы не ноющая боль в руке, то Стэфан мог бы счесть свое состояние приятным. Он вытянул ноги у костра, предусмотрительно разведенного в выкопанной ямке — чтобы огонь не был виден издалека, снова завернулся в свой охотничий плащ, положил голову на немного похудевший мешочек с продуктами и опять сладко уснул, отключившись от кошмарной реальности и растворившись в сладком мире грез и сновидений. Среди ночи Стэфан, почувствовав, что становится холодно, просыпался, подбрасывал в костер дров и потом снова засыпал, но под утро уснул так крепко, что костер все-таки погас, и рассвет снова застал его продрогшим и трясущимся.

Следующие четыре дня Стэфан провел в ленивом обследовании окрестностей и уничтожении своих съестных запасов. От ночевки на земле, когда иней покрывал его к утру и все тело промерзло до последней косточки, он стал кашлять, голова сделалась тяжелой, выкручивало и ломало суставы, а он не мог понять, то ли это простуда, то ли побои так дают о себе знать. Как-то особенно сильно ныла сломанная рука. Она начала опухать, но всему кошмару своего отчаянного положения он мог противопоставить только рассасывание все новых и новых кусочков свиной ноги с хлебом. Когда он опускался возле огня и предавался этому единственному дающему утешение занятию, его душа немного успокаивалась, приходило хоть маленькое, но ощущение комфорта. Ему думалось, что рано ставить на себе крест, пока он все-таки сыт и ему тепло, он может улечься, отрезать еще немного свинины и сосать ее с хлебным мякишем долго-долго, пока не уснет. После сна ему делалось лучше, но еще лучше было спать или хотя бы кемарить, то открывая, то закрывая глаза возле весело потрескивающего костра. И Стэфан, сам того не замечая, все больше сокращал периоды своего бодрствования — он просыпался только затем, чтобы попить и поесть, затем, отойдя всего несколько метров от своего лежбища, освободиться от того, что съел и выпил вчера. Насытив потом свой желудок до отказа, он снова засыпал. Но даже и этого сна ему не хватало, хотелось спать больше, и уже казалось невыполнимым подняться, чтобы нарубить дров.

Прошло еще несколько дней, состояние Стэфана становилось все хуже, свинина кончилась, он начал так же рассасывать рыбок и уже никуда не ходил, с трудом заставляя себя нарубить веток, чтобы не потух огонь. Засыпая, он иногда думал о том, что умрет здесь приблизительно так, как и предсказывал трактирщик — раньше чем через две недели. Эта мысль сначала казалась для него страшной и отвратительной, заставляла думать о спасении, искать выход, но мало-помалу он привык к ней и даже смаковал предполагаемые подробности. Если он никому не нужен, так зачем же жить? Было удивительно, что эта простая конструкция раньше не приходила в голову... Теперь она явилась как откровение! Он неторопливо и обстоятельно примерялся к своему открытию, пробовал его на зубок, ощупывал, примеряя к себе с разных сторон, и не находил никаких изъянов!

Таким красивым, совершенным и прелестным казалась ему это элементарное умозаключение: «Если ты никому не нужен, зачем тогда жить?» Как только он задавал себе

этот вопрос, к горлу подступал комок и слезы вытекали из глаз, а душа немного согревалась от любви и жалости к самому себе. Стэфан представлял себе, что какой-нибудь трус, вроде Трактирщика хотел бы жить в любом случае, боясь расстаться со своей жалкой земной оболочкой, и еще недавно он сам, Стэфан, не знал, является ли он трусом или нет. Но теперь, когда он так многое понял, истинная, настоящая, нелицемерная и непозерская готовность к смерти, все больше и больше обосновывающаяся в нем, давала полное право не относить себя к трусам и возвращала самоуважение... Нужно было только довести все дело до конца, не начав малодушные и бесполезные трепыхания, а спокойно принять смерть, получить искупление всего и стать выше всех! Это чувство было гораздо приятнее тех избитых и заурядных мыслей, что предлагала надежда! Смерть была изощренной и вкрадчивой, она предлагала какое-то особенное, совершенное и прелестное. Мысль о Принцессе уже вовсе не посещала его, как будто и не было никакой Принцессы, как будто вообще ничего не было, кроме этого леса, неторопливо просыпающегося от зимней спячки, в котором наперекор законам природы сам собой угасал человек. То, что еще пару дней назад пугало, теперь приносило все больше наслаждения Стэфан стал часто плакать, прежде чем уснуть, плакать во время еды, ему все больше и больше было жалко себя, умирающего в этом лесу, и было невыразимо приятно от этого состояния жалостливого умирания, от приобщения к какой-то великой тайне, он благодарил смерть, что хотя бы она любит и понимает его.

Даже подумать о том, что он может не умереть или его могут спасти, было невозможно для Стэфана, эти глупые мысли, которые могли бы разогнать тонкую канву прелестного оцепенения, немедленно изгонялись. Хотелось только чтобы никто не помешал. Он как бы получил уже у смерти наслаждения вперед, полной мерой, и теперь неизбежно должен был вернуть свой долг, тем более что расчет этот был связан для него с еще большим, еще глубже проникающим в каждую клеточку тела неотвратимым удовольствием. Единственное, что ему хотелось — это умереть так, чтобы было тепло, и голод, по возможности, не очень терзал его желудок, чтобы не болели опухающая рука и ребра... Он жалел временами, что сейчас не зима, когда можно было бы просто улечься и сладко замерзнуть — он слышал когда-то, что на морозе насмерть замерзающие люди просто засыпают, внутренне согреваясь при этом... и все. Он просил свою смерть прийти без боли и страданий. Как будто уступая его просьбе, чувства Стэфана притуплялись, он уже реже ел — это стало быстро его утомлять, спал он уже почти целый день, а когда замерзал под утро так, что переставал чувствовать боль в сломанной руке, то испытывал даже блаженство от такого облегчения и не торопился вставать.

Наступил день, когда он окончательно решил умереть. Точнее, он ничего не решал, а просто органично и естественно подошел к тому пределу, дальше которого жить было уже совершенно противоестественно. Если бы в тот момент кто-то предложил подписать бумагу, извиняющую будущего его убийцу, он сделал бы это, совершенно не задумываясь, как вполне уместное и давно ожидаемое им дело, которое является обыкновенной, пустой формальностью и требует от него лишь простого движения руки.

Поднявшись со своего топчана из еловых веток, Стэфан, пошатываясь, побрел за дровами. После того как он несколько раз взмахнул топором, срубая нетолстые и сухие ветки с лежащей неподалеку мертвой сосны, Стэфан вспомнил, что не пил уже два дня, и вслед за этой мыслью к нему пришло огромное желание напиться воды, он почувствовал жажду и удивился, что совершенно не ощущал ее еще две минуты назад. С другой стороны, вовсе не хотелось куда-либо идти, это могло спугнуть настроение, которое было как нельзя более подходящим для смерти. Тихонько поднимая и опуская топор, он приятно думал об этой упавшей сосне, как она бесполезно стояла много лет, преодолевая порывы ветра, засухи и наводнения, страдая и держась из последних сил... и только когда упала и умерла, она стала нужной и любимой хотя бы им, Стэфаном. Так и он, никому не нужный, пока он жив,



умерев, делается пищей для жуков, червяков, превратится в землю и будет питать живую природу, он станет нужным и получит любовь, как эта огромная сосна сейчас получает его любовь и благодарность за свои мертвые ветки... Вообще, в последние дни все, что он видел или слышал, давало неопровержимые доказательства, откровения и знаки, все больше убеждающие его умереть, и каждый раз он удивлялся, как раньше мог быть таким слепым и не видеть таких очевидных и настойчивых сигналов! Вот и с этой мертвой сосной — он рубил ее ветки уже несколько дней, но только сегодня, когда разум его достаточно очистился, такое простое и ясное откровение снизошло на него.

Но пить все-таки хотелось, и Стэфан, бросив топор, побрел вниз по склону к ручейку. Доковыляв до весело журчащей водички, он с некоторой неприязнью отметил, что настроение ручейка не вполне подходит к его настроению. Стэфан не стал пить из этого бегущего потока прозрачной воды, перемешанного с искорками капель, разноцветно вспыхивающих, когда ни них попадало солнце, и отошел немного дальше, туда, где ручеек образовывал крошечную запруду. Склоняясь к воде, чтобы напиться, Стэфан заметил размытый силуэт своего отражения, и только чуть-чуть попытался сфокусировать на нем взгляд, только немного хотел направить внимание на себя, отражающегося в темноватой водной поверхности, как физическая боль ярким всполохом резанула его по глазам, как будто оба глаза одновременно лопнули от удара молнии!

Это были слезы, а он, ощущая пальцами влагу, думал, что трогает кровь. Попробовав на вкус свои соленые слезы, он еще раз уверился, что это именно кровь. Отшатнувшись, он упал на бок, и ужас от того, что он ослеп и теперь даже не найдет места, где так комфортно было умирать, заполнил все его существование. Он таращил глаза, пытаясь увидеть хоть что-нибудь вокруг себя, но не видел ничего, кроме ярких кругов, расходящихся во все стороны, возникающих из тысячи разбросанных в пространстве центров, совпадающих и пересекающихся, ставших постепенно просто ярким-ярким сиянием, которое уже невозможно было выдерживать. Стэфан прикрыл веки. Круги постепенно пропали, а вместо них он снова увидел дорогу в Тумане и телегу Уродов, увозящую Принцессу, он увидел, как она приподнялась на руках только ради него, и увидел ее взгляд, в котором была любовь... Она что-то кричала ему, но слышно ничего не было — он не помнил, что говорила ему Принцесса... Потом он с удивлением смотрел на себя как бы со стороны: как он поднимается из грязи, как Уроды в растерянности стоят, глядя на этот оживающий труп, и не знают, что делать, а он, медленно поворачиваясь, выходит из тумана, преодолевая смерть. Стэфан закрыл лицо руками и зарыдал, но это были уже не те рыдания, что вчера, — это были не всхлипы жалости к себе и сладкие слезы удовольствия, бессильно истекающие из его глаз, когда он только тихонечко скулил, свернувшись у своего костра и рассасывая хлебный мякиш. Сейчас спазмы рыданий сотрясали его тело так, что он едва успевал ухватить губами воздуха, а иногда совершенно задыхался, будучи не в состоянии справиться с собой. Но, глубоко вздохнув, в секундный перерыв после приступа плача Стэфан ощущал облегчение и восторг от того, что он может вдохнуть!

Воздух вливался в его легкие как амброзия, как великолепный нектар, как чистый, животворящий напиток! И следом за этим наслаждением снова приходил спазм рыданий, сжимающий его горло, и он, валяясь на земле, переживал спазм за спазмом, будучи не в силах остановиться, так что сознание, казалось, уже уходило, и тут он снова делал глубокий вздох... Стэфан ничего не думал в тот момент и совершенно не чувствовал себя, поэтому он не успел еще удивиться тому обстоятельству, что у него получалось дышать. Стэфан не мог знать, отчего это с ним произошло, но чувствовал, как освобождается от чего-то, как разрывается стягивающая, смертельная поволока, сладко обвивавшая его все предыдущие дни. Было так хорошо дышать, но теперь он ничего не видел! И все это было напрасно! Он не успевал дать слова тем чувствам, которые захлестывали его и мощным фейерверком

взрывались внутри головы. Он даже не успевал отличать чувство бесконечного счастья, надежды и радости, берущиеся неизвестно откуда, от тут же появляющихся чувств угрюмых и безнадежных — все было смешано, перепутано и ни во что не выстраивалось. Стэфан подчинился Этому, следовал за Этим и был с Этим. Он не понимал, что происходит, но через некоторое время стал успокаиваться. Рыдания утихли, он осторожно приоткрыл глаза и увидел сверкающие капельки, подпрыгивающие над водой ручейка, потом повернул голову и увидел дерево, опускающее свои ветки прямо к воде, — он видел! Потом он вздохнул полной грудью, и боль в груди не оборвала этот вздох! Он дышал! Стэфан уселся на краю воды, облокотился на мягкую, покрытую мхом кочку, раскинул руки в разные стороны и дышал полной грудью, наслаждаясь воздухом и наслаждаясь мизерностью той небольшой тянущей боли, которая возникала в конце каждого глубокого вдоха в левой части грудной клетки. Он то закрывал глаза, погружаясь в темноту, то открывал их с замиранием сердца — увидит ли он мир? И каждый раз восторгался, что видит! Его мысли стали ясней, взгляд приобрел цепкость, и образы, которые он наблюдал, аккуратно и по-хозяйски складывались сознанием в правильные конструкции.

Осторожно подойдя к ручью, Стэфан начал пить, и каким это было для него наслаждением! Он пил не торопясь, позволяя воде самой вливаться в рот и вкусно проглатывая ее небольшими глоточками. Потом он разделся и вымылся холодной водой, обсох на солнышке, прополоскал свой плащ, рубаху, штаны. Было совсем не холодно, кругом пели птицы, весна полноправно вступала в свои права.

И Стэфан решил жить! Он радостно, почти бегом вернулся к своему логову, бросил в костер все примятые и испачканные еловые ветки, на которых валялся эти дни, достал мазь, что дал ему трактирщик, и тщательно помазал все тело, а особенно руку. Потом он достал то лекарство, что нужно было разводить в воде и пить, снова вернулся к ручью и, разжевав немного густой, маслянистой субстанции, запил ее водой, на всякий случай зажмуриваясь каждый раз, когда приходилось склоняться над своим отражением. Стэфан думал, что, если он не ошибается, сегодня как раз прошло две недели с того момента, как он вышел от трактирщика с мешком за плечами, и именно второй раз он уже принимает лекарство, находясь в лесу, — значит, ему уже повезло! Ведь так говорил ему трактирщик... Стэфан чувствовал себя везунчиком и самому ему было от этого смешно! Он еще не знал, как будет добывать себе еду, но ему уже казалось, что все получится, а о том смертельном наваждении, что день за днем захватывало его, отнимало надежду, парализовывало и безвозвратно затягивало в свое бездонное чрево, он вообще не думал. Точнее, он даже помнил свои мысли, как помнил знаки и сигналы, убеждавшие его умереть, но теперь они казались ему глупыми, пустыми и необидительными.

Пока сохла его одежда, разложенная на солнце, Стэфан провел ревизию своим запасам и обнаружил в мешке только пять самых маленьких рыбок и чуть меньше половины хлеба, совершенно уже высохшего и не поддающегося даже ножу, а только крошашегося. Это недостаточное даже на один день количество еды вовсе не показалось ему фактом безнадежным — слишком много было в его жизни безнадежности за последние дни. Он только сказал себе, что чем быстрее кончится еда трактирщика, тем быстрее он научится добывать ее сам, и не стал останавливать свои мысли на этом вопросе, потому что нужно было обдумать еще очень многое.

\*\*\*\*\*

Стэфану очень понравилась мысль, что он выжил, вместо того чтобы умереть, и теперь живет благодаря только себе самому как бы заново, внеурочно и дополнительно, обманув кого-то и по секрету от всех. Пока по секрету! Но пройдет время, и все изменится, он еще не знал, как и когда изменится, но был уверен, что жизнь его поменяется и многое-много еще произойдет. Он был возбужден, и это радостное возбуждение трепетало в нем и будоражило мысли. Хотелось сразу хвататься за все дела и делать, делать хоть что-нибудь! Стэфану не нужно было много! Он не претендовал на героические лавры, на всеобщее признание — ему только хотелось и жизненно необходимо было видеть в себе хоть что-то, хоть немного, что заслуживало уважение, но по-настоящему! Тут он вспомнил, что именно крикнула ему Принцесса, когда ее увозили на грязной телеге Уродов от него, барахтающегося в грязи. Она крикнула, чтобы он научился смотреть на себя... Именно так! Она крикнула: «Научись смотреть на себя и спаси меня...» Значит, и она хоть немного, но верила в него! Совершенно случайно сегодня он первый раз попробовал на себя посмотреть! Попытка чуть не стоила ему глаз, но кое-что он увидел, и это кое-что позволило ему продолжить жизнь, хоть он и сам не понял, как это сработало.

В этот день Стэфан нашел себе пещеру и впервые попробовал охотиться. Пещера была замечательная — в ее своде ближе к выходу было довольно большое узкое отверстие, которое пропускало свет и через которое, как думал Стэфан, дым от костра мог бы выходить наружу, не заполняя его дом. Чуть дальше от выхода свод был уже сплошным, и, передвинувшись всего на несколько метров, можно было оказаться под крышей, притом дождевая вода должна была вытекать из пещеры, а не затекать в нее благодаря небольшому уклону. Задней стенки пещеры Стэфан не обнаружил — проход уходил куда-то в гору, и его дальнейшее исследование было вопросом будущего. У входа росла огромная старая елка, основание которой расходилось снизу на целых три, почти одинаковых, устремленных к солнцу ствола — получалось такое тройное дерево, очень раскидистое и заметное со стороны, а снизу было еще полно кустов, так что сам вход в пещеру был совершенно незаметен для тех, кто не знал определенно о ее существовании.

## Глава 9. Люди и Говнюки.

Жители деревни не очень любили Трактирщика. Почти все Говнюки, появившиеся в деревне, так или иначе имели к нему отношение, и во всех историях про Говнюков так или иначе имя Трактирщика присутствовало. Сам он объяснял это обстоятельство просто до наивности: его трактир — первое здание на дороге из Тумана и двери трактира почти всегда открыты, на то он и трактир, вот Говнюки и лезут к нему, а он их всячески выпроваживает. На этот раз жители были особенно сердиты, ходили слухи, что последний Говнюк провел у Трактирщика несколько часов и неизвестно чего за эти несколько часов произошло, и даже говорили, что Говнюк вошел в трактир весь грязный и без всякой поклажи, а вышел помытый, ухоженный и со здоровенным мешком. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы сам трактирщик не организовал экспедицию по поимке Говнюка, не заплатил бы деревенским охотникам, и еще, если бы Стражник не выступил бы в защиту Трактирщика, сказав, что видел этого Говнюка и слышал, как трактирщик с ним разговаривал, и что Трактирщик вел себя совершенно правильно, как только мог, выпроваживая наглого Говнюка из своего заведения, и вовсе не Трактирщик виноват в том, что Говнюк украл топор, а

охотники не смогли его найти, и жителям не нужно искать виноватых среди своих, а нужно теснее объединяться для защиты деревни.

Трактирщик пытался всех успокоить, говорил, что Говнюк был очень ранен и, вероятнее всего, издохнет в самом ближайшем будущем, а может быть, и уже издох, так что раньше времени не стоит беспокоиться — ведь ничего еще не произошло. Такая легкомысленность всех возмущала. Особенно фраза, что «ничего ЕЩЕ не произошло», как будто нужно было дожидаться, пока Говнюк устроит преступление и кто-то лишится ребенка или сам погибнет, а только потом нужно принимать меры... Тем более, слова Трактирщика вызывали недоверие, поскольку все помнили, как еще несколько дней назад он, пытаясь заманить на охоту за Говнюком бесплатных добровольцев, громче всех кричал, что это уже почти Злой Говнюк и, без сомнений, он может быть очень опасен. Многие тогда пошли вместе с охотниками и честно топтали лес, выполняя свой долг, но Говнюк бесследно пропал, и это обстоятельство показалось жителям особенно тревожным. Говнюк, который смог среди бела дня украсть топор, а потом спрятаться от целого отряда охотников, шедших по его следам, мог тайно поселиться где-нибудь возле деревни, и неизвестно, чем это могло обернуться для ее жителей.

\*\*\*\*\*

Было время, когда говнюки жили среди людей. Они были так-же заметны, их так-же не любили и опасались из-за злобы, коварства, лживости и жестокости а еще из-за того, что настоящей пользы от говнюков было совсем мало. Они не были ни умными, ни трудолюбивыми, и талант их состоял только в том, чтобы отнять, украсть, выманить или выпросить. Любую общению с Говнюком оставляло у каждого чувство, что его ловко использовали. Никому это не нравилось, говнюков стыдили, уговаривали, старались воспитывать детей так, чтобы они не выросли в говнюков, но... получалось не всегда.

Потом мудрецами была открыта и измерена Человеческая Сущность - развитостью, силой которой определялись в человеке и способности, и физическое здоровье и доброта. Чем больше Человеческая сущность, тем добрее был человек. А еще сильнее, красивее, умнее, талантливее... Каждый талантлив в своем, но доброта, искреннее человеческое расположение всегда под стать таланту. Самыми добрыми и необыкновенно талантливыми были Герои, обладавшие невероятными способностями, они же оказались самыми добрыми, и искренне всех любили.

Мудрецы давно установили эту зависимость, но сравнительно недавно начали понимать ее основания. Было общеизвестно, что Человеческая Сущность приращивается любовью. Это считалось бесспорным и интуитивно понятным каждому, но откуда берется в человеке любовь? Почему у одних ее больше, а у других меньше? Если любовью приращивается человеческая сущность, значит ее нужно беречь и никому не отдавать? Чем больше отдашь одному, тем меньше останется другому?

Все оказалось наоборот! Мудрецы обнаружили, что для увеличения общего количества любви ее нужно не сохранять, а наоборот - ею меняться с другими людьми. Любовь другого человека в десятки раз сильнее для каждого чем его собственная! Отдающий любовь лишается гораздо меньшего, чем получает получающий! Если любовь перемещается между людьми - ее общее количество многократно увеличивается! Все меняется любовью всегда: каждым разговором, взглядом, поступком, и особенно, в семье, с

близкими... Для мощного развития Человеческой Сущности нужно только научиться храбро отдавать свою любовь и благодарно принимать чужую.

И это как-раз не просто, в развитии этой способности и состоит, по сути, развитие человека и человечества.

Хуже всего с этой способностью у говнюков. У них любви совсем мало. Так мало, что их Человеческая Сущность разрушается, уменьшается, деградирует так сильно, что восстановление считается невозможным. Им ее настолько не хватает любви, что отдать свою они не могут, а принять чужую - тоже не могут из-за их невероятной подозрительности. В чистую любовь другого человека говнюк не верит и принять ее неспособен.

Говнюкам легче принять любовь от природы, леса, моря, гор, от бессовестных животных... Но сколько любви может дать лес?

Еще, говнюки могут усвоить некоторое количество любви, в виде похоти. Им кажется, что похоть дает смысл их говнюковским жизням и питает их вместо любви, а на самом деле питает все равно только любовь, и ровно настолько, насколько она еще содержится в похоти Говнюка, незамечаемая и отрицаемая им.

Процесс разрушения Человеческой Сущности идет медленно, есть примеры, когда люди спохватываются, еще не сделавшись говнюками и меняют себя, но сделаться Человеком из Говнюка почти невозможно, как невозможно жить и не умереть от истощения, если желудок из-за болезни не способен нормально переваривать пищу.

Теоретически, у каждого Говнюка есть шанс. Мудрецы верят, что у каждого Говнюка есть шанс сделаться Человеком или даже Героем. Люди верят своим Мудрецам, тем более что перед самой смертью в лице каждого Говнюка всегда появляется просветление, появляется смертельный ужас и раскаяние, лицо снова делается человеческим, он как бы просыпается, открывает живые человеческие глаза... но только для того, чтоб в эту секунду осознать весь ужас, отчаяние и неотвратимость наступающей смерти. И еще, наверное, он открывает глаза, чтобы попрощаться со всеми людьми и хотя бы взглядом отдать кому-нибудь свою последнюю-распоследнюю любовь. Поэтому, когда люди казнят Говнюка, ни у кого нет радости или злорадства и плачут даже мужчины.

Самые опасные - Злые Говнюки — это бывшие люди, бывшие Стражниками или Охотники, обычно высокого роста, физически крепкие. У них любовь превращалась в злость. Меняться злостью еще труднее, чем похотью, хотя бы потому, что чаще при таких обменах один или оба Злых Говнюка погибали, убивая друг друга в приступе ярости. Ведь меняться злостью значит орать друг на друга и драться. Такие Злые Говнюки людей считали виноватыми во всех своих несчастьях, могли подпитывались любовью от природы, считая деревья, горы и реки своими союзниками против ненавистных и отвергнувших их людей. Не обязательно такие Говнюки сразу набрасывались на каждого встречающегося им человека, но это происходило очень часто, и скрепя сердце Совет Мудрецов постановил ловить и вешать отчетливо Злых Говнюков, где бы они ни появились, посчитав, что дорога от Злого Говнюка до Человека возможна только сугубо теоретически, и примеров таких нет даже в преданиях, и учитывая, что пострадавших от Злых Говнюков становилось все больше. И особенно важно было, что страдали от Злых Говнюков самые лучшие люди, самые добрые и приветливые, которые этих Злых Говнюков вовсе ничем не старались задевать, а наоборот, пытались их урезонить, пытались помочь им, сообщить им немного своей любви... и тут-то происходило ужасное. Если Злой Говнюк получал от кого-то любовь, она немедленно превращалась у него в ярость и взрывала его изнутри так, что он набрасывался на доброго своего собеседника, пытавшегося помочь, и... убивал, не помня себя в этот момент. Поэтому люди на всякий случай старались вообще не разговаривать с Говнюками и даже на них не смотреть. Хотя Злые Говнюки были видны издали, но... лучше судьбу не испытывать.

Другие, обычные, Говнюки в целом были безобидны, точнее, они не были смертельно опасны, но ничего хорошего от них ждать не приходилось. Что может быть хорошего от лживых, двуличных, жестоких существа, при каждом удобном случае готовых обмануть и нагадить как для собственной выгоды, так и просто для удовольствия.

Еще Говнюки любили заманивать человеческих детей, особенно немного подросших, и, завлекая незрелые детские души своими говнюковскими играми, пробуждали похоть в ребенке или злость, к всеобщему наслаждению Говнюков или, если это было невозможно, хотя бы забрасывали в душу ребенка зерна говнюковской ржавчины, которые могли, подтачивая душу изнутри, впоследствии испортить маленькому человеку жизнь.

Вероятно, были и другие типы Говнюков, имелись самые разнообразные смешанные формы... Мудрецы говорили, что Говнюки изучены недостаточно и таят в себе много загадок, которые еще предстоит разрешить. Говорили даже, что дорога от Человека до Героя дальше, чем дорога до Героя от Говнюка. Но мало кто понимал этот странный парадокс, все считали его просто игрой слов, над смыслом которых почти никогда не задумывались. Некоторые даже утверждали, что в этой поговорке просто перепутались слова и ее надо произносить так, что дорога от Человек до Героя дальше, чем от Человека до Говнюка, имея в виду, что развиваться всегда тяжелее, чем деградировать, что тоже вызывало дискуссии... В общем, ясности в этом вопросе не было никакой.

Все относительно безопасные Говнюки обязаны были проживать в Городе Говнюков, находящемся за горой, и там постепенно приканчивали каждый свою человеческую сущность, предаваясь своим говнюковским страстям и наслаждениям, а затем тихо умирали, если до этого их не вешали Стражники или не убивали свои же Говнюки, что было совсем не редкостью.

На нынешнего, последнего Говнюка планировалось устроить еще одну облаву, тем более что кто-то из охотников видел дым, поднимающийся со стороны пещеры Трех елок. Но сроки второго похода пока не назначались, поскольку единства между жителями деревни здесь не было. Многие не верили в успех этого предприятия, потому что пещера Трех елок была самым близким к деревне убежищем и предыдущая экспедиция обыскала возле нее всю округу, саму пещеру, но никого не нашла. Тем более поселиться в пещере Трех елок было святотатство, и мало какой Говнюк мог бы решиться на такое оскорбление всем жителям деревни. Многие говорили, что Говнюк не мог быть таким легкомысленным, чтобы остановиться настолько близко от деревни и в таком знакомом всем жителям месте, тем более сознательно оскверняя святыню. Другие, особенно те, которые не участвовали в предыдущей облаве, допускали, что Говнюк, тем более будучи раненым, не смог уйти дальше пещеры Трех елок, а о том, что место это всем известно, он вообще-то мог и не знать, думая, что находится в дремучем лесу, а почему его в первый раз там не нашли — это вопрос к участникам похода и Трактирщику.

## Глава 10. О том, как справиться с чувствами.

Стефан давно уже жил в лесу, но сегодня впервые похлебал горячего! У него была замечательная, только что вырезанная из дерева ложка, горошек из обожженной глины, он ел свой солоноватый и довольно жиденький суп и не было в целом свете ничего вкуснее. Он урчал от удовольствия, обжигался — давали о себе знать еще не вполне зажившие десны, но

это все было так мизерно по сравнению с его удовольствием от горячей еды. Стефан выхлебал почти половину котелка и, насыщаясь, стал чувствовать, как его неотвратно клонит в сон, такой сладкий, какого еще не было ни разу за все время его лесной жизни. Первый раз можно было сказать себе, что имеет хоть какую-то крышу над головой, имеет очаг, первый раз он поел так, как должен есть человек, теперь было самое лучшее состояние, для того чтобы прилечь и уснуть... Сколько ему пришлось перемесить глины, чтобы вылепить и благополучно обжечь свою посудину!? Сколько раз в приступе ярости он все ломал, топтал, рушил или жег!? Но вот... получилось. Он чувствовал приятную, сытую расслабленность, но не забывал о своей решимости не спать этой ночью и только позволил себе с часик провести в сладкой полудреме у костра, а потом поднялся и вылез наружу, где уже стемнело и сделалось довольно свежо.

Спать уже не хотелось. Ему подумалось, что именно сейчас, ночью, какие-нибудь небольшие животные, вероятно, испытывая жажду, должны спускаться к ручейку, чтобы попить. Он знал, что не готов к охоте и что сегодня вряд ли у него будет добыча, но решил просто посмотреть что происходит у ручья по ночам.

Светила луна, привыкнув к темноте, он вполне различал знакомые очертания местности. Ступая как можно аккуратнее, он приблизился к ручейку и, замаскировав себя ветками, улегся на охотничий плащ так, чтобы дуновение ночного ветерка было направлено ему в лицо и устоялся на месте предполагаемого водопоя. Стараясь не шевелиться, он очень замерз и вынужден был прекратить засаду не дожидаясь утра. Так в первую ночь пришлось уйти ни с чем - никто из животных и не пришел на водопой в этом месте. Причин для паники пока не было — несколько дней он вполне мог продержаться на том, что соберет и сварит, а тем временем подготовится к охоте по-настоящему. Он думал, возвращаясь, что вообще, глупо было ждать зверя там, где вообще не было никаких звериных следов. Нужно назавтра обследовать весь ручей и найти место, где животные пьют, а там уже устраивать засаду. Вернувшись в пещеру, Стэфан разжег огонь поярче, улегся на свою кучу веток и замечательно поспал.

Следующая неделя была очень удачной. На пятый день ночных засад, ему удалось убить довольно увесистое копытное, похожее на небольшую антилопу. Он был уже гораздо лучше готов к охоте — на земле устроил ловушки, для которых сам наплел веревок из травы, хорошо выспался днем, устроил мягкие и теплое лежбище и ждал, собрав все терпение. Осторожное животное обошло все его приспособления и, осмотревшись, послушало немного, понюхало воздух и начало пить буквально в пяти шагах. До этого оно стояло невдалеке, Стэфан хорошо слышал звуки кормления, состоящие в том, что антилопа ела и немедленно громко пускала из себя воздух. Он лежал ни жив ни мертв, думая, выйдет ли она к воде или просто развернется и пропадет в лесной чаще так же неслышно, как и появилась. Он очень просил тогда у леса... И она вышла прямо к нему! Дальше Стэфан уже не думал. Его рука сама швырнула в антилопу топор, который попал в цель и с хрустом, глубоко вошел в бок незащитного животного своим лезвием. Копытное, хоть и ошарашенное неизвестно откуда случившимся ударом, не умерло на месте, а резво убежало себе в лес вместе с топором! Стэфан похолодел, он даже и думать не мог о том, чтобы лишиться своего единственного оружия. Он не стал себя укорять, не стал злиться и ругаться на несправедливость судьбы, а терпеливо пошел по кровавому следу. Ночью он прошел очень мало — след был то отчетливым, то прерывался, и приходилось отыскивать его почти на ощупь, на запах крови, продираясь сквозь заросли. Он проходил до самого утра, последний час уже без надежды, потому что совершенно потерял след, и оставался там только для того, чтобы с первыми солнечными лучами продолжить поиски с этого места. Направление следа было к горам, и Стэфан гнал от себя мысли, что раненая антилопа может забраться туда, где ему просто не пройти. Рассвело, он снова нашел окровавленные кусты, пошел по ним

дальше, на свету было гораздо легче держать направление, и еще через два часа он увидел мертвое животное со своим, глубоко засевшим топором.

В четыре захода он перенес все мясо к пещере. Часть сразу принялся варить вместе с целой кучей собранных им травок и корешков. Немного оставил, чтобы вечером пожарить на прутике, а большую часть развесил на ветру, так, чтобы мясо обветрилось и покрылось корочкой, тогда по расчету Стефана мясо не должно было быстро испортиться.

Мясной рацион следующих дней, ежедневное купание в ручье и натирание мазью от ушибов привели к замечательным результатам: почти все следы от побоев исчезли, опухоль спала, рука почти уже не ныла и вместо привычной тянущей боли начала так чесаться, что Стэфан места себе не находил и иногда как полоумный скакал по своей пещере. В последний день пятой недели он еще раз выпил средство трактирщика от переломов и продолжил аккуратно отсчитывать дни. Теперь он мог себе позволить покой, у него была еда, был дом, по крайней мере, на некоторое время. Стэфан рассчитывал пробыть здесь, пока полностью не поправится, а потом... Он много думал, что будет потом, но выхода не видел. Вероятно, он мог бы прожить в этой пещере все лето и даже осень, но зимой остаться здесь было равносильно гибели. Да и не выжить была у Стефана задача, а спасти Принцессу, то есть нужно было вернуться через деревню в Туман и искать ее там — у Уродов.

При мысли об Уродах у Стефана сразу появлялось желание упражняться в метании топора, что он очень полюбил и чем занимался подолгу ежедневно. Он даже чувствовал у себя к этому занятию определенный талант. Еще Стэфан достал пращу и, подобрав подходящих камешков, тренировался управляться с этим куском кожи, что давалось ему существенно труднее. Но постепенно, когда кончились еще две недели, Стэфан научился попадать с десяти-пятнадцати метров в камень, приблизительно соответствующий размером здоровенному индюку, потом в камень с крупную утку, потом с курицу, и уже собирался поохотиться на маленьких здешних птичек с этим оружием вредных подростков. В положенные сроки он пил лекарство, мазь от ушибов уже кончилась, да и ушибы давно зажили.

Весна уже сменилась летом, и наступил день, когда Стэфан снял повязку и бросил ее в огонь. Сравнивая обе руки, он едва мог удержаться от отчаяния — левая была как мертвая, тонкая, сероватого цвета и едва шевелилась. Еще она получилась какая-то кривоватая, а один палец сросся неправильно, образовав похожее на шишку утолщение в месте перелома. Но боли от левой руки Стэфан уже не чувствовал, он пробовал нажимать на нее, давить, делать ею усилия — рука реагировала нормально, похоже, кость срослась. Каждый день он разрабатывал свою левую руку, терпеливо давая ей все более сложные задания. Он специально вырезал длинную палку и носил ее в левой руке, тренируя сросшиеся пальцы, и старался делать левой рукой побольше самых разнообразных движений.

Живя в лесу, Стефан несколько раз вынужден был вспомнить слова Трактирщика о том, что может стать злым Говнюком. Иногда, особенно если что-то не получалось, злость накатывала на него с такой силой, что он брал палку и яростно колотил по деревьям, как будто сражался с кем-то. Он дубасил по стволам сосен долго, не замечая времени, и останавливался когда крепкая и толстая палка ломалась. Тогда он садился тут же под деревом, руки у него тряслись, пот заливал лицо, мыслей никаких не было, он устремлял взгляд в одну точку и медленно приходил в себя.

Чтобы не совсем одичать и не сойти с ума, Стефан все время разговаривал с лесом, в его голове возникали фантазии, что лес — его брат, что между ними есть некоторая никому не понятная связь, и пока эта связь существует, лес не выдаст его, а будет защищать и кормить. Все птички, которых ему удавалось убить, были для него частями великого брата, которые тот жертвовал на пропитание Стефана — младшего и неразумного. Охота на птиц действительно казалась Стефану почти чудом — совсем недавно птицы, увидев его с



пращей, просто чуть-чуть отлетали на безопасное расстояние, которое составляло всего-то метров двадцать, и, не обращая внимания на приставучего человека, продолжали заниматься своими птичьими делами. Казалось, у него нет ни одного шанса поймать хоть какую-нибудь! Они были абсолютно неуязвимы, потому что хорошо видели Стэфана и всегда могли улететь или просто немного отойти от его докучливых посягательств. Если его камень пролетал близко или наделявал шуму, птицы вообще снимались с этого места и совершенно улетали, так что приходилось опять бродить по предгорьям в поисках новой птичьей стаи. Как казалось Стэфану, улетаая, птицы смотрели на него как на приставучего дурачка, который совершенно безобиден, но приличия предписывают держаться от него подальше. Он пробовал кидать в них топор, но было слишком далеко, пробовал швырять в них палку, но она летела слишком медленно, праща, казалось бы, уже слушалась его, но то камень летел не туда, то сила удара была недостаточной, и ничего не получалось. Стэфан терпеливо раскладывал силки из сплетенных им веревок, оставлял приманку из аппетитных для птиц жучков, личинок и лесных насекомых, но веревки были толстые, неровные и не могли резко затягиваться — птица успевала покинуть капкан прежде, чем он захлопывался, и все с тем же удивленным взглядом улетаала, казалось, осуждая его бесплодные, не опасные, но противно-докучливые для нее попытки.

Признав свои шансы в птицеловстве почти нулевыми и в некотором роде успокоившись на этом, он продолжал интересоваться птицами уже почти без цели охоты — это просто вошло в привычку. Увидев птичек, рассеявшихся где-нибудь невдалеке, он тихонько доставал пращу, выбирал камешек и, добросовестно прицелившись, спугивал всю стаю, не попадая ни в одну. Дальше он спокойно, даже с чувством удовлетворения продолжал свои дела, будто его задачей было только поугаить и прогнать птиц. Стэфан продолжал собирать чего-нибудь съедобное или заниматься другими своими делами и не думал искать птиц специально, как он делал это прежде, он обращал на них внимание, только если они сами прилетали к нему. Если стая сама располагалась возле него, то не сделать попытки охоты Стэфан не мог — это было бы неуважение к старшему брату, и каждый раз приходилось вежливо выполнять все тот же бесполезный ритуал. Но в один из дней он попал! Попал в крыло и догнал в кустах довольно крупную куропатку! Стэфан отнес это к случайности и думал, что после этого случая птицы вообще перестанут к нему подлетать, обменявшись информацией о том, что этот дурачок, размахивающий кожаной веревкой с камешком, может быть еще и опасен, а не только смешон. Но все продолжалось по-прежнему — птицы продолжали прилетать как ни в чем не бывало, и более того, он попал еще раз, а потом, бросив собирать подножный корм, принялся уже выслеживать птички семейства, научился незаметно к ним подбираться и попадать пращей почти без промаха. Стэфан понимал, что птицы просто не умеют говорить, да и не самые умные они обитатели леса, как это всем известно, но, несмотря на эти здравые мысли, внутри него крепла уверенность, что таких легкомысленных птичек присылает именно его старший брат, все более и более к нему располагающийся из-за аккуратности Стэфана с искренними благодарностями, настойчивости в постижении правил. Кстати, в том месте, где ему повезло с антилопой, больше не вышел на водопой ни один зверек, сколько Стэфан там не пролеживал ночами, держа наготове топор. Ему в том месте больше не случилось удачи, и новых следов водопоя тоже не отыскивалось. Похоже, то замечательное копытное было исключительным, царским подношением от брата — типа подарка на день рождения, который бывает только раз в году.

## Глава 11. Об облаве на Говнюка.

В деревне все было готово ко второй экспедиции. Местоположение Говнюка было доподлинно известно — он действительно позволил себе с крайней легкомысленностью поселиться в пещере Трех елок, где не только обнаружили множество его следов, но и выследили его самого. Разведчик, прятаясь в кустах, увидел, что вернувшийся из леса обитатель пещеры был один, что был он вполне здоров, хотя и выглядел диковато из-за клокастой бороды, изорванной, хотя и не очень грязной одежды и зверского, зыкающего взгляда, который бывает у хищных птиц или голодных животных. Топор, украденный в деревне, он все время носил с собой и, судя по всему, не собирался с ним расставаться и вообще где-нибудь его оставлять даже на минуту. Еще он держал в руке здоровенную и довольно длинную палку, назначение которой было совершенно непонятно, тем более что, посидев немного перед входом в пещеру, Говнюк вскочил и принялся наносить этой палкой увесистые удары по близстоящим деревьям. Он бил по деревьям все более и более яростно, его и без того дикое лицо приобретало невообразимое зверство, изо рта вырывались нечеловеческие звуки, лишь иногда приобретающие форму ругательств, а чаще это был просто рев наподобие медвежьего. Человек, следивший за ним, не мог справиться со своим страхом, глядя на такое яростное безумие, охватившее мирного, казалось бы, Говнюка. Деревья ощутимо вздрагивали под его ударами, и громкие и резкие звуки далеко разносились по лесу. Потом палка треснула и еще через пару ударов разлетелась в щепки. Говнюк выхватил топор и еще несколько раз рубанул дерево, как бы не удовлетворившись предыдущим своим зверством. Потом он сел под деревом, глубоко дыша, закрыл лицо руками и сидел так несколько минут. Было непонятно, что он делает, только спина его вздымалась и опускалась в такт дыхания, как кузнечные меха. Когда он оторвал руки от лица и, подняв голову, распрямился, это уже снова был мирный Говнюк, совсем не выглядящий злым. Его губы тихо бормотали, он стал подходить к деревьям, которые только что молотил, и стал бережно трогать их ладонью, что-то шепча им непонятное. Так он бродил между деревьями, потом уселся, еще стал шептать, затем просто сидел, прислонившись головой к одному из деревьев. Это заняло много времени — почти час, не считая того, что по деревьям он молотил часа полтора, а то и два. Стало смеркаться, видно было уже не так хорошо. Говнюк залез в пещеру Трех елок и больше не появлялся, а над пещерой вскоре появился легкий дымок, вероятно, там горел огонь. Охотник поспешил в деревню и рассказал все увиденное Стражнику и другим односельчанам. Тогда решено было захватить Говнюка и, разобравшись, злой он или не злой, действовать по обстоятельствам. Рассказ охотника обеспокоил жителей деревни, и многие решили записаться добровольцами на такое дело, потому, что такого двуликого Говнюка еще никто никогда не видел и даже о таких никогда не слышали, и ничего хорошего от таких новых Говнюков никто не ждал, как не ждали от Говнюков вообще ничего хорошего.

Действовать решено было так: выследить, когда Говнюк уйдет в лес, и разорить его жилище, очистив таким образом вход в Обитель Мудрецов. Окончательная очистка священного места должна была совершиться огнем, и предполагалось незамедлительно подготовить вход пещеры к этому благочинному ритуалу, который все равно необходимо осуществить, к тому же, если Говнюк попытается прорваться обратно в пещеру, священный огонь остановит каждого. Тем более, после рассказа охотника о зверской силе Говнюка и памятуя о его боевом топоре, желающих грудью встретить его на пороге пещеры, если он туда ринется, не оказалось. Возле пещеры планировалось оставить на всякий случай только двух поджигателей, а все остальные жители должны были просто окружить Говнюка в лесу и

загнать его в предварительно установленную сетку, в которой его спеленать и, связав, привести в деревню.

Выступить решено было еще с ночи, так чтобы к раннему утру занять необходимые позиции. Ночью никто не спал, люди готовились, собирались по несколько человек, советовались, обсуждали, высказывали версии. Руководил всей операцией Стражник, а Трактирщик обещал всем по возвращении бесплатное угощение. Будить никого не пришлось, к назначенному часу все собрались на площади, распределились по отрядам и готовились тронуться в путь, поджидая окончание каких-то мелочей, как это бывает всегда при одновременном выступлении многочисленной группы людей. Между участниками похода шло бурное обсуждение предстоящего, вообще ситуации с Говнюками и Уродами, и больше всего споров было по поводу того, что потом делать с пойманным. Были разные предложения: одни предлагали крепко привязать его к столбу и при этом дружески, участливо и тепло поговорить. Если он, получив сообщаемые ему дружеские чувства, то есть любовь, начнет беситься — значит, он очевидно Злой Говнюк и его тут же стоит повесить, соблюдая закон. Другие осторожно говорили, что, будучи привязанным к столбу, каждый может начать беситься. Но их робкие голоса тонули в общем убеждении, что никому не охота рисковать своей жизнью и говорить любезности не привязанному к столбу Говнюку, тем более такому, который ломает об огромные сосны здоровенные дубины своими ручищами.

Как всегда бывает между людьми достоверная информация о Стэфане, полученная охотником, была несколько приукрашена и видоизменена. Даже и сам разведчик позволил себе ради красного словца чуть-чуть усилить, а потом каждый немного добавлял от себя, и не со зла, а просто им казалось, что именно так они и слышали от очередного своего знакомого. Произошло даже несколько стычек на почве того, что люди не могли вспомнить, кто кому чего говорил, и яростно утверждали каждый свое, глядя друг другу в глаза и искренне удивляясь в отношении собеседника — как это можно так бессовестно врать. Эта неопределенность создавала дополнительное беспокойство для всех. Ну, посудите сами, как относиться к Говнюку если вчера он по слухам ломал палки о деревья, к вечеру уже огромные дубины разносил в щепки о гору, а к утру следующего дня уже ходили слухи, что Говнюк-то... не палки ломал о деревья, а сами деревья ломал, как палки своими здоровенными ручищами. И истину найти было уже невозможно. Слышались осторожные голоса, что сил может и не хватить, что стоило бы обратиться за помощью к правительству, и пусть присылают специальных Стражников. Но другие, и их было больше, говорили, что это собственное дело деревни — защищать свои святыни, и лучше всем храбро погибнуть, чем еще несколько месяцев терпеть присутствие Говнюка в пещере Трех елок. В конце концов, суровая решимость рисковать своей жизнью и, если будет нужно, отдать ее, защищая свой очаг и своих близких, овладела уже всеми. Каждый про себя думал, что именно его Говнюк и зашибет своей огромной лапицей. Некоторые не понимали только зачем, если он такой гигант, ему еще и топор? Но логика в тот момент никого уже не интересовала, и от зануд просто отмахивались. Никто не говорил вслух, но многие решили про себя, что свою жизнь они не отдадут задаром и, несмотря на общий план поймать Говнюка в сеть, решили при случае бить его насмерть, не дожидаясь, что он отхватит их голову своими острыми, как у змеи, зубищами или разнесет свою лапою голову кому-то из односельчан. Напряжение усиливалось, нужно было уже выступать, но еще раз побежали менять сеть, предыдущие две казались непрочными, и выискивали особенную сетку, сплетенную из крепких-прекрепких веревок, которую не мог бы разорвать даже слон, попади он в эти места.

Выступили с опозданием уже начинало светать, но все равно — шли осторожно, стараясь соблюдать тишину. Замыкающим было поручено следить за тылом, потому что допускалось и то, что Говнюк, пытаясь предупредить экспедицию, сам нападет на людей, используя преимущество внезапности. Люди были суровы и сосредоточены, почти у всех

под одеждой были предусмотрительно спрятаны кинжалы, короткие мечи или топоры. Многие были в кожаных доспехах, большинство на всякий случай попрощались с семьями, как в последний раз поцеловали жен и детей, каждый шел, исполненный решимости, сознавая собственный бескорыстный героизм. Почти все чувствовали в горле приятный комок легкой жалости к себе, но, понаслаждавшись им немного, отгоняли это состояние, чтобы не потерять бдительность.

К счастью, Говнюк в этот день дрых довольно долго, и все уже было готово в лесу, когда самые опытные следопыты, посланные следить за пещерой, подали знак, что он вылез. Он вылез, справил свою утреннюю нужду в метре от разведчиков и, неся в руках какую-то кривую лоханку из обожженной глины, потопал расслабленно в сторону ручейка. Если бы он спустился в овраг, то было бы очень удобно, навалившись всем сверху, накинуть на него сеть и скрутить, какой бы нечеловеческой силой он не обладал. Рядом с оврагом его ждали засадчики, расположившиеся кругом оврага на высоких деревьях. Только бы он сошел вниз, как оказался бы окружен. Специальный сигнал разведчиков предупредил их, что все идет по самому прекрасному плану и двигается Говнюк именно в их сторону, и, может быть, группа загонщиков вообще останется незадействованной. Все было прекрасно, но перед самым оврагом, когда все рассеявшиеся на деревьях засадчики уже могли видеть свою цель, Говнюк вдруг усмотрел аппетитных птичек, устроившихся неподалеку на нижних ветках деревьев с целью совершить естественные в эту пору для птиц брачные церемонии. На ветках, метрах в двадцати от Говнюка, расположилась одна курица-тетерка и несколько петушков, пытающихся соперничать ради нее и поэтому игнорирующих опасность. Он достал из кармана пращу, которую впоследствии кто-то из жителей деревни узнал как свою, забытую давным-давно в трактире... Говнюк аккуратно поставил свою глиняную кастрюлю на землю, достал пращу, тихонько раскрутил ее, прицелился и, метко швырнув камень, убил одну из птиц и радостно побежал вытаскивать свою добычу из кустов, как вдруг впереди него юркнул рыжий лисий хвост, и, украв его добычу, лисичка засемила прочь от Говнюка, который, безрезультатно пытаясь настичь ее, наткнулся на свою лохань и разбил ее вдребезги. Несколько секунд он стоял молча, потом достал топор, ловко вырубил из близстоящего дерева здоровенную палку и принялся колошматить ею по рядом стоящей здоровенной сосне. Такого развития событий никто не предусматривал, и все сидели на своих деревьях, ничего не предпринимая, потому что не знали, что делать. Парень, сидевший на той сосне, по которой все сильнее лупил Говнюк, тоже не знал, что ему делать, но очень хорошо помнил рассказы, как этот Говнюк ломает деревья, и думал, что происходящее — закономерный итог его неудачливой жизни, думал, что хоть с женой ему и не повезло и за все три года совместной жизни у них не было и пяти счастливых дней, но женщина она в целом не плохая, и, возможно, он сам был в чем-то виноват, стеснялся ее, не ценил... Так он предавался скорбным размышлениям, всем телом своим ощущая увесистые удары по дереву, на котором сидел, и все виноватее становились его мысли, все больше он понимал ошибок в своей жизни, все больше грандиозных пластов его восприятия мира перерабатывались и начинали звучать совершенно иначе, чем раньше, и сердце его сжималось от невозможности теперь уже хоть что-нибудь исправить. По мере того как сжималось сердце, ноги, держащие его на дереве, почему-то незаметно разжимались, и не прошло и нескольких минут, как парень уже летел вниз — прямо на Стэфана, и летел совершенно уверенный, что не он это упал, а дерево рухнуло под ударами этого особенного Говнюка, и летит он навстречу своей неотвратимой смерти. Парень долбанулся прямо Стэфану под ноги, и хоть и остался жив и даже упал очень удачно, он не думал шевелиться, размышляя только, на каком он свете: еще на этом или уже на том. Остальные, сидящие в своих засадах на деревьях, решили, что действовать надо уже и без команды и начали соскакивать или слезать с деревьев, громко вопя и делая отчаянные рожи, попутно доставая спрятанные у каждого кинжалы, топоры и

прочие предметы, которые должны были помочь им продать свои жизни подороже. Слезать мало кому хотелось, большинству как раз хотелось еще посидеть, потому что со стороны отчетливо казалось, что именно удары Стэфана по сосне заставили засадчика свалиться как перезревшую грушу. И это отчасти подтверждало худшие предположения о развитости физической силы этого феноменального Говнюка. Но единый порыв отваги окрылил всех, придал уверенности, почти все были готовы к подвигу еще на пути в этот лес, еще по дороге, и теперь упорно слезали, собираясь вступить с Говнюком в неравный бой и, возможно, погибнуть, но не дать ему просто так сожрать товарища, а тут может, и подмога подоспеет... Люди, слезавшие с деревьев, все скучились в одном месте и стали ждать нападения Говнюка, храбро глядя на него и крича каждый что хотел, подбадривая друг друга и потрясая оружием, которое оказалось ко всеобщей радости почти у каждого. Но хитрый Говнюк, бросив на них плотоядный взгляд, решил заманить куда-то деревенских жителей, заставить их воевать по его сценарию, и, постояв всего минуту или чуть более, пока последние засадчики спускались с деревьев и подходили к общей группе, стараясь подальше обойти Говнюка, он подхватил свою палку и пулей помчался сквозь кусты по направлению к пещере Трех елок. От такого неожиданного маневра люди все как по команде примолкли и оглянулись друг на друга, как бы пытаясь понять: преследовать его или нет? Орал теперь только один человек, стоящий у Стэфана как раз на пути, это был тот самый пастух, который отказался разговаривать с ним в первый день. Теперь этот парень стоял крепко зажмурившись, отчаянно наклонился вперед, изо всей силы отключив зад, а обеими руками он размахивал перед собой здоровенным ножом. Стэфан не удержался и, пробегая мимо, от души треснул его палкой по этому отключенному заду, от чего вопль пастуха мгновенно оборвался, он бросил нож, упал на землю и начал тихонько себя ощупывать — совместимы или не совместимы с жизнью полученные им ранения. Миновав его, Стэфан еще раз уверился в правильности своей прежней мысли, что в пастухи идут люди, обладающие некоторыми невыгодными на общем фоне особенностями.

На его пути должен был находиться заслон, люди в котором еще ничего не знали ни про украденного лисой тетерева, ни про разбитый горшок... Но все они слышали жуткие звуки ударов, потом — как что-то упало, потом крики, и как они внезапно смолкли, почти что оборвались, и остался только один боевой крик, который тоже внезапно оборвался... Кто-то даже сказал, что слышал звук удара дубиной по человеческому телу, прежде чем оборвался этот последний крик. Заслон как по команде ошетинился оружием, даже те, кто должен был держать сетки, побросали эти бесполезные для такой ситуации снасти и достали топоры, готовые защищать свои жизни. Минут через пять все увидели пробирающегося сквозь лес Говнюка, он тоже увидел людей впереди себя, заорал и понесся прямо на них.

Тем временем следопыты, проводившие Стэфана от пещеры и подавшие все необходимые сигналы, занимались своей работой, то есть ломали все, что Стэфан построил. Они разбили горшки, предварительно похлебав из одного немного похлебки, и найдя ее вполне съедобной. Потом все перевернули в поисках чего-нибудь интересенького, ничего не нашли, выкинули из пещеры то, что было у Говнюка очагом, а его кровать и все запасливо заготовленные им дрова сложили у входа, добавили туда еще немного свежесподрубленных и подожгли, выполняя ритуал очищения и одновременно отрезая Говнюку путь к бегству, если он чудом вырвется из поставленных на него засад.

Стэфан сам не знал, как он пробился через толпу людей, некоторые из которых бросались на него с ножами, топорами и мечами, он понял, что лесная жизнь кое-чему его научила, и, ловко отбивая палкой не очень-то уверенные удары, он кое-кому даже саданул под дых, кого-то треснул по злобно оскаленным зубам, все это заняло секунды, его вообще никто не задел ни одной из своих железок, но как только он прорвался через это оцепление, люди, собравшись под руководством стражника, бросились за ним вдогонку. Он бежал очень

быстро, но смог лишь немного оторваться. Беглец несся к своей пещере, думая спрятаться там, сохраняя капельку надежды, что никто, кроме него, не знает о пещере Трех елок. Думать было особенно некогда, и некогда было предаваться переживаниям, он только знал, что не сдастся этим странным людям с оружием, которые так нерешительно напали на него. Он принял это решение не тогда, когда смог пробиться через их строй и почувствовал свою силу, а, наверное, еще тогда, когда возле него с дерева упал человек и он хотел было помочь ему, не понимая, что происходит, он даже обрадовался в первую секунду, подумав, что, возможно, это такой же как и он, изгой и теперь они будут вдвоем... Но тут же кругом заорали и начали собираться напротив него, потрясая оружием, и ему стало страшно, снова хотелось закрыть глаза ладошками и сказать, что он больше не играет, что он ни в чем не виноват... даже расплакаться в три ручья. Но он не стал так поступать, потому что еще хорошо помнил те двенадцать шагов, которые ему нужно было сделать тогда в Тумане. Он не клялся себе, что всегда теперь будет делать свои двенадцать шагов и нашел в себе силы просто развернуться и побежать. А потом этот пастух с зажмуренными от страха глазами, и Стэфан понял, что другие тоже боятся, и для кого-то страшный он, Стефан - едва справившийся с желанием уступить своей панике и отдаться ужасу. Он бежал в сторону пещеры, намереваясь спрятаться в ней или, если будет необходимо, защищать ее.

Каково же ему было, когда еще за несколько минут до того, как его дом должен был появиться за деревьями, он почувствовал сильный запах дыма, который увеличивался с каждым шагом, и, выйдя к пещере, он обнаружил ее горящей. Огонь был очень сильный, жар от него не позволял приблизиться ко входу, а у корней обгоревших елок валялись черепки его разбитых горшков и камни, еще утром составлявшие его очаг. Он узнал и камни, и черепки, на всем этом был отпечаток его труда и его любви. Стэфан повернулся назад и увидел пробирающихся сквозь деревья преследователей, которые осторожно, пока не приближаясь, обходили его со всех сторон, он увидел Стражника, стоящего чуть сзади и отдающего команды, увидел, как распутывают сетку из толстых веревок, вероятно, чтобы поймать в нее его, Стэфана. В тот момент он пожалел только об одном: что не успел еще раз посмотреть на себя в воду ручья, возможно, он получил бы там ответ на те вопросы, что не успел даже задать себе... В его душе не было злости, он просто думал, как поступить. Оружие в руках почти у всех... Да даже не оружие, а что-то угрюмое в затравленно-испуганных глазах этих людей не давало ему надежды на что-нибудь кроме смерти. Впереди была смерть, но он мог броситься на них и погибнуть сражаясь, а сзади была смерть от огня, более страшная, более жестокая, сулившая океан боли перед тем, как ему умереть. Но почему-то Стэфану стало забавно глядеть на этих перепуганных человечков, они не были ему страшны, он даже подумал, что, может быть, и понимает их в их решимости убить его — она была от страха. Ему самому все это было знакомо немного иначе, но он мог понять и их! И тогда Стэфан почувствовал, что не хочет их убивать. Он достал топор, который украл у этих людей несколько месяцев назад, размахнулся и швырнул его в их сторону так, что, перевернувшись в воздухе несколько раз, топор глубоко вонзился лезвием в одну из тех елок с отбитой корой, по которым он молотил в припадках своей ярости.

Люди стояли, не зная, что будет дальше. Стражник дал команду нападать, все двинулись на него... И тогда Говнюк, разбежавшись и накрыв голову своим плащом, с разбегу прыгнул в горящую пасть пещеры, которая еще недавно была пещерой Трех елок, а теперь елки уже догорали, свалившись вниз, и вход пылал совершенно открыто. Говнюк прыгнул туда, как прыгают в воду, с разбегу оттолкнувшись ногами, и руками вперед. Он прыгнул и скрылся в пылающем зеве, жар от которого чувствовался за несколько метров! Основная масса преследователей остановилась как вкопанная, только двое смельчаков отчаянно последовали за непонятным Говнюком — пастух, над которым успели посмеяться за его зажмуренные глаза и откляченный зад, и тот самый парень, который свалился с дерева,

на котором Стэфан по случайности вымещал свою злость за разбитый горшок. Оба они, помедлив несколько минут среди всеобщего оцепенения, прыгнули вслед за Говнюком в огонь и оба сгорели заживо. Когда пожар потух, люди достали их обгоревшие тела из пещеры и на руках отнесли в деревню, а там предали земле.

Тело Говнюка не нашли, нашли только обгоревший череп, но не человеческий, а больше похожий на череп антилопы или другого похожего копытного. Этого черепа там не видели люди, осматривавшие пещеру, прежде чем ее поджечь. Некоторые думают, что Говнюку удалось убежать, но большинство уверены, что он сгорел, но был он не просто Говнюком, а Говнюком-Оборотнем, который мог превращаться в животных, когда ему было нужно, вот он и превратился в антилопу, чтобы побыстрее перепрыгнуть огонь, но это оказалось невозможно.

У входа в пещеру посадили новую елочку, и кто-то даже взялся сделать так, чтобы из одного основания со временем начали расти три ствола, как это и было прежде.

## Часть вторая

### Глава 1. О Тоске.

Так плохо Савраскину еще не было. Конечно, как каждый нормальный человек, он слышал где-то или читал, что у всех людей имеется некая душа, и что эта душа может при определенных обстоятельствах болеть. Сам Степа никогда ничего подобного не испытывал и вообще относился к подобным материям со скепсисом, присоединяя себя к апологетам идеологии противоположной, вообще понятие «душа» отрицающей и издевательски высмеивающей все, что с такими определениями связывалось.

Теперь пришлось ему на своем примере удостовериться, что суждения эти, многократно и убедительно им отрицаемые, не являются пустой болтовней психопатов, и что в книжках врут не всегда, даже если книжка эта — любовный роман. Жизнь превратилась для Степана в тягостное, болезненное и тревожное течение времени, очень медленное и ничем совершенно не наполненное, течение времени, после которого ничего не оставалось в воспоминаниях, как будто прошедшее было смутным, сумбурным сном или забытьем. Ничего не радовало, ничего не привлекало внимания, а случайно натываясь глазами на что-либо или на кого-либо, Степан особенно отчетливо чувствовал и понимал только одно: как же ему мерзопакостно, как же ему гадко и нехорошо, и любые внешние обстоятельства только усугубляли эту ужасную боль. Она физически болела — эта, будь она неладна, душа! Она царапалась внутри, она подкатывалась к горлу или, превращаясь в камень, она давила и тянула куда-то, и так это было неприятно, что моментами пальцы деревенели от напряжения, зубы скрежетали и шея вместе с головой напрягались до дрожи в отчаянной попытке от этой боли избавиться. Хотелось любой ценой вырвать из груди, из живота это тянущее-царапающее ощущение, но... Большое количество попыток сделать это, выразившихся сначала в решении «выкинуть из головы», «не думать», «переключиться», окончились полной неудачей. Степан понял, что он не может управлять этим процессом, который живет в нем по своим, не подчиняющимся его, Степана, желаниям, законам. Более того, этой боли иногда надоедало просто сидеть у Степы внутри, и когда ей хотелось попутешествовать, то, подобно изжоге, она внезапно поднималась откуда-то снизу и заполняла все пространство груди, головы — все сознание, все ощущения она заполняла собой... И от этого сжимался

живот, перехватывало дыхание, и уже сама жизнь казалась мучением. Тут нужно было сжать губы или челюсти и ничего не делать в этот момент, а только замереть и ждать, пока приступ пройдет.

Попытки что-либо себе разъяснить и переиначивать так же не помогали, как и попытки «выкинуть из головы». Савраскин честно и добросовестно пробовал. Пытался думать, что эта Машка на самом деле была прожженной гадиной и расчетливой потаскухой, которая, ловко использовав доверчивого Степана, пролезла куда хотела в своей жизни, что он ни в чем не виноват и не сделал ничего стыдного. Но...думать так не получалось. То есть эти мысли он, конечно, в голове удерживал, но они оставались какими-то поверхностными и не совсем искренними, и из-под этих нарочито проговариваемых в голове, искусственных мыслей то и дело просачивалось в сознание невыносимое ощущение безнадежности и необратимости чего-то катастрофически произошедшего с ним. Такое презрение, такое унижение к себе самому поднималось в его душе от этих мыслей! Жалкими и совершенно уже подлыми казались ему попытки самому себе перевернуть произошедшее. Ощущение, что ничего уже нельзя сделать, что он пропал, что он сокрушен и уничтожен, быстро заполняло всего Степана, немедленно начинал ныть живот, и приступы, словно неуправляемые рвотные спазмы, следовали один за другим.

Первое время по приезде Степу безудержно тянуло на разговоры. В один из таких периодов он даже жене и теще рассказал, что была там одна такая ловкая и без комплексов... и как она сначала делала вид, что, кроме природы и погоды, ее ничего не интересует, такая типа — принцесса... Очень складно Степа рассказывал, опустив, конечно, большинство из реальных событий, оставив только те, которые еще раз и теще, и жене могли продемонстрировать, что люди, а особенно женщины — существа коварнейшие, и даже те, которые выглядят как чрезвычайно порядочные и очень убедительны в этом своем притворстве, самые гадкие. Их в первую очередь нужно опасаться, поскольку за этой нарочитой, слишком уж заметной всем порядочностью с большой вероятностью будет скрываться огромная бессовестность и такая же беспримерная жестокость.

Мусолить такое вранье и переиначивание внутри себя было невыносимо, а рассказывать вслух почему-то получалось легче — как будто сказанное в отличие от подуманного было не совсем настоящее и цена слов была меньшей, чем цена мыслей наедине с собой. Повествование выходило даже красивым и с деталями. Хотелось при этом Степану выглядеть спокойным и мудро возвышающимся над этой поучительной, а немного даже и забавной историей, но выглядел он болезненно и совершенно жалко. Теща и жена слушали терпеливо и внимательно, где нужно было во всем со Степой соглашались, и сами только приговаривали, какой же их Степочка умный и какой же он молодец. При этом обе женщины тревожно на него посматривали, стараясь, чтобы сам он их взглядов не замечал. Степану было невдомек, за что они его хвалили, и как его тут было вывести молодецом, но возражать, или задавать вопросы Савраскин воздерживался. Считают люди, что молодец — значит, молодец. Приятно это, хотя по большому счету — без разницы ему было тогда, кто и как о нем думает.

День проходил за днем, боль не унималась, и становилось невыносимым ежедневное с этой болью сожительство, которое не прерывалось даже на короткое время. Все время они были вместе и неразлучны — он и его боль. Хотелось разорвать себе грудь, расцарапать лицо, что угодно сделать, только бы хоть чуть-чуть стало легче. Только по утрам он, еще не открыв глаза, но уже ощутив себя больше проснувшимся, чем спящим, несколько секунд пребывал в блаженном состоянии — ничего не болело! И то, получал он эти счастливые мгновения только при случае, если мысль обо всем с ним произошедшим не приходила сразу же. Только мгновения между пробуждением и первой искоркой воспоминания, первым пробуждением соображения были отдыхом от нестерпимой его тоски и душевного



страдания. Но как коротки были эти мгновения! С первой же мыслью, вообще в голове появляющейся, боль возвращалась и полноправно занимала свое место в жизни Савраскина. Если выразаться точнее, боль занимала не какое-то свое место, а все существующее место. Все место, которое ей вздумалось теперь занять, она занимала по праву сильнейшего, а остальные мысли и чувства могли существовать только по остаточному принципу. Особенно страдали чувства. Даже чувство голода не могло пробиться сквозь боль и совершенно уступило ей — Савраскин потерял интерес к еде, чем тещу растревожил несказанно. Еще пострадала его тайная ото всех скрываемая чувственность. Это утешение тоже оставило Савраскина и перестало приносить ему свои нехитрые радости. И хотя факт этот остался его женою незамеченным, как к ее жизни совершенно не принадлежащий, для Степана он был немаловажным — он перестал покупать и прятать от жены фривольные газетки и журнальчики, ночами, когда все давно спят, перестал засиживаться у телевизора в надежде напасть на нечто соблазнительное. Он даже потерял интерес к своим любимым компьютерным играм и теперь засиживался на работе допоздна, а придя домой, старался сразу бухнуться в постель и... чтоб его никто не трогал. Его и не трогали — даже шипели на дочку, если она еще не спала и тихонечко конючила, глотая слезы, чтобы папа ей почитал или хотя бы сказал спокойной ночи. Жена старалась ходить потише, обе женщины пребывали в тревожном недоумении, и недоумение Степиной тещи, на то время у молодых поселившейся, было тревожнее, чем недоумение Степиной жены, мудрая теща подозревала у Савраскина любовное приключение, к счастью, неудачное на этой фазе, но, возможно, и опасное. Втайне она немного злорадствовала над его страданиями, как совершеннейший трезвенник может злорадствовать над утренними страданиями пьяницы, внешне выражая при этом трогательнейшее сочувствие.

Несколько раз Степе снились такие странные сны, просыпаясь после которых он обнаруживал себя всхлипывающим, на лице слезы, а подушка после таких снов оставалась ощутимо мокрая. Супруга Степина жаловалась матери, что муж стал ночами так потеть, что иногда подушки приходится выносить на балкон — иначе не высыхали. Ничего связного Степа из своих снов не помнил, помнил только какой-то странный лес и как будто он лежит на куче веток, и так тоскливо ему...

День шел за днем, Савраскин предпринимал множество усилий освободиться от своих мучений, освободиться от этого медленного расцарапывания внутренностей, которое становилось все болезненнее, как будто там внутри его и взаправду царапали, но уже царапали не по коже, что была давно ободрана, а уже царапали по живому мясу и по нервам, до самого своего естества оголившимся. Из множества попыток хоть как-то унять эти невыносимые ощущения в небольшой степени сработала только одна, совершенно случайно обнаруженная Савраскиным. Очень простое средство — музыка. Классическая музыка, которую Степан прежде никогда не любил, а даже и отрицательно к ней относился, считая, что все люди, посещающие концерты во всяких там консерваториях и залах Чайковского, только притворяются, а на самом деле никакого удовольствия от этой нудятины почувствовать невозможно. Степа всегда любил ритмичные, незамысловатые песенки — зажигательные или жалостливые, по настроению, и никогда ни от кого не скрывал своих пристрастий, а даже и гордился простецкими вкусами. Песенки бодрили Савраскина или приятно щекотали его чувствительность, а в конечном счете пробуждали ощущение эдакого жизненного куража, приятное ощущение, что он разудалый молодец и жизнь его что надо. Но теперь все подобные композиции воспринимались просто никак. Вообще никак, подобно беспокоящему шуму оживленной магистрали или назойливому комариному жужжанию. В них нет правды — так Степан определил все свои прежние музыкальные пристрастия, хотя спроси его, что это за правда, да в чем эта правда, да почему нет правды, ничего не смог бы ответить на это Савраскин. Он ведь вообще и думать тогда был толком не в состоянии — он

только хотел от боли избавиться. Ему хотелось чего-то проникновенного, чего-то осязаемого и значительного, но одновременно и доброго, не страшного и немного грустного. Хотелось чего-то, в чем он мог бы укрыться хоть ненадолго от себя самого и дать передышку себе же до чрезвычайности измученному. И случилось так, что оказались у Степана в машине две пленочки, кем-то давно подаренные на один из незначительных праздников. Машина, кстати, теперь уже была его, Степана, личная, он выкупил ее у тещи, правда не за дорого, но выкупил по всем правилам, и денежки заплатил, которые совместно с женой из семейного бюджета сэкономили. А то, что Степан теперь мало на этой уже своей машине разъезжал, супруга его отнесла к проявлению разумной бережливости, и частенько посмеивались они с мамой, что как только машину выкупили, стал Савраскин ее беречь и ездить-то больше стал на метро.

Так вот в одну из нечастых уже поездок на машине попались Савраскину первый концерт Чайковского и второй концерт Рахманинова, и, сунув машинально кассету в магнитофон, он счастливо прослушал обе эти записи. Даже приехав к месту своего назначения, Степан не стал выходить из машины, а сидел и слушал, пока не закончилось. И настолько чувства его переполняли в этот момент, что слезы выступали из Степиных глаз и даже катились по щекам. Да что слезы! Даже и натуральные рыдания с громкими всхлипываньями наблюдались тогда у Савраскина, так что он и остановиться не мог. Не мог да и не хотел останавливаться, потому что от этих слез становилось легче. Это были честные слезы, тут можно было себе не врать и можно было думать о произошедшем с ним и с Машей так, как это и было на самом деле, и видеть, и чувствовать всю свою подлость. И так жалко было себя из-за этого, а ненависти не было к себе, пока слезы лились из его глаз, а именно жалость к себе была и горе такое... Если слезы утихали, достаточно было вспомнить Машины глаза и эту фразу ее тогда, в последний день, или как они целовались в ее номере, или как ее напоили, и как он ее потом ставил на ноги, и так это все было хорошо, и так глупо он все себе испортил и так задаром! А когда Степан вспоминал мсье Франциска и супругу его, то слезы пересыхали, а появлялось другое чувство, чувство, которое бывает, когда смотришь фильм про какого-нибудь совершенного злодея и весь фильм этот злодей делает хорошим людям ужасные гадости и остается безнаказанным, а только к концу настигает его правосудие, а он и тут пытается всем голову заморочить и делает вид, что он ни при чем и давит на жалость, и тогда хочется орать прямо в экран телевизора хорошим ребятам, мешкающим со справедливым возмездием из-за этих злодейских уловок, хочется им орать: «Не верьте ему! Он все врет! Он никогда ничего хорошего в своей жизни не сделает, а только плохое, он — злодей, убейте его и дело с концом!»

А потом приходила мысль о нем самом, о Степане Савраскине, о всей его роли некрасивой и гадкой, когда он даже ниже злодея этого расположился и предал, убил, считай свою любовь, все свои надежды, которые так близко были к осуществлению! И снова слезы, чуть было пересохшие от злости, лились и лились из глаз Савраскина, лились слезы, и жалко ему было даже и не Машу, а себя самого было жалко. Постепенно становилось легче, как будто слезы заливали тот пожар, который в груди его полыхал все эти недели, как будто они смягчали жестокие корки его душевной раны. Когда слезы прошли, Степан перемотал назад и принялся слушать заново. Теперь он слушал очень внимательно, стараясь не отвлекаться ни на что, да и куда там отвлекаться — и не получалось отвлекаться. Он вдруг оказался весь там, в этой музыке, и пока он был там, не было боли, и он, Степан Савраскин, был человеком! Был он там хорошим человеком, в этой музыке, человеком и гордым, и справедливым, и добрым, и сильным. Чувство это было только временами ощущаемое — не постоянно, но и тех секунд было достаточно, чтобы вздохнуть, чтобы как-то восстановиться, что ли... Было достаточно тех секунд, чтобы о них осталось воспоминание и появилось чувство, похожее на надежду, а может быть, это и была надежда... На что надежда, откуда

взялась эта надежда, и почему ее прежде не было, и останется ли она еще — опять же не знал Степан, да и не думал он вовсе тогда ни о чем, а только слушал, и через некоторое время вновь оказывался там, внутри этой музыки, и сил у него прибавлялось, и боль проходила, и тоска хоть ненадолго становилась светлой грустью. Степан вздыхал порывисто, полной грудью, надеясь, что оставалось это с ним подольше. Но подольше это не оставалось, и попытки беспрерывно слушать те места, на которых наступало облегчение его сердцу, привели только к тому, что вообще не стало наступать никакого облегчения.

Несколькими днями позже Степа наобум купил еще две-три пленки, уже других композиторов, но ожидаемого эффекта не последовало, и, тем не менее, он настроил одну из кнопок своего радиоприемника на станцию, где передавали классическую музыку, и часто ее включал ее. Если музыка отзывалась в его душе, возникало желание купить еще чего-нибудь из «такого же», Савраскин записывал на клочках бумажки фамилии и названия, но эти записи ни разу не дожидались своего часа. Степан всегда терял их и после первых неудачных попыток так и не купил себе ничего. Немного отступившая было боль вернулась и обстоятельно расположилась на всех прежних своих позициях.

Так день шел за днем, неделя за неделей Степан продолжал чувствовать себя неважно, хотя то острое, царапающее и невыносимое чувство, которое вообще жизни не давало, чуть-чуть умерилось. Сказать, что оно прошло, было бы не правильно, оно просто чувствоваться перестало так остро, как бывает, когда гнойная рана, совершенно прожигая кожу, опускается в глубину, туда, где меньше нервных окончаний, определяющих чувствительность, но больше жизненно важных органов.

Степана тогда ничего не интересовало, внимание было каким-то неконцентрированным — он вроде и видел вокруг себя множество предметов, складывающихся в окружающий мир, и даже отслеживал их перемещения, понимая основные смыслы происходящего, но вместе с тем ничего не выделялось ярко, ничего из происходящего его не трогало, и быстро-быстро по прошествии все забывалось. Он ловил себя на том, что произошедшее всего пару дней назад уже имеет качества недавно увиденного фильма, а не реально с ним самим произошедших событий. Окружающие говорили, что Степан сделался донельзя невнимательным, жена и теща наперебой пытались поговорить с ним по душам, но ничего не помогало и ничего не трогало. Временами ему без всякой причины делалось как-то неуютно и страшновато, он стал оглядываться, перемещаясь в обычном своем ритме по годами выверенным маршрутам, стал больше беспокоиться за свое здоровье, и в частности за то, чтобы не попасть под машину или не споткнуться где-нибудь на ровном месте. Он все чаще предпочитал поехать на работу пешком, оставив машину в гараже, опасаясь попасть в какие-нибудь неприятности, связанные с дорожным движением. До такой степени он сделался тревожным и неуверенным, что даже не решался переходить улицу на красный свет, несмотря на видимое отсутствие машин. В метро он издалека вынимал проездной и тщательно показывал его вахтеру, кроме того, еще стараясь заглянуть в глаза бдительным стражам метрополитена, и все равно беспокоился, что вот-вот сейчас его окликнут и станут перепроверять его проездной, а возможно, сочтут его поддельным. И как тогда быть? Он представлял целые истории, как его настоящий проездной у него отнимут, а взамен попытаются подсунуть другой — фальшивый, и как он будет сопротивляться этому произволу, но ничего не выходит. В его фантазиях кончалось все плохо, вплоть до того, что его убивают озверевшие сотрудники метрополитеновского отделения милиции. Так он думал и сочинял по дороге на работу и по дороге с работы. Перемещаясь в метро или уныло ожидая автобуса, он в мельчайших деталях разыгрывал про себя целые истории и с досадой прерывался в ходе воображаемых событий, когда пора было выходить. Придумывание это немного успокаивало, или ему казалось, что успокаивает, по крайней мере, он отвлекался, и можно было думать, что тупое и непреходящее давление в

груди, равно как и тоска непрерывная, существуют не от чего-то, произошедшего в реальности, а от этих его фантазий, где все складывалось предельно жестоко и предельно несправедливо в отношении Степана Савраскина.

\*\*\*\*\*

Постепенно, день за днем эти мысленные комиксы стали занимать в его жизни уже вполне почтенное и респектабельное место. Он стал любить поездки в метро или просто вынужденные потери времени, когда этим сладко-ужасающим фантазиям можно было бы отдаться внаглую. Его голова была занята все время, но ничем имеющим отношение к жизни реальной, а именно всякими фантазиями и придумываниями. Часто темой его жвачки была французская стажировка, и все он там придумывал по-другому, он часами проигрывал это себе в самых разнообразных видах: и как он Франциску Бенаму храбро дает пощечину, а потом его сажают во французскую тюрьму и там мучают, или как Джессика в него влюбляется без памяти, и они вместе с ней Франциска травят крысиным ядом, купленным в хозяйственном магазинчике, и так далее и тому подобное. По причине сильной занятости своими мыслями Степан сделался еще более рассеянным и неуклюжим, часто уже отвечал невпопад, многое забывал и вообще стал странноватым. Ему самому это было заметно, и временами он со всеми без исключения делался каким-то излишне робким и как-то нарочито заискивающим, что очень не шло к обычно уверенному в себе Савраскину.

Стояла та осенняя погода, когда по ночам уже появляются заморозки, ветер делается холодным и почти непрерывным, небо затянуто тучами в много слоев, и дождик, вовсе не переставая, становится то сильнее, то превращается в мелкую морось. Обычно в такую погоду и именно в это время года люди становятся жертвами простуд, гриппов, бронхитов и даже воспалений легких, несмотря на все усилия избежать болезни, выражающиеся в усиленном и нарочитом отворачивании от чихающих или кашляющих граждан и энергичном приеме витаминов.

Конечно, Степан заболел. Началось с обычного, похожего на усталость недомогания, при появлении которого он аккуратно напился горячего чаю с лимоном, малиновым вареньем, проглотил нужные таблетки и лег спать пораньше, надеясь на утро проснуться здоровым, но ночью у него сильно поднялась температура, все тело его начало ломать, так что он даже ножками сучил у себя под одеялом и зубы стискивал. Временами он даже не вполне понимал, в сознании он сейчас или в каком-то странном забытии. Встревоженная супруга позвонила среди ночи матери и по ее списку надавала еще Степану таблеток, от которых чуть полегчало, так что он смог уснуть, но сон этот не был спокойным и освежающим сном, который бывает у здоровых людей, а был тревожным и болезненным сном, когда в голове не перестают прыгать какие-то вспышки и кровь в висках стучит, подобно неприятному и увесистому молоточку, наносящему тебе удары изнутри головы. Когда он ненадолго забывался этим неприятным сном, то попадал в какой-то темный и неприветливый лес, где, подобно дикому зверю, грязный лежал на куче веток, и так ему было там во сне плохо, что хотелось только одного — умереть. Эта мысль, что хочется умереть, оставалась и после пробуждения.

Следующий день он провел в постели, температура то сбивалась от таблеток, то снова наступала. К обеду пришел врач, послушал, посмотрел, помял, выписал еще лекарств, кроме

тех, что назначила ему теща. Медицинская сестра сделала Савраскину укол, приговаривая, что скоро ему должно сделаться полегче, что сейчас у всех такой тяжелый грипп, но ничего — десять дней, и он будет на ногах. Действительно, тремя днями спустя стало полегче, и постепенно под действием антибиотика температура перестала вырастать до тридцати девяти, а тактично замирала на отметке тридцать семь и две, что ощущалось гораздо лучше. Как только температура чуть отступила, пришел кашель. Кашель немедленно стали лечить прогреваниями, микстурами и аэрозолями, но он держался почти невыносимым неделю, так что ночами Савраскин вообще не спал, непрерывно содрогаясь в конвульсиях, раздражающих ему горло и сотрясающих голову. Жена уходила спать в другую комнату, а дочь, слава Богу, была заблаговременно перевезена к бабушке.

Так прошли те десять дней, после которых планировалось Степино выздоровление, но он не выздоравливал. Кашель перестал быть таким частым, но как будто опустился куда-то в глубину Степных легких, и теперь кашлять стало больше и дыхание сделалось хрипловатым. Снова вызвали врача, и он, внимательно выслушав пациента спереди и сзади фонендоскопом, вздохнул и диагностировал бронхит с угрозой начала воспаления легких. Он выписал Савраскину еще больше лекарств и предупредил, что динамика хода болезни плохая, и если не будет видимых улучшений за ближайшие пять дней, возможно, придется госпитализироваться. Степан и сам видел, что динамика никудышная, что он не выздоравливает, а, наоборот, все больше и больше заболевает. Врач строго намекнул, что такая динамика бывает, если больной игнорирует назначения врача и не лечится, но упрек этот был совершенно несправедлив — Степа выполнял все назначения очень аккуратно, он полоскал горло по десять раз в день, по часам принимал таблетки, опивался горячим чаем с вареньем, не вставал с постели и не раскрывался, старательно пропотевая после очередной огромной кружки горячего питья, а потом, преодолевая слабость, обязательно менял белье. Он честно старался выздороветь и, кроме всех процедур, заставлял себя возможно больше спать. Если Степан не спал, то думал о своей ничтожности и никчемности, он думал, что от его жизни никому нет проку и когда он умрет, то никто не пожалеет о нем и никому не станет хуже. Тут Савраскин почему-то вспоминал своих родителей, своих маму и папу. Он вспоминал, как однажды, будучи живым светловолосым мальчуганом, он накануне своего дня рождения проснулся рано-рано и увидел перед собой что-то, очень похожее на большой подарок, накрытый одеялом. Степочка очень ждал тогда большой подарок и, вскочив с постели, решительно откинул одеяло, предположительно скрывающее что-то великолепно-роскошное, подаренное ему родителями, а вместо этого он обнаружил там спящую мать, которая испуганно вскочила и дикими глазами уставилась на сына. Степа стоял и растерянно смотрел на нее, а потом начал горько плакать. Мальчик плакал из-за того, что вместо подарка оказалась мама, и от того, что он, выходит, больше любит подарок, чем свою мамочку, и это было ужасно. Мама тогда успокоила мальчика, а Степа, всхлипывая, рассказал ей, как ожидал увидеть подарок под одеялом, а увидел ее... Мать, уразумев в чем дело, расхохоталась и стала еще больше Степochку утешать, а потом рассказала папе, как сын спросонья принял ее за свой подарок. Папа тоже смеялся и сказал, что ребенок имел полное право искать подарок в такой день и что он собирался уже положить подарок рядом со Степиной кроватью, но мама отказалась вставать и освободить место для подарка, и поэтому подарок класть было некуда. Тут он принес Степе большую коробку с настольным хоккеем, и все продолжали смеяться, как это мама улеглась спать вместо Степochкиного подарка. Глядя на родителей, юный Степан тоже развеселился, все произошедшее стало ему смешно-смешно, и он от всей души так принялся хохотать, что родители даже испугались. Потом был праздничный стол, приехали дедушки, бабушки, друзья семьи, Степа читал наизусть «Руслана и Людмилу» и задувал на торте целые пять свечек, а все ему хлопали.

\*\*\*\*\*

Про свою обиду на родителей, это он узнал от бабушки, у которой, по сути, и провел детство. Любопытно, что когда он сам говорил при бабушке эти же слова, она сердито ругала его и категорически отказывалась, что когда-то могла позволить себе произносить что-то подобное о его родителях. Наоборот, у нее была полная убежденность, что Степа взял эти дурные и гадкие слова неизвестно откуда, и про себя она была уверена, что могла говорить о его родителях только хорошее. По крайней мере, о маме. Другое дело, Степин бестолковый и бессердечный папаша — неудачник. Ведь после развода любимой дочери мать (Степина бабушка) во всем обвиняла зятя — ей казалось, что только так она и может поддержать свою девочку в тяжелую минуту. Сколько всего она на него наговорила тогда! Минутами у нее самой в голове проскальзывало ощущение ужаса за все это злое подтасовывание, домысливание и прямое неприкрытое вранье. Но чувство это быстро проходило, так как она всегда была совершенно уверена, что эти слова — во благо, что счастье и покой любимой девочки — вот то, о чем нужно заботиться матери, а не о какой-то там непонятной правде и размытой справедливости. Дочь первое время, как могла, сопротивлялась и кое-где в самых абсурдных обвинениях матери противоречила, предлагая все-таки находиться в поле здравого смысла, но мать была неумолима, а дочь обессилена, и уже через пол-года после того, как состоялся развод, у обеих женщин образовалось что-то типа игры — кто чего более ужасное придумает про Степochкиного папашу.

Вскоре из дома были выброшены все старые отцовские фотографии, все вещи, которые он покупал или которыми он часто пользовался, были отнесены в комиссионку, упоминание имени его прекратилось совершенно, а если Степан пытался робко спрашивать про отца, на него смотрели, как на внезапно заболевшего тяжелой болезнью, и порывисто, со зверскими выражениями на лицах и слезами на глазах молча начинали жалеть.

Потом был суд, по результатам которого отец Степана был лишен возможности видиться с сыном, а сразу после суда мать с бабушкой обменяли квартиру и сделали все, чтобы Этот Человек никогда больше не появился в их жизни.

**Глава 2. О том, как тоска может стать опасной для жизни, но иногда проходит так же внезапно, как и начинается.**

Под напором антибиотиков, полосканий и всяческих процедур бронхит вроде бы начал проходить, по крайней мере, врач, который появлялся теперь через день, удовлетворенно хмыкал, прослушивая его грудь и спину, но только два дня длилось относительное спокойствие и Степа мог себя причислить к выздоравливающим, потому что ровно через два дня после того, как наступило улучшение, у него началось воспаление лимфатических узлов. Это было неприятно и очень страшно — под кожей вздулись твердые и болезненные бугры, температура снова выросла, но не очень уже высоко. Степан подумал

тогда, что его организм не в силах больше сопротивляться. Врач совершенно определенно настаивал на госпитализации, и жена с тещей тоже были согласны, но хотели подождать несколько дней, пока у тещиногo знакомого врача в отделении освободится место. Районный доктор ждать не советовал, но женщины, посоветовавшись с безразличным ко всему Степаном, решили все-таки подержать его дома. Было решено, что нечего отправлять Степку неизвестно в какую больницу, что дома и стены помогают, тем более, теща договорилась с соседкой медсестрой, что она будет делать ее зятю уколы два раза в день, таким образом, назначенное врачом лечение будет в полном объеме выполняться.

После того посещения врача и жена, и теща стали в отношении Степана особенно бодрыми, деятельными и жизнеутвердительными. Уже не показывали они никакой усталости, никакого раздражения по поводу Степиной затянувшейся болезни, а наоборот, легко и весело исполняли все что нужно по обхаживанию мужа и зятя — энергично, быстрыми и уверенными шагами они перемещались по его комнате, шутили, рассказывали разные веселые истории и всячески, как могли, пробуждали в нем присутствие духа. Теща позволяла себе даже скабрзные анекдоты и понимающе, почти как между мужчинами бывает в случайных и нетрезвых компаниях, выводила зятя на разговоры, смысл которых сводился к тому, что мужиков не переделаешь, что все они смотрят налево, да и на здоровье, если им так хочется, лишь бы заразы никакой в дом не приносили и супругу не обижали и не выставляли всеобщим посмешищем. В прежние времена Степан невероятно удивился бы такой направленности тещиной политики, но теперь даже это его не трогало.

Перемена в женщинах, Степана окружавших, объяснялась тем, что доктор сообщил им конфиденциально свое мнение о том, что болезнь их мужчины и кормильца представляет собой не что иное, как рак, и хотя по онкологии он не специалист, но, судя по симптомам, стадия здесь уже к надеждам не располагающая. Именно по этим соображениям теща и в районную больницу Степу не отдала, решив, что раз все так оборачивается, лучше еще несколько дней подождать, но лечь уже в специализированное отделение, к знакомому доктору.

День его отправления в больницу переносился два раза, уже целых шесть недель Степан сидел дома. На работе по распоряжению Жульена Бенаму ему продолжали начислять половину оклада. Курс инъекций, прописанных врачом, давно закончился, дав незначительные улучшения. Савраскин скучал и поддерживал некоторую связь с внешним миром посредством электронной почты. Обычно Степан Савраскин получал отчеты о продажах за неделю и изредка кто-нибудь из офиса приписывал пару ободрительных строк. Сегодня одно такое письмо присутствовало в почтовом ящике.

Лениво открыв его, Савраскин собрался бегло просмотреть глазами строчки, но после прочтения первой уже не мог оторваться. Во рту у него пересохло, глаза впились в экран, а сердце стучало так, что он чувствовал его удары всем телом. Письмо было от Маши:

Здравствуйте, Степан! Я должна прежде извиниться перед вами за то, что решила отправить письмо на ваш личный электронный адрес. Было бы гораздо уместнее воспользоваться вашим офисным почтовым ящиком, но мне сказали, что уже несколько недель вы болеете, и неизвестно, выйдете ли на работу. Цель моего письма только одна, она не дает мне покоя все три месяца, прошедшие после окончания нашего знакомства. Намерение исполнить эту мою цель решилось окончательно, когда я узнала (со слов Жульена Бенаму) о вашей болезни.

Степан, я должна просить у вас прощения. Вы, вероятно, сами знаете, за что, и мне не придется этого объяснять. Еще хочу прибавить, что вы, Степан, замечательный человек и я счастлива тем, что была знакома с вами. Очень вас прошу, вы-здо-ра-вли-вайте!

P.S. Если это письмо попадет не к господину Савраскину, очень прошу передать его адресату.

С уважением  
Мария Селивестрова.

Степан прочитал письмо подряд четыре раза, потом поймал себя на том, что весь вспотел и дышит так, как будто только что пробежал кросс километра на три. Он встал, еще раз прочитал письмо, а потом закрыл глаза и блаженно откинулся на стуле. Ему казалось, да что казалось, он уверен был в эту минуту, что именно этого письма и ждал он все время, и именно так и только так могло решиться его состояние, и какое счастье, что есть это письмо! Как-то совершенно понятно сделалось Степану, что его состояние тут же, в эту секунду закончилось — он выздоравливает! Савраскин так и сидел с закрытыми глазами и раз за разом вдыхал воздух полной грудью. Он дышал с наслаждением, и казалось, что с каждым вдохом в него вливается часть огромной силы, с которой все болезни он победит и все будет ему по плечу, так как плечо его станет богатырское! Что эта за сила и откуда она берется, Степан пока еще не знал, да и не задумывался, а только получал наслаждение, какое мог получить весь обожженный человек, мгновенно исцелившийся.

\*\*\*\*\*

Дальше Савраски начал быстро выздоравливать. На работу он пока не ходил, но зато стал часто гулять во дворе с дочерью. Обычно она или помалкивала, то щебетала чего-то, не очень ему понятное, разговора как такового не было, ничего она у него не спрашивала и почти ничего он ей не отвечал, но однажды под конец гулянья как будто между делом девочка задала Степану вопрос на который он не сразу и нашелся, что ответить:

— А ты маму что, совсем не любишь?

Савраскин ступешался, замедлил с ответом — вообще ничего умного не шло в голову и получалось только неопределенное мычание...

«А кого ты тогда любишь? Ты и маму не любишь, и бабушку, и другую бабушку... Может ты свой компьютер любишь?.. — И девочка весело засмеялась, таким глупым и парадоксальным ей показалось это предположение.

От ее смеха Степан чуть-чуть вроде пришел в себя и сам засмеялся, а потом сказал, что всех любит, и маму, и бабушку, и другую бабушку, но что мужчины обычно свою любовь не показывают. А маленькая девочка ответила ему, что хочет себе такого жениха, чтоб любовь показывал... Тут она засмушалась и через минуту снова начала щебетать про какие-то глупости, Степану почти что и не понятные.



### Глава 3. О том, как человек возвращается к скучному миру простых вещей и получает любопытное предложение.

Потом Степан вернулся на работу, где дел у него уже накопилось по-горло, так как Жульен придумал шить из ткани Бенаму шторы. Предприятие сулило приличную выгоду, тем более, что Жульен решил организовать этот бизнес не на деньги семьи Бенаму, а на свои собственные.

Жульен рассказал Савраскину, как они будут продавать потрясающие шторы, по цене от тысячи франков на окно до почти бесконечности. Для этого нужно было организовать швейное производство, создать торговую марку и выгодно представить продукцию покупателю. Жульен был уверен, что дело получит успех, поскольку соответствующий рынок в России совершенно не компенсирован предложением, а время его уже пришло. Жульен изложил своему доверенному лицу идею, расчеты и пошаговый план действий. Он все написал очень подробно, со всеми возможными вариантами и дотошнейшими инструкциями. Исполнять все написанное предстояло Степану. Бюджет всего предприятия составлял полмиллиона франков, и в течение ближайших трех месяцев Савраскину предстояло потратить все эти деньги.

Первая мысль, мелькнувшая тут у Степана, была о том, что даже на конвертации этой суммы он уже заработает себе на новую машину. Додумать эту приятную мысль Савраскину не пришлось, так как Жульен продолжал его огорошивать. Он сказал, что теперь уже от себя добавляет Степану к зарплате одну тысячу долларов, а впоследствии предлагает ему партнерские десять процентов от всего получившегося бизнеса, по поводу чего он и подготовил контракт, чтобы это не выглядело голословно. Степа подсчитал, что десять процентов от планируемой Жульеном месячной прибыли — это что-то типа пяти-семи тысяч долларов, не успел он даже решить для себя, много это или мало, как Жульен, буквально сопровождая его мысли, добавил, что еще как исполнительный директор всего дела Степа будет иметь зарплату около трех-четырёх тысяч и, таким образом, его совокупный доход увеличится до десяти-двенадцати тысяч долларов ежемесячно. Тут Жульен продолжил и уточнил, что все эти расчеты на тот случай, если их предприятие останется рядовым и дело не получит настоящего развития, а в действительности при благоприятном исходе нужно настраиваться на вдесятеро большие обороты, и за первые три года именно на такой уровень Жульен планирует выйти, потому что он знает, как это делается, и чувствует здесь запах успеха.

Савраскин тогда сделал верноподданническое лицо, так и не поверив ни единому слову своего патрона и отнеся его к категории сошедших с ума лиц, решивших попроситься со своими денежками. Но спорить не стал, во-первых, потому, что он ничего в этом не понимал и сказать ему было нечего, а во-вторых, потому, что, даже не рассчитывая на всякие там проценты и прочее, ему очень нравилось увеличение зарплаты на целую тысячу, а предстоящая работа в соответствии с подробным планом Жульена казалась совсем несложной и дающей много возможностей подзаработать дополнительно.

Степан тогда старательно состроил правильное выражение восторга, преданности и трудового азарта, Жульен этими формами ответа удовлетворился, и в тот же час, не откладывая в долгий ящик, партнеры подписали готовое уже соглашение о сотрудничестве, а Савраскин получил первые инструкции на ближайшую неделю.

\*\*\*\*\*

Жульен Бенаму не был идеалистом и находился в совершенной уверенности, что его новый русский партнер в первый период их сотрудничества будет неизбежно тырить по мелочам, но считал это обстоятельство чем-то типа болезни роста и уже заложил его в свои финансовые калькуляции. Он предположил, что Степан украдет у него около пяти процентов от вложенных денег, и ровно на эти пять процентов уменьшил долю, которую изначально планировал ему предложить. Ему казалось уместным предложить пятнадцать процентов, вычтя из них пять, он оставил десять, рассчитывая, что украденные пять процентов Савраскин после всего сам вложит в бизнес. План Жульена был хорош и подробен, деньги он был готов переводить в любую минуту, теперь все зависело только от Степана.

#### Глава 4. О том, как можно выжить в самой безнадежной ситуации.

Стэфан изо всех сил прыгнул и кубарем влетел в пламя, ожидая, что сейчас у него немедленно загорятся волосы, затем кожа, и весь он превратится в пылающий факел. Он сжался, напряг каждую клеточку своего тела, готовясь к встрече с болью. Пока он входил в огонь, то почему-то подумал про глаза. Почему-то ему очень страшно было именно за глаза, за то, что они вылезут у него от жара из глазниц, лопнут и растекутся, а он к тому моменту еще не потеряет сознание и не умрет, а все будет чувствовать. Единственной целью он поставил себе сохранить глаза, то есть сохранить их дольше всего, сохранить до тех пор, пока он еще будет способен чувствовать. Когда же сознание покинет его от боли, пусть тогда они лопнут от жара, пусть вытекут и сгорят, это будут уже не его глаза, а бесчувственная и мертвая материя. Он еще успел подумать, что, возможно, это последние его мысли, а лезет в голову такая, по сути, несущественность. Но благодаря именно этим мыслям, именно благодаря желанию спасти сколько возможно дольше только глаза, пренебрегая своей спиной, ногами, руками и всем оставшимся телом, он сильно-сильно спрятал голову, сжал все свое тело в комочек, который еще обхватил руками и... кубарем покатился сквозь огонь. Секундой позже Стэфан очень удивился, почувствовав себя живым, и более того, счел это совершенно противоестественным обстоятельством, испытал нечто похожее на досаду, как это бывает, когда решишься на поступок опасный и героический, совершаешь его, употребляя все душевные силы, но это оказывается впоследствии глупым, ничтожным и только забавным оттого, что вся ситуация изначально была чьей-то злой мистификацией и ловко смоделированным враньем, вовсе не опасным.

Вынырнув из огня, он открыл глаза и обнаружил себя в пещере, которая несколько месяцев служила ему домом. Беглец оказался в двух метрах от пылающего выхода, но жар не сжигал его, и он даже сделал глубокий вдох, восстанавливая дыхание, при котором в его легкие вошел обычный воздух, а не дым, который должен был давно уже заполнить внутреннее пространство пещеры и убить все живое, имеющее потребность дышать. Еще две или три секунды Стэфан не мог понять причину такого положения дел, но когда он отполз еще на несколько метров в глубь своего убежища, то почувствовал дуновение ветерка. Ветерок был ощутимый и дул из темной глубины пещеры, от которой месяц назад Стэфан

отгородился стенкой из толстых палок. Теперь стенка была сломана и, судя по всему, послужила пищей для огня, разожженного здесь жестокими и изобретательными жителями окрестностей.

В те моменты, когда порывы ветра усиливались, пламя почти выдувало наружу, а когда он стихал, то оно, наоборот, буйно заполняло всю обжитую Стэфаном часть пещеры и глубоко распространяло свой невыносимый жар. Стэфан вынужден был отскочить, как только ветер из пещеры стал меньше, и все равно огонь обжег ему лицо и руки, а дым сразу стал выедать глаза. Он стоял уже метрах в десяти от входа и только здесь мог чувствовать себя не зажаривающимся на огне. Так он постоял еще с минуту, пока в пламя один за другим не влетели два человека. Они катались и бились там, даже и не приближаясь к рубежу, за которым было для них спасение. Оба очень быстро затихли в пламени, а еще через минуту свежий порыв ветра выдул огонь и дым наружу, оставив на полу пещеры два уже не шевелившихся обугленных тела. Стэфан даже подойти к ним не решился, его ноздри резанул запах сгоревшего мяса, и он вспомнил про то, как в одном из приступов ярости, хотел сжечь всю деревню и, отрезая мясо со спины трупа трактирщика, пожирать эти куски. Желудок Стэфана сжался спазмом, и его вырвало, а потом еще и еще раз. Почти теряя сознание от неудержимого приступа рвоты, он начал пятиться вглубь пещеры, подальше от запаха сгоревших людей и подальше от пламени, которое снова принялось наступать, пользуясь тем, что ветер опять сделался меньше. Он отполз, потом, придя в себя, встал на ноги и отошел еще глубже, еще дальше от выхода. Огонь, находящийся теперь сзади, глубоко освещал его пещеру, которая оказалась больше похожей на тоннель, на бесконечный штрек, вырубленный кем-то в этой горе и, возможно, ведущий к какому-то выходу, а быть может, и заканчивающийся тупиком. Конца тоннеля не было видно, хотя больше двухсот метров этого пути освещалось пламенем, отражавшимся от зеркально-отполированных водой стен и сводов. Стэфан оглянулся назад, там был огонь, и за огнем были люди, которые теперь, после гибели своих товарищей, тем более не дали бы ему пощады. И вообще, невыносимо было представить, как эти люди извлекли бы его, жалкого, перепачканного золой и трясущегося от страха, и как бы они смеялись над ним и улюлюкали, прежде чем убить. Стэфан решил двинуться в глубь пещеры все дальше и дальше навстречу неизвестности.

При нем были его охотничий припас, нож и большая крепкая палка, последняя, которую он вырубил в лесу. Хоть сколько-то освещенная мерцающими бликами часть пещеры вскоре кончилась, и Стэфан двигался в полной темноте, попеременно касаясь дубинкой как тростью то по правой, то по левой стенке тоннеля, как будто ощупывая пространство или отгоняя нечто, находящееся перед ним в темноте. Он шел в эту темноту все дальше и дальше и через час был уже не уверен, что где-то существует свет солнца, и что прошел час, а не минута, или не целый день.

Темнота играла с ним злую шутку. Иногда ему вдруг начинало казаться, что стены сдвигаются и огромная масса горы через секунду раздавит его. Или пространство перед ним вдруг начинало казаться совершенно необъятным и непостижимым в своей бесконечности, казалось, еще шаг — и можно будет упасть куда-то и лететь в этой ужасной пропасти, пока не погибнешь. В такие моменты он начинал двигаться медленнее и тщательно ощупывал палкой стены и свод, прежде чем сделать следующий шаг. Еще иногда голову простреливала мысль, что его вообще нет, и такая глупая, казалось бы, мысль вызывала ужасную панику, хотелось кричать, чтобы услышать свой голос и подтвердить себе самому свое существование. Но он удерживался от того, чтобы кричать, а начал только тихонечко напевать подряд все песни, которые знал, пусть даже он знал из них всего несколько слов. Еще помогало сильно укусить себе губу и почувствовать во рту соленый вкус своей крови — эта была его кровь, он выплевывал ее к себе на ладонь и трогал пальцами, размазывая, а потом подносил руку близко-близко к лицу, так, что отчетливо чувствовался запах, но как он

ни напрягал глаза, видно ничего не было — даже силуэта, даже смутного очертания. Ничего, кроме черноты, которая иногда сгущалась так, что, казалось, была материальной и могла задушить. Иногда Стэфан садился на корточки и, закрывая глаза, пытался успокоиться. Так он вспомнил про свой охотничий припас, и, раздражаясь из-за того, что раньше не подумал о такой простой вещи, достал кусочки кремня и принялся высекать искры, освещая себя и стены вокруг. Вспышки были короткие, но позволяли увидеть хоть что-то, позволяли увидеть, что он есть, что он существует и все еще в пещере, а его путь лежит прямо вперед, а такая всесильная и всепоглощающая тьма, хоть на мгновение, но пропадает из-за крохотных каменных осколочков, раскаленных от удара друг о друга. То, что запечатлялось в его сознании за мгновения вспышек, было унылой картиной однообразного, ограниченного со всех сторон прохода, стены которого составлялись массивом огромной горы, с торчащими кое-где обломками камней. Раз от раза картинка не менялась, но он продолжал идти, иногда останавливаясь и ударами кремней добываясь нескольких искр, на мгновение освещавших пространство. И снова то, что он видел в этих вспышках-мгновениях не внушало никакой надежды — все те же неровные стены, все то же пространство подземного, стиснутого со всех сторон тоннеля, который, казалось, ничем не отличался в этой своей части от предыдущих частей, и вопрос, двигается ли он вообще или нет, все чаще делался из глупого совершенно серьезным и обоснованным. Стэфану приходилось еще и еще высекать искры, жадно, до боли в глазах всматриваясь, чтобы уловить малейшие различия, дававшие понять, что все-таки он двигается внутри этой горы.

Он давно сбился во всех попытках следить за временем. Поймать ускользающие от него минуты, а может быть, и часы мешали мысли, непрерывным потоком пронесившиеся в голове. Мысли как будто заменяли то, что не могло дать зрение, и столько всего Стэфан успел передумать наиважнейшего, что не укладывалось в голову. Возникла уверенность, что так много всего передумать было невозможно за те часы, или даже за дни. Получалось, он шел уже неделю... или больше. Это чувство крепло и казалось логичным, было удивительно только, отчего он не падает от усталости и не умирает от голода и жажды, если находится здесь так долго. Тут же возникали голод и жажда, а силы уже были готовы оставить его, ноги начинали предательски дрожать, во рту сохло, приходила сонливость, любезно приглашавшая улечься на усыпанный каменными обломками пол и заснуть, но он шел дальше. А между тем новые вспышки искр высвечивали все те же стены, и начинало казаться, что на самом деле он вообще никуда не идет, а стоит на месте или только готовится сделать шаг. Потом он принимался думать, а являются ли два эти факта исключаящими друг друга, и ему казалось, что совсем нет, что оба они могут существовать вместе, и совершенно возможно, что он идет уже много дней и вместе с этим еще не сделал ни одного шага. В минуты, когда голос здравого смысла просыпался у Стэфана в голове, он с трудом не поддавался панике. Ему казалось, что именно так сходят с ума, и он представлял себя, безумного, бесцельно шатающегося в темноте и скоро погибающего от истощения. Чтобы бороться с этим наваливающимся на него безумием, не оставалось ничего другого, как останавливаться, высекать искры или напряженно следить за тем, как идет время, подбрасывая, например, камешек и считая, через сколько он упадет, чтоб убедиться, что со временем ничего не случилось. Иногда Стэфан, зажав свою палку под мышкой, вставал на четвереньки — тогда он руками чувствовал поверхность, на которую наступал, и это тоже немного успокаивало. Потом он придумал считать шаги и каждые шестьдесят шагов загибал один палец на правой руке, когда вся правая рука сжималась в кулак, он загибал один палец на левой руке, а когда и левая рука оказывалась сжатой в кулак, он говорил себе, что прошло полчаса. Несколько раз он сбился со счета и перепутал, сколько раз было по полчаса — шесть или восемь, но решил считать, что было шесть и продолжил двигаться вперед.

Так он шел, пока по его ненадежным подсчетам не прошло еще несколько часов, и здесь Стэфан приобрел неожиданного союзника. Он услышал, что со стен пещеры стекало множество крошечных ручейков, которые издавали мелодичные плещущие звуки, и дойдя до какого-нибудь из них, нащупывал эту бегущую струйку воды и пил ее с наслаждением, находя у каждого ручейка свои особенности. Было приятно прислушиваться, как вода проваливается и холодок от нее перемещается и распространяется по телу изнутри. Напившись и успокоившись, он отходил от этого ручейка и, прислушиваясь к его замирающему плеску, шел дальше, в надежде услышать вдалеке еще один. Добрые ручейки не заставляли себя ждать, и за предыдущим появлялся следующий, потом еще. Стэфан подумал, что это его старший брат Лес помогает ему, посылая на пути добрые ручейки, чтобы помочь своему младшему брату, Стэфану не сойти с ума. Так же как ручейки, так же как искорки, разрывающие темноту, боль помогала ему почувствовать, что он еще есть.

О том, что будет, если его путь окончится тупиком, Стэфан совершенно не думал. Но так же точно он не позволял себе мечтать о том, куда выйдет в конце своего пути. Он шел и думал обо всем на свете, только не о смерти и только не о спасении. Мысли, непрерывно текущие у него в голове, временами казались необыкновенно умными — просто откровения одно за другим сходили на него, и все жизненные, а даже и наджизненные вопросы приобретали кристальную ясность и простоту. Он без труда находил все смыслы и все объяснения, даже и не удосуживаясь самому себе проговаривать эти потрясающие открытия. Проговаривать их словами было некогда, да и как-то ни к чему, потому что за одним откровением следовало другое, и Стэфан боялся, что, провозившись с формулировками, он пропустит следующее. Откровения эти как бы возникали сами собой, возникали целиком, будучи уже совершенно и окончательно доказанными и непреложно единственными. Интересно, что как только такая мысль уходила, как ни старался Стэфан вспомнить, о чем она была, ничего не получалось. Все, что было таким всеобъемлющим и всеобъясняющим во время той черной и почти бесконечной дороги, сразу же испарялось из головы.

Прошло еще четыре раза по полчаса, когда палка Стэфана уткнулась в стену. Дороги не было. Упершись в стену, он всего секунду стоял, а потом со скоростью крысы, попавшей в западню, принялся сантиметр за сантиметром обследовать пространство перед ним сверху и внизу. Он не думал, что дорога кончилась и дальше идти некуда, он даже как-то и обрадовался тому, что его путь принял новый оборот и что-то произошло с бесконечной дорогой. Еще через две минуты он обнаружил путь вниз. Это была дыра диаметром около метра, расположенная чуть левее основной дороги. Дна ее он не увидел и не мог понять, как далеко это дно располагается, из-за того, что искры от кремня очень быстро гасли, а палка, которой он пытался промерить глубину, улегшись на край колодца, ни во что не упиралась. Хотя было ясно, что дно близко, поскольку камешки, которые Стэфан кидал в этот лаз, очень быстро шлепались во что-то хлюпающее. Дыра имела некоторый наклон, и можно было попробовать съехать по ее нижней стенке, но как потом подняться? Все зависело от ее глубины, и вполне возможно, что дороги назад оттуда вообще не было. От мысли, что нужно будет туда спускаться, сердце начинало бешено колотиться и переставало хватать воздуха. Чтобы успокоиться, беглец сел на каменный пол и сидел несколько минут, закрыв глаза.

Немного успокоившись, Стэфан некоторое время обследовал наклонный колодец, бесконечно стучая кремнями, трогая палкой стенки и кидая туда камешки. Мысль лезть или не лезть уже не стучала в его голове молотками, а теперь он думал только как лезть — ногами вперед или вперед головой. Для удобства дальнейшего передвижения, как он предполагал, нужно было лезть вперед головой, но это было намного страшнее, чем просто сесть на край ямы и съехать туда сидя или лежа. Диаметр отверстия в верхней части позволял даже и повернуться, если бы возникла такая необходимость, но он не мог знать, что там внизу и, съехав вниз ногами, сможет ли он при необходимости перевернуться головой

вниз, если дальнейший лаз будет располагаться на самом дне этой ямины. Стэфан был уверен, что там, внизу ямины, полно грязи, в которую камешки шлепались с таким противным звуком, и почему-то ему казалось, что там, в глубине, есть маленький лаз и что он находится на самом-самом дне. Несмотря на доводы здравого смысла, Стэфан, стараясь не думать ни о чем, уселся на дно ямы, положив ноги на уклон, съехал вниз. Путь был коротким, оказывается, палка лишь чуть-чуть не доставала до дна, глубина этого наклонного лаза была всего раза в полтора больше чем рост Стэфана, что давало ему надежду в случае неудачи выбраться назад.

Сначала он тыкал палкой по дну, потом, с трудом наклонившись в стеснявшем его каменном мешке, он начал обследовать дно рукой поначалу обнаружил там только толстый слой жидкой грязи, образующейся от одного малюсенького ручейка, стекающего тончайшей струйкой вниз. Но воды на дне не было, значит, ручеек тек куда-то дальше. Конечно, Стэфан понимал, что там, где хватило места для такого маленького ручейка, совсем не обязательно будет место и для него. Он продолжал исследовать края своего колодца, пока не наткнулся на лаз. Сначала Стэфан, ощупывая лаз руками, был совершенно уверен, что он никак не влезет в эту узенькую дырочку. Казалось, что даже его нога с трудом помещается в обнаруженном пустом пространстве, тем более начинающегося прямо на дне наклонного колодца в самой грязи, как это и представлялось ему пятнадцатью минутами раньше. Он попытался вылезти назад, но эта задача, казавшаяся не такой уж и сложной раньше, теперь оказалась невыполнимой. Мозг Стэфана тогда обожгло сознание, что это его конец, что это последняя точка его путешествия и теперь оставшаяся ему участь — погибать здесь от голода, потому что вылезти назад и вернуться он уже никак не мог. Стэфан стиснул зубы и решил не сдаваться, он начал карабкаться вверх, упираясь в противоположные стены руками и ногами, но, поднявшись всего немного, он срывался и шлепался в ту же самую грязь, что и камешки, которые он бросал несколькими минутами раньше. Ему показалось забавным, что звуки от камешков и звук от него самого, падающего в грязь, очень похожи. Он подумал тогда, что для этой пещеры нет разницы, кто здесь находится в ее чреве — камешек или живой человек.

Много попыток выбраться из каменного колодца окончились неудачами. Каждый раз Стэфан срывался и снова и снова плюхался в грязь. Почему-то ему очень не хотелось даже думать о другом пути — о пути дальше вниз. С первого раза, когда он пощупал отверстие в своей мышеловке, Стэфан решил, что это не для него, и что он туда не пролезет, и даже и думать об этом нечего, и даже и пытаться глупо. Но теперь, когда пути назад не было и это отчаянная ситуация становилось из дикого предположения все более отчетливым и окончательным фактом, ничего не оставалось, как снова взяться за ощупывание той мышинной норы в скале, которую он только здесь и обнаружил. Стэфан снова принялся ощупывать лаз, расположенный на уровне его ног, он измерял его пальцами, пытался просунуть руку вглубь, и вроде бы получалось, что, если повернуть голову боком, туда можно было попробовать пролезть. Лаз был очень низким — так, что между полом, залитым грязью, и неровным, испещренным выступами потолком едва мог протиснуться человек. Будь Стэфан чуть потолще, ему бы не стоило даже и думать о том, чтобы здесь пробраться, но теперь, после голодной жизни в лесу, Стэфан был очень худой и очень жилистый. Кроме того что лаз был низким, он еще был и очень узким — плечи Стэфана с руками, вытянутыми вперед, едва проходили туда. Снова было искушение лезть в эту нору вперед ногами, но Стэфан отбросил его, как граничащее с самоубийством и только исследовал лаз ногами, как мог далеко. Ему даже показалось, что дальше пещерка становится чуть-чуть шире. Когда исследовать уже было нечего, Стэфан несколько минут посидел на корточках с закрытыми глазами, потом перевернулся на живот и улегся всем своим скрюченным телом в жидкую грязь, выстилающую пол. Места было совсем мало, Стэфан едва смог выполнить свое

перемещение из-за тесноты и лежал теперь в грязи и в крошечной тьме, пытаясь приучить себя к мысли, что придется лезть неизвестно куда в полной темноте по этой, едва вмещающей его тело норе. Самое страшное было то, что лезть нужно было неизвестно куда, но Стэфан решил, что это только узкий перешеек между двумя тоннелями и что это его последнее испытание, преодолев которое, он окончательно спасет себя. Он лежал и врал себе все это, убеждая себя самого, что так оно и есть, пока не стал сам себе противен в этом глупом занятии. Тогда он выругался сам на себя, зажмурил глаза и, плотно закрыв рот, с омерзительным скрипом, издаваемым грязью, песком и мелкими камешками, трущимися о стены, втиснулся в это единственное оставленное ему жизнью пространство. Сразу стало трудно дышать, казалось, воздуха не хватает и вот-вот он задохнется, сверху, снизу, справа и слева были глухие неровные стены, и только впереди было маленькое пространство, готовое исчезнуть. Был момент, когда Стэфану показалось, что стены сузились и дальше он не пролезет. Поддавшись панике, он попытался пятиться назад, но в ту же секунду его одежда заполнилась грязью и он осознал, что начинает застревать. Пути назад не было! Одежда, раструбом расширившаяся от грязи, не выпустила бы его назад, а о том, чтобы снимать ее, нечего было и думать. Было так тесно, среди этих неподвижных, совершенно твердых каменных стенок, что он даже не мог приподняться на локтях и полз, держа руки перед собой. Стэфан боялся, что у него начнется приступ какого-то ужасного безумия и он в этом приступе начнет биться в своем лазе и расплющит себя о неподвижные скалы, окружающие его со всех сторон. Своды давили на него со всех сторон, но он полз, стараясь не думать ни о чем, а думать только об очередном метре. Один раз сердце его почти остановилось, когда палка, а затем руки уперлись в глухую стену, но за несколько секунд он нащупал пространство правее и втиснулся туда. После этого он еще полз прямо, уже не пытаясь считать метры или минуты. Он просто полз вперед, потому что ползти вперед — было единственное что ему осталось. Он полз, проталкивая свое тело по этой жидкой грязи, которая была уже у него на лице, во рту, в ушах — везде. Полз, ни на что не надеясь, снова думая только о каждом следующем метре и больше ни о чем.

Постепенно его лаз начал расширяться. Стэфан смог приподняться на локтях и начал пробираться быстрее. Лаз был все шире, он уже мог двигаться на четвереньках и вдруг, повернув... он увидел свет! Едва заметные блики играли на стенах. Стэфан боялся поверить своим глазам, он пополз с удвоенной быстротой, обдирая кожу на руках и выламывая оставшиеся ногти. Свет становился все ярче, а потом он услышал человеческие голоса, тревожно и тихо переговаривающиеся друг с другом. Предметом их разговора был он, Стэфан, точнее, пока еще не он, а то, что они не могли понять источников звуков, которые слышали. Они не могли понять, что это такое к ним приближается и беспокоились. Один из собеседников говорил, что там не может быть человек, а скорее какое-нибудь небольшое животное, поскольку для человека места явно недостаточно и света никакого нет... Тогда Стэфан крикнул им... Он открыл рот, чтобы крикнуть что-то внятное и даже вежливое, но звук, изданный им, не получился человеческим. Это было мычание, или рычание, или стон, но не голос человека, произносящего слова. Люди на секунду замерли, прислушиваясь, Стэфан крикнул еще раз, и они, сделав несколько шагов вперед, осветили лежащего перед ними на земле человека, покрытого грязью с ног до головы, который мог только приподниматься на локтях и издавать какие-то несвязные и, как им показалось, жалостливые звуки. Так Стэфан попал к Мудрецам.

## Глава 5. О том, как много можно узнать, просто слушая.

С большим трудом удалось вытащить полуживого Говнюка из норы, куда он неизвестно как попал и где он неизвестно зачем находился. Было совершенно ясно, что в силу полного своего истощения Говнюк не представляет ни малейшей опасности, тем более Мудрецы были все-таки людьми особенными и позволяли себе испытывать сострадание даже и к Говнюкам. Более того, они изучали Говнюков, они пытались размышлять о том, как и из-за чего люди становятся Говнюками и что происходит потом. Стэфана помыли, дали ему какого-то теплого питья и положили недалеко от очага на настоящую кровать с матрасом, набитым сеном, и с подушкой, наполненной какими-то ароматными лесными травками. Изорванную и насквозь пропитанную грязью одежду Говнюка решено было уничтожить в огне, что и было предпринято немедленно. Здоровенную дубину, охотничий припас и нож, найденные при Стэфане, спрятали подальше от греха, хотя как минимум несколько дней никакого «греха» не могло приключиться попросту из-за того, что по общему мнению, Говнюк находился между жизнью и смертью и шансов на то, что он начнет оживать, ни на один не было больше, чем шансов на то, что он тихо умрет, например, к утру. То, что Говнюк только что ползал в пещерах и вроде бы не собирался так уже немедленно умирать, вовсе ничего не значило. Мудрецам было знакомо это свойство Говнюков продолжать некоторую почти рефлекторную активность, внешне напоминающую нормальное функционирование, вопреки полному изнеможению сил и даже игнорируя отказ некоторых жизненно важных органов. Были описаны случаи, когда Говнюки часами бегали с разорванными легкими, с переломанными ногами и даже с перебитым позвоночником, был один случай, когда Говнюк с проколотым сердцем сделал еще шагов двадцать, потом присел на камешек, затем прилег и только тогда умер. По поводу этого феномена высказывались разнообразные соображения, но в общем все сходились к одному — каждый Говнюк, становясь Говнюком, как известно, теряет существенную часть человеческой сущности и одновременно с этим, а возможно, и благодаря этому, лишается обычного для людей контакта со своим собственным телом. Неполноценная личность не только ущербна в области душевной жизни, она и телом не может как следует управлять. Говнюк не понимает телесных сигналов, взаимодействие его внутренних органов нарушается, что приводит к частым болезням Говнюков и постепенно убивает их, даже если, будучи человеком, Говнюк имел потрясающее здоровье.

Самой главной причиной, стоящей за этим грустным и неотвратимым правилом, Мудрецы считали чрезвычайный дефицит любви, наличествующий у каждого Говнюка и по мере распада их говнюковских личностей все увеличивающийся. Любовь должна присутствовать в каждом живом организме как минимум для поддержания жизни, а желательно наличие еще и некоторого запаса любви для развития. У большинства людей количество любви чуть больше минимально необходимого — вот им и хватает, по крайней мере, на самые насущные потребности. А если по каким-то причинам, пусть даже от самого человека и не зависящим, количество любви в организме уменьшается ниже минимума, он становится Говнюком, поддерживающим свое физическое существование за счет пожирания личной его Человеческой Сущности — по сути, медленно умирающим. Дальше этого тезиса строгой теории у Мудрецов уже не было, а были разнообразнейшие гипотезы. Спорили по всем направлениям — измерима ли вообще любовь или она — качественное понятие? Сколько нужно любви для какого возраста, чтобы не стать Говнюком, и самые главные споры, конечно, разгорались вокруг вопроса, откуда берется в человеке любовь и как ее побольше заполучить для максимального развития функций и способностей. В этом последнем вопросе самые общие правила споров не вызвали, все знали, что получить любовь можно в результате искреннего и дружелюбного обмена с окружающими. Это



правило являлось эмпирически доказанным в серии строгих научных экспериментов и сомнению не подвергалось. Но в понимании механизма этого процесса было больше разночтений, чем единства.

Уложив обездвиженного Говнюка на кровать, ученые коллеги снова уселись к огню и продолжили обсуждение любопытнейшего вопроса, которое им пришлось прервать из-за появления Стэфана. Они говорили о возможности эволюции Говнюков, то есть о возможности Говнюка обратно стать человеком. Разговор этот длился еще долго, и Стэфан, больше притворявшийся умирающим, нет-нет да прислушивался к ученой беседе. Он отчетливо слышал, как большинство высказывающихся убедительнейшим образом доказывали совершеннейшую невозможность обратной метаморфозы. Стэфан понимал не все слова, но главные тезисы в тот вечер (хотя тогда Стэфан вовсе и не знал, вечер сейчас или утро), так вот главные доводы были тогда повторены столь многократно, что невозможно было их не запомнить, тем более что сказанное очень близко касалось его самого. Говорилось, что когда человеческая сущность становится меньше необходимого минимума, то это означает только то, что она не может уже обеспечивать любовью самые насущные человеческие потребности, иначе как только за счет самой себя, тем самым все более и более уменьшаясь. И, продолжая уменьшаться, ради поддержания физического существования человеческая сущность с каждым днем вынуждена отдавать себя все больше и больше, таким образом, один раз превратившийся в Говнюка человек уже никогда не ощутит себя человеком, до смертельной секунды. И снова и снова все приводили пример, как если бы неисправная пищеварительная система человека, не будучи в силах обеспечить организм питанием, постепенно переваривала бы сама себя, становясь все более и более неисправной вплоть до окончательной гибели.

Многие повторяли эту метафору. Говорилось, что простота и элегантность этого положения лучше многочисленных доводов доказывают его правильность. Стэфан слышал разные голоса и постепенно начал различать собеседников, он уже представлял себе их характеры, фантазировал о том, кто как из них выглядит. После того, как он понял основной смысл произносимого, слушать их по сути было уже неинтересно, но он продолжал вслушиваться в разговор уже только с целью подметить еще хоть что-нибудь о говоривших. Он как бы знакомился с этими людьми, знакомился втайне от них самих. Один из говоривших показался Стэфану ранее известным, но где он его слышал, пока не всплывало в его памяти, а открыть глаза и посмотреть Стэфан боялся. Он вообще боялся шевельнуться на своей кровати. Внимательно слушая, Говнюк почувствовал тоску. Тоску и одиночество. Очень хотелось подсесть туда, к огню, и чтобы эти люди пустили его к себе, и он готов даже сидеть и ничего не говорить, а только слушать... Разговор продолжался, и постепенно Стэфан заснул. Он провалился в сон и, засыпая на человеческой кровати, позволил себе поверить, что он тоже человек, что все произошедшее с ним — плод глупой фантазии и ничего взаправду не случилось. Разбудил Стэфана громкий голос, голос, которого он не слышал прежде, и этот голос, перекрикивая шум, звучал как-то отчаянно. Стэфан решил, что этот голос принадлежал молодому человеку, который, запинаясь, сбиваясь, но продолжая наперекор всем, отрицал все убедительнейшие доводы и кричал почти, что не может быть все так плохо и так безнадежно. Он утверждал, что есть примеры, когда Говнюки становились не только людьми, но и Героями, и напомнил всем собравшимся чьи-то слова, что дорога от Человека до Героя дольше, чем дорога до Героя от Говнюка. Здесь ему пеняли, что это была оговорка того самого великого авторитета, произнесшего непонятное и двусмысленное определение.

Стэфан не сразу понял, из-за чего такой мирный спор разросся в бурную и крикливую дискуссию. Только спустя полчаса до него начало доходить, что с самого начала обсуждался не просто теоретический вопрос, а главным предметом дискуссии было совершенно

конкретное обстоятельство. Решался вопрос о том, чтобы всех Говнюков, где бы они не появлялись, немедленно арестовывать и водворять в специальное охраняемое место, где бы они были лишены возможности наносить вред остальным людям своими поступками и провокациями, а сам Город Говнюков, как рассадник нравственного безобразия, превратить в некое подобие тюрьмы, обнеся стеной и установив там строжайший режим и порядок. И как раз тот самый голос, показавшийся Стэфану знакомым, наиболее аргументированно, убедительно и твердо отстаивал эту позицию, а яростно сопротивлялся ему только один — тот самый молодой человек, который почему-то представлялся Стэфану красивым благородным юношей. Остальные занимали неопределенную позицию, а он с жаром, даже портя свою речь излишней эмоциональностью говорил, что ни за что не позволит лишать свободы кого-то, не совершившего преступления. И еще он говорил, что если люди, находясь на сегодняшнем этапе своего развития, не могут объяснить каких-бы то ни было вещей, то нельзя хвататься за полные прорех гипотезы только потому, что они просты. Он почти кричал, что человечество развивается и когда-то все люди имели еще меньшие человеческие сущности, чем сегодняшние Говнюки, что тогда люди пожирали друг друга и это было нормой жизни. Он спрашивал, как в таком случае произошла эволюция?

Было очень шумно, и Стэфан решил перевернуться так, чтобы, открыв глаза, он смог увидеть говоривших. Несколько минут его глаза привыкали к тусклому свету костра, и каково же было его удивление, когда вместо красивого юноши он увидел старика, отчаянно жестикулирующего в направлении своих собеседников. Голос этого очень пожилого человека был тонкий, надтреснутый и мог показаться юношеским. Рядом со стариком стоял полноватый молодой мужчина, готовый, казалось, его подержать и выглядевший решительно. Еще через секунду Стэфан узнал их основного противника — им был Главный Урод! Увидев его, Стэфан в ужасе зажмурил глаза. Ему казалось, что Главный Урод может почувствовать его взгляд. Но тот был занят научным спором, находясь среди людей, судя по всему, принимавших его за своего. Стэфан подумал, что он ошибся, и снова начал вглядываться в говоривших. Нет! Сомнений не было. В десяти шагах от него Главный Урод со всей присущей ему вежливостью, талантом и убедительностью располагал людей к тотальной войне с Говнюками. Стэфан в ужасе пялился на Главного Урода и его собеседников, забыв даже и об осторожности, пока не встретился взглядом с полноватым молодым человеком, располагавшимся подле старика. С минуту они смотрели друг на друга с расстояния в десять шагов, Стэфан ждал, что тот немедленно оповестит всех о том, что Говнюк ожил и все слышит, а после на него набросятся, а возможно, даже попытаются убить, но парень отвел взгляд и никому ничего не сказал, а Говнюк осторожно лег так, как его положили на этой кровати, и весь превратился в слух. Дискуссия подходила к концу. И не потому, что кто-то из собеседников убедил другого. Просто яростно говоривший старик оказался самым главным, и он прекратил обсуждение, сказав, что пока он жив, никого из жителей этой земли не лишат свободы только за то, что у него мало или совсем нет человеческой сущности. Он сказал, что сделал единственное исключение для отчетливо Злых Говнюков, но и здесь не уверен в правильности этого жестокого решения, которое повсюду извращается и почти всегда выполняется неправильно.

## Глава 6. О том, что каждое усилие когда-нибудь принесет свои плоды.

Этой же ночью Стэфан ушел от Мудрецов. Он совершенно запутался в своих размышлениях и предположениях по поводу присутствия среди Мудрецов Главного Урода. Ничего не понимая в происходящем, он просто решил не ломать голову, а, пока имеется возможность, уносить ноги. Когда все уснуло, Говнюк тихонько поднялся, бесшумно разыскал свои охотничьи припасы, украл чью-то одежду, больше похожую на изорванные тряпки и, на цыпочках миновав мирно спящих людей, пустился по их пещере дальше к выходу. Уже через несколько минут Стэфан выбрался на поверхность земли.

Была ночь, ветер тревожно шевелил верхушки деревьев, луна, время от времени скрывавшаяся под налетавшими на нее тучами, тускло освещала окрестности, уродливо искажая все, на что попадал ее неровный, желтоватый свет.

Вероятно, приближался рассвет, поскольку кое-где Стэфан заметил собирающиеся клубы тумана. Он размышлял, как хорошо жить и какое счастье, что он не умер там, в каменном мешке. Теперь у него была цель. Оказывается, что, спасаясь от преследовавших его людей, он проделал через гору путь в Город Говнюков и теперь уже близко был этот город, о котором он столько слышал и, хотя Стэфан не имел никакого плана на свое там устройство, он ликовал от перспективы встретить хоть кого-то, кто стал бы с ним разговаривать, хоть кого-то, кто не прошел бы мимо него, как мимо пустого места. Стэфан сказал себе, что жизнь в лесу сделала его неприхотливым и теперь он согласен на любую работу, он справится с чем угодно, потому что стал очень сильным и ловким, он готов жить в сарае, одеваться в лохмотья и всю оставшуюся жизнь проходить босиком, и это будет огромное счастье по сравнению с любой из тех перспектив, которых ему удалось избежать.

Жизнь в лесу приучила его к осторожности, сам того не замечая, он шел очень тихо, его ноги сами выбирали, куда и с какой силой наступить, уши внимательно слушали и распознавали звуки леса, глаза цепко осматривали все кругом. И при этом он просто шел, думая о том, как хорошо, когда нет давящего каменного свода над головой и можно видеть окружающий мир, как хорошо, что можно вдыхать свежий лесной воздух полной грудью и от этого немного кружится голова.

Дорога уводила его все дальше и дальше от горы, он совершенно углубился в лес, тропинка сделалась едва заметной, он продолжал идти, и впервые за много месяцев в его голове появились приятные мысли.

Стэфан вышел из леса, тропинка постепенно превратилась в разбитую рытвинами дорогу. Это была точно такая же дорога, как и та, по которой они шли с Принцессой, только теперь не было дождя и лужи пересохли, а грязь превратилась в черную корку, присыпанную пылью. Вонь поднималась только тогда, когда Стэфан, случайно наступив на самое дно лужи, проламывал черную корку грязи и на поверхности появлялась загустевшая кашка, издававшая омерзительное зловоние. Наступив туда один раз, Стэфан потом несколько минут отчищал ноги травой, чтобы избавиться от гадкого запаха. Его приятные мысли уже улетучились, он тревожно осматривал окрестности, сжимая в руках свою дубину, и страх снова закрадывался в его душу. Конечно, он думал об Уродах. Все было очень похоже на ту их дорогу с Принцессой — дороги вообще очень похожи. Стэфан изо всех сил сопротивлялся страху, который медленно, но неумолимо захватывал его душу. Немного помогало, если усилием воли он заставлял себя вспоминать о том, как избежал засад и погони людей на той стороне горы, как он, готовый к смерти, прыгнул в огонь и огонь отступил перед его храбростью, как он прошел сквозь гору, и теперь он здесь и осталось не так уже и много. Эти мысли немного помогали, но Стэфан не чувствовал, что он думает все это по-настоящему. Он как бы думал о ком-то другом, о сильном и храбром, а сам оставался

жалким и перепуганным. Это было странное чувство, ведь думал же он о самом себе, и он действительно был именно тем Стэфаном, но именно сейчас он не чувствовал себя никаким храбрым силачом, и все, что ему могли дать эти мысли, это только не позволить страху совершенно захватить его душу. Вскоре впереди показался туман, и Стэфан вошел в него. Говнюк решил идти медленно и на всякий случай сошел с дороги, двигаясь в десятке метров от нее. Он очень внимательно слушал, очень старательно смотрел по сторонам, и это позволило ему первому увидеть Уродов. Он присел на четвереньки, потом лег на живот и наблюдал, как пятеро здоровенных Уродов развалились возле дороги, устроив себе некоторое подобие маскировки между камней. Возможно, они считали себя в засаде на зазевавшегося путника, но, судя по всему, были сыты и совершенно беззаботны из-за этого. Твари не видели Стэфана и весело гомонили, тыкая друг в друга огромными пальцами, то и дело раздражаясь взрывами оглушительного хохота, а потом цыкали друг на друга, но через минуту снова забывали о мерах предосторожности и опять оглушительно ржали. Стэфан ползком на животе миновал Уродов так, что они его не заметили, долго-долго он полз как змейка, стараясь совершенно слиться с землей, он полз и все время прислушивался, звуки веселящихся Уродов не стихали, и через некоторое время он готовился уже вздохнуть с облегчением, выходя из тумана, как услышал шорох, обернулся и увидел ухмыляющуюся рожу еще одного Урода буквально в пяти метрах от себя. Он медленно приближался, глядя в глаза Стэфану, и на его глумливой роже выражалось предвкушение удовольствия. К собственному своему удивлению, Стэфан заметил, что Урод ниже его ростом, хотя, конечно, и значительно шире. Тварь приближалась молча, а взрывы гогота, раздававшиеся в отдалении, говорили о полной неосведомленности его приятелей относительно их встречи. Медленно подойдя к Стэфану на расстояние, когда можно было уже треснуть дубиной, Урод вдруг резко выбросил руку вперед, намереваясь заехать Стэфану под дых, но попал в пустоту, и в следующее мгновение сильнейший удар палкой сзади по шее сбил его с толку. Урод, хотя и остался на ногах, не успел ничего предпринять, а после еще одного удара он тяжело опустился на колени, голова его начала клониться к земле, а руки готовы были выронить дубину и уже не слушались.

Стэфан, ловко отпрыгнув от удара врага, изо всей силы треснул ему палкой по шее, потом еще раз и еще, то справа, то слева, пока Урод не грохнулся в пыль, выпустив дубину из рук. Ярость владела Стэфаном в тот момент, он ничего не думал, кроме того, что Уродов, оказывается, можно убивать. Это чувство взорвало его изнутри и дало ему какую-то небывалую силу, он размахнулся и на выдохе вонзил свою дубину прямо в затылок распростертой на земле твари. Палка как в масло вошла в уродскую голову, Урод часто-часто задергался всем телом, жутко завонял и издал свой последний вопль, который больше был похож на смесь свиста с шипением. Этот вопль оборвал гогот неподалеку, и Стэфан услышал топот сзади и справа от себя. Он выдернул палку из башки неподвижного уже Урода, оглянулся и увидел, что те пятеро Уродов, которых он с такой старательностью обползал, бегут к нему толпой, даже не удосужившись изобразить нечто похожее на линию загонщиков. Стэфан схватил уродскую дубину и швырнул ее в приближавшихся косматых чудовищ. Один из нападавших свалился на бегу, еще двое растянулись на земле, запнувшись об его тушу, оставшиеся двое приостановились в нерешительности, но через несколько секунд все поднялись и уже чуть медленнее, но снова двинулись в сторону Стэфана. Их было пятеро, и Говнюк решил не рисковать: набрав в рот слюны, он плюнул в их сторону, развернулся и со всех ног пустился наутек. Оглянувшись через минуту, он увидел то, что и ожидал: Уроды безнадежно отстали и возвращались назад. Стэфан был разгорячен, он остановился и смотрел, как Уроды уходят, даже не оглядываясь. Прислушавшись к себе, Стэфан почувствовал желание убить их всех. Он ощутил не только желание, но и способность убить их всех! Уроды оказались тупыми и неповоротливыми тварями. Они

были гораздо менее ловкими, чем Стэфан, и гораздо менее быстрыми. И эти твари сделали с ним то, что произошло. Они увезли Принцессу, и из-за них он, Стэфан, сделался Говнюком! Если бы их было двое или трое, Стэфан вернулся бы и сражался, но пятеро — это показалось ему много. Уроды скрылись в тумане. Светало, Стэфан вышел на дорогу и двинулся по ней в сторону города, как вдруг услышал в тумане человеческий крик. Это был крик ужаса и отчаяния. В нем даже не было просьбы о помощи, а только ужас перед лицом неизбежной смерти. Стэфан не думал ни о чем, он узнал этот страх, вспомнил такой же страх в самом себе, и ненависть к этому страху, возможно, больше, чем ненависть к Уродам, заставила его стремглав пуститься бежать назад, туда, где Уроды убивали Человека. Он подбежал очень тихо, так, что увлеченные реваншем Уроды и не заметили приближавшейся опасности. Ближайший к Стэфану упал с перешибленным хребтом еще до того, как остальные поняли, что происходит, а уже следующий валился на землю с проломленной башкой, из которой хлестала черная, вонючая жижа. Уроды плохо чувствовали страх и совсем не чувствовали, когда к ним приближалась смерть. Поэтому трое оставшихся и не подумали убежать, а, оставив свою жертву, принялись было за Стэфана. Они широко размахивались и молотили воздух вокруг него, мешая друг другу. Каждую ошибку врага Стэфан использовал для своей победы, одному Уроду он ударом палки переломил обе руки так, что они остались безжизненно болтаться, а сам Урод, глядя на остатки своих огромных лап, бухнулся в пыль на свою уродскую задницу, и Стэфан, уже увернувшись от двух или трех взмахов дубин, прямым ударом палки размогил то, что минутой назад было штатной рожей следующего охотника на людей. Третий Урод в тот момент уже готовился опустить дубину на беззащитную спину Говнюка, и Стэфан видел боковым зрением приближающийся удар, как вдруг Урод получил чувствительный тычок снизу по ноге, отвлекся на секунду, и тут же его череп был раскроен надвое — это Стэфан с размаху и изо всех сил обрушил палку на его уродскую голову. Не прошло и пяти минут, как трое Уродов были мертвы, один так и сидел, тупо глядя на руки, переломленные выше кисти и свисающие как плети, а последний, валялся на боку с черным месивом вместо уродской рожи и скреб землю свободной рукой, не имея возможности грызть ее переломанной и раздробленной челюстью. Стэфан двумя ударами добил обоих, одному наотмашь снес его тупо пялящуюся на руки уродскую башку, а другому, так же как и первому своему Уроду, он пригвоздил голову к земле страшной силы прямым ударом палки. Умирая, Уроды мелко-мелко дергались всем телом и всегда издавали свой шипяще-свистящий вой, от которого жгало бы сердце у каждого человека, но не у Стэфана. Этот предсмертный вой Уродов казался ему сладостной песней его победы, его величия и его славы!

Убив всех, он обратил внимание на спасенного им человека. Им был тот самый толстенький молодой человек, с которым он встретился взглядом в пещере Мудрецов. Человек полулежал на земле, лицо его было перепачкано уродскими внутренностями, он смотрел на Стэфана с ужасом, потихоньку отползая назад. Говнюк молчал, стоя над человеком и глядя прямо перед собой. Руки и губы Стэфана дрожали крупной дрожью, ноздри раздувались, брови были почти сведены на переносице, зубы то и дело сжимались, заставляя желваки на скулах двигаться то взад, то вперед. Вместо глаз человек видел на лице Говнюка две холодные дырки в снегу. Стэфан молчал, молчал и человек. Прошло несколько секунд, человек сантиметр за сантиметром отползал от Стэфана, потом обернулся, лицо его сделалось отчаянным, и ни с того ни с сего он принялся орать. Он кричал на Стэфана, используя самые обидные слова и самые страшные ругательства. Он называл его мерзким Говнюком, омерзительной тварью, которая хуже Уродов, злобным животным, которое никогда не делается обратно человеком. Степан несколько минут слушал его и почему-то постепенно успокаивался. Его дыхание перестало быть прерывистым, лицо разгладилось, он переложил палку в левую руку и улыбнулся.

— ...Ты...Вы... говорите со мной? Вы тоже Говнюк?

— Я не какой не Говнюк! Я ученик Мудреца, а ты Говнюк, хуже, ты Злой Говнюк... точнее, только что ты был Злым Говнюком...

Начало этой фразы человек произнес решительно и даже зло, а конец как-то удивленно, неуверенно и даже робко. Он снова молча уставился на Стэфана, когда из-за недалеко расположенного камня выползла еще одна человеческая фигура и, широко, радушно разведя руки вперед, произнесла наисладчайшим голосом:

— Я твой брат, Говнюк, который никогда не обидит тебя и будет всегда любить тебя и уважать, такого сильного и храброго Говнюка, целого говнючища! Такие, как ты, очень нужны в нашем Городе Говнюков, я буду тебе другом и проводником, а этого жалкого, заплывшего жиром человечиска, давай уьем с тобой от греха подальше, и ты как раз сможешь взять себе его одежду, мой большой и сильный друг... Если ты не возражаешь, можно я перережу ему горло?

Толстенький человек вскочил на ноги, подняв одну из уродских дубин, вся фигура его выражала решительность, но поза его так контрастировала с внешностью, что выглядел он скорее комично, чем угрожающе.

Стэфан совершенно растерялся от всего происходящего. Он так долго ждал возможности поговорить хоть с кем-нибудь, и вот теперь у него целых два собеседника. Казалось бы, нужно радоваться и счастливо пользоваться представившейся возможностью, но по странному стечению обстоятельств ситуация снова приобретала совершенно драматические очертания. От обилия чувств, нахлынувших на Стэфана, и от того, что привычка говорить с себе подобными сильно пострадала за месяцы лесной жизни, он не мог подобрать слов.

— Эээ... Я... Это... вы что... минуту... Эээ, прошу вас...

Стэфан густо покраснел, когда понял, что уже несколько минут не может ничего произнести, он сжал челюсти, сосредоточился, сделал пару глубоких вдохов и, выстроив сперва фразу про себя, одним духом выпалил:

— Лучше поговорим... поговорим и не будем убивать...

— Ты странный Говнюк, — после сказал толстенький человек. Минуту назад ты отчетливо был Злым Говнюком, а теперь ты выглядишь как обычный Говнюк, притом довольно безобидный... Если бы не твоя палка, вымазанная внутренностями Уродов, я бы подумал, что ничего из того, что я видел пять минут назад, не было на самом деле...

— Хотите, я выброшу палку, ради всего святого, поговорите со мной, объясните мне, что происходит... я ничего никому не сделал, я только украл топор, чтобы не умереть в лесу, а Трактирщик забрал все мои деньги за маленький мешок еды, возможность помыться и баночку какого-то снадобья...

Вылезший из-за камня Говнюк прервал его:

— Да ты вовсе не такой крутой Говнюк, как мне это сразу показалось! Чего ты скулишь, как жалкий щенок, зачем тебе этот жирный, самодовольный, неприспособленный к жизни мозгляк? Тебе, вероятно, досталось от таких, как эта жирная гусеница, все мы через это прошли, но здесь ты уже не должен унижаться, ты попал к своим, понимаешь? Здесь нет их власти, они вообще не должны приближаться к нашему городу! Мы укокошим его и свалим все на Уродов, никто ничего не узнает и у нас не будет проблем, а у тебя будет одежда. Ты должен понимать меня, брат. Заботясь о твоей пользе, я уже пошел на преступление и подстрекаю тебя к убийству, и если ты откажешься, то очень меня подведешь, ты подставляешь меня под риск уголовного преследования со стороны этого почти уже трупа. Я что, благодаря тебе должен всю оставшуюся жизнь скитаться по лесам от их паршивых патрулей?..

По ходу произнесения этой воинственной речи Говнюк медленно приближался, пока не подошел настолько близко, что смог отчетливо разглядеть человека. Как будто он узнал его, и в этот момент тон его речи поменялся, конец фразы он протараторил затихающей распевной скороговоркой, так что совершенно потерялся весь ее флибустьерский смысл. Толстую строго оборвал намеревавшегося чего-то еще тараторить субъекта и произнес весомо и отчетливо.

— Ты жалкий врун и отчаянный трус. По твоему говнюковскому лицу сразу видны твои ничтожные намерения, совершенно не сопоставимые с убийством человека! Тем более всем известно, что люди не преследуют вас за болтовню. По крайней мере, до тех пор, пока мой дед во главе Совета Мудрецов! От себя могу добавить, что я не собираюсь заниматься тяжбами с Говнюком, у меня есть дело поважнее, чем добиваться, чтобы тебя выпороли на рыночной площади.

Стэфан переводил взгляд с одного своего собеседника на другого и с большим удивлением видел, что человек действительно перестал бояться, говорит и держится уверенно, а Говнюк утратил весь свой решительный вид и стоит понуро, порываясь то и дело вставить словечко, но не решающийся прервать говорившего. Он услужливо кивал головой, поддакивал и всем своим видом с каждой минутой все больше выражал верноподданничество:

— Господин Жульен...

— Я, кажется, помню тебя, Говнюк, это ты под видом мази из уродских внутренностей торговал перемолотыми уродскими экскрементами? Тебя зовут Кромбель?

— У вас такая хорошая память, господин Жульен, да, это был я, а вы тогда исполняли обязанности судьи и позволили мне отстоять мою правоту, ведь, экскременты тоже в некотором роде находятся у Уродов внутри до определенного времени, и, строго соблюдая терминологию, я никого не обманывал, тем более что моя мазь стоила дешевле... Вы вынесли тогда совершенно справедливое решение, и благодаря вам я только неделю работал по благоустройству городской канализации, как вы метко заметили: «раз уж у этого Говнюка такая любовь к фекалиям». И еще, я тогда не успел вас заверить, или, как мне показалось, это не прозвучало с приемлемой убедительностью, мне хотелось, чтобы вы знали: я — честный Говнюк и добросовестный торговец, в моем ассортименте были и другие мази, и гораздо более целебные, чем та, о которой вам изволилось вспомнить из-за того, что она явилась причиной нашего приятного знакомства...

— С Говнюками, как ты, бесполезно разговаривать, раньше мы думали, что сами вы понимаете истинное положение вещей и только издеваетесь над окружающими так все перевирая и ставя с ног на голову. Опыт убедил нас, что это не так, вы искренне переворачиваете любую ситуацию, используя самые парадоксальные и самые замысловатые выверты формальной логики. Мы назвали это ваше свойство — отрицание. Я не буду возвращаться к той ситуации. Говнюк, ты тогда получил заслуженное, хотя и избыточно мягкое наказание за свое мошенничество.

— Как вам будет угодно, но я тогда был рад бескорыстно помочь городу в чистке канализационных ям. Думаю, что если каждый житель следовал бы моему примеру, наш город был бы образцом порядка и чистоты... А теперь, господин Жульен, вы позволите мне заняться моим делом и собрать немного разбросанных здесь уродских внутренностей?

— Уродов убил не я, и тебе нужно спрашивать разрешения у этого непонятного Говнюка с палкой.

— Его и спрашивать не нужно, он ничего не смыслит в нашем ремесле...

Произнеся это себе под нос, Говнюк, имя которого было Кромбель, побежал к своему камню, вероятно, для того, чтобы принести тару для своих заготовок.

Здесь толстенький человек обернулся к Стэфану, все это время стоящему молча.

— Как тебя зовут?

— Мое имя — Стэфан.

— Ты слышал вчера в пещере весь разговор?

— Да.

— Не знаю, Стэфан, имеет ли смысл то, что я скажу сейчас, ты ведь Говнюк, как и эта жалкая пародия на человека, которая сейчас побежала за мешками... Но мой дед учил меня, что всем нужно давать шанс поступить в соответствии с Человеческой Сущностью. Так вот я - ученик Мудреца, обращаюсь к тебе, Говнюк Стэфан, с просьбой не разглашать услышанного тобой, ибо эта информация может спровоцировать Говнюков на глупые и безрассудные выходки и даст нашим оппонентам новые веские доводы в пользу их мнения.

— Я не скажу... я понял вас. А вы можете со мной поговорить?

— Я могу, ученики Мудрецов умеют говорить с Говнюками, поэтому нам и приходится осуществлять в вашем городе подобие судебной власти, хотя, по большому счету, это только видимость власти. Все основные события происходят без нашего участия. Говнюки обращаются к нам очень редко, предпочитая сами решать спорные вопросы друг с другом. Ваши выяснения отношений обычно кончается увечьем или смертью одной из сторон, но мы не вмешиваемся — нельзя заставить Говнюков жить по человеческим правилам. Мой дед говорит, что весь кошмар жизни в Городе Говнюков должен способствовать их исправлению. Они должны сами захотеть что-то изменить внутри своего мира, и это будет то же самое, что захотеть изменить себя. Я не очень понимаю это и пока не вижу никаких подтверждений такой концепции, но верю в то, что мой дед не ошибается в таких вопросах. Ты можешь со мной говорить, тем более сегодня ты два раза спас мне жизнь.

— Почему два раза?

— Один раз ты убил Уродов, а второй раз сам справился с собой, когда хотел убить меня.

— Я не хотел убивать вас... у меня не было даже мыслей об этом...

— Позволь мне судить о том, что ты хотел. Возможно, я еще молод, но уже видел слишком много Злых Говнюков и знаю ваши повадки. Но это не имеет теперь большого значения. В благодарность за твой человеческий поступок я расскажу тебе кое-что о том городе, куда ты направляешься.

— Я был бы очень вам признателен.

— Для начала обращаю твое внимание, что тебе довелось счастливо добраться до страны Врунов, Воров и Подонков. Через несколько минут тебя здесь в первый раз обворуют. Дело в том, что Говнюки делают из убитых Уродов снадобья, которые позволяют им существенно продлевать свои говнюковские жизни и невероятно быстро залечивать раны. Приготовление его не сложно, гораздо сложнее укокошить Урода. Особенно ценится черная жижа из башки Урода. Для каждого Говнюка внутренности целых шести Уродов — это огромное богатство, даже внутренности одного Урода — уже огромное богатство. По неписаному правилу Урод принадлежит тому, кто его одолел, то есть тебе, но наш ловкий Кромбель намерен наполнить свои мешки твоим добром и сказочно разбогатеть. О, а вот и Кромбель...

Вернувшийся с мешком Говнюк, не обращая внимание ни на кого, уже вытаскивал из него другие маленькие мешочки, горшочки, скляночки, какие-то ложечки, лопаточки и прочие, надо сказать, малоприятные приспособления. Он выглядел таким занятым своей работой, что и беспокоить его было неловко, но Стэфан все же собрался с духом и прервал его:

— Мне неловко прерывать вас, но... мне стало известно, что останки Уродов имеют некоторую коммерческую ценность и я могу... есть и моя доля участия в том, что



произошло... возможно, я не стал бы мелочиться, но именно теперь я особенно нуждаюсь в средствах...

— Как вас зовут, молодой человек?

— Мое имя Стэфан, а вас, как я понимаю, зовут Кромбель?

— Так вот, Стэфан, послушай мой совет: никогда не начинай качать права, пока не знаешь точно, что они у тебя есть. По закону мы все здесь находящиеся принимали участие в битве и все имеем равные права. Можешь сплести себе еще чего-нибудь из листиков и положить туда какую-нибудь часть любого Урода. Если знаешь, конечно, какую часть класть...

— Но, если я не ошибаюсь, вы непосредственно... вы не дрались с ними.

— В бою, милейший мой Стэфан, есть разные роли. Одни заманивают, разведывают, изматывают Уродов, другие приходят на все готовое, приканчивают обессилевших уже тварей. И что? Ты хочешь сказать, что я меньше тебя старался или потратил меньше сил и времени? Да я неделю следил за ними! Отвали от меня, наглец, и не мешай работать. Ты такой наглый, что никогда не приобретешь репутации даже в нашем Городе Говнюков! Мыслимое ли дело!

Кромбель, не встречая сопротивления, как-то сам незаметно для себя распался и, не глядя на Стэфана, продолжал свою работу под аккомпанемент собственных ругательств. Он и ругался-то по привычке, по привычке делал зверское лицо, по привычке придавал голосу злые, хриплые нотки, как вдруг удар палки уничтожил несколько его горшков, расшвырял мешочки, едва не попав по пальцам заготовителю. Говнюк обернулся и увидел, что лицо его собеседника перекошено злостью, губы сжаты, глаза остекленели и руки его уже готовятся нанести еще один удар. Кромбель прыгнул и вцепился Стэфану в ноги, обхватил его, не давая двигаться, и, изо всех сил задирая голову, чтобы поймать взгляд своего убийцы, заорал что было силы:

— Не убивай меня, брат Говнюк! Я был не прав, клянусь, мы все с тобой поделим поровну, я пригожусь тебе...

Стэфан держал палку так, что неудобно было сразу бить себе под ноги, он перехватил ее, намереваясь пригвоздить Говнюка к земле так, как он пригвоздил двух Уродов, но как-то зацепился сначала за умоляющий, тараторящий тон, потом за слова, а потом увидел полные ужаса глаза Говнюка. Этот ужас был живой и человеческий, и ярость Стэфана улеглась. Говнюк отпрыгнул от него, вскочил и снова начал ругаться, но уже по поводу того, что Стэфан больной Говнюк, злой и не понимает шуток, что он готов убить товарища из-за ерунды. Но едва только Стэфан снова начал злиться, Кромбель благоразумно резюмировал, что оба они погорячились, но стоит уже закончить прения и договориться.

Договорились, что вся выручка будет поделена пополам, и еще, что Кромбель отдаст Стэфану свой плащ, чтобы тот добрался до города. Ученик мудреца тем временем оставил новых приятелей и продолжил свой путь.

## Глава 7. О том, что надежды не всегда оправдываются.

В Совет Мудрецов

Главе Совета

Совершенно секретно

Прочитавший дальше этой строчки уведомляется в том, что совершает тем самым государственное преступление.

Дорогой дедушка! Пишу вам это первое письмо, только что прибыв на место. Дорога моя прошла не вполне благополучно, но нет худа без добра, кончилось все хорошо, и я, кроме всего прочего, имел возможность обогатиться любопытнейшими наблюдениями.

По дороге я попал в засаду, устроенную Уродами, и уже попрощался с жизнью, как Уроды начали валиться на землю один за другим, и не прошло и пяти минут, как все пятеро были убиты с невероятной жестокостью. И кем бы вы думали? Тем самым Говнюком, которого мы вытащили из подземного хода! Так что наши сомнения о правильности неприпятствования его уходу уже разрешились хотя бы тем, что именно ему я обязан своим спасением. Конечно, вам не хуже чем мне известно, что укокошить даже и одного Урода обычный Говнюк не в состоянии, а может это сделать только Злой Говнюк, каким и выглядел мой спаситель совершенно в энциклопедическом виде. Покончив с Уродами и не будучи в состоянии остановиться, он намеревался приняться за меня, но я, к счастью, имею опыт общения с такими субъектами и знаю, что здесь нужно выиграть время, и отвлекать от убийства его нужно постепенно, чем-то меньшим, чем убийство, например, руганью. Это средство сработало, он стал успокаиваться. И что бы вы думали? На моих глазах он превратился в совершенно обычного, безобидного и даже робкого Говнюка. Я еще не слышал о таких формах, и если это действительно нечто новое, не отраженное в классификации, то я, с вашего разрешения, примусь за осторожное изучение данного субъекта, чтобы при первой возможности сделать об этом доклад на нашем совете. Тем более любопытно, что этот Говнюк по своей воле без жизненной для него необходимости вступил в бой с Уродами. По всей видимости, он специально вернулся в туман для этой, прямо скажем, человеческой цели, достойной решительнейшего и добродетельнейшего из людей.

Вероятно, вы уже чувствуете, к чему клонится тон моего письма. Ведь я встретил Говнюка, который может быть именно той большой удачей и решением всей цели моей экспедиции. Это необычный Говнюк! Ваше предположение, что так ожидаемое нами появление нового Героя может случиться именно в Городе Говнюков, где любая человеческая сущность ощущает себя гораздо более дискомфортно, чем в обычных наших городах и деревнях, и неизбежно побуждает ее владельца к производству над собой перемен, возможно, счастливо подтверждается. Буду следить за этим Говнюком, его, кстати, зовут Стэфан.

Хотя, возможно, мои восторги определяются личным чувством — все-таки он спас мне жизнь, и на самом деле никаких изменений в нем не произойдет. Это покажет время, я терпелив и, без всяких сомнений, не буду замыкаться на одном варианте, а примусь за системный поиск всяких странных Говнюков, имеющих хоть какие-то признаки развития человеческой сущности вместо ее разрушения.

К своим прямым обязанностям судьи я еще не приступил, сегодня начну просматривать дела, о результатах напишу отдельно. Запечатываю письмо по полной форме и посылаю спецпочтой.

Ваш любящий внук,  
ученик Мудреца.  
Жульен.

Судье города говнюков  
Совершенно секретно  
Прочитавший дальше этой строчки, уведомляется в том, что совершает тем самым государственное преступление.

Дорогой внук, с первых строк я вынужден укорять тебя в легкомыслии и безответственном отношении к твоей собственной жизни. Я же умолял и требовал, чтобы ты не ходил ночью в тумане или, по крайней мере, соблюдал все меры предосторожности, которыми ты, вероятно, пренебрег и этим самым чуть не лишил меня внука и наследника всех моих замыслов. Никакой результат не будет нами достигнут, если ты погибнешь! И еще я хочу, чтобы ты знал: если с тобой что-то случится, не пройдет и недели, как твой дед, которого и держит-то на этом свете только надежда на тебя, отправится в небытие и верховодить у нас останется твой старший братец. Так что не забывай о всей мере ответственности, которую накладывает на тебя положение. Ты не принадлежишь самому себе, а только делу, которому мы преданы.

Уже больше ста лет в наших землях не было ни одного Героя. Люди без Героев все больше превращаются в Говнюков. По многим признакам мы уже приближаемся к нижней точке падения и вот-вот Герой должен появиться. Я совершенно уверен, что он появится именно там, где хуже всего человеческой сущности, именно там, где человеку невыносимо, кто-то найдет, почувствует способ изменить себя, найдет силы пойти по этому пути, и как только он поймает ход этого процесса, как только почувствует происходящее с ним, невозможно уже будет остановить его развитие.

Не знаю, зачем я пишу это тебе, ты и так знаком с моими размышлениями по данному вопросу и являешься единственным, кто верит в мои, кажущиеся другим абсурдными, мысли.

Ну, все, прощаюсь, береги себя, внучек.  
Твой дедушка  
Твой навеки дедушка

В совет Мудрецов  
Главе Совета  
Совершенно секретно  
Прочитавший дальше этой строчки уведомляется в том, что совершает тем самым государственное преступление.

Дорогой дедушка, извини, что задержал с ответом. Этот мой первый месяц в Городе Говнюков пролетел совершенно незамеченным. Даже не могу похвастаться, что успел сделать что-то, достойное отчета. Вроде целыми днями чем-то занимаюсь, с кем-то встречаюсь и разговариваю, а, подводя к вечеру итоги, обнаруживаю, что никаких итогов нет. Говнюк, о котором я восторженно писал вам в предыдущем письме и о котором, к

сожалению, не получил никаких ваших комментариев, очень успешно адаптировался здесь (гораздо успешнее, чем мне самому удастся здесь прижиться). Он теперь богат, приобретает авторитет, значительность и влияние среди Говнюков. Обзавелся друзьями из той породы, которых мы с вами называем прожигателями. Никаких поползновений к росту человеческой сущности не обнаруживает, а напротив, увлекся говнюковскими наслаждениями и со страстью предается им, выискивая самые злчные и отвратительные места.

Наблюдая за ним, я замечаю обычные формы деградации Говнюка:

— он толстеет;

— его ощущение времени сократилось почти до критической величины, ничего не планирует на будущее, только мечтает, не может даже с вечера решить, что именно намерен делать следующим утром, нанял для этой цели специального Говнюка, который все планирует за него. В прошлое тоже не возвращается, мало вспоминает, совсем почти не выносит уроков из происходящего;

— много занимается своей внешностью, волосы теперь заплетает в косы и скрепляет их сзади, как в древности это было принято у воинов, что считается теперь модным у Говнюков. Не имея возможности самому увидеть свое отражение, настойчивейшим образом расспрашивает всех попадающихся о своем лице, прическе и удовлетворяется не раньше, чем услышит многократные и убедительные заверения, что он действительно неотразимо мужественен и до чрезвычайности красив;

— становится груб и высокомерен с окружающими, интонации каждого, даже и обычного разговора сделались резковатыми, отрывистыми и немного угрожающими, речь упростилась, фразы сделались короче, старается произносить слова увесисто, даже если несет полную чушь. При этом, вовсе не считая себя хамом, с некоторыми Говнюками чрезвычайно любезен, для объяснения манеры общаться придумывает стереотипичные, псевдологические и псевдоэмпирические разъяснения типа «с этими тварями иначе нельзя»;

— стал чрезвычайно подозрителен;

— до паники боится, что в нем распознают Злого Говнюка и повесят;

Два последних пункта весьма выражены, и я отношу их к обнадеживающим как выражение повышенного фона общей тревожности, возможно, отражающее страдание человеческой сущности. Но пока он находит формы ухода от осознания душевных мучений в непрерывной беготне, попойках и грязных говнюковских наслаждениях.

Других экземпляров, дающих надежду на эволюцию, пока не попадается.

Я стараюсь не терять оптимизма и продолжаю находиться в активном поиске.

Твой любящий внук

Жульен.

P.S. На днях обнаружил еще одну интересную форму, которую не встречал в классификации. Состоит она в том, что говнюковские женщины, а чаще молодые девушки, каким-то образом разменивают свою человеческую сущность на внешность. Они на некоторое время (иногда измеряемое годами) приобретают милостивые, хотя и несколько похожие друг на друга очертания, несколько напоминающие очертания Принцессы, которые необыкновенно притягивают Говнюков, а сущность у «счастливых» обладательниц такой внешности сокращается почти до уровня дементной старухи со сварливым характером. Говнюк, расположившийся к такой особе, и даже женившись на ней, со временем начинает видеть сущность за внешностью и приходит в ужас. Некоторые Говнюки при этом кончают с собой, некоторые жестоко выгоняют бывшую возлюбленную, которая незамедлительно находит себе нового кавалера, пока внешность еще держится. Наиболее ловкие из таких

барышень сверхъестественным усилием всех оставшихся своих способностей гуманно держат мужей на большой дистанции, стараясь подольше оставлять супруга в неведении. Стоит ли добавлять, что супругами таких женщин оказываются самые богатые и значительные Говнюки. Но выгодное замужество удается единицам самых талантливых, а наиболее успешны такие дамы в публичных домах, где в избытке и представлены.

Я думаю, что напишу отдельную статью об этом виде и о форме из деградации, связанной, возможно, и с какой-то особенностью адаптивных процессов.

Жульен.

Судье Города Говнюков

Совершенно секретно

Прочитавший дальше этой строчки уведомляется в том, что совершает тем самым государственное преступление.

Жульен, не поддавайся отчаянию, душою я с тобой и только на тебя теперь моя надежда. Твой Стэфан, возможно, демонстрирует нам только временную регрессию. Я не думаю, что такой сильный Говнюк станет, подобно прожигателям, анестезировать душевную боль развлечениями. Скорее, он через некоторое время найдет в себе силы для осознания своих ощущений и почувствует тоску и неудовлетворение происходящим. Важно, чтобы здесь он увидел новый путь, потому что, не найдя его, он и дальше будет двигаться по дороге иллюзий и эйфорических измышлений, замещающих правду.

Извини за пафосность тона. Мне ли не знать, что все наши предположения могут ничего не стоить в сравнении с реальностью. Много раз жизнь уже доказывала нам, что она гораздо сложнее наших самых затейливых измышлений. Но и осознавая это, даже больше других это осознавая, мы, относящие себя к Мудрецам, все равно должны рассуждать, строить гипотезы, проверять их, искать новые формы для приобретения знаний. В этом наше с тобой маленькое предназначение, и я, твой дед, с совершенной искренностью могу здесь сказать, что счастлив тем, что делаю.

Твой навеки

дедушка

В совет Мудрецов

Главе Совета

Совершенно секретно

Прочитавший дальше этой строчки уведомляется в том, что совершает тем самым государственное преступление.

Дорогой дедушка, снова начинаю письмо с извинений, не сочти их формальностью, от всего сердца хочу, чтобы ты не принимал моего долгого молчания на свой счет. Я уже

третий месяц в Городе Говнюков, и наша прежняя жизнь среди людей уже кажется мне далеким и не совсем правдоподобным обстоятельством, как давным-давно услышанная история. У меня все нормально, работы мало, больше времени посвящаю наблюдениям. С большим интересом я наблюдаю за жизнью Говнюков, стараясь, по мере возможности, увидеть ее изнутри. Не без гордости хочу поделиться с тобой своими новыми результатами, которые, я надеюсь, займут достойное место в классификации. Дело в том, что говнюковских матерей имеется способность замешивать своим детям в еду собственные зависть и злость. Как они это делают, я пока не понял, но сам факт наблюдал многократно и с детьми разных возрастов — от младенцев, получающих грудное вскармливание, вплоть до почти взрослых особей. Прибавляя к детской еде свою злость, сама мать в не-какой-то степени избавляется от ее разрушительного воздействия да еще получает от ничего не подозревающего ребенка его чистую любовь. Такая мать нарочито (до приторности) нежна, назидательно говорит о добре и справедливости. Эти женщины живут довольно долго, болеют реже других Говнюков, хотя и отличаются некоторыми трудновербализуемыми особенностями, которые заставляют других Говнюков относиться к ним в основном неприязненно, несмотря на совершеннейшее отсутствие к этому поводов. Дети же у таких матерей очень болеют, с самого грудного возраста у них проблемы с пищеварением, с кожей, многие умирают, многие как бы невзначай пытаются покончить собой, обвариваясь кипятком, падая с лестниц, заболевая неизлечимыми хроническими заболеваниями. Если такой ребенок умудряется выжить, то он вырастает совершенно циничным, жестоким, эгоистичным и лицемерным даже на фоне других Говнюков.

Вышеописанный случай заинтересовал меня не только как констатация новой формы, но и как первый в нашем исследовании феномен насильственного (или мошеннического) отнятия любви, действующий, подчеркну, только в отношении собственных детей или воспитанников (в общем, тех лиц, которых по их незрелой наивности можно убедить в непогрешимости обжужливающего). Особенно интересно будет подробнее изучить женщин, питающихся таким образом. Они, получая такого рода воровски приобретенную любовь, отчетливо не могут расходовать ее на приращивание человеческой сущности, которая продолжает уничтожаться обычными темпами, но (ради чего все ухищрения) физически на такой особе не отражается вплоть до самой ее смерти. Такие матери живут в постоянном страхе лишиться источника своего соматического благополучия и бывают до чрезвычайности изобретательны в его сохранении. Ужасна картина, когда такая мать все-таки лишается своего «кормильца», распознавшего происходящее, умершего, или истощившегося до неменяемого состояния. Мне пришлось наблюдать типично деликвентное поведение такой женщины, которое через несколько недель сменилось внезапными и все учащающимися помутнениями сознания.

Здесь напрашивается эмпирическая аналогия Говнюков с Уродами. А вдруг и Уроды — некоторая ветвь человеческой эволюции, зашедшая в тупик? Мы же всегда считали их совершенно другой расой на основании внешних отличий, но ни-кто подробно не изучал особенности их строения. Мне здесь в некоторой мере удалось получить доступ к изучению анатомии Уродов. Хотя материал, доступный для изучения, доходил до меня и не в очень хорошем состоянии, я определенно могу утверждать, что у нас с ними очень много общего во внутреннем строении! Это потрясающее, на мой взгляд, направление могло бы кардинально изменить наши представления о мире и при удаче выстроить эволюционную лестницу, на трех формах — Уроды, Говнюки и Люди, а три точки, как известно, уже определяют график развития, который мы можем продолжать, предвосхищая и катализируя процессы нашей (и их, конечно) эволюции!

Мой «подопечный» Говнюк пока не дает надежды на успех. У него был короткий период тоски, когда он отстранился от общения с большинством прожигателей, но период

этот сменился видимостью бурной коммерческой деятельности, которая теперь занимает его более всего другого, поскольку позволила нанять множество Говнюков, в обязанности которых входит только выражение восхищения их «господином». Он часами слушает дифирамбы, щедро одаривает тех, кто умудряется достоверно изобразить искренность. Говнюки, как вы знаете, хорошие артисты, и отбоя от талантливых претендентов на все открывающиеся вакансии не наблюдается. Разыгрываются даже целые сценки и представления, чтобы убедить бедного Стэфана в его потрясающих личных качествах. Он уже уверен, что является совершеннейшим из гениев или даже полубогом. Сам он со страстью отдается всем правилам своей игры, делает вид, что много работает и сильно устает. Отдыхать от своих «трудов» предпочитает в борделях, где его пристрастия постепенно приобретают все более извращенную направленность. Страхи, которые, по моим представлениям должны непременно усиливаться при таком течении дегенерации, не выражаются в его поведении. Возможно, он действительно сильный Говнюк, но никакой силы здесь не достанет, как мы знаем. У меня прогноз пессимистический.

Больше нет никаких новостей. Жду ответа.

Ваш внук  
Жульен.

Судье Города Говнюков  
Совершенно секретно  
Прочитавший дальше этой строчки уведомляется в том, что совершает тем самым государственное преступление.

Дорогой внучек, я вынужден сообщить тебе, что у нас не все в порядке. Наверное, я становлюсь старым и мое влияние на Совете неуклонно падает. Кто-то распускает слухи, что ты вместо работы в Городе Говнюков слоняешься в компании каких-то мерзавцев и гадостничаешь наравне с ними. Я, естественно, пытался выяснить источник этой наглой лжи, но пока это не удастся. Возможно, мы в преддверии какой-то провокации твоего брата, на всякий случай будь осторожнее. Больше писать не имею возможности.

Судье Города Говнюков  
Совершенно секретно  
Прочитавший дальше этой строчки уведомляется в том, что совершает тем самым государственное преступление.

Господин судья, Совет с прискорбием оповещает вас о скоропостижной смерти главы Совета Мудрецов.

Решением Совета новым главой и преемником избран почетный человек — господин Франциск.

Изучив ваши письменные отчеты, Совет принял решение о вашей неадекватности занимаемой должности и приостанавливает ваши полномочия как судьи.

Ваша деятельность на посту судьи будет разбираться на отдельном заседании Совета, а пока вы решением Совета помещаетесь под домашний арест в резиденции судьи.

Старжник, передавший вам это письмо, будет осуществлять контроль за вашим режимом и передвижениями.

Вам запрещено:

— покидать резиденцию судьи;

— вступать в какие-либо взаимоотношения с кем бы то ни было из Говнюков;

Ваши личные записи и все ваше имущество объявляется теперь собственностью Совета и будет изучаться для принятия решения по вашему делу.

Для проведения досуга вам будут предоставлены письменные принадлежности, но все написанное вами будет изыматься еженедельно.

Глава Совета.

Почетный человек

господин Франциск.

## Глава 8. О том, что жизнь может неожиданно измениться и никогда не знаешь, к лучшему ли...

Все время было жарко. Можно было мыться по десять раз в день, но уже через двадцать минут после душа или бассейна кожа становилась омерзительно соляной и снова хотелось купаться. Маша изо всех сил старалась не попадать под палящее солнце, но все равно ее лицо подгорело, на наружной стороне ладоней тоже образовались солнечные ожоги, постепенно превратившиеся в мелкую красную сыпь, но еще хуже были уши — они сторели совсем. Ночами ей казалось, что ее ушки, как ушки зажаренного поросеночка, могут с хрустом поломаться, и она старалась подложить под ухо ладошку, если поворачивалась на бок. В ее спальне был кондиционер, но включив его на первую ночь, Маша встала с больным горлом и жутким насморком, который то усиливаясь, то ослабляясь из-за дневной жары, продолжался, как и дома, две недели совершенно независимо от осуществлявшегося лечения. Единственным спасением от жары и духоты были сквозняки, которых Маша терпеть не могла, но теперь нужно было к ним привыкнуть. Ее организм добросовестно старался существовать в новых условиях жизни, в новом времени, в новом осознании себя, которое никак полноценно не складывалось. Днем Машу частенько клонило в сон, а ночами она изнурительно ворочалась от жары, когда простыня прилипала к телу и подушка намокала от пота, ей досаждали противные, хоть и редко, но залетающие в ее комнату насекомые, от жужжания которых она немедленно просыпалась. Дома сейчас был день, а совсем не ночь, и хотя очень хотелось спать, но сон приходил какой-то беспокойный, прерывистый и тревожный, снилась всякая неприятная ерунда, которая оставляла после себя ощущение испуга и тоски, но о чем был сон, Маша никогда на утро не помнила. Проснувшись ночью в очередной раз, она чуть не плакала от досады, что и эта ночь прошла для нее плохо, что завтра она снова будет мучиться, сидя за своим столом в офисе, встречаясь и разговаривая с людьми, она опять вместо дела будет бороться с сонливостью, кого-то опять не услышит и будет переспрашивать, делая нарочито наивное личико. Она мечтала об освежающем, дающем силы сне, который всегда был у нее дома, который давал силы и свежесть, когда не хотелось вставать из своей постельки, а ложиться в нее было удовольствие, когда можно было завернуться в теплое, пушистое одеялко и, высунув из-под



него только нос, сладко засыпать, обложившись подушками и зная, что скоро придет хороший, не страшный сон, что утром будет сладкая дрема, когда она уже проснулась, но еще может позволить себе немного понежиться в кровати.

Кругом было очень красиво. Дом, в котором она жила по прихоти Франциска Бенаму, имел по всем четырем сторонам деревянную террасу. Бассейн со всех сторон утопал в цветах и кустарниках и находился в тени деревьев, форма его была причудливо изогнута, и ряд шезлонгов был предупредительно выставлен на деревянном бортике. Везде вокруг дома были цветы — яркие, большие, пахучие, такие, каких никогда прежде Маша не видела. Цветы перемежались с кустарниками и причудливыми тропическими деревьями с широкими кронами и сочными, мясистыми листьями. Самые эти листья на деревьях и кустах были разнообразнейшие — зеленые, желтые, красновато-бурые, форма их могла быть самой странной, были даже листья, похожие на узкие изогнутые кинжалы. Вся эта растительность, образуя замечательные ансамбли, явно составленные мастером своего дела, плотно окружала дом с трех сторон, а четвертая сторона выходила на океан. До воды было метров двести, и уклон от самого дома к берегу составлял ровный, как коврик из магазина, нежный на ощупь газончик, по которому так приятно было прогуляться босиком, на нем же Машенька парковала каждый вечер свою машину — и ничего, выносливый газон от этого совершенно не страдал и, казалось, даже не приминался. Окружающий вид не нарушало ничего, что могло бы казаться искусственным, некрасивым или аляпистым. Не было никакихстроек, никаких ржавых кораблей, никаких разбросанных остатков человеческой деятельности — только волны на горизонте взбивались белой пенной полосой, накатываясь на гряду коралловых рифов, а затем, уже притихшие и бархатные, прибивались к песчаному берегу.

Иногда по утрам на ее террасу забегали маленькие зеленые ящерики и, то замирая, то быстро-быстро перебегая с одного места на другое, обследовали территорию. Машенька считала их своими друзьями и всегда, хотя бы мысленно с ними здоровалась.

Кругом ее дома жили птицы, это было понятно по отчаянному и разноголосому пению, которое, не стихая почти никогда, соперничало только со стрекотанием цикад, а утром становилось таким многоголосым и громким, что Машенька, любившая вообще-то птичек, все чаще стала ловить себя на том, что они не дают ей спать, и вздыхала, что не может закрыть окно.

Все кругом выглядело так, как будто она попала в рай, и вроде бы все было хорошо в ее жизни. Это и было именно так, если собрать вместе всю совокупность фактов и рассмотреть их логически. Логика осталась теперь ее последним союзником, ее последней, ненадежной опорой, когда внутри появилось что-то, запрещающее прислушиваться к собственным своим чувствам, что-то, заставлявшее ее работать допоздна каждый день и делать все, чтобы придя домой, сил не было ни на что другое, как бы, выбравшись из бассейна, плюхнуться в кровать и уснуть. Машенька перестала думать о себе, перестала сама понимать, хорошо ей сейчас или нет, она ориентировалась в этом вопросе уже не на свое мнение, а на мнение других — если ей делали комплименты и улыбались больше обычного, значит, ей хорошо, а если участливо и внимательно осматривали ее, значит — плохо. Но гораздо чаще ей все улыбались и делали комплименты, поэтому Маша считала, что в целом, ей, наверное, хорошо.

Еще она иногда гадала на утреннем небе, пытаясь понять свою будущую судьбу. Для этого нужно было встать чуть до рассвета, выйти на сторону океана и смотреть, как ветер гонит над темными утренними волнами белые, серые и розовеющие, перистые, клочковатые облака с неровными краями, как постоянно меняется их форма. Солнце освещало их откуда-то снаружи Земли, где Машенька не могла его видеть, но оно без сомнений было там и светило оттуда, поэтому и розовые контуры тоже менялись, образуя самые причудливые

фигуры и линии, иногда составляющие дорогу в небо, иногда карту какой-то прекрасной страны, а иногда голову чудовища.

\*\*\*\*\*

Всего несколько месяцев прошло с того дня, когда она, находясь в гостях у Франциска и Джессики, внезапно обнаружила отсутствие Степы и почувствовала повисающую между ними троица, оставшимися в большом доме, двусмысленность. Точнее, двусмысленность между нею, с одной стороны, и хозяевами с другой. Она спросила, где Степан, а Джессика, чуть натянуто улыбаясь, ответила, что его услали Франциск и это было заранее спланировано ими с корыстной целью заполучить такую очаровательную девушку в свои сети. При этом она говорила так, что можно было считать ее слова и шуткой, а можно было их шуткой и не считать.

Как только исчез Степан, мсье Франциск тоже пропал, и у Маши оставалась вполне обоснованная надежда, что мужчины вместе обсуждают свои важные вопросы, а они с Джессикой просто проводят время в ожидании, пока это закончится, а слова мадам по поводу того, что Степа ушел, не правда. Джессика довольно много пила и заставила Машу держать в руках бокальчик, чтобы, как она сказала, хотя бы чокаться. Прошло еще немного времени, музыка, составлявшая фон их неторопливо текущего разговора ни о чем, стала более романтической и чувственной, мадам допускала в беседе все больше намеков и оставляла все больше многоточий. Дай себе Машенька труд самостоятельно достроить фразы, она, вероятно, ушла бы немедленно, но этого не происходило. Маша позволяла себе предполагать, что, возможно, в этом и состоит искусство современного светского разговора — сделать ситуацию по возможности пикантной, не переступая при этом приличий в действительности, и в таком положении ей даже нравилось ощущение, что как будто ей теперь совсем мало лет и она с удовольствием балуется. Как человек сам совершенно искренний испытывает трудности в том, чтобы заподозрить кого-то в бессовестном лукавстве и вранье, так и Машенька считала происходящее вокруг нее уже совершенно состоявшимся чувственным происшествием, дальше которого и пойти уже не может и от которого она получала уже причитающиеся ситуации удовольствия, тонко чувствуя их и оценивая для себя, как почти избыточные по силе ощущения.

Мадам уже не сидела, она прилегла на диван, скинула туфли и беззаботно болтала босыми ногами, время от времени по ходу разговора позволяя себе дотрагиваться пальчиком свой руки то до Машенькиной ручки, то до плечика. Сначала она делала это как бы случайно, а потом уже намеренно, глядя при этом Маше в глаза так пристально и так насмешливо, так понимающе, будто бы она имела представление о безусловной Машенькиной внутренней порочности и пыталась найти контакт именно с нею напрямую, минуя естественные органы человеческой коммуникации. Но в Машеньке не было никакой порочности, и ей не нравилось то, что делала мадам — это разрушало ее тонкое чувственное состояние, которое было посвящено, конечно Степану, но в силу его глупого отсутствия находилось пока внутри нее. На мадам Джессикау ее вдохновение никак не могло направиться при всем Машенькином к ней уважении, и как только она видела пальчик мадам у себя на руке, ее обдавала волна отвращения, приятное наваждение пропадало и просто становилось гадко. Маша деликатно отстранялась от шелковистых пальчиков своей начальницы, начинала тревожно оглядываться по сторонам и снова спрашивала про Степана, на что мадам опять с веселым и двусмысленным выражением на лице говорила разные

глупости, поверить в которые Маша не могла. Она думала, что пора уходить, но не могла бросить здесь Степу, а идти искать его в чужом доме без приглашения к этому со стороны хозяев, естественно, было невозможно. Она начинала уже злиться на Степана за то, что он так долго не приходит, но тут же говорила себе, что не от него зависит закончить разговор с Франциском и что теперь Франциск, вероятно, уговаривает Степу занять ту самую вакансию, о которой ей по секрету рассказывала Жасмин, а Степа с его французским не может уверенно отказаться. Все обаяние ситуации уже прошло у нее окончательно, да и поведение Джессики казалось ей каким-то деланным и неестественным. Машенька чувствовала игру и фальшь во всем, что происходило: мадам, которая хотела казаться гораздо более нетрезвой, чем была на самом деле, и изо всех сил старалась выглядеть расслабленной и вальяжной, но Машеньке чувствовалась за всем этим нарастающая сердитость, как это бывает, когда человек долго старается, но не достигает желаемого результата. Почему-то Маше стало ясно, что все демонстрации мадам своих чувственных appetитов не настоящие, а она только делает вид, и это начало ее тревожить. Было совершенно непонятно, чего ради ведется эта идиотская игра.

Нужно было немедленно уходить, но снова мысль о Степане остановила ее. Маша взяла, насколько это было возможно, серьезный тон и попросила мадам передать мсье Савраскину, что если через пять минут он не закончит свои дела с мсье Франциском, она вынуждена будет уйти одна, так как плохо себя чувствует. Посмотрев при этом на часы, Маша с ужасом обнаружила, что сидит здесь с Джессикой уже два с половиной часа. Мадам поднялась с дивана, улыбнулась Машеньке и вышла из гостиной, как и была, босиком. Вернулась она минуты через две или три, неся серебряный подносик с графином и тремя пустыми стаканчиками. Мадам ничего не сказала о Степе, но предложила Машеньке лимонной воды, налила при ней себе и, отпив половину из своего стакана, предложила Маше сделать то же самое. Маше действительно хотелось пить, и она, взяв графинчик, налила себе, отпила сначала немного, прислушалась на всякий случай к своим ощущениям, они были вполне нормальными, потом выпила еще — на вкус это была обычная, чуть подкисленная лимоном вода, и Машенька постепенно выпила весь свой стакан маленькими глоточками. В этот момент в гостиную энергично вторгся мсье Франциск. Машенька ждала, что следом войдет Степан и они немедленно уйдут, но Степы почему-то не было. От ужаса, что Савраскин действительно бросил ее одну здесь, ноги у Маши подкосились и она бессильно опустилась в кресло. Чувствовалась странная слабость во всем теле, и это состояние не позволяло ей встать и выйти прямо сейчас.

Она еще раз спросила, теперь уже у мсье Франциска, где Степан, и отчаяние на ее лице так развеселило мадам Джессику, что она принялась громко хохотать, перегибаясь пополам в поясе и держа в руке свой стакан, в который она еще подлила себе лимонной воды.

Франциск Бенаму оглядел презрительным взглядом свою закатывающуюся от смеха жену, лицо его сделалось высокомерно-оценивающим. Он отвернулся от усевшейся на диван супруги, у которой, лицо за последние несколько минут сделалось каким-то замороженным, а глаза с трудом фиксировались на предметах и стекленели с каждой минутой. Одна из грудей его жены вылезла из-под сбившегося платья и свешивалась, частично перехваченная снизу резинкой декольте. В уголках ее губ появилось что-то белое, Джессика, казалось, ничего не замечала вокруг себя и делала руками какие-то странные движения перед собой, уставив взгляд в одну точку. Машенька поняла, что в лимонной воде было нечто, что за несколько секунд превратило сидящую перед ней женщину в совершеннейшую тряпку, и поняла, что и ее усиливающаяся слабость не только результат нервозности. Франциск Бенаму оглядывал ее не отрывая глаз, и взгляд его казался Маше взглядом охотника, настигшего наконец свою жертву и готовившегося нанести ей последний удар. Она стала чувствовать подступающую тошноту, ей становилось все хуже, но, улучив момент, когда

Франциск еще раз отвернулся от нее и снова обратил внимание на супругу, пытавшуюся вылезти из платья и упавшую при этом на бок возле дивана, Машенька собрала последние силы, поднялась и, схватив ближайший стул, со всей силы вышвырнула его в окно. Это усилие забрало последние силы, Маша смогла потом только отползти от окна на кресло и там впала в полубессознательное состояние. Некоторое время она еще все видела и даже понимала, что Франциск Бенаму куда-то звонит, что-то кричит в телефонную трубку, она видела, как Джессика подползает к нему в порванных на коленях колготках и хватается зачехоту мужа за брючный ремень, а он зло отталкивает ее ногой... но происходящее совершенно не волновало ее и пошевелиться она не могла, а постепенно сознание и вовсе покинуло юную леди.

\*\*\*\*\*

Когда Франциск вернул свой взгляд на то место, где секунду назад, не будучи в состоянии пошевелиться, сидела его жертва, там было пусто. В ту же секунду он услышал удар и звуки разбивающихся стекол, казалось, этот грохот заполнил всю комнату. Осколки сыпались наружу, прямо на улицу, где уже остановилось несколько человек, и один даже звонил куда-то по телефону. Не было никакого сомнения в том, что произошла катастрофа, но Франциск Бенаму был не тем человеком, который потерял бы тут самообладание. Он сделал несколько нужных звонков, и уже через пятнадцать минут его адвокат разговаривал на кухне с вломившимися в дом полицейскими, а жена и гостя были уложены в спальне друг рядом с другом, и только их почти одинаковые позы нарушали впечатление совершенно мирного ночного сна. Франциск обратил на это внимание и чуть изменил положение жены, чтобы картинка сделалась понатуральнее.

Резюме работы адвоката было не самым радужным. Он сумел договориться, что женщины не будут помещены в больницу, хотя у полицейских имеются к этому все основания, и более того, им в настоящий момент не будет сделана наркологическая экспертиза, но полицейские составили протокол и занесли туда всех присутствующих в квартире, и отказались писать, что стекло разбилось от ветра, а сделали запись о «непонятной причине, по которой стекло было разбито». Еще полицейские передали, что если завтра до обеда обе женщины не подтвердят, что к ним не применялось насилие, то делу будет дан официальный ход, а следы наркотика в крови можно установить и через несколько дней. Шеф полиции был другом Патрика Бенаму, поэтому полицейские старались держаться с его старшим внуком вежливо, но во всем их поведении чувствовалось раздражение. Франциску было наплевать на полицейских, он хотел только одного — чтоб все они поскорее убрались из его дома и оставили его в покое, по крайней мере, на несколько часов. После того, как он просидел два часа в своем секретном месте, обустроенном в их доме для его любимых занятий — подглядывания и фотографирования, и не увидел ничего, кроме бесполезных и угловатых попыток своей жены соблазнить новенькую, после того, как она вышибла стулом его окно и устроила ему тем самым большие и только начинающиеся еще неприятности, он не мог ждать. Ему нужно было что-то сделать. И он был намерен сделать это немедленно и независимо ни от чего на свете.

Когда полицейские убрались, он пошел в свою спальню, безразлично окинул взглядом жену, у которой во сне всегда совершенно расслаблялось лицо и приобретало от этого тупое и бессмысленное выражение. Голова Джессики лежала на подушке так, как он ее положил —

на боку, только губы чуть-чуть приоткрылись и по щеке тонкой, изогнутой ниточкой медленно стекала на подушку полоска слюны. Франциск Бенаму любил все, что так или иначе могло вытекать или выделяться из его жены, они были вместе уже больше десяти лет, и всякого рода выделения супруги составляли не последнюю роль в их эротических фантазиях и играх.

Джессика в основном относилась к таким играм без возбуждения, но не препятствовала мужу получать удовольствие так, как он этого хотел. Сначала оригинальность и необычность его все усложняющихся желаний ее смущала, потом стала забавлять и немного заводила, но так или иначе она всегда делала ему то, о чем он просил, считая, что между мужем и женой может быть все, что им заблагорассудится, и что они в конце концов живут в свободной стране. Единственное, что мадам решительно не приветствовала, так это увлечение ее мужа фотографией. Во-первых, она боялась, что рано или поздно ее снимки могли попасть куда-то кроме конвертов Франциска, а во-вторых, фотокарточки стали все больше и больше заменять ему ее настоящую. Теперь он часами заставлял ее фотографироваться, доставляя сам себе при этом удовольствие и совершенно не заботясь о ней, потом он проявлял и печатал свои снимки, и по некоторым признакам этот процесс тоже был сопряжен для ее мужа с эротическими наслаждениями, затем он еще раскладывал фотокарточки в своем кабинете, запирали дверь и... опять здесь Джессика была ему не нужна. Мадам считала себя умной женщиной и не возмущалась прямо против такого невыносимого для нее порядка вещей, но старалась использовать другие утонченные и выверенные способы, чтобы муж обратил все-таки внимание на нее — настоящую, но дело шло труднее, чем хотелось бы.

В прежнее время Франциск Бенаму, встав на колени возле кровати, чувственно слизал бы языком эту медленно тянущуюся из ее спящего рта струйку, он и сейчас почувствовал возбуждение при виде неподвижного, бессмысленного, почти неживого лица, из рта которого тихонько вытекала полоска слюны, но сегодня у него была другая цель, другое вожделение. И мсье Франциск был им переполнен трепещущей и живой прелестью, распространяющейся от тела этой девочки. А еще в его душе была радость. Радость от того, что он мог осуществить свое заветное желание безо всякого риска и всякой опасности — ему не нужно было секса! Ему практически не нужно было вообще касаться до нее! Он мог позволить себе феерический интим с любой женщиной на земле, осуществляя его только у себя в голове! Для начала Франциск Бенаму хотел только чуть-чуть приподнять ей платье так, чтобы было видно полоску трусов, расстегнуть пару пуговиц на груди, так чтобы можно было бы впоследствии достроить, дофантазировать себе все что угодно. Теперь его счастье готово было уже состояться. Он достал штатив, водрузил на него фотоаппарат, аккуратно и нежно откинул одеяло... и сделал паузу. Не хотелось торопиться, у него было полно времени. Он пошел к себе и вернулся, уже без брюк и трусов, но рубашку с галстуком и пиджак он оставил как всегда, оттого что не мог выносить себя совершенно голым...

Прошел час, когда он закончил. Закончил и уже успокоился от того чувства опустошенности и ничтожности, которое приходило после этого всегда... но и уходило всегда, и Франциск знал, что нужно только терпеливо переждать, когда оно уйдет, и тогда снова будет легко. Он уже застегнул обратно все пуговицы и аккуратно оправил одежду. Бережно вынул из фотоаппарата отснятую пленку, которая обещала ему следующие, дополнительные удовольствия, он уже запахнул одеяло, убрал все в спальне и только тогда дал себе смелость подумать, что риск слишком велик, что русская может завтра не согласиться решить все миром и тогда... даже и думать не хотелось, что тогда, потому что вместо блестящей карьеры, которая должна была вот-вот подойти к своему пиковому моменту, он просто отправился бы за решетку, и иллюзий по этому поводу у мсье Франциска Бенаму не было никаких. Дед безжалостно лишил бы его всего и отправил в тюрьму, из

которой однажды уже вытащил своего старшего внука. Франциск помнил, как дед сказал ему, что если бы он, Франциск, был его собственным сыном, то не получил бы ничего и был бы вышвырнут вон из дому, и только из уважения к памяти своей умершей дочери дед дает ему последний шанс. Это было сказано, когда Франциск был еще подростком, но старший внук Бенаму это помнил и был уверен, что и дед помнит. Теперь нужно было добиться от русской молчания и повиновения. Он должен был этого добиться и собирался этого добиться, даже если это стоило бы ему унижений. Унижения никогда не пугали Франциска Бенаму. Джессика давно уже была отработанным материалом. Когда-то, много лет назад, и она была хороша для него прежнего — молодого и неуверенного в себе, но с тех пор произошло уже много событий, и его жена не успевала за динамикой времени, она слишком медленно развивалась и неизбежно отставала. Ее пора было менять. Но прежде чем она совершенно исчезла бы из его жизни, как давно уже устаревшее звено в современном и отлаженном механизме, стоило интенсивно выработать остаток ее ресурса, как это сделал бы любой рачительный и экономный хозяин, а Франциск Бенаму всегда относил себя к людям, вполне рационально и продуманно распоряжающимся своим имуществом.

\*\*\*\*\*

Наутро того дня, когда она проснулась в квартире мсье Франциска, Машенька не успела, открыв глаза, ужаснуться тому, где она находится, и хотя бы несколько минут осознать, оценить, взвесить то, что произошло. Она не успела прислушаться ни к своему телу, ни к своим душевным ощущениям, не успела определить хоть какое-то свое отношение ко всему, что с ней случилось, не успела даже прийти в себя. Не случилось у нее тех минут, когда, просыпаясь, человек начинает осознавать произошедшее, пусть даже и боясь еще открыть глаза и убедиться в правильности воспоминаний, когда еще какие-то секунды он надеется, что видел сон и ничего не было, и лишь потом ужас и тоска от ощущения безнадежной реальности случившегося неизбежно охватывают его. Но и при этом обычно имеется какая-то возможность отсрочки, какой-то зазор по времени, чтоб упасть обратно в подушку, зарыться в одеяло еще хоть на пятнадцать минут, хоть даже и на пять минуточек попытаться спрятаться от произошедшего, разделить ужасное событие на кусочки и так, частями, принять его в себя, как принимают невыносимо-горькое лекарство: понемногу, сообразуясь не только с неизбежностью фактов, но и с выносливостью своей души и силой сознания.

Машенька даже и такой возможности не получила, поскольку была разбужена ровнехонько тогда, когда, по расчетам мсье Франциска, действие лекарства, данного ей, должно было бы прекратиться и сон, в котором продолжала она пребывать, уже являлся сном естественным, который можно было и прервать при желании. Резкий запах нашатырного спирта — вот что разбудило Машу. Вернее, сначала появился голос, спящая Маша не могла понять, кому принадлежал этот голос — сквозь сон он казался робким и нерешительным, он умолял проснуться и открыть глаза, что-то просил униженно, повторяя часто-часто одну фразу: «Прошу вас, пожалуйста...» Эта фраза сразу влилась в Машенькино сновидение, и ей снилось, как будто это она умоляет кого-то отпустить ее, не мучить, и во сне она говорила

эти слова: «Прошу вас, пожалуйста...», но не было никакой надежды и кто-то ужасный собирался мучить ее... Затем ее дыхание перехватило от нашатыря, и это было счастье — проснуться от такого сна и освободиться от такого наваждения. Машенька в ужасе привстала, раскрыв глаза, и немедленно перед нею явилась расплывающаяся, несфокусированная сначала физиономия мсье Франциска, которая постепенно приобрела резкость, и оказалось, что и предыдущий голос о чем-то ее упрасивавший, тоже принадлежал ему. Первая мысль ее была не ужас, но удивление, удивление не от положения своего, а только от того, что голос мсье Франциска звучал странно и непривычно — обычно у Бенаму был совершенно другой голос, если уж и не властный, то хотя бы твердый или энергично-звучащий, а сейчас он как будто только открывал рот, а звуки за него произносил кто-то другой, жалкий, неуверенный в себе, почти плачущий и очень-очень страдающий человек.

— Маша, я не мог поступить иначе, чем разбудить вас, я очень сожалею, что прервал ваш сон, я вообще говорю что-то совершенно ненужное и бесполезное, но я умоляю вас, я прошу вас выслушать меня в том жалком облиии, в каком я теперь перед вами нахожусь...

Чем больше Машенька приходила в себя, тем тише и тоньше становился голос вице-президента компании, но одновременно выразительнее и трогательнее становилось выражение его лица, а взгляд, так и приковывающий к себе внимание, помимо воли, вызывал сочувствие. Ей приходилось изо всех сил напрягать слух, и это усилие почти лишало Машу возможности думать, вспоминать и сопоставлять события, накануне произошедшие, она уже воспринимала все, что он говорил ей, в чистом виде безотносительно предыдущих своих впечатлений, так как если бы это говорил человек знакомый, но лично к ней совсем почти не относящийся.

— Маша, я вижу ваш взгляд, и он дает мне надежду, что вы поймете... нет, нет... хотя бы услышите, слова, мною произносимые, слова человека, которому очень трудно их выговаривать, но одновременно и легко, потому что эти горячие, как раскаленные угли, слова у меня изнутри исторгаются, но внутри, в душе моей этих раскаленных и пылающих углей хоть немного, но становится меньше... Позвольте мне говорить, умоляю вас, прошу вас, пожалуйста...

Машенька уже совершенно проснулась, но вид и голос Франциска Бенаму продолжали застилать все области сознания ее, и она, кивнув неуверенно, произнесла:

— Прошу вас, говорите, если это нужно вам, я слушаю.

— Мадемуазель, я должен вам признаться в том, что являюсь тяжело больным человеком и вынужден проходить курс лечения, практически в моей жизни не прекращающийся, после одного очень трагического обстоятельства, а именно после гибели моих родителей в один день.

Тон Бенаму перестал быть слезливым, он сделался поспешным, чуть даже решительным, но в нужных местах расставлялись паузы, при которых речь прерывалась внезапно, а скулы сжимались одновременно с тем, как сжимались пальцы на сложенных молитвенно у груди его руках. Паузы красноречиво показывали, что комок в этот момент подкатывает к горлу мсье Франциска и он не может говорить, а вынужден держать эту паузу, чтобы взять себя в руки и не разрыдаться от отчаянья.

— Вчера я имел омерзительнейший приступ моей болезни, который и стал причиной преступного по отношению к вам и к супруге моей поведения. Я понимаю, что не могу даже и умолять вас о прощении, но только желаю, чтобы вы знали, что в обычном для меня естественном положении, когда нет приступа, я не являюсь человеком столь безнравственным, как могло бы это выглядеть. Мой приступ развивается постепенно, подготовка к нему занимает до нескольких дней, в ходе которых присутствуют события,

которые я совершаю, но о которых не знаю ничего, и все заканчивается кульминацией, когда я, не помня себя, готов на все, чтоб только удовлетворить свою страсть. Страсть, по сути, безобидную и не опасную, но, конечно, не становящуюся от этого менее преступной и отталкивающей. Не буду вас посвящать в малоприятные физиологические подробности, но могу только вам сказать, что ничего вам не угрожало вчера. Об этом можно и у доктора моего получить заверения, исходя из этого обстоятельства мне и позволено с моею болезнью находиться не в закрытой лечебнице, а пользоваться преимуществами личной свободы. Мне самому, видит Бог, лучше было бы в условиях больничных, потому что каждый приступ, которых благодаря нынешнему лечению уже почти год как не было, так вот, каждый приступ приносит мне нечеловеческие страдания... Но есть одно обстоятельство, оно уже к совершенно личным относится, к нашим семейным, но я и его вам решусь сообщить — уже несколько лет, ровно с того дня, когда в первый раз у меня это случилось, все мы — я, мой брат и дедушка — пытаемся найти человека, который бы избавил всех нас от необходимости вести дела. Ведь я болен, мой брат — неисправимый романтик и неспособен к управлению, дедушка уже очень пожилой человек, и как воздух нам необходим доверенный, порядочный и энергичный директор, который дал бы нам всем возможность вздохнуть. Вы не представляете себе, мадемуазель Машенька, какое множество людей являлись соискателями этой должности, которая, как вы понимаете, кроме большой ответственности, содержит в себе и весьма существенные гонорары, могущие изменить жизнь каждого, этот пост занимающего, и в конце концов составятся для него в состояние. Мы несколько раз обжигались на самых перспективных кандидатах и каждый раз несли большие потери. Потом мы увидели, что даже и само объявление этой вакансии уже не дает нам надежды на успех, поскольку множество самых добродетельных прежде людей очень переменялись, как только вступали в борьбу за это место, которое уже стало для нас проклятым. Мы не можем отдать его никому! Все, кто пытается его занимать, начинают проявлять себя алчными, жестокими, лицемерными и, самое главное, недальновидными и глупыми людьми. Теперь мы решили вообще не объявлять никаких вакансий, а найти людей с самыми отменными рекомендациями и просто посмотреть на них в разных жизненных обстоятельствах. Одним из этих людей являетесь вы, Маша, и вчера я пригласил вас, чтобы объявить вам наше предложение, но приступ... он все испортил. Я не помнил себя вчера, поверьте мне... И... вы очень нужны нам, мы отобрали вас одну из множества кандидатов, и я уверяю, если вы смогли бы забыть вчерашнее, если бы вы нашли в себе силы простить жалкого больного человека, который сам рвется на больничную койку, но не имеет возможности там оказаться из-за Богом определенной ответственности за тысячи человек, работающих у нас... Вы справитесь, мы поможем вам все... Я прошу вас, пожалуйста... Тем более что на Россию, вопреки просьбе моего брата, у нас теперь осталась только одна вакансия, и если вы откажетесь, то вашего неудачливого спутника уже точно придется увольнять, но не это меня сейчас беспокоит...

Машенька, накрытая до подбородка одеялом и одетая под этим одеялом так, как она, собственно говоря, вчера и явилась в гости, тем временем тихонько и незаметно ощупывала себя одной рукой, проверяя, все ли детали ее туалета на месте, и пытаясь понять, что с ней случилось и что с нею делали, пока сознание ее отсутствовало, находясь под действием какой-то отравы, которой ее вчера опоила женщина, сейчас лежащая от нее справа и выглядящая совершенно безжизненно. Фразы, произносимые Франциском Бенаму, она слушала уже вполуха, все ее существо стало занимать произошедшее вчера, и, в ужасе от своего собеседника, она смотрела на него расширенными глазами, думая только, как бы теперь вырваться от него, как бы позвать на помощь, и не веря ни единому его слову.

Тем временем мсье Франциск, не прекращая своих убедительнейших и трогательнейших излияний и совершенно справедливо наблюдая, что действие от них все



недостаточное, заметил, что супруга его проснулась, но виду не подает, а продолжает лежать и только слушает все внимательно, что немедленно отразилось на ее лице так, что выражение его стало осмысленное и уже намеренно неподвижное. Теперь он надеялся на ее помощь и про себя даже торопил ее, он лепетал всю свою абракадабру раз за разом, стараясь подбирать хоть сколько-то другие слова, а про себя твердил: «Давай, Джессика, давай, придумай что-нибудь, чертова сучка, ты всегда была изобретательной в безвыходных ситуациях, давай, гадина! Делай что-нибудь, ты видишь, я уже все что мог сказал по три раза, но на нее это не действует!..» И на пике внутреннего его побудительного напряжения Джессика вскочила, как будто только что проснулась, Маша тоже села на кровати, подтянув одеяло к груди, и с ужасом глядела теперь уже на них обоих, не зная что делать, как вдруг мадам, вроде бы секунду осмотревшись кругом, молча поднялась с постели, одернула платье, подошла к мужу, неподвижно сидящему бочком на краешке постели и повернувшись к ней с надеждою, размахнулась и вlepила ему увесистую пощечину. Он отшатнулся, пытался поднять руки для защиты своей, но только чуть-чуть растопырил ладошки, а руки остались возле груди, и глаза его зажмурились. Мадам же размахнулась еще раз и еще раз ударила его по лицу, от чего он дернулся всем телом, так как удар был увесистым, а потом, обхватив голову руками, уставился в сторону, где Машеньке не видно было его лица, но плечи его стали вздрагивать, как будто он рыдал. Он ничего уже не говорил связного, но только повторял фразы, обращаемые, по всей видимости, к своей супруге: «Что ты, Джессика? Как ты можешь?.. Ведь ты же знаешь...»

— Ну и что с того, что я знаю? Что с того, что я знаю, что живу с психически больным человеком, и что с того, что я узнала об этом уже после свадьбы? Какая разница мне или этой бедной девочке, которая до сих пор не может прийти в себя от ужаса, что это твоя болезнь. Мы воспринимаем это точно так же, как бы нас просто похитил маньяк! Ты и есть маньяк, Франциск! Ты ничем не лучше. Мы чувствуем себя жертвами! Мы и есть жертвы, я теперь неделю буду в себя приходить! Почему ты вчера не выпил таблетку, когда почувствовал приближение приступа? Как ты мог?

— Я ничего не делал, я только положил вас на кровать и ушел...

— Ты врешь! Ты рассматривал нас, как всегда это делаешь!

— Нет, это правда... Мадемуазель Машенька, перед тем как уснуть, под действием моего снотворного выбила стулом окно, здесь вчера была полиция...

— Полиция! Так тебе и надо! Теперь ты отправишься не в уютный загородный пансионат для умалишенных, а в тюрьму!

— Помилуй, Джессика...

Так продолжался этот странный диалог, который и разговором-то трудно было бы назвать, а скорее — разнузданным скандалом. Джессика все больше орала на Франциска, а он все меньше и меньше сопротивлялся и уже почти совсем не отвечал. Машенька слушала это, сидя на чужой постели в своем платье, подтянув одеяло к самой шее, а спиной прислонившись к стене. Она уже оцупала всю себя и в первом приближении убедилась, что, по крайней мере, самого страшного с ней не произошло — ее не изнасиловали. Еще через несколько минут ей уже стало жалко несчастного Франциска, и она робко заступилась за него перед мадам:

— Возможно, мсье Франциск действительно болен и помощь нужна ему больше, чем нравочения...

Мадам отозвалась немедленно:

— Деточка, я живу с этим человеком уже много лет и приблизительно знаю, что ему нужно в такие моменты. То, что произошло, не может быть так просто оставлено, я не позволю превращать свою жизнь в испытание и прошу вас не вмешиваться! Как вы можете так попустительски относиться к этому кошмару? Или вам кажется, что ничего не

произошло и что нормально ваше появление в моей кровати? В нашей с этим человеком супружеской кровати! Как вам это нравится?

— Мадам, мне это совсем не нравится, поверьте, но я не думаю, что произошло что-то совсем непоправимое. Возможно, мсье Франциск впредь будет аккуратнее принимать свои таблетки...

Как за последнюю соломинку хватается утопающий, так же и Франциск Бенаму со всей возможной для него трепетностью и надеждой ухватился за робкую поддержку Машеньки:

— Да, да! Я буду их очень аккуратно принимать, и я еще вам не сказал, вы почти что чудо сделали — как только все эти осколки посыпались из окна, у меня тут же как будто просветление, я совершенно от приступа в ту же минуту избавился и теперь даже и последствий его не ощущаю! А ваше великодушие и благородство... я... я не могу говорить...

Вслед за ним мадам, выглядывая как внезапно остановленная на полном скаку лошадь кирасира, чуть смешавшись, произнесла:

— Я тоже преклоняюсь перед мудростью юной леди, Франциск, прошу меня извинить, возможно, я погорячилась. Но, кстати, что делать с полицией? Они же не просто так вчера приезжали.

— Это просто формальность, дорогая... и вы, мадемуазель Машенька. Они приезжали по поводу выбитого окна, но я, естественно, сказал, что у меня нет никаких претензий и окно разбилось случайно от ветра... еще они просят подтвердить одно обстоятельство для их протокола... что к вам не применялось насилие, вот и все... всего лишь одна ваша подпись... если это возможно, конечно.

И ликующий уже в душе своей Франциск Бенаму скромно и трогательно опустил глаза, как будто он сам очень стусевался этой своей робкой просьбы.

— Думаю, что возможно, дорогой, и не дрожи ты так, а то снова напугаешь свою гостью и своего будущего директора, хотя, по моим впечатлениям, она не из тех девушек, которых можно напугать такой ерундой. Мы с Машей съездим и поставим подписи там, где нужно, хотя будь моя воля, я бы на пару неделек отправила бы тебя убирать улицы. А вы, мадемуазель, теперь стали владелицей всех наших семейных секретов, даже самых страшных, и я прошу вас о конфиденциальности — для нашей компании слишком много значит репутация, а теперь это и ваша компания, так ведь, Франциск?

— Но только если мадемуазель даст свое согласие и мы начнем ее постадийное внедрение. На весь процесс может уйти до одного года...

— Это уже детали, а теперь ты выйди, Франциск, и распорядись по поводу завтрака, а нам с Машей нужно подняться с кровати и привести себя в порядок после твоих фокусов... Не беспокойтесь, Машенька, то средство, что мы с вами по незнанию приняли, это безвредное снотворное, даже и улучшающее немного функционирование нервной системы.

Потом, когда Джессика уже свозила Машеньку в полицию и они все подписали, когда Маше как новому члену семьи отвели в апартаментах Франциска Бенаму отдельную комнату с собственной ванной, типа гостиничного номера, но гораздо богаче, когда ей наплели что-то о конфиденциальности и попросили до момента принятия решения погостить у них..., только тогда, оставшись наедине, Франциск и Джессика власть похихикали над своими искрометными экспромтами.

\*\*\*\*\*

В этот же день Маша дозвонилась до Степы. Разговор их был короткий. Степа находился уже в номере, и, когда Маша позвонила, он как-то глухо ответил:

— Але, ты где это запропастилась на всю ночь и весь день? Или снова переборщила с выпивкой?...

Стараясь не замечать его неестественного, натянутого тона и пропускать мимо ушей намеки, она коротко ответила, что была там, где он ее оставил, но обсуждать это не собирается, а только хочет спросить у Степы, насколько серьезно он сам представляет их дальнейшие отношения и намерен ли по приезде в Москву делать ей, Машеньке, предложение.

Степа на том конце провода помялся, что-то пробормотал сначала неразборчивое, а потом начал объяснять, что у него жена и ребенок и все такое... и что нужно сначала посмотреть, как там оно сложится...

Маша недослушала и положила трубку. В этот день она согласилась на предложение Франциска Бенаму, и согласилась до конца общей стажировки у них погостить. Она стала гораздо любезнее и с мсье Франциском, и с мадам Джессикой, хотя не имела сомнений, что ее затягивают во что-то подозрительное. Она поддалась их спектаклю всего на те несколько часов, пока как следует себя не осознала и пока все произошедшее не предстало перед ней в правильном свете и с полной очевидностью.

Она виделась с Нелли Жоресовной перед своим отъездом и для мамы и бабушки передавала деньги и толстое письмо, а на словах просила передать, что любит их и скучает, и что теперь сможет денег им передавать сколько нужно, и чтобы мама не беспокоилась. Нелли Жоресовна, полная новых впечатлений, улетела домой, а у Маши все так перепуталось в голове, что она так и не решилась обо всем посоветоваться со своей старой учительницей.

## Глава 9. О том, как много бывает скрыто в семейной истории.

Состояние корпорации Бенаму оценивалось всеми финансовыми аналитиками как стабильное: обороты держались высокими и уровень прибыльности от вложенных средств устойчиво фиксировался на отметке двадцать шесть процентов годовых. Структура предприятия состояла из трех крупных блоков, каждый из которых имел свои, отличающиеся от двух других, показатели по доходности, которые в пересчете к целому и давали те самые усредненные двадцать шесть процентов. Первый блок был производственный — он являлся наименее доходным, так как в большей степени был отягощен основными средствами — фабриками Бенаму со всей прилегающей к фабрикам социальной сферой. Второй блок включал в себя сеть реализации. Он продавал ткани, как произведенные на фабриках Бенаму, так и любые другие, являясь совершенно независимым в определении своего ассортимента.

Обоими этими блоками, как и в целом всем предприятием, руководил сам Патрик Бенаму через своих помощников и директоров — людей в основном не очень молодых, но дело знающих, опытных и осторожных, хотя и лишенных, вероятно, некоторого коммерческого задора и креативности. Зато храбрости, креатива а даже и наглости с избытком хватало в третьем блоке корпорации Бенаму, которым управлял старший внук Патрика — Франциск, имея своей правой рукой мадам Джессикку — свою законную супругу. Этот третий блок, появившийся менее десяти лет назад, был источником небывалой

рентабельности, зашкаливающей за пятьдесят процентов годовых, и одновременно источником тревоги и беспокойства для основателя бизнеса. Дело в том, что Франциск, выучившийся в Америке, придумал, как зарабатывать деньги, вообще ничего не производя. Его товаром была сама марка Бенаму, а продавал он сертификаты качества от Бенаму и право выпускать продукцию под брендом Бенаму. Это было очень выгодно, так как не требовало почти никаких затрат, кроме рекламных, персонала было мало, и был он в основном такой высокооплачиваемый, что проблем не возникало никаких, а при виртуозно организованных Франциском рекламных акциях, продажа торговых марок и сертификатов приносила очень хорошие дивиденды.

Теперь обороты конкурентов, а также обороты многочисленных компаний, которых вообще никто кроме Франциска не знал, стали давать доход Бенаму. Франциск хотел продавать торговый знак и в совершенно другие области — на мебель и бытовую пластмассу например, но здесь Патрик воспрепятствовал, заявив, что запрещает это делать, так как ни в мебели, ни в пластмассовых тазиках ничего не понимает и не собирает свою фамилию и свой торговый знак просто так приляпывать где попало. Тогда по этому вопросу был созван совет директоров и Франциск очень аргументированно убеждал всех, и в первую очередь, председателя — своего деда, что не стоит замыкаться в сегменте легкой промышленности, что ничего не стоит организовать лаборатории качества и по другим направлениям, и принимая решение об ограничении своего собственного развития, они не только теряют прибыль, но и поощряют конкурентов, которые пока благодаря его, Франциска, усилиям далеко позади, но и они не дремлют.

Красивый и элегантный Франциск был тогда таким красноречивым и убедительным, такой логикой и неопровержимостью было наполнено его выступление на совете директоров, так оно было проиллюстрировано справедливейшими расчетами, что даже старые соратники основателя корпорации усомнились в правильности позиции Президента. А сам Патрик тогда разнервничался сверх всякой меры, покраснел, так что на всякий случай позвали доктора, и выдал внуку сердитую и даже жестокую отповедь, где категорически запрещал расширение спектра сертифицируемой продукции.

Он говорил, что высокие рентабельности в секторе продажи сертификатов, на которые ссылается Франциск, не его одного заслуга, а заслуга всего коллектива Бенаму, и в первую очередь производства, которое более сорока лет выпускает безупречную продукцию и никогда никому не позволило усомниться в своей репутации, эта заслуга также и блока продаж, который за сорок лет никого не обманул и никому не всучил барахло, хотя и имел к этому прекрасные возможности. Патрик Бенаму говорил, что все люди, сидящие здесь, всегда игнорировали возможности проехаться на темненькой лошадке, часто в ущерб своему карману, все они гордятся своим именем и именем корпорации, многие являются акционерами, и он призывает всех поддержать его, Патрика Бенаму, позицию и не позволить торговлю их честным именем ставить на поток уже совершенно бесконтрольно.

Еще было сказано, что все эти новые формы заработков граничат с безнравственностью. Патрик Бенаму говорил, что если он покупает новую линию на производство, то испытывает радость и удовлетворение, несмотря на то что окупятся эти машины только через десять лет. И радость он испытывает, понимая, что с помощью этих машин он хоть немного улучшит качество и хоть чуть-чуть снизит себестоимость изделия, что в конечном счете поможет большому количеству людей чаще покупать новую, красивую одежду, и еще он, покупая этот новые агрегаты, оказывает содействие научно-техническому прогрессу, увеличивая оборот компаний, дающих работу ученым, конструкторам и технологам, тем самым жизнь на Земле делается чуть-чуть лучше, осуществляются технический прогресс, развитие и эволюция...

Все присутствующие знали позицию президента по этому вопросу, знали, что будет сказано дальше, большинство с ней соглашались, некоторые, особенно молодые, имели другое мнение. Эти даже и не во второй раз приводимые доводы звучали уже скучновато, кое-кто позволил себе понимающие переглянуться — не от презрительности, а тепло переглянуться, мол: «Знаем мы нашего старика, хороший он человек, только немного уже утомительный...».

Компания Бенаму была им самим так задумана и организована, что даже его слово, слово основателя, главного акционера и бессменного руководителя, не было на этом совете решающим. Он не мог просто распорядиться, а должен набрать большинство голосов. Патрик видел, что возможна ситуация когда его предложение не пройдет, а это означало для него только одно — позорную отставку. Другого пути не было, поскольку номинально занимать должность президента Патрик Бенаму не собирался. Он лелеял только одну надежду, что процесс размывания чутья и совести его старых товарищей пойдет медленнее, чем его собственное умирание, и он не доживет до того дня, когда они наберутся смелости сказать ему — нет.

Кому-то он казался старым легионером, уже не имеющим тех сил и сноровки, чтобы с легкостью победить, как бывало раньше, но в последнем порыве бросающийся на противника с безрассудной целью, поправ все законы и правила боя, добиться успеха только тем, что еще осталось у него — силой духа и отчаянной храбростью. Такие примеры всегда вызывают больше жалости, чем восхищения, поскольку исход их предопределен совершенно, да и внешне это не всегда красиво выглядит.

\*\*\*\*\*

Как обычно, Президент был искренен и прямолинеен со всеми своими сотрудниками, он даже и не аргументы приводил, а как бы делился своими мыслями, возможно, и не очень подготовленными к изложению, и уже совершенно точно, нисколько не просеянными через сито разумного предвосхищения реакции слушателей. Он говорил о совести и какой-то пользе для всего человечества, и, конечно, это звучало отвлеченно от жизни и умозрительно, если не утопически. Он говорил, стараясь достучаться до сердец перед ним сидящих, что, подписывая очередной счет на рекламную кампанию, которая принесет втрое больше денег, чем на нее потрачено в течение года, и получается в десять раз доходнее чем любая модернизация производства, он вовсе не радуется! И что некоторое время не мог понять и сам в себе разобраться, чего же его так беспокоит, что даже подозревал в себе банальную ревность по отношению к успехам старшего внука, но в конце концов все-таки понял причину своего неприязненного отношения ко всей этой области — она ничего по сути людям не дает! Ничего не дает человечеству, кроме лишних, совершенно непроизводственных затрат на idiotские фестивали, шоу и рекламные кампании, впоследствии на клиента и перекладываемых! Сами рекламные акции зачастую вульгарны и двусмысленны, и в людях этот псевдо-культурный продукт тербит струнки совсем не человеческие, а скорее животные, подталкивающие к жизни жестокой и скотской, к жизни, от которой сотни поколений наших предков ценой огромных жертв вырывались к добру, справедливости и добродетели!

Франциск стоял тогда перед дедом с опущенной головой, как покорный и уважительный внук, как один из двенадцати директоров перед Президентом корпорации, и казалось, он лучше других понимает основателя бизнеса, больше всех сочувствует его настроениям и сам готов с радостью принять любое его решение. Многие думали тогда, что

слишком суров Патрик Бенаму к своему старшему внуку, а те, которые работали в корпорации Бенаму со дня основания и помнили обстоятельства гибели родителей маленького Франциска, опускали глаза и про себя говорили, что мальчика можно было бы уже и простить через столько лет.

\*\*\*\*\*

Тогда, тридцать лет назад, полицейским комиссариатом второго округа города Лиона велось следствие по делу о гибели единственной дочери Патрика Бенаму и ее мужа. Итогом расследования было заключение, что их смерть, наступившая первого июля одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года, явилась результатом несчастного случая, и не было выявлено лица, совершившего преступления. В качестве свидетеля по делу был допрошен двенадцатилетний Франциск Бенаму — старший сын погибших, и выяснилось, что именно он явился причиной падения включенных электрических ножниц для завивки волос, принадлежащих его матери, в ванную, где находились его мать и отец, вследствие чего произошел электрический разряд, убивший обоих родителей мальчика. Следствие установило, что Франциск Бенаму ненамеренно задел ножницы рукой, это произошло вследствие неосторожности, и он не может считаться лицом, совершившим убийство.

\*\*\*\*\*

Сорок два года назад Патрик Бенаму не был доволен выбором своей дочери. Он мечтал совсем о другом зяте, но когда все надежды рассыпались, Патрик изо всех сил скрывал свое несчастье, считая, что не стоит еще больше осложнять девочке жизнь своей кислой физиономией.

Тогда Люсьен, его единственная и любимая дочь, с напускной небрежностью заявила, что беременна, но замуж выходить не намерена, а просит его, своего отца, помочь найти врача - сделать аборт. Был одна тысяча девятьсот шестьдесят пятый год, девочке было восемнадцать лет, и у нее два года назад умерла мама. После смерти жены отношения у отца с дочерью сделались не очень-то хорошими. Люсьен обвиняла отца в сухости, жестокости, говорила, он всю жизнь вообще не замечал мамы, и вот теперь мама умерла и ему опять все-равно...

Он не спорил со своей девочкой, ему казалось, что Люсьен нужно теперь на кого-то сердиться, и если она решила сердиться на него — пусть, он станет терпеть и не будет возражать. Поэтому он молча все выслушивал, и потом, когда она уже начинала плакать, он делал шаг к ней навстречу, пытался обнять ее, прижать к себе, хоть чем-то утешить своего ребенка, но Люсьен почти никогда не давалась объятиям своего отца, а вырывалась и стремглав убегала, а Патрик оставался один и сидел некоторое время молча, рассматривая свои руки или вообще обратив взор куда-то в неопределенность. Он действительно много работал, точнее, он работал всегда. У него вообще не было ни отпусков, ни выходных, иногда он брал семью в поездки на фабрики, которые находились за городом, но и там он не был с ними. Он встречался с кем-то, просматривал бумаги, а они, его семья, пытались сами

себя развлекать. Даже по дороге туда и назад, которая занимала по нескольку часов, Патрика Бенаму сопровождал кто-то из сотрудников не нашедших другого времени для аудиенции господина Президента.

Он всегда был уверен, что все в жизни делает во имя семьи, для своих близких — для дочери и жены, ведь больше у Патрика никого не было. Глупо было бы доказывать и разъяснять кому-то это очевидное обстоятельство. Жена и так понимала его и всегда поддерживала без всяких объяснений, а дочери, как думал Патрик, просто нужно было бы немного подрасти, поумнеть, а самое лучшее — выйти замуж за умного, образованного и порядочного молодого человека, который мог бы стать соратником ее отца, и тогда она многое поняла бы и, возможно, многое переоценила бы в своей жизни и в ее отношении к родителям.

В тот день, когда дочь сообщила о своей беременности и намерении избавиться от ребенка, он посадил ее напротив и, взяв за руки, тихо, но совершенно определенно сказал, что не позволит убивать ребенка и саму себя подвергать смертельной опасности. Он сказал, что это решение уже никак не может относиться к категории баловства, и он, Патрик, возьмет малыша к себе и сам воспитает, если у нее еще нет пока материнского чувства. Люсьен тогда расплакалась и начала говорить, что очень боялась ему рассказывать, что она не совсем уверена в здоровье будущего плода, из-за того, что последние несколько месяцев почти каждый день курила травку, часто выпивала с друзьями и теперь доктор ей сказал, что она может родить урода. У Патрика сжалось сердце, но и тут он не потерял самообладание, а сам отвел дочь к лучшим врачам и сам вместе с Люсьен выслушал все их заключения, которые сводились к констатации у плода выраженных патологий и длительных пространственных рассуждениях об опасности употреблении марихуаны беременными. Когда они решили, что Люсьен будет рожать, у девочки даже в глазах что-то просветлело. Она выбросила из головы всю дрянь, которой так увлекалась последнее время, уселась дома, где ходила в байковом сарафане или клетчатой отцовской рубашке с засученными рукавами, которая доходила ей как раз до колен. Люсьен стала каждый вечер встречать папу с работы, стряпать ему еду, слушать спокойную музыку и готовиться к родам. Для Патрика это было счастливое время. Из суеверия они вообще ничего не покупали для младенца, регулярно посещали доктора и ждали. Патрик один раз завел с дочерью разговор об отце ее будущего ребенка, но она очень внушительно попросила вообще больше ничего об этом не говорить и никогда не задавать ей таких вопросов.

В назначенный срок родился мальчик, которого назвали Франциском. Он родился совершенно здоровеньким и прекрасно развивался. Патрик был счастлив, Люсьен тоже, как ему казалось тогда. Мать дала ребенку фамилию Бенаму, но записала отцом некоего Жерара Компании, еще раз запретив отцу спрашивать о нем или наводить справки. Она даже взяла с Патрика клятву на этот счет.

Покой возле колыбели Франциска длился около шести месяцев, а потом Люсьен сказала, что ей хоть иногда, но все-таки нужно развлекаться и отдыхать. Отец тут же нашел заботливую нянечку, подумав, что действительно его дочери слишком утомительно постоянное высиживание дома при ребенке и молодая женщина должна иметь возможность сходить к подруге, в кино или на концерт. Люсьен же, сначала робко выглянувшая из дома своего отца, где-то через месяц стала бывать в семье довольно редко, и основным ее времяпрепровождением дома был сон. После каких нескончаемых вечеринок она так продолжительно отсыпалась, Патрик не знал и думать об этом не хотел, к тому же и сам он, работая в привычном для себя графике, являлся в свой дом только для душа, еды и короткого сна, после которого, надев свежую рубашку, снова уезжал — и так изо дня в день почти без выходных и отпусков. Раньше, пока у него не было внука, он работал вообще без выходных и отпусков, а теперь почти без выходных и отпусков. Кстати говоря, между этими понятиями

была огромная разница, теперь хотя бы пару часов в неделю Патрик Бенаму возил с внуком, и где-то раз в два месяца, взяв полноценный выходной, а то и два, выезжал с Франциском куда-нибудь, где были другие дети, свежий воздух и интересное для маленького ребенка времяпрепровождение.

Люсьен проводила со своим сыном приблизительно столько же времени, ссылаясь на то, что, уступив настояниям отца, пошла учиться и теперь занятия занимают у нее очень много времени, а ее организм еще не окреп и не восстановился после родов, и отдых нужен ей больше чем когда-либо. Патрик старался не сердиться, но ему все очень не нравилось. У них уже состоялось несколько серьезных разговоров, и не известно, чем бы разрешилась ситуация, если бы Люсьен через год после рождения Франциска не вышла бы замуж. Именно так и было, она сначала вышла замуж, а потом поставила об этом в известность отца. Как-то под вечер она просто приехала домой с молодым человеком, чего раньше никогда не происходило, и представила отцу Жерара Компании. Парочка в первом приближении выглядела счастливо, но это было такое странное счастье, которое люди, а особенно часто молодые люди, себе выдумывают, просто чтобы не чувствовать какого-то большого несчастья. У обоих были глупые приклеенные улыбки, стеклянные глаза, оба казались немного подшофе, хотя от них и не пахло выпивкой. Парень, вероятно, был одет по последней моде — во все грязное, рваное и расклешенное, был бородатый и длинноволосый. Когда Патрик проводил их в гостиную и, немного придя в себя, тактично осведомился, не тот ли это Жерар Компани, который записан в муниципалетете как отец его внука — Франциска, парень засмеялся и сказал, что он согласен признать отцовство, тем более что это его ничем не обязывает, насколько он понимает, но, честно говоря, не совсем уверен, что Франциск именно его ребенок, поскольку является вовсе не единственным возможным отцом. Тут они оба глупо захихикали, а парень, развязно развалившись в кресле и в два глотка выхлестав из фужера дорогущий коньяк, наклонился к Патрику и, как бы делиась с ним небольшим секретиком, сказал, что в их компании приветствуется современное отношение к жизни, в том числе и к интимной жизни... он хотел продолжать, но Льюсьен оборвала его, дернув за плечо, и сердито сказала, что совершенно не обязательно делиться с ее отцом всеми глупостями, которые могут прийти ему в дурную голову. Парень заткнулся, а она, подняв глаза на отца, сказала: «Извини его папа... такой он у меня дурачок, болтает всякую ерунду... но он хороший... я замуж за него вышла... сегодня, теперь вот мы отмечаем вдвоем это событие... Если ты хочешь, чтобы мы убрались из твоего дома, мы сейчас же уберемся, ты только кивни мне головой, даже говорить ничего не надо, я понимаю, что мы тебя омерзительны. Если нам можно остаться, я уведу его в свою комнату... Спасибо, папа». Несколько секунд ее взгляд был еще осмысленным, потом снова сделался стеклянным, она расхохоталась непонятно чему, подняла своего совершенно раскисшего супруга из кресла, и они вместе, пошатываясь, потопали в ее комнату, которая, к счастью, находилась на другом этаже.

Ту ночь бывший военный летчик не спал, а ходил по своему кабинету, потом по детской, где спал годовалый мальчик, потом снова по кабинету... и так до самого утра. Под утро он уселся в гостиной на стул и стал ждать. Так прошел час, пока за дверью Люсьен не началось шевеление, еще через несколько минут дверь ее комнаты приоткрылась и высунулась помятая, всклокоченная, испуганная и жалкая мордашка его дочери. Она увидела отца, который явно не ложился спать, и первое ее движение было отшатнуться, обратно прыгнуть в свою комнату, но, удержавшись от этого, Люсьен опустила голову и вышла к своему отцу походкой, которая показалась ему похожей на походку пленных немецких солдат. Было невыносимо видеть эту походку у своей дочери. Он обнял ее, а она так и стояла, уткнувшись в его грудь своим лицом, но не поднимала рук и не отвечала на его объятия. Потом она отстранилась от отца, устало опустилась на стул, держась обеими



руками за сиденье, наклонившись вперед так, как будто у нее болел живот, и, не глядя на него, глухим голосом, который бывает у людей сразу после сна, попросила: «Может ты все-таки выгонишь нас... и быстрее все кончится, я не люблю ни тебя, ни его — моего сына».

Патрик всю ночь готовил слова, чтобы сказать их ей, он готовил свою речь, представляя себе самые разные варианты их встречи на утро, он продумывал каждое свое слово, боясь чем-то обидеть ее и еще больше оттолкнуть от себя. Он хотел напомнить ей время, когда мама была еще жива, а она, Люсьен, была маленькой девочкой, хотел вместе с ней достать и посмотреть старые фотографии, хотел найти простые, невычурные и неизбежные слова, чтобы сказать ей о своей любви, чтобы сказать ей о том, что она всегда была его любимой дочерью и он жизни себе не представляет без нее, что он очень хочет ей помочь, но только не знает как. На этом месте размышлений у Патрика возникала совершеннейшая путаница, он действительно не знал, как ей помочь, но вместе с тем если не знаешь, как помочь, то какой же ты отец? Ты все должен знать! Ты должен предложить ей выход! Но где он, этот выход? Что можно предложить молодой женщине, бросающей собственного ребенка и самой готовой уже умереть? Эта мысль не осталась завершенной у Патрика Бенаму до самого утра. Он так и не решил, что может удержать в мире женщину, которая хочет умереть.

Когда Люсьен вышла к нему и, согнувшись на стуле, произнесла свои жестокие слова, Патрик забыл все, что он хотел сказать ей этой ночью. Он повернулся, подошел к шкафу в гостиной, достал оттуда свой боевой пистолет с дарственной надписью от русского генерала, дивизию которого налет его эскадрильи спас от прорыва немецких танков, и вернулся к дочери.

— Хочешь, чтобы все быстрее кончилось, девочка?

Она недоуменно подняла на отца пустые, ничего не выражающие глаза, взгляд ее не прояснился, перемещаясь с его лица на пистолет и обратно, но лицо постепенно приобрело отчетливое выражение презрительности и недоверия. Люсьен усмехнулась и, выпрямившись на стуле, дерзко уставилась на отца, произнесла запекшимися губами:

— О, раз на сцене появилось ружье, по законам жанра оно должно теперь выстрелить, не так ли, господин режиссер? А в каком жанре у нас пьеска? Трагедия или комический бенефис?

— Я только прошу тебя повторить твое желание по поводу того, чтобы все быстрее кончилось, Люсьен. Игры и спектакли закончены, теперь все по-настоящему, поверь уже своему отцу, я мог уделять мало времени твоему воспитанию, но я ведь тебя никогда не обманывал.

Отец никогда не наказывал Люсьен, она даже никогда не слышала, чтобы он повышал голос хоть на кого-нибудь, хотя знала его как твердого и решительного человека, и сейчас она не понимала, что происходит. Ее отец, прямой и собранный, стоял перед ней и выглядел уравновешенным и спокойным, каким он и был всегда, каким она его ненавидела за это спокойствие, граничащее с бездушием, за эту уравновешенность, граничащую с холодным безразличием. Теперь он стоял перед ней и держал в руках пистолет, который, как она знала, мог выстрелить, папа когда-то стрелял из него по пустым консервным банкам, и ей, девочке, очень нравилось, что он всегда попадал, и банки, смешно подпрыгнув, улетали вон. Она не знала, что сказать, и опустила глаза, но отец не дал ей покоя, а, левой рукой схватив ее за подбородок, повернул к себе. Он никогда прежде не позволял себе так с ней обращаться, она немедленно вцепилась обеими руками в его руку, замотала изо всех сил головой, пытаюсь освободиться, но рука ее отца была как железная, она не могла даже чуть-чуть ее пошевелить и так и осталась сидеть, глядя на него снизу вверх, и держась своими ослабевшими уже руками за его пальцы, казавшиеся ей каменными. А он, когда дочь прекратила сопротивляться и в глазах ее появились слезы от обиды, еще раз задал ей все тот же вопрос:

— Так хочешь ты, чтобы все быстрее закончилось, или нет?

Усилие, которое он приложил для удерживания ее головы, заставили Патрика сжать челюсти, и голос его звучал как голос человека, пребывающего в ярости.

— Ты даже не представляешь себе, как легко все быстро закончить, Люсьен! Все закончится в одно мгновение! Ты же знаешь, я умею это делать. Это не будет очень красиво, скорее даже будет выглядеть отвратительно, но тут уж ничего не поделаешь, зато быстро!

Слезы текли по щекам Люсьен все сильнее, ей стало жалко себя, такую беспомощную, такую слабую, перед этим огромным, безжалостным человеком с железной рукой, который смотрел на нее глазами ее отца, но было вообще непонятно, он ли ее отец, потому что ее отец не бывал таким, и она представить себе не могла его таким! Люсьен недавно читала в газете, как отставной офицер застрелил из наградного пистолета всю свою семью, и там даже были фотографии убитых в лужах крови. В этот момент она подумала, что хочет жить! Хочет просто жить. Она вспомнила рассказы матери про то, как отец воевал, но тогда ей казалось, что он убивал людей на войне как-то не по-настоящему, да и как он, такой вежливый и предупредительный, до приторности культурный и воспитанный, мог убивать? А сейчас она совершенно реально почувствовала, что ее отец УБИВАЛ. Убивал людей десятками, а может быть, и сотнями, и теперь он живет с этим всем внутри себя совершенно по-другому, чем люди, которые никого никогда не убивали. Люсьен пронзила мысль, что мама знала, что он ДРУГОЙ, и она так бережно относилась к нему из-за этого, чтобы не вырвался из ее воспитанного и культурного мужа тот ДРУГОЙ, о котором она знала, а может, и видела. Люсьен стало страшно. Ее глаза видели только лицо отца перед собой и больше ничего вокруг, она даже не могла зажмуриться и только смотрела на него застывшим, один только смертельный ужас выражающим взглядом, и слезы текли по ее щекам.

Он в третий раз повторил свой вопрос, и хотя рука его еще держала ее лицо железной хваткой, но в голосе отца Люсьен уже услышала не только холодную и чужую интонацию неотвратимой смерти, а разобрала голос своего папы, который никогда не сделал ей ничего плохого, и ответ на его вопрос стал совершенно очевидным для Люсьен, стал таким понятным и правильным, что стало даже удивительно, как раньше такой простой вопрос вызывал у нее хоть какие-то сомнения, она своему дорогому и любимому папочке в обход этого страшного монстра, как бы умоляя его о помощи, прошептала:

— Я хочу жить, помоги мне, папа... пожалуйста...

И тогда Патрик отпустил ее лицо, обнял ее голову, шею, а она спрятала свое лицо у него на груди. Люсьен теперь плакала и не сдерживала своих слез, она плакала от счастья, что все позади, что ее папа снова с нею, и она никогда не будет больше тревожить покой того ужасного монстра, которого она только что видела. Люсьен тихонечко открывала глаза и осторожно смотрела из-под полусмеженных ресниц, проверяя, ее ли отец сейчас перед ней, и окончательно убедившись, что это он и что по его щекам тоже текут слезы, она закрыла глаза, прижалась к его груди и шепотом спросила:

— А ты бы действительно меня убил?

На что Патрик, сделав секундную паузу, ответил, шепча ей слова прямо на ухо, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не смог бы отнять ее жизнь и что несколько минут назад она спасла его самого от смерти, которая уже звала его, и он уже собирался сделать свой шаг к ней навстречу.

\*\*\*\*\*

После этого Люсьен Бенаму и ее муж, Жерар, около года провели в загородной клинике для нервнобольных, где проходили восстановительный курс лечения, а папа с Франциском приезжали к ним каждую неделю. Молодожены жили в просторной комнате с балконом, выходящим в садик, посещали сеансы групповой психотерапии, много гуляли, раз в неделю беседовали с доктором, принимали какие-то лекарства и чувствовали себя превосходно.

Люсьен начала рисовать пейзажи, Патрик с Франциском были от них в восторге, но Жерар, как казалось его тестю, так и не нашел себе подходящего занятия. Он целыми днями бесцельно слонялся по клинике, то усаживался где-нибудь читать, то вскакивал и снова бродил, то садился за стол и принимался писать что-то, что он немедленно прятал при приближении персонала.

Доктор говорил Патрику, регулярно оплачивающему счета за лечение, что Люсьен выздоравливала бы быстрее, если бы не Жерар, и что у него положение гораздо тяжелее, но вместе с тем только поддержка и пример молодой жены, судя по всему, дают ему вообще силы к лечению. Стаж употребления наркотических средств, по мнению доктора, у Жерара существенно больше, и судя по всему, именно он и втянул юную, даже и несовершеннолетнюю тогда еще дочь Патрика Бенаму в свою компанию. Доктор говорил, что у них в клинике существует принцип полной конфиденциальности по отношению ко всем клиентам, и на групповых занятиях многие делятся очень тяжелыми эпизодами своего прошлого. Не стали исключением и Жерар с Люсьен, их рассказы типичны для людей, прошедших через наркоманские притоны, и то, как каждый из них рассказывает об этом, дает понять, что Люсьен в большей мере стремится на путь избавления от прошлого и видит свое будущее в творчестве, в семье, в работе, а Жерар пока еще вожделеет вернуться к своей прежней жизни.

«По сути, ваша дочь нужна этому парню как обеспеченная и вполне поддающаяся его влиянию женщина, с помощью которой он и в будущем надеется время от времени прикладывать к бутылочке своих разрушительных удовольствий», — так сказал доктор в конце разговора. «Во время нашей работы я стараюсь приближаться к реальному пониманию обстоятельств, приведших ее в нашу клинику, к пониманию реальной роли ее мужа во всем этом, но пока встречаю совершенную стену, как только касаюсь этого вопроса. Она очень преданный человек, ваша дочь, и не считает для себя возможным переместить на мсье Жерара справедливую долю ответственности, хотя лично мое мнение — место этому парню именно в тюрьме, а не в комфортных лечебницах типа нашей».

Как было жить Патрику с таким определением? Что мог чувствовать любой отец, слыша такие слова? Что он представлял, поддаваясь в мыслях самым непосредственным, самым первым, самым жестоким своим желанием? В красочных деталях он представлял себе справедливейшие акты возмездия, но каждый раз находил силы признать, что от воплощения этих планов в жизнь его дочь станет еще более несчастной и, вероятнее всего, погибнет вслед за своим мужем, каким бы он ни был. Он решил, что единственный возможный здесь выход — бороться за этого парня так, как бы он боролся за своего боевого товарища, как бы он боролся за близкого человека, как бы он боролся за свою дочь в конце концов.

После того, как дальнейшее пребывание в клинике уже не требовалось, молодая семья переехала в дом к Патрику, соблюдая все необходимые приличия. На вопросы тестя Жерар отвечал очень правильно, но как-то заученно, как отвечают люди, чья уверенность исходит не из собственного внутреннего ощущения, а из знания, что именно такой ответ будет угоден сейчас собеседнику. Он говорил, что собирается закончить учебу, а потом найти работу, позволяющую ему самому содержать свою семью. Еще он прибавлял, что благодарен Патрику за его участие, и намерен со временем возместить тестю расходы, понесенные тем в

ходе лечения. Все это говорилось ровным, вежливым голосом, при этом Жерар всегда учтиво поворачивался в сторону тестя, всегда его до конца выслушивал, на лице сохранял выражение почтительности, но казалось, сам произносящий слова верит в них не более, чем в жужжание комара.

Как выяснилось из разговоров, юноша был прекрасно осведомлен о величине сумм, потраченных на лечение, что стало для Патрика приятной неожиданностью и иллюстрировало хотя бы то, что парень на самом деле интересовался этим вопросом. Здесь у отца и тестя возникало в голове очевидное несоответствие — зачем этому парню, который, ясное дело, со всем соглашался из одного только нежелания показывать истинные намерения, доподлинно узнавать сумму, в которую обошлось его лечение?

Патрик, хоть ему было и неприятно беседовать с новоиспеченным родственником, заставлял себя это делать, изо всех сил стараясь не поддаваться раздражительности. Зять не был многословным парнем и норовил все разговоры свести к обмену формальными репликами, никогда не спорил, чувствовалось, что его вообще тяготила необходимость общения. Так они оба заставляли себя беседовать друг с другом, медленно, но неотвратимо исчерпывая тот запас терпения, который каждому из них был отведен.

Франциск подрастал, папашка Жерар к своему двухлетнему отпрыску практически не подходил, стараясь увильнуть даже от минимального исполнения своих отцовских обязанностей.

Из разговоров ничего путного не получалось и пожилой человек все чаще чувствовал себя подобно старому брюзге, на которого никто не обращает внимания, а он мусолит свои приписные истины и нравоучения, как старый ишак мусолит половую тряпку, случайно попавшую в его челюсти, а он и забыл уже, как и когда это случилось, да и зачем он жует эту бесконечную тряпку, не имеющую ни вкуса, ни запаха.

\*\*\*\*\*

Несмотря на внешнее спокойствие самого Жерара, его ощущения от разговоров с тестем были совершенно невыносимыми. Под ударом неопровержимых доводов он держался из последних сил, многократно был готов послать все ко всем чертям, но удерживался только потому, что не хотел сам делать этот шаг.

Но это противостояние не закончилось скандалом. Между Патриком Бенаму и его зятем так и не произошло никакого решительного объяснения, вместо этого отчаявшийся и не находящий никакого решения отец и владелец крупного бизнеса передал зятю пакет из двадцати акций предприятия и назначил его директором по производству. Факт этот был доведен до молодых через семейного нотариуса и кадровую службу корпорации Бенаму. Сам Патрик не произносил по этому поводу никаких слов и во избежании всякой патетики вообще уехал накануне. Так Жерар стал обладателем состояния и значительным человеком, а отказаться от места в корпорации тестя ему после такого королевского подарка казалось пока невозможным.

Производство Бенаму, которым до этой кадровой авантюры занимался сам Патрик, выдержало испытание, хотя и не без ущерба, надо сказать. Но самое главное — Жерар почувствовал вкус к новой жизни. К жизни состоятельного человека и руководителя. Преодолевая свой скепсис, как-то постепенно втянулся и, будучи парнем совсем не глупым, уже через год сам принимал правильные решения и, опираясь на старых, опытных, еще

самим Патриком принятых заместителей, сносно руководил третью компанию Бенаму и даже расширял производство в соответствии с нуждами предприятия.

Прошел еще год, и молодые, решив жить отдельно, уехали из дома Патрика Бенаму, приобретя на дивиденды Жерара прекрасную квартиру, где еще через год и родился их второй сын — Жульен. Все было замечательно. Патрик не видел никаких оснований для беспокойства, его дочь была счастлива, казалось, все проделки молодости навсегда ушли из этой счастливой и дружной семьи.

## Глава 10. О том, как может складываться жизнь маленького мальчика.

Папа и мама знали Франциска тихим и покладистым мальчиком, который не докучает родителям и вполне может сам себя занять игрушками. Так оно и было, но еще он был очень внимательным, замечательно слышал все, а особенно то, что его не касалось, и давно уже пытался разгадать одно таинственное обстоятельство.

В их семье одновременно происходили две жизни. Одна — скучная, рутинная, которая ни от кого не скрывалась, а вторая — тайная, непонятная, полная чего-то возбуждающе-секретного и особенно-притягательного. О второй жизни Франциск знал куда больше, чем папочка и мамочка могли подозревать. Сначала он только только чувствовал. Чувствовал нечто особенное, что витало в доме когда его увозили к бабушке на выходные и от этого ощущения хотелось носиться по квартире, орать, не слушаться, хотелось больно укунить няньку, плевать кашей и вообще беситься. В такие дни тихий мальчик на часик-другой превращался в совершенно неуправляемого, и кончалось тем, что мать несколько раз увесисто шлепала его по заднице, так что он начинал горько плакать и в слезах уезжал, впрочем, быстро успокаиваясь по дороге. Так было из раза в раз, папа шутя говорил маме, что его нужно сразу отлупить, не дожидаясь, пока он что-нибудь в очередной раз перевернет, разобьет или сломает. Но, к счастью, никто не придумал, как лишить его прелестного и вдохновенного часа вседозволенности, позволяющего что-то сделать со странным, но приятным возбуждением, которое, не дай ему выхода в бешеных проделках, разорвало бы маленького мальчика изнутри.

Это стало в их семье почти что секретной игрой, все ее знали, и все честно соблюдали правила, хотя няньке игра очень не нравилась, и мадам Корнелия даже требовала, чтобы маленького Франциска показали врачу. Обычно он возвращался от бабушки через два дня, в большинстве случаев в доме деда им занималась та же нянька, а дедуля только иногда находил время с ним прогуляться и каждый раз задавал за завтраком одни и те же скучные вопросы.

Родители, бывшие веселыми, энергичными и радостными, когда он уезжал, по его приезду оказывались тихими, уставшими, почти всегда во второй половине дня воскресенья они спали, ходили медленно, разговаривали мало, и снова он играл с нянькой в свои игрушки, как будто бы папы и мамы у него совсем не было. Если в такие дни мать выходила

из спальни, то одета она была в халат, не всегда даже и запахнутый до конца, и Франциск старался специально ее подкараулить, чтобы подсмотреть. Однажды она поймала взгляд пятилетнего сына, провожающий ее, и, шутливо погрозив ему пальчиком, улыбнулась как-то особенно, не как она всегда улыбалась, вообще не как мама! Франциска всего обожгло от этой улыбки, он испугался чего-то, ему стало стыдно, и мальчик бросился к матери, обнял ее, прижался к ней щекой, ища спасения.

Бывали дни, когда Франциска привозили чуть раньше и он заставлял гостей. Тех гостей, которые, судя по всему, провели у папы и мамы все выходные. Они были с Франциском приторно-ласковы, нянька смотрела на них строго и сердито, и так забавно они торопились уехать, как будто чего-то набезобразничали и боялись наказания. Обычно среди гостей бывали женщины, которые почему-то вызывали у Франциска беспокойство. Он слышал, как нянька, непонятно к кому обращаясь, бормотала себе под нос, что вот такие-то шлюхи и уводят мужей у порядочных женщин, а потом Корнелия зло сплюнула в раковину и еще тише сказала, что теперь негде найти порядочных... Франциск поднял на нее голову и спросил про свою маму - порядочная его мама или не порядочная. Нянька, как бы спохватившись, быстро-быстро ответила, что мама, конечно, порядочная... Тогда Франциск спросил про саму няньку, порядочная ли она, на что нянька гордо ответила, что еще ни разу в жизни не слышала дурного слова о своей женской порядочности. Франциск ничего не понял, но о маме мадам Корнелия говорила совсем другим голосом и другими словами, чем о себе. Заставая гостей, Корнелия вся сжималась и чуть было не покрывалась иголками, а сам Франциск чувствовал, что за этим скрывается какая-то тайна. Он не мог знать, страшная она или нет — эта тайна. Судя по поведению няньки, тайна была страшная и противная, а судя по отцу с матерью - привлекательная.

Мальчик с тайным нетерпением ждал, когда снова родители пригласят гостей, а его отправят к деду. Конечно, он не хотел бы, чтоб его отправляли, он, наоборот, хотел остаться здесь и принять участие в чем-то, что от него глупо скрывали. Однажды он даже сказал тихонечко маме, что хочет остаться с ним и поиграть. Мама почему-то засмеялась и ответила, что у них будут «взрослые» гости, на что Франциск упрямо настаивал, что он хочет поиграть именно со «взрослыми» гостями, и даже заплакал, тогда подошел папа, и поняв, в чем причина слез, тоже, как и мама, засмеялся и как-то по-особенному глядя на маму Франциска, сказал, что мальчик еще маленький для «взрослых» гостей, а мама вдруг рассердилась на папу и легонько стукнула его ладошкой по лицу, назвав дураком.

Нянька тогда по дороге к деду утешала мальчика и говорила, что ему совершенно нечего делать с этими отвратительными «взрослыми» гостями, что сейчас они приедут к дедушке и будут рисовать, или играть в магазин, или, если будет хорошая погода, пойдут в парк. Франциск молча слушал, а потом раскричался и даже ударил няньку. Он сказал ей, что она злая и что его мама и папа хорошие, и гости их хорошие, и он, Франциск, хочет быть с ними, а не с ней, потому что она ему всего лишь нянька, то есть никто, и работает на их семью за деньги! Затем ему стало стыдно, он еще сильнее разревелся, и мадам Корнелия, крепко обняв всхлипывающее у нее на груди тельце, тоже плакала.

Это было самое начало, а потом все внезапно прекратилось, гости перестали приезжать, мама стала толстая и некрасивая, а через некоторое время дома появился микроскопический уродец, которого называли Жульеном. Он постоянно кривил свою и без того страшную рожицу, и задушить этого червяка было, вероятно, наиболее правильным и гуманным из того, что можно было с ним сделать. Но глупые взрослые его не душили, а наоборот, возились с ним целыми днями, а о существовании старшего сына все совершенно забыли. В просторной игровой, которая всегда принадлежала только Франциску, сделали комнату для этого насекомого, хотя его вполне можно было разместить в обычной коробке от ботинок и положить куда-нибудь в шкаф. Заодно это решило бы проблему его противных

криков. Наверное, это папа додумался отдать целую игровую для этого клопа. Туда же переехала и мама! Она спала с ним в одной комнате, а по утрам брала его к себе в кровать! Самому Франциску уже не разрешали залезать к маме в постель, после того как он случайно столкнулся на пол этого беспрерывно елозящего по простыне муравья, хотя тот, к сожалению, вовсе и не пострадал.

Мама тогда закричала, прибежала Корнелия, схватила эту краснорожую личинку, они вместе с мамой начали его трогать, сгибать и разгибать его омерзительные, в складках, прелые кое-где конечности, и, убедившись, что зародыш цел и невредим, Корнелия успокоила его, нежно прижав к своей груди. Франциск знал, что на груди у мадам Корнелии всегда приятно успокаиваться когда ревешь, и хотел тоже попроситься прижаться к ней, потому что, честно говоря, он тоже слегка испугался, но вместо того, чтобы успокоить ребенка, мать схватила его за шиворот и много раз изо всех сил стукнула по задку.

Она стукнула его, наверное, раз двадцать и так зло приговаривала при этом, какой он отвратительный и злой мальчишка, что Франциск, неожиданно для себя обильно описался в штаны, хотя больно ему особо и не было, а наоборот, можно сказать, что было даже и немного приятно. Мать была так близко и с такой живой яростью его лупила по попе... После того, как он напустил в штаны и мать заметила лужу на полу, она отпустила сына, осевшего обессиленно на пол, и после секундной паузы снова схватила, начав целовать, обнимать и говорить, какой Франциск замечательный и как она любит его, своего несчастного старшего сына, и как она перед ним виновата.

Когда Франциска уже переодели, мама сказала, что больше никогда в жизни его не ударит, а Франциск подумал, что может и ударить еще, что ему было и не больно, а даже и хорошо, только бы она после этого не забывала его обнимать... Он хотел сказать это матери, но не стал, сам даже и не зная почему, он решил так уж сильно с матерью не откровенничать. Мальчику было семь лет.

Зато теперь Франциск, мог иногда играть в пустующей спальне родителей. Вообще-то ему запрещалось там находиться, точнее, это не приветствовалось, и каждый раз, когда его там заставляли, он вынужден был выпроваживаться, хотя и без особенных ему внушений и без наказаний. Он захватывал с собой пару игрушек, но цель его была совершенно другая. Его целью были восхитительные следы чего-то скрытого от него, что происходило в спальне родителей, когда его самого жестоко увозили к деду на выходные. Франциск осторожно выдвигал ящики прикроватных тумбочек, одновременно чутко прислушиваясь, и едва заслышав шаги снаружи, все немедленно закрывал и возвращался к своим машинкам и солдатикам. Бывало, что его и по-настоящему занимали игрушки — у него имелась целое кукольное королевство, игрушечная железная дорога и много всяких других богатств, расстаться с которыми он не пожелал бы ни в коем случае, но не в такие моменты, когда он, как сейчас, находился в спальне родителей.

Сейчас игрушки могли бы и подождать, потому что он находил гораздо более интересные вещи, которые начинали будоражить его изнутри, и, уже зная это чувство, он продолжал копаться в шкафах и ящиках, находя коробочки с фотографиями полуодетых женщин типа тех, которые бывали у мамы и папы в гостях, еще он находил журналы, где были огромные на весь разворот фотографии голых мужчин и женщин, которых сначала он очень испугался, но потом внимательно рассматривал, и сердце его колотилось необыкновенно. Тогда ему пришла в голову мысль, что его папа и мама не очень-то приличные люди, но скрывают это ото всех, и в том числе от него — Франциска. И тогда же он подумал, что очень любит своих родителей, и пусть даже они и неприличные, он любит их все равно... Франциск даже заплакал тогда, сидя в родительской спальне, и едва успел все убрать, как на звуки его всхлипываний пришла мать, и он кинулся к ней со словами, что он любит и ее, и папу, и она обняла его и тоже сказала, что любит. Франциск хотел сказать, что

будет их любить всегда, пусть они и самые неприличные люди на земле, что он и сам готов быть неприличным вместе с ними — своими дорогими папочкой и мамочкой, только бы они любили его, но сказал только первую часть — что будет их любить всегда, и мама, тепло и нежно посмотрев ему в глаза, тоже сказала, что будет любить его всегда, а затем мягко увела сына из спальни, сказав, что это не место для игр.

Год проходил за годом, в школе Франциск учился не блестяще. Школа была частью только кажущейся, внешней вывески, ненастоящей, на которую стоило тратить только необходимый минимум усилий, оставляя главное свое внимание на настоящей, скрытой ото всех жизни, которую он уже здорово научился видеть и признаки которой прекрасно уже различал.

Ему было девять, когда маленький, но ставший уже омерзительно жирным, Жульен смог отпустить от себя его мать, и снова родители пригласили гостей на выходные, а их, детей, отправили к деду. Теперь Франциск уже не бесился, он уезжал преисполненный важности, как бы соучаствуя тому, что будет происходить в их доме.

Мать суетливо собирала и провожала их, будто бы торопясь успеть подготовиться к тому, что должно было здесь случиться, а отец уже сидел в ванной и кричал матери, что она следующая мыться и пусть не забудет потом еще раз ванну напустить. Все, каждая мелочь, убеждало Франциска в его правоте. Он спокойно собирался и, важно кивнув родителям как взрослый и ровня, топал вслед за старой Корнелией.

Так прошел еще год, и десятилетний Франциск, как-то снова пробравшись в спальню родителей, обнаружил там в самом укромном месте конвертик с фотографиями. На снимках были его мать, отец и другие люди, многих из которых он знал. Все люди на фотографиях занимались тем же, что и мужчины и женщины в родительских журналах. Что-то оборвалось в душе у Франциска в эту минуту. Ему снова захотелось заплакать, почему-то стало очень обидно и жалко себя, но потом пришло знакомое возбуждение, и он, глядя на фотографии своих родителей, прямо в спальне отца и матери сделал то, что обычно делал у себя под одеялом или в душе. Как будто бы он был вместе с ними! И как они имели право исключать его! Чем он хуже этих их гостей? Огромная злость овладела Франциском непонятно почему и непонятно на что. Он в ярости измял ту фотографию, что лежала сверху, потом пришел в себя, и недолго думая, отделил от пачки около четверти снимков и вместе с измятой карточкой забрал себе, а остальные небрежно засунул в конверт и положил на место. Он зло думал, что даже и хорошо будет, если мать и отец хватятся пропавших фотографий и найдут их у него — они сразу поймут, как несправедливы были к нему, не давая сыну своей любви и всю жизнь отвергая его огромное и сильное чувство.

С того дня он стал называть мать по имени, он звал ее Люсьен, а она смущенно хихикала от этого. Отец немного хмурился, но тоже не запрещал.

Фотографий никто не хватился, Франциск не мог это себе объяснить.

\*\*\*\*\*

Как-то на уроке безопасности жизнедеятельности им рассказывали о опасностях, тающихся в электричестве. Учитель сказал, что если бросить включенный электрический прибор в ванную, полную воды, то люди, купающиеся в этой ванне, погибнут и делать этого категорически нельзя. Не желательно даже держать в ванной опасные электрические приборы типа фенов, электрощипцов, электро-бритв и так далее. В качестве домашнего



задания он поручил детям проверить, как в их квартирах и домах обстоит дело с опасными электрическими приборами в ванной, и на следующем уроке рассказать.

Оказалось, что у большинства учеников дело с электрическими приборами в ванной совсем не благополучно, многие мальчики и девочки на следующем уроке вставляли и рассказывали, как обнаружили в родительской ванной те или иные опасные предметы, и, храбро объяснив родителям про электричество и воду, заставляли мать или отца делать дом более безопасным. Франциск такими глупостями не занимался, он вообще почти никакие домашние задания не выполнял. Зато, дождавшись дня, когда мать и отец вместе залезали в свою огромную ванну, а Жульен с нянькой уходили гулять, он доставал чуть истрепанные уже фотографии и как-будто бы был с ними.

Квартира, в которой жил Франциск со своими родителями, имела два этажа — первый, на котором располагались гостиная, детские, кухня и гостевые, и второй, куда детей вообще не очень-то пускали и где была спальня родителей, их ванна и отцовский кабинет.

Очередной случай представился во вторник, первого июля. За несколько дней до этого, Франциск обратил внимание на маленькую коробочку с белым порошком, спрятанную у родителей в спальне. Он уже слышал о наркотиках, и то, как была запрятана коробочка с порошком, подсказало ему, что порошок, из той, настоящей жизни, куда его не пускают. Тогда он аккуратно все закрыл и убрал, но в самый день, первого июля, когда родители, убедившись, что он спокойно смотрит комиксы у себя в комнате, пошли купаться он, пробрался в их спальню, достал коробку, засунул туда нос и изо всех сил вдохнул. Сначала ничего особенного не происходило, только через пару минут онемело внутри носа и в горле начало немного горчить, прошло еще минут пять, и сердце в груди его забилось сильнее, дыхание участилось и, он почувствовал себя способным войти к ним прямо сейчас. Более того, он внезапно обрел уверенность, что мать и отец ждут его и специально подкладывают ему то журналы, то свои фотографии, то этот порошок, а сами заходят в ванную и, не закрывая дверь на защелку, ждут, пока он придет! Он бросил коробку на кровать, открыто не скрываясь, вывалил на пол материнское белье и достал много-много фотографий, что в нескольких конвертах хранились здесь, и количество их только увеличивалось, его организм немедленно отреагировал на фотокарточки, среди которых уже стали попадаться цветные, и он, еще минуту назад намеревавшийся подождать их здесь, встал с постели, снял свои домашние брючки и направился в ванную, где раздавались звуки, не дававшие ему более сомневаться в своем намерении. Сделав еще несколько шагов, он открыл дверь.

Увидев его, мать отшатнулась от отца и плюхнулась в мыльную воду, а лицо ее сделалось таким испуганным, каким он никогда ее не видел. Отец в тот же момент повернулся к нему, голый, каким бывает мужчина, внезапно оторванный от своей женщины, а его лицо было перекошено бешенством. В одно мгновение у Франциска улетучилось то состояние возбуждения, которое он испытывал, он выронил фотографии, которые рассыпались по всему полу в ванной, и мать, увидев их, в ужасе закрыла лицо руками, а отец произнес только одну фразу: «Пошел вон отсюда и жди меня внизу для разговора, мсье Франциск Бенаму!» Первый раз к Франциску так обращались. Он стоял перед родителями совершенно голый снизу и сам себе казался маленьким и жалким. Ужас от произошедшего всего его захватил, он был уверен, что там, внизу, куда приказал идти отец, его ждет неминуемая смерть, что отец убьет его, но это не было самое страшное. Самое страшное, что он теперь не знал, в чем правда, что он теперь не понимал, что же происходило все эти годы, пока ему подавали сигналы, и голова его вообще отказывалась понимать, что в этом мире по-настоящему, а что нет! Мир потерял реальность и рассыпался!

Он быстрым движением схватил щипцы и бросил их в воду. Никаких мыслей не было тогда, никаких чувств не было, его вообще не было, а мать и отец, замерев, с ужасом следили, как обычные электрические щипцы для завивки волос падали в их ванну. В

последнее мгновение мать перевела взгляд на отца, и глаза ее стали умоляющими, отец смотрел только на щипцы и в последнее мгновение на своего сына. Прямо в глаза сыну он посмотрел, и этот взгляд пригвоздил к стене Франциска Бенаму, ему показалось, что он убит, что отец все-таки расправился с ним и теперь он умирает или даже уже умер. В эту секунду что-то затрещало, свет несколько раз моргнул, но остался гореть, а отец повалился в воду лицом вниз, мать выгнулась. Их начало трясти, у Люсьен изо рта пошла пена, вода окрасилась чем-то темным и запахло горелыми тряпками.

Франциск Бенаму наблюдал за этим как будто со стороны. Он видел умирающих родителей, видел себя: на корточках, без штанов, привалившегося к двери спиной со стеклянными, нигде не фокусирующимися глазами. Для него все происходило не настоящему, он был в другом мире, где каждая реально протекающая минута была снаружи, и даже на некотором удалении от него. События, в эти минуты происходящие, виделись трагическими, но не настоящими, и можно было относиться к ним как к не совсем настоящим или, на худой конец, с кем-то другим, совершенно незнакомым, приключившимися, как, например, к телевизионным новостям. Это чувство было приятным и напоминало парение в невесомости, хотя Франциск никогда и не бывал в невесомости, но он подумал тогда, что именно так и чувствуют себя люди, пребывающие в невесомости или сами из невесомости состоящие.

Пришел в себя он от боли в голове, но ужаса уже не было, и он был уже другим Франциском Бенаму, как будто сразу вырос и стал взрослым. Франциск поднялся с пола, вытащил из розетки щипцы, чтобы тела в ванне перестало трясти, нащупал дверь, вышел в спальню родителей, где был полумрак. Мальчик чуть отодвинул штору, чтобы стало светлее, потом аккуратно сложил фотографии по конвертам, убрал их, убрал все белье матери, немного покрутив в руках, убрал коробочку с белым порошком, одел штаны, спустился вниз и, позвонив в службу спасения, сказал, что у его родителей что-то случилось в ванной, выключился свет и он боится туда идти. Затем он продиктовал адрес и уселся в кресло — ждать.

Обстоятельства, намеренно, по секретной договоренности с Патриком Бенаму, не внесенные следователем Паскалем Лебонжем в уголовное дело, были следующие:

1. Присутствие кокаина в крови двенадцатилетнего Франциска Бенаму на момент гибели его родителей.
2. Обнаружение в спальне Люсьен Бенаму и Жерара Компани порнографических фотографий с ними самими в главных ролях.
3. Обнаружение таких же фотографий в комнате десятилетнего Франциска Бенаму.
4. Высота мраморного столика, на котором обычно находились щипцы для завивки волос, была ниже, чем высота бортика ванны, таким образом, их нельзя было уронить, их можно было только намеренно кинуть.

## Глава 11. О том, как часто люди, не услышав друг друга, попадают в неприятности.

В день своей аудиенции у президента Машенька совершенно не старалась произвести на старого Патрика Бенаму хоть сколько-то хорошее впечатление. Она, бывшая прежде вполне живой и деятельной девушкой, хотя и немного мечтательной, теперь, после всех произошедших с нею событий, в несколько дней сделалась медлительной и безразличной. И

если прежде свойственная ей мечтательность определялась Машенькой как вопиющий недостаток и молодая девушка изо всех сил старалась от нее избавиться, ускоряя темп всего, чем бралась заниматься, то теперь ей было все равно. Ведь жизнь сама по произвольному мановению необъяснимой и непредсказуемой прихоти распоряжалась ее судьбой, бросая Машу как бесполезную и безмолвную щепочку в океане неуправляемых происшествий. Все получалось вовсе не так, как она планировала, тем более Маше не было вполне понятно, плохо или хорошо происходящее, но и задумываться об этом она не хотела, да и смысла в таких размышлениях не находила. Так или иначе, от ее мнения и от ее настроения совершенно не зависело положение дел, и отсюда следовало, что ее собственное отношение к происходящему оказывалось несущественным.

Была, конечно, возможность не подчиниться, все смело и решительно поменять и разрушить, но она не знала, что на что поменять, и нужно ли менять, нужно ли разрушать — в этом был главный вопрос, который все запутывал. Душа ее разрывалась от того, что уехал Степан, и от того, что так нехорошо пришлось им расстаться, еще рвалась от того, что теперь она все ближе сходилась с мсье Франциском, ставшим ее непосредственным начальством и наставником, и, казалось бы, нужно послать все это негодяйство подальше и вернуться домой, туда, где всегда любят и понимают. Но как вернуться? Без работы, без денег, к измученной матери и бабушке парализованной? Опять дружно делать вид, что хорошо им вместе живется? А лекарства, а сиделки? И Маша уже побаивалась, что не сможет, живя в ужасной нищете и безнадежности, сама себя убедить, что ей хорошо.

Да и было бы во имя чего страдать — уж она пострадала бы, к этому в ее семье все женщины были всегда в готовности, но здесь-то зачем? Степан уехал вместе со всеми стажерами. Маша твердила себе, что должна радоваться за него, и не только за него, но и за себя, за то, что не связала свою жизнь отношениями с женатым мужчиной и не попала в отвратительнейшую ситуацию, но вместо радости приходили горечь, обида и разочарование. Машенька всегда хорошо чувствовала разницу между добром и злом, между хорошим и плохим, и твердо определяя себя и близких своих в поле безусловно хорошего, нравственного и добродетельного, она при любых жизненных обстоятельствах была спокойна и уверена. А теперь?

Франциск Бенаму часто говорил ей о расширении границ. Сначала Машенька не понимала, но постепенно до нее начало доходить, что прежде недопустимое, теперь при определенных обстоятельствах могло стать возможным, и это существенно увеличило бы арсенал ее средств. И она спокойно об этом думала! Думала, вспоминая такого милого, искреннего, такого заботливого Степана, оказавшегося бессовестным трусом, а если прямо сказать, то и подлецом, думала, наблюдая успешного, энергичного и деятельного Франциска Бенаму, которого все боготворили и который многим действительно помогал, несмотря на все ужасные особенности своей чувственности, которые еще две недели назад совершенно исключили бы возможность ее общения с обладателем таких прелестей, но не сейчас. Сейчас она уже училась у него, она встречалась с ним каждый день, и все чаще уважение к его энергии и продуктивности вытесняло омерзение от его кошмарных наклонностей. Таким образом, Машенькины границы расширялись, как этого и хотел мсье Франциск Бенаму, но возникли путаница в голове и неясное, медленное соображение. Маше приходило в голову, что это оборотная сторона расширения границ, но она не была уверена и жаловалась мсье Франциску, а тот успокаивал ее, обещал, что скоро она придет в себя и как раз начнется настоящая работа, работа, занимающая все время, все мысли, не позволяющая отвлекаться ни на какие посторонние факторы, вот тогда она по-настоящему ощутит свою силу, свою продуктивность и мощь. И это восхитительное ощущение могущества поможет справиться со всеми глупыми сантиментами, жизнь станет простой и совершенно понятной и не будет уже для нее недостижимых вершин.

Маша слушала внимательно, уже не возмущалась, хотя того самого трудового задора, о котором говорил мсье Франциск, пока нисколько не чувствовала, а скорее чувствовала себя в ужасном плену у жестоких людей, а возможно, даже и не у людей, и вовсе без всякой надежды выбраться.

\*\*\*\*\*

От встречи со старым Патриком Бенаму она ничего не ждала, считала ее пустой формальностью и думала в тот день о совершенно других вещах. Они тогда вместе с Франциском приехали к президенту корпорации, долго сидели втроем, и говорил в основном Франциск, Машенька только отвечала на вопросы, а Патрик Бенаму помалкивал и разглядывал Машу. На том встреча и закончилась. Ничего никем не было сказано существенного, ничего не произошло из ряда вон выходящего и судьбоносного. Но сам старый президент Машеньке понравился, и еще ей показалось, что к Франциску он относится совершенно не как другие — без всякой почтительности, а наоборот — очень критически и даже сердито. Машенька боялась поверить своим ощущениям, здравый смысл подсказывал, что, вероятнее всего, это ее собственные фантазии. Ну как Президент компании может недолюбливать своего вице-президента, а тем более родного внука, ведь во внуках бабушки и дедушки всегда души не чают!

Сидя в кабинете Президента, слушая вполуха быстрые и как всегда очень убедительные рассуждения Франциска, Машенька мечтала, как бы этот старый, но бодрый еще человек с умными глазами, пользуясь каким-нибудь благовидным предлогом, выставил бы Франциска за дверь, а ей велел рассказывать, как все было с самого начала. И она бы немедленно рассказала, как все было, ничего не утаивая. Рассказать все такому пожилому человеку было бы не стыдно, а он понял бы ее, и оказалось бы, что многие вещи, в которых она сомневалась, ему понятны и очевидны, и он укрепил бы ее уверенность и помог решить правильно все вопросы последнего времени. И он сказал бы ей, что тоже считает Франциска Бенаму, своего внука, негодяем, знает все его штучки и дурные наклонности и теперь, после того как они объяснились, предлагает ей бороться против него на стороне сил добра и справедливости. И она, конечно, согласилась бы, и они вместе сделали бы так, чтобы зло было повержено, а добро победило. Додумав эти мысли до конца, она грустно усмехнулась про себя и подумала, что детские фантазии нет-нет, но возвращаются иногда. Внешне размышления, пробежавшие за минутку в ее голове, никак на ней не отразились, и никто ничего не заметил.

\*\*\*\*\*

Патрику Бенаму девушка понравилась, она показалась ему совершенно непохожей на людей, окружающих его старшего внука. Старый Президент сидел так же, как и Маша, вполуха слушая своего красноречивого внука, и думал, как было бы хорошо, если бы эта барышня захотела рассказать, что делает ее глаза такими грустными. И он выслушал бы ее, и выяснилось бы, что эта девочка вовсе не разделяет общих восторгов по поводу его внука, а наоборот, как и старый Патрик, видит его негодяйскую сущность и готова помочь старому человеку справиться нависающей над ним опасностью. Подумав так, старый Патрик Бенаму

поймал себя на мысли, что видимо, дела у него совсем плохи, если он даже в фантазиях своих мимолетных уповает на помощь девочки, почти ребенка. Он выкинул эти глупости из головы и через несколько минут отпустил посетителей восвояси.

Потом он вызвал к себе в кабинет семейного нотариуса и продиктовал тому окончательную форму своего завещания, над которым они работали последнюю неделю. Завещание было составлено против Франциска и делало Жульена владельцем восьмидесяти шести процентов акций компании. Патрик Бенаму не сомневался, что, несмотря на все меры по обеспечению секретности, его Франциск вскоре узнает о решении деда и этот день будет днем начала их войны, в которой у старого Патрика не было таких уж основательных и выгодных позиций, как это могло бы показаться.

Производство и сбыт компании Бенаму обеспечивали чистой прибылью около трех миллионов долларов ежегодно, притом что стоимость основных средств, или активов, в этих подразделениях составляла около двадцати миллионов. Эти двадцать миллионов недвижимости, оборудования, складских запасов и остатков оборотных средств и считал старик Бенаму своим полноценным состоянием. По наследству от своего отца мальчики получили по десять процентов акций предприятия, которые в свое время еще молодой Патрик Бенаму передал в дар своему зятю Жерару Компании. Семьдесят шесть процентов принадлежали президенту, а четыре процента были распределены между заслужившими того сотрудниками. Теперь президент подписал завещание и по которому все его акции переходили Жульену, Франциск не получал ничего! Дополнительно в качестве пояснительного письма была еще Жульену оставлена подробная записка, что семьдесят шесть процентов акций он обязательно должен оставить за собой, а оставшиеся десять может при необходимости и своем свободном желании постепенно пустить на поощрение заслуживающих того сотрудников, список которых дед своему внуку предоставлял в качестве совета, но не в качестве определенного распоряжения. Хотя старик Бенаму и пояснял своему младшему внуку Жульену, что будь его воля не скована предвосхищением жестокой борьбы Жульена с Франциском, он бы эти десять процентов акций сам бы завещал тем достойным людям, список которых прилагает, но передает эту возможность самому Жульену, чтобы актом этим он смог получить себе крепких и надежных сторонников.

Кроме производства и сбыта, в корпорации Бенаму существовал так называемый брендовый сектор, который занимался продажей сертификатов, лицензий и торговой марки. Центр этого направления был не во Франции, а в США и руководил им мсье Франциск Бенаму. Этот сегмент приносил еще около трех миллионов ежегодно, то есть столько же, что и все производство со всем сбытом, но никаких основных средств при этом не имел и, казалось бы, работал с колоссальной рентабельностью. Именно этот сектор был слабым местом, за которое боялся старый президент и от которого видел главную угрозу всему своему делу. Структура этой части бизнеса была элементарна до банальности и состояла в том, что в соответствии с заключенными контрактами Франциск Бенаму собирал ежегодно тринадцать — четырнадцать миллиона долларов у тех, кто в той или иной мере использовал марку Бенаму для продвижения своей продукции на рынок, и на рекламу ежегодно тратил из этих четырнадцати — десять, еще около миллиона уходило на его высокооплачиваемый персонал, а остальные три миллиона поступало в общую кассу предприятия.

Во всех контрактах, заключаемых Франциском, был пункт, по которому клиенты имели возможность вернуть часть своих денег в случае какого-либо скандала, непосредственно связанного с корпорацией Бенаму, подрывающего ее репутацию и пагубно воздействующего на рейтинг торговой марки.

Никто не мог дать Патрику Бенаму вразумительного ответа на вопрос, в какие суммы может вылиться компенсация в случае скандала. Если бы он мог этот бизнес прекратить! Но он не мог отдать такой приказ. Он вынужден был продолжать крутить эту рулетку, после

того, как три года назад Франциск, вернувшись из Америки, убедил своего деда и весь совет директоров, что стоит попробовать. Первый год оказался совершенно провальным, и на рекламу тогда было потрачено не десять, а почти двадцать пять миллионов, то есть все, что было собрано вперед, и все, что планировалось собрать на следующий год, и еще не хватало! Франциск Бенаму обещал всем клиентам вполне конкретное увеличение оборотов, которое рассчитал, руководствуясь своими американскими учебниками. Во всех контрактах он гарантировал всем увеличение оборота, если нет, обещая - все вернуть и выплатить компенсации. Зная репутацию Бенаму, многие согласились на этот проект и перечислили деньги — Франциск оказался мастером убеждения, но за первые три месяца обороты и не думали расти, а у некоторых упали. Начала развиваться легкая паника. Многие собирались разрывать контракты и даже подавать в суд. А разрыв контрактов большинством клиентов само по себе можно было отнести к скандалам и считать основанием для возврата части денег в виде штрафных санкций.

Патрику Бенаму пришлось тогда выслушать много такого, от чего он был избавлен всю жизнь. Он уже серьезно рассматривал возможность продажи двадцати процентов акций предприятия и выплаты клиентам компенсаций, предусмотренных их контрактами без судов, но тут Франциск, появившись перед советом директоров с уверенностью, горящей в глазах, снова продемонстрировал прямо-таки феноменальную убедительность. Он заявил, что, как человек, отвечающий за проект, готов в первую очередь отдать все свои десять процентов акций в погашение штрафных выплат клиентам, если решение об этих выплатах будет принято. Он немедленно передал деду нотариально заверенное распоряжение на этот счет. Но потом, сделав небольшую эффектную паузу, начал потихоньку убеждать всех присутствующих, что нельзя делать выводы по первому кварталу, что инерция рынка гораздо больше, и он сам уверен, что к концу года обороты клиентов выйдут на тот уровень, который покажется им удовлетворительным, а к следующему году результаты будут еще лучше, и это позволит им увеличить стоимость своего контракта.

Он говорил, что, закрыв сейчас программу, компания потеряет не только будущие доходы, но и свое честное имя, так как все будут считать их пустобрехами, пусть даже и добровольно выплатившими спорные штрафные санкции. Он с жаром принялся убеждать совет директоров вложить еще денег в рекламу и этой форсированной мерой добиться немедленного роста продаж их бренда, раз клиенты оказались такие нетерпеливые. Более того, он довел до присутствующих, что уже договорился с рекламными агентствами о предоставлении в долг эфирного времени и прочих рекламных услуг, и показал расчеты, по которым с поступлений следующего года большинство задолженностей погашалось. Перед началом совета все были настроены против Франциска, а к концу его речи настроение за столом совещаний изменилось. Следующие выступления были либо нейтральны, либо в его поддержку. Хотя теперь, спустя три года, Патрик Бенаму не мог вспомнить, что же именно так их всех убедило. Вероятно, убедила их только неожиданная готовность Франциска пожертвовать всем наследством своего отца — отдать свои десять процентов акций в погашение дефицита по закрытию проекта, а не его аргументация. Аргументация была весьма банальной, а расчеты непроверяемыми, но тем не менее тогда приняли решение сделать так, как хотел Франциск Бенаму. И сам Патрик голосовал «за». Так предприятие залезло в кабалу, расчетный срок выбраться из которой сначала составлял полтора года, потом увеличился до трех, а теперь, по «окончательному» расчету Франциска с учетом всех последних обстоятельств, составил пять лет, три из которых были, к счастью, уже позади.

Теперь оставалось только бросать все силы на контроль качества, чтобы продержаться без скандала и без массовых рекламаций необходимое время. Патрик Бенаму поклялся себе, что как только вернет свои деньги, то немедленно закроет проект, каких бы боев это ему не стоило. Он даже запретил себе умирать, пока не наступит этот день и пока предприятие не

выберется из этого, никому не заметного кризиса, который сам по себе был огромной тайной, известной считанным единицам. Теперь вообще нельзя было говорить о кризисе, все отчеты и оценки должны были быть только блестящие, иначе это могло сказаться на успехах бренда.

## Глава 12. О том, что жизнь всегда наказывает высокомерие.

Стэфан начал уже скучать по странному человеку, ради которого он вернулся тогда в туман и ради которого первый раз дрался с Уродами. Каждый, именуемый Человеком, требовал к себе особенной почтительности, которую Говнюки и оказывали им, иногда просто не желая связываться, а иногда из-за искреннего слюнявого и восторженного раболепства. Жульен не требовал к себе подобного отношения, он даже злился, если Кромбель увлекался с заискиваниями, а когда Стэфан однажды тоже решился излить свои верноподданнические чувства, Жульен посмотрел на него с выражением растерянности, недоумения и произнес с грустной усмешкой, что вот уже от него не ожидал таких глупостей. Он спросил Стэфана о его настоящих чувствах, стоящих за льстивыми и высокопарными словами, Стэфан смутился, не зная, что ответить, но Жульен продолжал настаивать и после небольшой паузы сделал предположение, которое как лезвием резануло по сердцу Говнюка. Жульен осторожно предположил, что, может быть Стэфану самому очень хочется получить похвалы и одобрения от Жульена и, не зная, как это сделать, он прибегает к такому простому способу? Стэфан молчал, слова Жульена в какой-то мере походили на истину, хотя он и не думал об этом. Жульен, дав Стэфану подумать несколько минут, мягко сказал, что этот способ не подходит для взрослых людей, он только для очень маленьких мальчиков и девочек. «Ты же уже не маленький мальчик, Стэфан?» — таким странным вопросом Жульен закончил этот разговор. Всех тогда насмешил Кромбель, он, оказывается, тоже слышал все, что было сказано, и тихо сидел молча, как вдруг разразился рыданиями, причитая, что только сейчас понял, как всю жизнь он пытается выпросить у людей хоть капельку похвалы и заботы, хоть сколько-нибудь, любыми унижениями, но никто ему ничего не дает... Он плакал и говорил, что ему не дают даже той любви, которую дают домашним собачкам, птичкам и кроликам. Жульен и Стэфан так и не поняли, что это было с их приятелем, тем более что несколькими минутами спустя он уже улыбнулся сквозь слезы и сделал такое лицо, будто бы все это было шуткой и ничего не значащим лицедейством.

Жульен не поощрял подобострастия, но вместе с тем оставлял непреодолимую дистанцию между собой и Говнюками. Стэфан с Кромбелем, быстро ставшие приятелями, сошлись гораздо ближе, чем каждый из них с Судьей. На что Кромбель спокойно замечал ему: «Мы же с тобой Говнюки, дружище мой, Стэфан, а судья Жульен — Человек!»

Теперь этот Человек не появлялся уже две недели, и Стэфан с Кромбелем решили, что их общество наскучило бывшему компаньону. Стэфан еще раз удивился непредсказуемости и переменчивости человеческого характера, он искренне возмущался, что даже у них, Говнюков, принято хоть как-то объясняться, разрывая отношения... На что Кромбель сказал, что им и так повезло с этим неожиданным человеческим интересом к их говнюковским персонам и что теперь их все уважают гораздо больше, чем раньше. Стэфан угрюмо согласился, но продолжал выражать недовольство вопиющей, с его точки зрения, несправедливостью. Здесь нужно пояснить, что с самого начала знакомства Стэфан считал себя старшим товарищем для Кромбеля, и то, что его приятель полагал нормальным, Стэфан

относил для себя к унижительному. Теперь он был внутренне согласен, что по отношению к любому из Говнюков поведение судьи было бы совершенно нормальным, но к себе он хотел бы хоть некоторого отличия, и зло раздувал ноздри, размышляя, что он не обычный Говнюк, что сам Жульен что-то говорил о том, что он не совсем обычный Говнюк, а раз это так, то и относиться к нему нужно иначе. Честно говоря, он и интерес судьи к их компании относил только на свой счет и теперь был обескуражен, разочарован и слегка раздосадован.

Больше всего Стэфан досадовал, что не успел поговорить с Жульеном начистоту и не рассказал ему свои соображения по поводу обратного перехода от Говнюка к Человеку. А ему было что сказать! Он даже разработал специальную методику тренировок, которые, по его собственному, Стэфана, умозаклочению, должны были этот переход и обусловить. И он сам тайком ото всех все это время тренировался ежедневно! Это было его находкой и его открытием. Стэфан ежедневно заставлял себя тарашиться в зеркало. Теперь он выдерживал уже по две-три секунды, стискивая зубы и терпя страшную головную боль до того, как в глазах начинали появляться красные круги. Почти теряя сознание, он позволял себе зажмуриваться и отдыхал, прежде чем снова повторить экзекуцию. Потом приходилось долго сидеть, приходя в себя, справляясь со слабостью и головокружением.

Никаких рациональных мыслей, объясняющих смысл этого занятия, он не находил, мучил себя тайком ото всех и даже само зеркало приобрел инкогнито у торговца бесполезными штуками. Но тем не менее чувствовал, что стоит на правильном пути и был намерен вот-вот поделиться своим открытием с Жульеном, только хотел, чтобы результаты тренировок выглядели чуть-чуть убедительнее. И тут такое! Единственный человек, которому можно было доверить столь важное открытие, пропал, то есть определенно продемонстрировал, что никакого интереса к Стэфану не испытывает.

Тремя днями спустя радостный Кромбель принес сплетню о том, что судья Жульен, оказывается, болен и не выходит из дому. Это меняло дело, Стэфан недоумевал, как он сразу не догадался о такой простой вещи, и обрадовался, что Жульен, оказывается, его не бросал, а просто лежал больным. Решено было собрать самые радикальные и дорогостоящие средства врачевания, которыми располагали приятели, и идти навещать друга.

\*\*\*\*\*

Стражника в этот день покусали пчелы. Утром он бодренько вышел во двор своей новой резиденции, где накануне специально для его спортивных упражнений повесили мешок для отработки ударов. Смолоду будучи здоровым и крепким, новый помощник судьи любил помолотить по мешку, с наслаждением вслушиваясь в громкие, резкие звуки ударов его здоровенных кулаков.

Он представлял, что наверняка кто-нибудь тайком подглядывает за ним и с замиранием сердца восхищается его, стражниковской, мощью и ловкостью. Иногда он даже невзначай обводил взглядом окрестные окна, но восторженные зрители, вероятно, скрывались за занавесками и боялись выглядывать во время его тренировки.

Не успел Стражник сделать и десятка излюбленных ударов, как нечто, противно жужжащее, начало крутиться у него над головой, он, не желая прерывать процесс, зло отмахнулся от навязчивых насекомых, относя их по наивности к мухам или слепням, но вместо того, чтобы улететь, мохнатые твари, наоборот, еще сократили дистанцию, и тут же Стражник услышал громкое жужжание прямо перед своим носом и, не успев еще испугаться, ощутил два неприятных укольчика в переносицу, ему показалось, что что-то



омерзительно-мохнатое на несколько мгновений повисло у него над глазами, и сразу за этим начала распространяться боль, да такая, что слезы выступили на глазах у апологета власти и справедливости. Выскочив почему-то из тапочек, Стражник отбежал метров на десять, пытаясь руками ощупать нос и вытащить из него ядовитые жала. Он добежал до дому и, не найдя зеркала, бросился к своему другу Трактирщику, живущему тут же, в резиденции Судьи, так как не желал обращаться за помощью ни к кому из Говнюков. Трактирщик, назначенный Советом исполнять обязанности Судьи и караулить Жульена, только что встал и думал о том, какой же он умный и ловкий Трактирщик и как у него все получилось еще лучше, чем сам он планировал. Как и хотел, он оказался в Городе Говнюков, но оказался здесь не в качестве рядового Говнюка, а на должности целого судьи, априори наделенный полномочиями и общественным уважением, а также, что совсем немаловажно, защищаемый судебским иммунитетом. Вбежавший Стражник прервал ход его приятных мыслей и даже напугал приятеля. Уразумев, в чем дело, новый судья улыбнулся, осмотрел старого товарища и сделал ему примочку на распухшую переносицу. Рожу у Стражника продолжало разносить и глаза его превратились уже в тоненькие щелочки, в чем трактирщик ему еще раз убедительно посочувствовал.

Оба они были преисполнены решимости отправиться завтракать, как вдруг увидели входивших во двор двух Говнюков. И трактирщик, и Стражник немедленно узнали одного из них и замерли. Стражник потом рассказывал, что сразу намеревался крикнуть охрану, но отложил приказ, ожидая команду старшего по должности, тем более он не очень хотел появляться в покусанном виде перед подчиненными.

Стэфан, сопровождаемый Кромбелем, тоже узнал их обоих и, остановившись в нескольких метрах, разглядывал знакомых. Он не знал, что Трактирщик теперь Судья вместо Жульена, а Стражник покусан пчелами. Глядя на раздутую стражниковскую физиономию, он немедленно решил, что они стали-таки Говнюками, как он это и предрекал Трактирщику. К Говнюкам Стэфан позволял себе относиться даже не как к ровне, и решил начать повторное знакомство с шутки. Остановившись метрах в пяти и уперев руки в боки, Стэфан весело крикнул:

— Трактирщик, когда ты прикарманил все мои деньги, то долго объяснял, чем Говнюк отличается от человека. Честно сказать, я многого тогда не понял, а вот сейчас вижу, что физиономия твоего друга, Стражника, действительно подверглась приличной метаморфозе, а сам ты вроде бы не так уж и сильно изменился, разве что немного потолстел. Вероятно, наука отличать Говнюков от людей так и не далась мне. Потому что и тогда, когда мы с вами встретились первый раз, и сейчас вы для меня два совершенно одинаковых Говнюка.

Стражник опять подумал было вызвать охрану, но пренебрег такой возможностью и решил сам расправиться с мерзавцем, который и выглядел, надо сказать, не очень-то внушительно. Стражник, молча подойдя к Стэфану, ловко выбросил левую руку вперед, намереваясь сделать отвлекающий или, если повезет, ошеломляющий удар, а своей нокаутирующей правой он намеревался через пару секунд сокрушить противника на землю, а там уже упоительно попинать по роже, выбить зубы, переломать ребра и, если получится, проломить врагу голову. Но его стратегическому плану не суждено было реализоваться, даже левая не закончила удар, как в руках у Говнюка оказалась небольшая металлическая дубинка, неизвестно откуда появившаяся, и эта дубинка так саданула Стражника под ребра, что до удара правой дело уже не дошло. Трактирщик от ужаса тоже забыл звать на помощь, а попытался удариться в бегство, но двумя секундами позже оба представителя власти валялись на некотором отдалении друг от друга в песке, а Кромбель оттаскивал взбесившегося Стэфана, пытаясь не дать ему убить этих незнакомых ему людей.

Кромбель лучше Стэфана отличал людей от Говнюков и был в ужасе от произошедшего, что не помешало ему, как только Стэфан утих, ловко обшарить карманы

жалобно стонущих господ, при этом Кромбель говорил ласковые слова, гладил даже судью по щекам и всячески делал вид, что оказывает первую помощь. Трактирщик, которому досталось от Стэфана совсем не так разрушительно, как Стражнику, тем не менее считал себя избитым почти до смерти. Оказавшись на земле, он услышал звуки борьбы, а затем кто-то стал говорить с ним ласково и гладить по щекам. Это было невероятным, чудесным спасением с того света. Трактирщик боялся поверить такому счастью. Он испытывал нарастающую, фонтанирующую нежность к своему избавителю, слабым голосом обещал наградить Кромбеля, и, тяжело переводя дыхание, стеноя из-за боли в ребрах, не дающей сделать полный вдох, жаловался Кромбелю, вытаскивавшему тем временем из его карманов все ценное, что очень ранен и нуждается в помощи. Глаза Трактирщика оставались закрыты, а рукой он слабо пытался достать до мешочка, привязанного на шее, который Кромбель не заметил сразу, но теперь, как бы невзначай уложив пациента на бок, Кромбель забрался и в мешочек, вытащив оттуда золотой перстень-печатку Судьи. И Кромбель, и Стэфан много раз видели этот перстень на пальце у Жульена, Кромбель, не переставая причитать, что все теперь в порядке и сейчас прибудет и врач, и охрана, знаком подозвал Стэфана и, приложив палец к губам, отдал ему перстень, глазами направив Стэфана в сторону резиденции судьи, находящейся уже в двух шагах. Зажав судейский перстень в кулаке, тот, перешагнув через лежащего вообще без движения Стражника, помчался к Жульену.

Минутой позже он, оправив одежду и вытерев пот со лба, вежливо стучался в дом судьи. Открыл ему младший охранник, недружелюбно осведомившийся через дверь:

— Чего надо, Говнюк?

Стэфан всегда робел, разговаривая с людьми, и раньше он никогда не видел в доме у Жульена охранников, хотя, надо сказать, был здесь только один раз, когда они с Кромбелем поздно вечером провожали судью до дому, так как и им это тоже было по дороге.

— Я, с вашего позволения, хотел бы видеть Судью Жульена, если я не вовремя, то зайду позже, или могу подождать прямо здесь, если он занят...

— Ты и не вовремя, Говнюк, и подождать судью Жульена ты не можешь, потому что судья Жульен уже две недели как не Судья и находится под арестом, а в городе теперь новый Судья, но он живет через два дома. Его легко найти, он такой... похож на Трактирщика, и с ним почти всегда его помощник, он из наших, из Стражников — здоровенный такой, мы все берем с него пример. А что у тебя за дельце, я, если хочешь, могу поспособствовать решению, ты ведь, я вижу, не бедный Говнюк...

До Стэфана постепенно дошел смысл произошедшего, и он едва удержался от того, чтобы не закрыть лицо руками и не разрыдаться. Он представил себе, что теперь опять вынужден будет жить в лесу, но уже до самого своего конца, который, вероятно, не заставит себя ждать. Лицо его сделалось таким жалостливым и испуганным, что младший охранник расхохотался.

— Не пытайся меня разжалобить, Говнючок, скидки не будет, давай, заходи и выкладывай свое дело что, нужно на недельку арестовать соседа, чтобы остаться наедине с его красивенькой женой?.. Или ты уже что-нибудь натворил?

Голос охранника здесь сделался строгим, но видя, как Стэфан в ужасе замотал головой, он снова расхохотался:

— Да что может натворить такое жалкое отродье, как ты? А-а?

Здесь он повернулся от Стэфана проверить, закрыл ли дверь, а Стэфан как-то автоматически, вообще не думая, достал дубинку и вмазал ею ему по затылку. Охранник мягко обвалился на пол. Стэфан в еще большем ужасе от происходящего несколько секунд стоял неподвижно и слушал, не услышав в доме больше никаких шевелений, он отстегнул с пояса у охранника ключи и пошел искать Жульена.

## Глава 13. Об испытаниях.

Стэфан все не возвращался, и Кромбель, нежно уложив голову судьи как раз на тот камень, об который Трактирщик разбил себе лоб, вкрадчиво произнес, что намеревается быстрехонько сходить узнать, куда же запропастились доктор и охранники. Кромбель, честно говоря, думал уже уносить ноги, чувствуя, что времени для этого остается все меньше и меньше. Поняв намерения своего спасителя, Трактирщик ухватил Кромбеля за руку и самым жалобным голосом умолял не оставлять его до прихода подмоги, он говорил, что приблизит к себе своего избавителя, что осыплет его деньгами и почестями, что он всегда хотел иметь друга среди Говнюков, и сам в душе чувствует себя Говнюком, и всегда любил Говнюков. Кромбель был в растерянности, и вглядываясь в Трактирщика, он подумал, что Стэфан не так-то уж и далек был от истины — новый судья действительно был очень похож на Говнюка. Тем временем израненный властелин нежно гладил Кромбеля по руке и слабым голосом попросил, чтобы и Кромбель его погладил. Надо заметить, что движения Трактирщика были не лишены чувственности, и когда Кромбель принялся гладить его голову, трактирщик принялся издавать слабые стоны, уже не очень похожие на стоны израненного.

Под конец он, не открывая глаз, взял руку Кромбеля и поднес ее ко рту, нежно и чувственно припал к ней губами. Неясно, чем бы закончилась эта сцена, если бы очухавшийся Стражник не поднял Кромбеля, ухватив за шиворот. Ребра Стражника выдержали Стэфановскую дубинку, гораздо более серьезно пострадала его голова, по крайней мере, так показалось Кромбелю, когда он, обернувшись, увидел упертый в себя ничего не соображающий, остекленевший взгляд. Так и не открывающий глаза судья, лишившись возможности ласкаться, поднял слабый крик, на все лады умоляя его вернуться. На эти крики нельзя было не среагировать, и Стражник перевел тяжелый взгляд на распростертого в песке коллегу. С минуту он молча смотрел, потом так же молча опустил Кромбеля в прежнее положение к совершеннейшему восторгу Трактирщика, а сам, тяжело переставляя ноги, потопал в сторону расположения своих войск, состоящих из младших стражников, которые вот-вот должны были вступить в свои, новые для Города Говнюков полицейские функции. Добравшись до своих, лично им подобранных подчиненных, Стражник, изумив всех не столько потрепанным внешним видом, сколько странным взглядом и немногословностью, коротко отдал распоряжения по поводу эвакуации с соседней площади высочайшего лица, подвергшегося бандитскому нападению, и ареста всех подозрительных Говнюков в радиусе двух кварталов от места происшествия. Потом он потребовал себе стул, но, не дождавшись исполнения приказа, рухнул на пол и снова погрузился в бессознательное состояние.

Через полчаса Кромбель оказался в тюрьме. В отличие от других обильно задержанных Говнюков, его как наиболее близкого к месту происшествия поместили в отдельную камеру, что не показалось новому другу Трактирщика хорошим признаком. Дальнейшие действия власти ни в чем не заключались, так как Стражник никак не приходил в себя, а сам господин новый судья, то есть Трактирщик, был определен доктором как находящийся в остром состоянии, страдающий бредом, эмоциональным расстройством и в некотором роде... расстройством влечений. Впрочем, последний пункт решили никуда не записывать, надеясь, что само пройдет.

Про старого арестованного Судью вспомнили только вечером, когда пришли менять охранника и обнаружили его на месте заключенного, да еще привязанного к стулу и с заткнутым ртом. Когда несчастного развязали, он дал уже знакомую симптоматику остекленения глаз и общей заторможенности, прежде чем лишиться чувств.

\*\*\*\*\*

На четвертый день заточения Кромбель затосковал. Он так и сидел один-одинешенек, кормили его плохо, в туалет водили редко, ничего не объясняли, ничего не спрашивали, ни на какие вопросы не отвечали. Тем временем Стражник, хоть и пришел в себя, еще страдал от приступов тошноты, головокружений и мало вставал с кровати, не чувствуя пока в себе достаточно энергии для настоящей работы. Он только отдал распоряжение никого не отпускать и приготовить специальную камеру для дознаний, проще говоря, пыточную. Лежа в кровати, он мечтательно перечислил и описал приспособления, долженствующие присутствовать в этой новой для Города Говнюков цитадели правопорядка. Помещение было выбрано традиционно подвальное, окна зарешечены толстенными решетками, стены покрашены самой отвратительной краской, какую только можно было найти, освещение устроено так, что позволяло ярко светить в глаза подозреваемому, и еще была обустроена смежная, потайная комнатка, где, расположившись на комфортных диванчиках, можно было очень хорошо наблюдать все детали дознавательного процесса.

Оба представителя власти были довольны ходом подготовки. Они с умным видом прохаживались по помещениям, раздавали ценные замечания, пристраивались то к одному приспособлению, то к другому, сидели на диванчиках и, расставляя младших стражников в разных позициях, глядели в специально приспособленные дырочки, и все им очень нравилось. Трактирщик за всеми заботами не забыл о своем новом друге, и в разговорах с боевым товарищем касался его судьбы. Он был осторожным и умным человеком, так что речь об освобождении Кромбеля даже не стояла. Было решено проводить дознание в отношении любимца нового судьи на общих основаниях, но по возможности избегая серьезных увечий и гибели подозреваемого.

Кроме того, Трактирщик, смущенно опустив глазки, попросил Стражника каждый раз уведомлять его перед началом процедуры в отношении Кромбеля, чтобы он успевал занять место для наблюдения на диванчике. Стражник, понимающе хмыкнув, уверил Трактирщика, что все будет исполнено в лучшем виде, и обратил внимание судьи на то, что комнатка с диванчиком запирается изнутри на засов, за что тот вернул товарищу взгляд, полный благодарности за чуткость, тактичность и понимание. Еще Стражник заявил Трактирщику, что уважает его решение, как проявление высшей государственной справедливости и мужества - не делать исключения ни для кого, даже для близких и дорогих людей. Новый судья надул щеки, выпятил губы, так что уголки рта опустились вниз (так он делался немного похож на нового Главу Совета Мудрецов), и согласно покивал другу и ближайшему подчиненному.

\*\*\*\*\*

Кромбелю хотелось жрать! Он подсчитал, что за неделю тюремного заключения ему только один раз давали что-то похожее на суп, раз пять, обычно утром - размазанную по тарелке жидкую гадость неизвестно из какой крупы и ближе к вечеру ежедневно заносили ломоть хлеба. То, что прямо в его каземате стояла бочка с не очень свежей водой, на фоне всего остального было отрадным фактом, и можно было радоваться, что прополаскивать кишки Кромбель мог неограниченно, чего нельзя было сказать о возможности избавиться от этой самой воды, когда тому приходило время. Заключение часами барабанил в дверь и уговаривал охранников, прежде чем они, умягчившись из-за его веселеньких шуток, соглашались вывезти бедолагу в туалет. Так что сильнее голода у Кромбеля бывало только желание писать, но от него иногда удавалось счастливо избавляться, а голод присутствовал всегда и нарастал. Кромбель как раз находился в той фазе недоедания, когда еще далеко до апатии, а вся активность, все силы его организма были направлены на поиск пищи.

Он пытался спорить с охранниками, пытался заискивать, пытался смешить их через дверь или выпрашивать, но это приносило такие крохи добавки, что Кромбель приходил в отчаяние, но все равно продолжал веселить гогочущих стражей. Распоряжение держать заключенных на грани голодной смерти было отдано Стражником. По мнению служителей закона, это являлось подготовительной работой для следствия, чтобы оголодавшие Говнюки еще до начала допросов стали сговорчивее. Так, что подкормить арестованного младшие стражники могли, только пойдя на тяжелейшее должностное преступление. Однажды они проболтались об этом эку из одиночки, и Кромбель понял, что обычными способами он себе еды не добудет. На самый крайний случай у него в запасе оставался еще один вариант. Он мог попытаться подкупить своих церберов, и у него было чем подкупить. Мало того, что после встречи со Стэфаном Кромбель перестал быть бедным Говнюком, афишировать свое, находящееся на свободе имущество он не собирался, но и с собой у него было кое-что, вытянутое из карманов трактирщика. Всех арестованных, конечно, обыскали, водворяя в камеру, но человеку редко повезет найти то, что спрятал Говнюк, и вся добыча из карманов трактирщика была у Кромбеля при себе. Не очень много, надо сказать, но колечко с камешком и несколько золотых монеток ждали своей участи. Теперь Говнюк решил, что пришло время разыграть эту карту. Точнее, не время пришло, а терпение кончилось. Не было уже у Кромбеля никакой силы терпеть голодные муки, и он решился. Он выбрал самую маленькую монетку и когда его выводили в туалет, выронил ее под носом у охранника. Тот, остановившись на секунду, молча подобрал, возможно, и не поняв, откуда она взялась, а по дороге обратно Кромбель мечтательно пробормотал, что если бы ему как следует поесть, то, возможно, в следующий поход до туалета на дороге чудесным образом нашлась бы еще монетка и побольше первой. Вечером охранник сменился и Кромбель стал ждать. Прошел еще день, и на следующий вечер в ночную смену снова заступил тот самый младший стражник. Кромбель как хороший знак отметил, что обычно довольно тихий парень теперь был нарочито груб, орал на него, так чтобы все слышали, но ночью принес целый таз каши и огромный шмат хлеба. Так каждую третью ночь он стал получать хоть и омерзительное, но обильное питание. Это немного поддержало его тело, но вовсе недостаточно. Съесть так много каши, чтобы не голодать следующие два дня, было невозможно. Во-первых, каша была слишком водянистой, чтобы, даже полностью заполнив ею желудок, запастись питательными веществами на два следующих дня, во-вторых, вкус каши был настолько не блестящим, что вдавить ее в себя удавалось в еще меньших количествах, чем хотелось бы. Хлеб, конечно, можно было прятать, что Кромбель и делал, но от переедания грубого, похожего на застывший клейстер, хлеба его начинала одолевать жесточайшая изжога, терзавшая узника наряду с муками голода.

Так что вопрос питания никак нельзя было назвать благополучно разрешенным. Кромбелю очень хотелось курочки, сырика, помидорчиков, огурчиков и рыбки, жареной

картошечки и колбасы, макарон с соусом и без соуса, сладкого чаю с вареньем, пирогом и выпечкой. И, конечно, этот список можно было бы продолжать, продолжать и продолжать... Ему не просто хотелось этого всего, он выстроил убедительную логическую цепочку, в согласии с которой для него совершенно необходимым было в кратчайшие сроки получить полноценное питание, иначе, будучи нравственно слабым Говнюком, он мог бы не выдержать пытки голодом или еще какие-то пытки, а как следует подкрепив себя, имел все шансы не предать нового друга Стэфана. Кромбель уже несколько раз умолял охранника, поставлявшего еду за золото, принести ему чего-нибудь домашнего, но тот был неумолим, и настойчивость заключенного приводила только к тому, что он вообще отказывался разговаривать.

Прошло еще две недели, и Кромбель, чья мысль как следует пожрать превратилась в самую навязчивую из идей и в самую насущнейшую из необходимостей, пустился на крайнюю меру. Он показал охраннику колечко с камушком и сказал, что выронит его на прогулке взамен на огромный круг домашней колбасы с мягким караваем домашнего хлеба и большую жареную курицу. Охранник некоторое время думал, потом попытался выхватить кольцо из рук у заключенного, но Кромбель предупредил, что в ответ на насилие немедленно поднимет шум, и парень сломался. Он пообещал принести все, что заказано, так как у него есть девушка, и если он подарит ей такое кольцо, то она наверняка согласится выйти за него замуж. Так что охранник действовал не из-за одной корысти, а из корысти, прикрытой самыми высокими побуждениями. И у Кромбеля были высокие побуждения. Он не просто хотел жрать, а ему нужно было подготовиться к дальнейшим испытаниям, чтобы быть твердым перед их лицом и не предать нового друга.

Еще через две ночи запах жареной курицы и чесночной колбасы овеял территорию тюрьмы. Предполагая, что учел все, умный охранник в тот вечер угощал товарищей теми же самыми блюдами, добавив к ним бочажок домашнего вина. Коллеги хвалили курицу и колбасу, желали проставлявшемуся благ и процветания, карьерного роста и счастья в личной жизни. Все были счастливы, но счастливее всех был Кромбель. Он разгрызал вожаделенные мясные волокна, заедая их мягким, ароматным хлебом, испеченным, возможно, только сегодня. Кроме заказа, охранник, расщедрившись добавил ему несколько помидорчиков и пару огурцов, которыми заключенный Говнюк, урча и с неудовольствием прерываясь, чтобы сделать вдох, хрустел, жадно запихивая их в рот, куда секундою раньше уже совал вперемешку курицу, колбасу и хлеб.

В ту ночь Кромбель заснул счастливым, хотя и отметил про себя вскользь, что не чувствует особенного прибавления силы духа и готовности выдержать пытки ради спасения Стэфана.

Счастье Кромбеля длилось меньше часу, потому что не успел сладкий и сытый сон впервые за много недель принять заключенного в свои объятия, как ужасные спазмы в желудке взорвали его изнутри. Началось с того, что Кромбель, лежа на боку и отметив, что в одиночном заключении есть свои плюсы, расслабил соответствующее место, чтобы как говорят в деревнях, пустить сытые ветры. Но в следующую секунду почти уже спящий Говнюк почувствовал, что из него вырвалось не только газообразное содержимое, но и жидкое, и следом за этим малоприятным сюрпризом острая, резкая боль заставила его за секунду покрыться холодным потом. Потом Говнюк вскочил и волчком заметался по своему каземату. Ночью заключенных не выводили, но думать, что можно подождать до утра, не было и речи. Кромбель стискивал зубы и поджимал колени, он ходил и бегал, он гладил себе живот и по часовой, и против часовой стрелки, он пытался думать о чем-нибудь другом, пытался отвлечься на фантазии о самых грязных безобразиях, но еще через пять минут, поняв бесполезность попыток справиться со своим организмом, принялся неистово барабанить в дверь. Это продолжалось еще минут десять, он перебудил заключенных из

рядом расположенных камер, которые начали орать, что он не дает им спать, а он орал в ответ, что ему нужно в туалет и нет сил терпеть, что встречало только ругань или взрывы гогота. Охранники, увлеченные деликатесами, категорически не реагировали на шум из крепко запертых подвалов, и никто не помог Кромбелю. Еще пятью минутами спустя он совершенно машинально, не соображая ничего больше и подчиняясь только боли, облегчил свой кишечник прямо перед дверью. Это принесло лишь минутное ослабление страданий, потом последовали новые спазмы, и к утру обиталище заключенного Говнюка представляло жалкое, зловонное и, надо сказать, омерзительное зрелище, где Кромбель, почти не осознавая от боли своего положения, валялся на боку, стискивая зубы и скребя ногтями по каменному полу, покрытому курицей, чесночной колбасой, домашним хлебом и овощами, несколькими часами раньше прошедшими через его пищеварительный тракт. Охранники, утром вытаскивавшие его, ничего не соображающего, из обгаженной камеры, заметили, что заключенный Говнюк умудрился с мясом выдрать себе четыре ногтя на правой руке. На вопросы он не отвечал, а только каждые несколько секунд выпучивал глаза, надувал щеки и начинал изо всех сил скрести окровавленными пальцами по любой располагавшейся вблизи него поверхности.

\*\*\*\*\*

Оправившийся от травмы головы первый помощник судьи смог приступить к допросам арестованных Говнюков всего за несколько дней до неудачного пиршества Кромбеля. Почти месяц, пока он хворал, ко всем сорока восьми арестованным Говнюкам применялась подготовительная, или, как ее научно определил Трактирщик, превентивная, «тактика непереедания». Тактика оказалась столь успешной, что сразу после начала допросов появилось огромное количество показаний, притом что даже не приходилось прибегать к мерам физического воздействия. Говнюки наперебой рассказывали под запись, как они видели своих знакомых, соседей по дому, соседей по камере, родственников и даже родителей или взрослых детей, нападавших на нового судью, а потом убежавших врассыпную. Стражник уже намеревался осуществить вторую волну арестов, но его путала некоторая сбивчивость показаний. Очень уж Говнюки путались в деталях, как только требовалось эти детали описывать, и еще из разрозненных показаний никак не выходило никакой целостной картины. Тем не менее Стражник не унывал, поскольку худшее, чего стоило бояться — отсутствие подозреваемых, ему не грозило. Самого перспективного заключенного, содержащегося в одиночке, решено было оставить на тот момент, когда будет проясняться картина со всеми остальными, и очередь его далеко еще не подошла, как запыхавшийся начальник тюрьмы, смущаясь, принес руководству известие, что заключенный, проходивший как Говнюк Кромбель, прошлой ночью обосрал всю камеру и, до сих пор находясь в почти бессознательном состоянии, невнятно бормочет о том, что нужно было есть только курицу, и зря он набросился на чесночную колбасу. На вопросы не отвечает, на попытки физического воздействия не реагирует. В настоящий момент помыт из шланга и водворен в лазарет, где лекарь сомневается в жизнеспособности данного экземпляра, подозревая у него заворот кишок из-за внезапного переедания тяжелой пищи. Еще начальник тюрьмы сообщил о проведенном по горячим следам расследовании и обнаружении среди младших охранников предателя, который, прельстившись на неизвестно откуда взявшееся в камере у Говнюка ювелирное изделие, предоставил ему губительную

пищу, нарушив тем самым тактику непереедания. Само ювелирное изделие, а именно кольцо с бриллиантом, изъято как вещественное доказательство, предатель арестован и в наказание водворен в бывшую камеру заключенного, где стоит возле двери и рыдает, прося выпустить его на свежий воздух.

Стражник с Трактирщиком молча выслушали доклад, оба узнали одно из пропавших у нового Судьи колечко и распорядились принять меры к оживлению Говнюка Кромбеля, вышефигурировавшего в докладе, или недопущению его смерти прямо сейчас, так как стоимость его показаний в свете новых событий становится все более значимой. Также было велено содержать его в отдельном помещении, не допускать никаких контактов и охранять как особо важного злодея.

\*\*\*\*\*

Выполняя задачу не дать Кромбелю умереть, тюремный лекарь и начальник тюрьмы применили все известные им средства и самую современную терапию. Характерное вздутие живота, полное прекращение отхода газов и поноса наряду с острыми болями предполагали неблагоприятный диагноз, при котором шансов выжить у больного не было. Но лекарь был человеком естественно-научного склада и решил применить способ собственного изобретения, который состоял в обильном клизмовании под давлением и надавливании небольшим бревном на живот и подвешивании больного в разных позах в сочетании с энергичным растрясанием. Все эти средства были направлены только на то, чтобы оказать воздействие на кишки, которые должны были либо порваться, либо встать на место. Первый результат (когда кишки рвутся) тоже был интересен для клинической практики, так как позволял делать заключение об устойчивости кишок к разрыву и впоследствии при ограниченности времени сразу применять максимально возможные для человеческих внутренностей нагрузки. Давление на кишки Кромбеля по этой причине решено было увеличивать дозировано, в соответствии с разработанной лекарем методикой. Раньше лекарь экспериментировал с лягушками, котами, баранами и свиньями, пересчитывая к удельной массе тела нагрузку, при которой рвались кишки испытуемых. Материал получился интересным, но удача провести эксперимент на человеке появилась только сейчас, так как никто из родственников умирающих не давал прежде согласия на вышеописанную терапию. Без всякой терапии с такими симптомами умирали девятнадцать человек из двадцати. Приблизительно один из двадцати выживал невероятным образом, что лекарь относил к погрешности в установлении диагноза. Так что Кромбелю предстояло быть одновременно средством испытания новой формы лечения и моделью для измерения эластичности кишечника.

Ничего не соображающего от страданий, стонущего больного положили на стол в операционной, где на всякий случай все было уже приготовлено для вскрытия. Начать решили с клизмы под давлением. Пациента повернули на бок и, введя самый большой из наконечников ему в задницу, начали накачивать воду небольшим насосом. Давление в орущей от боли системе Кромбель-клизма-насос постепенно довели до двух с половиной атмосфер, но небольшое количество воды, влившейся в кишки испытуемого, показало, что непроходимость и не думала исчезать. Тогда Кромбелю заткнули рот, так как своими воплями он отвлекал медицинскую бригаду и мешал записывать показания. Пациента сняли



со стола, и четверо санитаров начали трясти его, удерживая в самых разных положениях. При этом с помощью специальной пробки внутри испытуемого сохранялось рабочее давление жидкости в две с половиной атмосферы. После растрясания больного подвесили головой вниз и двое санитаров продолжали трясти и бултыхать его раздутый как барабан живот. Сам лекарь следил, чтобы четко соблюдалась хронология и у больного не произошло мозгового кровоизлияния. Он аккуратно наблюдал и диктовал секретарю бесценные для науки данные. В глазах и на щеках у испытуемого появилась паутинка лопнувших капилляров, лицо приобрело малиновый оттенок, а когда он перестал осуществлять хаотичные движения всем телом, его аккуратно сняли и уложили обратно на операционный стол, где несколько минут было потрачено на приведение потерявшего сознание пациента в себя. Очнувшись, испытуемый начал отчаянно мычать, силясь сказать что-то, но решено было не терять времени на бесполезные разговоры и продолжать эксперимент. Из Кромбеля извлекли пробку и дали возможность жидкости излиться в специальный тазик. К счастью своему, лекарь обнаружил в тазике небольшое количество каловых масс, что означало успешную динамику процесса. Лекарь поздравил своих помощников с успешным началом и дал команду продолжать эксперимент. Теперь решено было использовать давление сверху, и на распростертого Кромбеля положили небольшое ошкуренное бревнышко, которым начали катать по его животу. Сначала в процедуре было задействованы пять человек, так как четверо держали извивающегося Говнюка, а пятый катал бревно, но минутой спустя оказалось, что удержать руку, а еще хуже ногу больного одному человеку не под силу, и на ходу были изобретены петельки из толстой веревки, которыми затащили конечности пациента. Если он раздирал себе кожу веревками, значит, боль внутри него усиливалась, а если пытался ограничивать болезненные движения собственных рук и ног — утихала. Правда, с первичным уровнем точности этот способ работал всего лишь несколько минут, до тех пор пока кожа с щиколоток и запястий не была совершенно стерта и содрана компульсивными движениями испытуемого, после чего трудно стало уловить систему в его движениях. Второй раз уже при прежнем рабочем давлении удалось влить в пациента немного больше жидкости и при ее истечении снова добиться небольшого количества каловых масс. Это говорило лекарю, что он на правильном пути и вопрос только один — выдержат ли у пациента кишки. Рабочее давление медленно увеличивали, на третий раз в тазике, куда истекала жидкость из кромбелевской задницы, лекарь обнаружил воду, окрашенную кровью. Эту информацию аккуратно занесли в журнал, и лекарь после пятиминутного отдыха бригады скоординировал еще поднять рабочее давление, понимая, что эксперимент входит в свою решающую фазу. Успех пришел на четвертом растрясании. Пациента тогда трясли вниз головой, и вид его из-за огромного живота напоминал больше вид беременной женщины, точнее, непосредственно рожавшей женщины, которую почему-то переворачивают вниз головой то одним, то другим боком и трясут. Так вот пациент, который до сего момента, обессиленный, не предпринимал каких-нибудь движений, вдруг напрягся всем телом, выгнулся, дернулся изо всех сил, издал заткнутым ртом звук, похожий на вопль, и затих. Лекарь и вся бригада замерли, думая, что наступила смерть испытуемого, но в этот момент пробка из задницы Кромбеля вылетела, и прямо на лекаря и всю бригаду под тем самым рабочим давлением, которое сами они накачали в четвертый раз, хлынул поток тухлого, зеленоватого цвета, зловонного говна. От неожиданности пациента бросили на пол, и он, ударившись головой, затих, извергая под себя последние выплески из сдувшегося и опавшего живота. Это были совершеннейшая удача и полный успех! Лекарь, не обращая внимания на состояние операционной, бросился поздравлять всю бригаду, санитары заулыбались, даже тот, служивший раньше охранником, которому струя из зада пациента пришлась в самую рожу. Все поздравляли друг друга, все радовались и торжествовали. Теперь оставалось только все помыть и удостовериться в том, что испытуемый жив, хотя для лекаря самый

главный результат уже был достигнут. Кишки выдерживали! Кстати говоря, по ходу операции он узнал пациента, у которого частенько покупал мази из уродских внутренностей. Также лекарь вспомнил, что последнее время этот торговец мазями стал таскаться вместе с еще одним Говнюком по имени Стэфан, который по слухам и охотился на Уродов, имея какие-то особенные способности в военном деле, за что многие в городе его побаивались. Он даже вспомнил, что их обоих видели в компании прежнего судьи и считали всех троих приятелями. Зная историю нового судьи и его помощника, тюремный лекарь быстро сопоставил все эти данные в своей голове, пришел к единственно возможному выводу, но решил, что не собирается никому ничего рассказывать. Он тоже был Говнюком, как и все почти в этом городе. Отдав распоряжение привести Кромбеля в чувство, помыть и выхаживать, давая ему понемногу специальные отвары травок, заживляющие внутренние разрывы, тюремный лекарь отправился обрабатывать и приводить в систему данные последней своей операции.

\*\*\*\*\*

Кромбель не умер. Хотя были минуты, когда он мечтал умереть. Тогда он готов был признаться во всем, рассказать обо всех, но никто не давал ему говорить. Заткнутый рот не позволял выразиться ясно, а отчаянного мычания никто не понимал. Так и прошла вся пытка, где в краткие моменты прояснения сознания, Говнюк недоумевал только оттого, что ему не дают сказать, выложить все, что они хотят знать, всех предать и умереть спокойно! Когда все кончилось, у него тоже ничего не спрашивали, а бережно помыли, уложили в чистую кровать и начали поить с ложечки какой-то дрянью. Впервые за несколько дней у Кромбеля не болел живот, точнее, не было резких болей, не было спазмов, а нить-то, конечно, живот продолжал, но это было блаженством по сравнению с испытаниями последних дней. К вечеру его покормили с ложечки кашей, сменили повязки на лодыжках и запястьях, и заключенный уже намеревался уснуть, как пришли два стражника и потребовали, чтобы он встал с постели и шел за ними. Один из них резко сдернул одеяло и, секунду задержав взгляд на окровавленной простыне, потянул Говнюка за плечо, понуждая подниматься. Кромбель постарался встать, но ничего не получилось, он даже не мог долго удерживать голову над подушкой, а не то что вставать. Видя, что слова не помогают, младшие стражники, схватили арестованного за подмышки и резко поставили на ноги, но ноги у Говнюка не могли стоять, и, как только они отпустили его, он тут же свалился, как будто вместо мышц и костей состоял из веревочек. Он свалился возле кровати, и единственное, на что у Говнюка достало сил, это, подперев себя руками, повернуть голову и недоуменно улыбнуться своим конвоирам. Когда один из них пинком сапога ударил его по опорной, дрожащей от усилия руке, Кромбель всем лицом бухнулся на пол и лежал там не шевелясь, собираясь с силами, чтобы снова не потерять сознание. Через минуту он еще раз приподнялся на руке и, повернув голову к двум возвышающимся над ним здоровенным мужикам, представил себе, как бы Стэфан мог отделать их своей дубинкой. Он подумал, что не стал бы его останавливать и обе эти сытые рожи разлетелись бы как два гнилых арбуза, успев только ужаснуться неотвратимости смерти. Они показались ему такими жалкими, эти

два потных, только что набивших свои брюхи солдатским обедом младших стражника, что он позволил себе ухмыльнуться и предложил им, таким здоровым амбалам, себя понести, раз им так надо куда-то его транспортировать. За эту наглость он получил увесистый пинок по ребрам, сжался в комочек и затих, а младшие стражники, выругавшись, вышли, хлопнув дверью. Никто не заходил, чтобы помочь Кромбелю взобраться обратно на кровать, и он сам начал затаскивать себя. Сначала он приподнялся на руках, потом перехватился за основание койки, руки его дрожали, ноги почти не слушались, но он терпеливо полз, наваливаясь всем весом на кровать, и уже почти заполз, когда снова открылась дверь его палаты и с порога раздался громкий хохот. Это новый помощник Судьи сам пожаловал к заключенному, когда ему доложили о совершеннейшей нетранспортабельности объекта дознания. Как и положено, большое начальство сопровождали два младших охранника и тюремный лекарь. Вид Кромбеля и вправду был потешный, он как будто пытался бороться или даже обниматься с кроватью, наполовину закинув на нее одну ногу. Кромбель ответил вошедшим улыбкой и последним усилием закончил свое дело. Затем, отдохнув пару секунд, он аккуратно перевернулся на спину и вежливо уставился на визитеров. Стражник знаком приказал всем удалиться, взяв стул, уселся на него, повернув спинку наоборот в сторону Говнюка.

— Ты знаешь, кто я такой, Говнюк?

— Нет, но, наверное, вы большое начальство, раз командуете здесь...

— Хочешь сказать, ты никогда меня не видел?

— Что-то не припомню...

— Вспоминай лучше, Говнюк, от того, как хорошо будет работать твоя память, сейчас зависит вся твоя говнюковская жизнь. Надеюсь, мне не нужно пояснять тебе, к чему тебя могут привести попытки лукавства, обмана или недоговаривания?

— Я не помню вас...

— Ты что, не помнишь, как месяц назад на площади ты был участником нападения на меня и городского судью?

— Так вы тот человек, который лежал в песке с разбитой головой? О, у вас очень крепкая голова, я думал, что там лежит уже неживое тело, а когда вы поднялись и схватили меня за шиворот, я пришел в ужас, полагая, что вы оживший мертвец. Я помню этот случай, но я вовсе ни на кого не нападаю, а пытаюсь защитить того, кто еще нуждался в защите, вашего товарища...

— Защитить? Ты, Говнюк, смог бы защитить кого-то? Ты что, воин? Как ты мог противостоять тому, кто даже меня, пусть и хитростью, но сбил с ног? Ты врешь, Говнюк!

— Я не вру, я защищал человека, которого пытался убить какой-то обезумевший. Я отталкивал его и просил не убивать здесь людей, я не действовал силой, ее у меня недостаточно, но я действовал убеждением, и тот человек подчинился мне, или у него переменялось настроение, я не знаю... он убежал, а я начал оказывать помощь...

— Тем, что украл вот это кольцо?

— Я не крал кольца, человек, которого я спас, сам подарил мне его в знак нашей дружбы. Он говорил, что будет дружить со мной, вопреки тому что я Говнюк, из-за того, что я его спас.

— Ты снова врешь! У нас есть показания свидетелей, очевидцев того, как ты вместе с еще одним Говнюком участвовал в нападении!

— Почему же я тогда не убежал вместе с ним?

Здесь по щеке у Кромбеля скатилась большая слеза, он сам подумал, а отчего же он тогда не убежал со Стэфаном? Подумал и вспомнил, что были целых две возможности убежать, и только из-за того, что человек, похожий на Трактищика, очень просил не оставлять его одного, Кромбель остался.

Дальше этот первый допрос Кромбеля пошел по кругу. Стражник орал, Кромбель слабым голосом, вежливо, но непоколебимо стоял на своем, и так еще час, после чего разъяренный дознаватель, пообещав, что следующая встреча будет в пыточной, удалился, а подозреваемый уснул.

\*\*\*\*\*

Трактирщик реально не помнил, дарил он Кромбелю кольцо или нет. Вспоминая свое восторженное состояние, он думал, что мог подарить колечко, но самого факта не помнил, хоть убей. Но и определенно утверждать, что не дарил кольца, он тоже не мог. Оставалось продолжать дознание в отношении Кромбеля, надеясь узнать истину от второго участника событий. По настоянию тюремного лекаря главному подозреваемому дали неделю на восстановление здоровья, чтобы потом приступить к допросам с пристрастием. Кстати сказать, Кромбель получил эту неделю не из-за милосердия Стражника, а только потому, что лекарь убедил первых лиц, что после такой операции, какую перенес Говнюк, болевой порог у него временно завышен и нужно время, чтобы он снова стал восприимчив к физическому воздействию.

Всю эту неделю Трактирщик не находил себе места, он хотел скорее определиться в отношениях со своим потенциальным другом и жаждал получить определенность в чувствах. Он как-то говорил Стражнику, что, возможно, и простил бы украденное кольцо, как обыкновенную слабость, но никогда не сможет простить лжи, тем более человеку, которому готов был довериться. Стражник понимающе кивал башкой и делал вид, что разделяет чувства патрона и друга. Наконец-то неделя закончилась, и Трактирщик заранее занял место в диванной комнате. Он сидел как на иголках, жгучее возбуждение переполняло его от мысли, что сейчас прямо перед ним будет осуществляться допрос с пристрастием. И не кого-нибудь, а именно Кромбеля... Кромочки, того самого, о котором Трактирщик столько думал, и даже по ночам... Трактирщик очень — очень волновался и даже поймал себя на мысли, что этот негодник Кромка, наверное, ничего не знает о его невыносимой нервотрепке. Наконец-то ввели подозреваемого. Трактирщик прильнул к глазку, и как только младшие стражники сорвали с подозреваемого одежду и первый раз швырнули Говнюка на пол, у трактирщика почему-то стало мокро в штанах, машинально ощупав себя, он понял, что с ним случилось то, что иногда бывает с подростками, когда тем удается подсмотреть за девочками в раздевалке. Но было не до того, чтобы размышлять о всяких глупостях, а предстояло заниматься государственным делом — смотреть в дырочку, где события разворачивались уже полным ходом. Подозреваемого закрепляли в аппарате для медленного сдавливания головы. Трактирщик, честно говоря, один раз сам попробовал, как чувствуется внутри этого приспособления голове, и очень быстро попросил Стражника открутить его обратно, так как даже при небольшом нажатии в висках сразу застучало и стало понятно, что сделай Стражник еще несколько оборотов, и череп затрещит, а потом взорвется как бомба. Закрепив голову подозреваемого в станке, привязав ему руки и ноги к специальным петлям, Стражник, проводивший дознание, начал задавать вопросы по списку. Первый круг вопросов не принес ничего интересного — Говнюк терпел, но со второго круга было найдено то положение, при котором терпеть боль Говнюк уже не мог. Подозреваемый начал орать, скулить, молить выпустить его из этих тисков, обещал, что все расскажет и во всем признается. На этом месте у Трактирщика в брюках произошла частичная эрекция, и, закрыв

дверь на задвижку изнутри, он, не прерываясь в наблюдении, засунул руку в штаны и начал поглаживать свой детородный орган. Делать это в штанах было не очень удобно, и минутой спустя государственный муж решил, что находится в достаточном комфорте и уединении для того, чтобы достать свое хозяйство. Как только рука высвободила гениталии нового судьи, он почувствовал неприятный кисловато-тухлый запах, но и не думал прерываться, а только отметил, что в диванную надо бы провести водопровод, чтобы потом ополаскивать руки. Собственный запах совершенно не мешал Трактирщику работать. А подозреваемого тем временем временно освободили от тисков и снова допрашивали, но он упрямо скулил, что ни в чем не виноват, но если это избавит его от пытки, он готов признаться в чем угодно. Фактически запирательство продолжалось, и Стражник снова приступил к процедуре поиска истины, а Трактирщик снова весь прильнул к своему отверстию. Теперь голова упрямого Говнюка была сдавлена еще чуточку сильнее, а орать и визжать он начал, еще когда ему одевали на голову приспособление, видимо, так свежи были воспоминания о предыдущей экзекуции. Несмотря на крики, мольбы и обещания сознаться, Стражник довел дело до конца, и вопли зажатого на стуле перешли в непрерывный, на самой высокой ноте визг, смешанный с воем. У Трактирщика от этого вопля даже разболелась голова, и он вынужден был на секунду прерваться в обоих своих занятиях, чтобы помассировать виски. Пока он пальцами давил себе на нужные точки, подозреваемый продолжал орать, а Трактирщик подумал, что теперь и лицо следует ополоснуть водичкой. Когда он снова прильнул к глазку, Говнюк, уже освобожденный от тисков, весь трясся, руки и ноги, привязанные к креслу, кровоточили, челюсть его дрожала крупной дрожью, но ничего нового он не говорил, а только униженно умолял его не мучить, обещал сделать все что угодно, дать показания на кого угодно, только чтобы ему сказали на кого. Трактирщик даже испытал что-то вроде презрения к так унижающемуся Говнюку и подумал, что такой человек вряд ли мог спасти его от смерти. А за стеной Стражник, опять не удовлетворенный ответами подозреваемого, снова начал надевать на его голову приспособление. Говнюк рыдал, кричал, извивался на стуле, не обращая внимания на кровь, льющуюся из лодыжек и запястий, но неумолимый Стражник делал свое дело. На этот раз он, вероятно, чуть перестарался, так как в один момент подозреваемый на самой высокой ноте оборвал свой крик и обвис в кресле. Минут пять его приводили в себя, а Трактирщик тем временем почувствовал, что очень вспотел, и подумал, что работа у него не из легких. Снова, в четвертый уже раз Стражник задавал все те же вопросы обвиняемому, который теперь тупо соглашался со всем. Он говорил, что бил Стражника и Трактирщика дубиной, что украл кольцо, что был в сговоре с кем угодно, только не говорил с кем и не мог объяснить, почему же он тогда не убежал со своими поделщиками. Стражник вслух предположил, что, возможно, хитрый Говнюк рассчитывал втереться в доверие к господину новому судье и поэтому пренебрег возможностью смыться, на что Кромбель согласно закивал головой и сказал, что именно для того, чтоб втереться в доверие, он и украл кольцо. Стражник озадаченно умолк, а Кромбель заплакал. Он говорил, что не знает, чего бы такого придумать, что выглядело бы правдоподобно, и на самом деле ни в чем не виноват.

Стражник снова начал молча надевать на голову рыдающего подозреваемого аппарат и закручивать, когда Трактирщик позвонил в специальный звоночек, означающий, что нужно сделать перерыв, но Стражник, зло глянув в сторону дырки в стене, проигнорировал первый звонок. Шел пятый круг вопросов, и когда он закончился, Трактирщик позвонил еще раз, уже настойчивее, и только тогда Стражник прервал свою работу и вышел посоветоваться с руководством.

\*\*\*\*\*

Кромбель не слышал никакого звонка, он вообще стал плохо слышать, мешал какой-то звон, все громче и громче раздававшийся в голове. Ему снова надевали на почти уже лопнувшую голову приспособление, которое на это раз должно было определенно его убить. Он заплакал, потому что не мог больше терпеть и знал, что не выдержит этой пятой пытки, заплакал от жалости к себе и от презрения, заплакал, чтобы хотя бы слезами, хотя бы на несколько секунд отсрочить тот позорный момент, когда он предаст и Стэфана, и Жульена. Перед тем как начать крутить, Стражник всегда задавал вопросы, и именно этих вопросов ждал теперь Кромбель, чтобы сознаться во всем. Вопросы задавались, когда было очень больно, но он еще мог соображать, а когда вопросы заканчивались, Стражник начинал крутить свои железки, и тогда оставалась одна живая боль и больше ничего. Вот уже звучит первый вопрос, и Кромбель с удивлением слышит свой голос, повторяющий все ту же набившую оскомину глупость, что он ни в чем не виноват, но он не стал мешать этому своему голосу, ведь впереди были еще вопросы, а он решил сознаться на последнем, а когда пришло время последнего, то как-то снова сказал как всегда. Это была всего секунда, он тут же пожалел, что не сдался, и ведь все равно он не выдержит, а только еще больше будет страдать... потом боль оборвала его мысли. Через какое-то время голову открутили, и снова задавались вопросы, это были первые вопросы, а впереди еще маячили вторые, вопросы шестого круга, на которые Кромбель поклялся себе ответить чистую правду... Но что то произошло, и сначала, прервав свою работу, вышел новый помощник судьи, потом он заглянул в дверь и дал знак охранникам, которые тоже вышли, но не отвязали его. Еще через несколько минут привязанный к стулу голый Кромбель увидел, как дверь открывается и в нее вползает Трактирщик, который бросился к Кромбелю и, обнимая его голову, стал что-то лопотать, а Говнюк увидел на противоположной стене дырочку, которая раньше не была заметна, вероятно, из-за того, что кто-то закрывал ее собой, наблюдая. Переведя взгляд на трактирщика, Кромбель обратил внимание, что лоб у его нового друга покраснел, как это бывает, когда долго опираешься им обо что-то, а руки, гладившие его лицо, ощутимо воняли тухлыми трусами. Кромбель закрыл глаза и, преодолевая приступ рвоты терпел эту новую пытку, когда человек с вонючими пальцами гладил его по лицу, шептал на ухо, что не знал о таком злодеянии и теперь уже никому не даст его в обиду. Потом он слышал какие-то признания в любви и в этот момент Говнюка все-таки вырвало. Как будто кто-то сорвал у него в голове стоп-кран, он не смог больше удерживаться, и всю кашу, съеденную на ужин, выблевал прямо Трактирщику на башку. Говнюк даже не смог закрыть рот рукой, так как остался привязан к креслу. Трактирщик, ощутив на голове что-то теплое, сначала не понял, что произошло, потом проверил рукой, вскочил, дико глянул на Кромбеля и резко схватил стоящую рядом железную палку. Возможно, он убил бы в этот момент нового друга, но Кромочка виновато улыбнулся ему и сказал: «Извини, это у меня от усталости...» Тогда Трактирщик как-то выдохнул, согласно закивал головой, начал бормотать, что с кем не бывает и что он сам такой настырный со своими нежностями, что Кромочке нужно дать отдохнуть и еще что-то. Потом Трактирщик нашел какую-то тряпку, как мог вытер башку и выбежал за дверь, а еще через десять минут вернулись младшие стражники, отвязали его и вернули в тюремный лазарет.

## Глава 14. О политической жизни.

Город Говнюков был совершенно аполитичным городом. В нем никогда не было никаких партий, движений или объединений, так как объединиться во имя чего-то с кем-то каждому Говнюку мешало подозрение, что другой от этого объединения выиграет больше. Власть в Городе Говнюков всегда была скорее номинальной, чем действительной, и не только потому, что ни у кого из людей не было желания править этим бедламом и для этой цели редко находился охотник из самых сознательных типа Жульена, а еще и потому, что Говнюками было очень трудно управлять. У них была потрясающая способность игнорировать и поглощать своей массой все, даже и самые прогрессивные инициативы начальства, проходить сквозь пальцы в любых процессах, требующих какой бы то ни было мобилизации народных (то есть говнюковских) сил и, вопреки всей общественной науке, продолжать жить совершенно без писанных правил или законов, как кому заблагорассудится, по принципу каждый за себя или все против всех. Над неудачниками в Городе Говнюков издевались, бедные здесь быстро умирали от голода и болезней, стариков было очень мало, так как редко кто доживал до преклонных лет, нищих на улицах не было, так как никто и никогда не вздумал бы здесь кинуть хоть грош в нищенскую кружку.

В Городе Говнюков вообще было не так уж и много старожил, но он ежедневно пополнялся бывшими людьми, недавно сделавшимися Говнюками и шедших сюда со всех сторон света. Дружба была не принята в Городе Говнюков, соседи не знали, кто живет у них через дом, а если и знали, то не общались совершенно, оттого, что те, кто был хоть чуть-чуть побогаче, гнушались теми, кто был победнее, а учитывая общую скрытность Говнюков, почти каждый считал себя богаче соседей, и получалось, что все жители улицы взаимно гнушались друг другом.

С точки зрения людей пусть бы так они себе и жили как хотят, эти Говнюки, но была здесь одна административная проблема, не решавшаяся десятилетиями. Проблема называлась налоги. Налоги, которые, понятное дело, в Городе Говнюков никто не платил. И мало того, что государство не получало отсюда каких-либо отчислений на свои государственные нужды, а даже и самые элементарные расходы самого Города Говнюков не удавалось покрывать теми ничтожнейшими сборами, которые давали налоги. Из-за этого в Городе Говнюков ничего не работало, ничего не включалось, все текло не туда, все везде прорывало и все всегда останавливалось. Богатые Говнюки организовывали себе автономное снабжение всем на свете, а бедные жили, пренебрегая неудобствами, потому что надеялись в скором времени кого-нибудь обокрасть, ограбить или так подлизаться к кому-нибудь из сильных мира сего, чтобы тоже стать богатыми. Самые смысленные из Говнюков объединяли в голове оба варианта и понимали, что самое эффективное — это сначала подлизаться, а потом ограбить и обокрасть. Большинство было уверено, что к концу этого года уже точно разбогатеют. Никто нигде не работал, существовали где и как придется, в общем, были бродягами. Все окраины Города Говнюков состояли из районов, выстроенных чуть ли не шалашами. Где-то раз в одно усредненное поколение Говнюков, то есть единожды в двадцать пять—тридцать лет, в городе вспыхивал бунт, когда толпа с окраин пыталась громить центральные районы. Каждый раз бунт проходил с разной успешностью, но чаще подавлялся более подготовленными Говнюками из центра. Если ситуация больше недели не поддавалась контролю, люди присылали карательный отряд, столкновения с которым не выдерживала ни одна говнюковская ватага, сколь бы многочисленной она не казалась. Иногда в ходе бунта некоторое количество Говнюков из окраин перемещалось жить в центр, но так везло единицам и, естественно, не каждый раз, а большинство уцелевших бунтарей успевали снабдить себя в центре самым необходимым типа ведер, гвоздей, иголок, дерюги, сапог,

инструментов и нехитрого вооружения, чем пользовались всю оставшуюся жизнь, гордо рассказывая об этом всем интересующимся слушателям.

Жизнь в центре тоже не определяла принадлежность Говнюка к состоятельному классу, а только то, что он не совершеннейший бродяга, хотя, надо понимать, ни один бродяга из самых отпетых бродяг в этом городе не согласился бы вполне считать себя бродягой. Так вот в центре среди нескольких десятков домов-замков, где под охраной жили богачи, располагалось огромное количество средних и маленьких домишек. В основном в них жили торговцы, так как желающих заниматься ремеслами в Городе Говнюков практически не было, кроме торговцев и менял, в такой категории жилья располагались проститутки обоих полов, объединенные в разнообразнейшие притоны «по интересам», жулики, которым судьба пока благоволила, прислуга и охрана богатеев, трактирщики. Еще там проживало много разного рода служителей Мельпомены: уличных жонглеров, балаганных болтунов и актрис «с готовностью».

В одном из таких домишек в центре и жил Кромбель, торгуя мазями. Познакомившись со Стэфаном, он сдал ему в аренду чердак, куда можно было вползть на карачках по лестнице через отверстие в потолке кухни. Чердак был похож на нору, и Стэфану даже нравилась такая спальня. Он сам разгреб себе место для тюфяка, аккуратно перетаскав в дальний конец своего нового убежища гору разного хлама, который несколькими поколениям владельцев дома было жалко выкидывать. Таким образом, спальное место Стэфана выглядело практически как нора в норе, и это еще больше привело его в восторг. Домик у Кромбеля был деревянный и довольно хлипкий, каждое движение на чердаке передавалось всему строению, так что если Стэфан, лежа на своем тюфяке, яростно чесался, то Кромбель, расположившийся на кровати внизу, чувствовал легкую вибрацию и громко требовал у Стэфана прекратить раскачивать дом, хотя повышать голос не было необходимости, все и так было слышно. Даже когда приятели разбогатели, они и не думали никуда переезжать, а только оборудовали себе душ и модернизировали туалет. Кромбель еще сделал себе ремонт, поклеив стены веселенькими обоями в цветочек, развесив шторы по окошечкам, поменяв совсем развалившиеся двери и поставив на подоконник в изголовье своей кровати два цветка в горшках. Обои, правда, сразу начали кое-где надрываться из-за переменной геометрии строения, но общий вид стал повеселее. Стэфан лично для себя сделал только одно улучшение — он купил новую лестницу, так как у старой уже ломались ступеньки и, даже поднимаясь по ней со всей осторожностью, Говнюк боялся угодить задницей в кастрюлю с супом. Кромбель, как владелец недвижимости, тогда категорически возражал против этого самоуправства, так как старая лестница, с его слов, занимала достаточно мало места, а новая — чуть ли не половину кухни. Тогда между приятелями чуть не случился разрыв, а выручил их случайно зашедший Жульен, который просто встал в дверях, и почему-то в его присутствии претензии обоих Говнюков, казавшиеся такими серьезными, принципиальными и жизненно важными еще минуту назад, стали глупостью и ничего не значащей ерундой, которую и обсуждать-то не имеет смысла.

Стэфан несколько раз спохватывался, что в присутствии судьи, чувствует себя как-то по-особенному. Интересное было такое ощущение мира... и приятное, надо сказать. Когда судья уходил, оно еще оставалось ненадолго, но постепенно проходило, и уже через полчаса Говнюк чувствовал себя как обычно. Однажды Стэфан поделился этим с умным Кромбелем, и приятель, глубокомысленно подняв глаза вверх, произнес, что Судья же человек, да к тому же еще и ученик Мудреца! Стэфан не стал переспрашивать, хотя и не понял, почему это в присутствии человека, пусть даже ученого ученика Мудреца, он вдруг испытывает такое странное одухотворение. Этот вопрос остался на потом. А потом Жульен пропал, еще потом они, думая, что всего лишь идут навещать заболевшего товарища, встретили двух новых Говнюков, оказавшихся старыми знакомыми, те полезли в драку, и Стэфан слегка поколотил



их. Пусть даже не слегка, было за что. Потом все выяснилось, и вот теперь Говнюк с бывшим Судьей, измазав лица грязью в целях конспирации, валялись в домике, больше похожем на скворечник, который Стэфан снял за оставшуюся в карманах мелочь, и размышляли, как добраться до пещеры Мудрецов, где Жульен намерен был выступить перед Советом с обличительной речью. Два дня они уже валялись в этом сарайчике и рассказывали друг другу все, что знали об Уродах, Говнюках, Людях, Главном Уроде, Стражнике и Трактирщике. Жульена потрясло известие, что Франциск, его брат, со слов Стэфана, как две капли воды похож на Главного Урода. Точнее, Стэфан с полной определенностью утверждал, что Франциск и есть Главный Урод, но для Жульена поверить в это вот так, с чьих бы то ни было слов было совершенно невозможно, и он оставлял у себя в душе хотя бы малую надежду на то, что все происходящее — чья-то ужасная ловушка, куда и он, и его брат, затянуты чьей-то иезуитской хитростью. Нужно было добраться до пещеры, где остались знакомые, добрые, мудрые люди, многих из которых Жульен знал с детства, и все вместе они, конечно, разберутся в том, что произошло.

\*\*\*\*\*

Стэфан вежливо, как и подобает Говнюку при разговоре с человеком, предлагал сразу идти в пещеру, ничего не дожидаясь, но бывший Судья принял другое решение. Он не хотел оставлять свой Город Говнюков в руках трактирщика и Стражника, тем более после всего, что узнал о них от Стэфана, еще он не хотел появляться в пещере как беглец и преступник, и к тому же оба они не желали уходить, не узнав ничего о судьбе Говнюка Кромбеля. По поводу него Стэфан заметил, что, вероятно, торговец мазями уже признался во всем, что знал, и нельзя было ожидать от него большего. Стэфан добавил, что он и за самого себя не дал бы гарантии, если бы его пытали, а потом добавил, что теперь их обоих, вероятно, уже ищут и рано или поздно доберутся до этого жалкого пристанища. Так они валялись рядом на топчанах, ученик Мудреца и Говнюк, валялись и продолжали никуда не идти и ничего не предпринимать. Причины к тому было по большому счету две одна очевидная — Жульен не мог решиться, куда идти и что предпринимать, а вторая состояла в особенной привлекательности для обоих беседы, вот уже два дня занимавшей их целиком и без остатка. Они говорили об устройстве мира, и опыт Говнюка вместе с его обобщениями и выводами казались Жульену интересными, а Стэфан, узнавая учение Мудрецов, то и дело хлопал себя по лбу и поражался, как все правильно и как он сам об этом не додумался. Он не все понимал с первого раза, но Жульен был терпелив и объяснял медленно, разрешая спрашивать и даже перебивать его там, где было непонятно. Когда Стэфан рассказывал, Жульен иногда жалел, что у него нет под рукой тетради и карандаша, ему хотелось записать, чтобы не забыть подробностей. А когда Стэфан повествовал об охоте на Уродов, ученик Мудреца даже вскочил и начал ходить по их клетке такими шагами, что она грозила развалиться. Стэфан рассказывал, что они с Кромбелем прослеживали Уродов до самой стоянки, где обнаружили уродских женщин и уродских детей! Это была фантастика, потому что не только все люди, но даже и Мудрецы считали Уродов совершенно чуждой людям расой, и хотя Мудрецы и относились снисходительно к народным домыслам, что Уроды появляются из грязи, комкающейся на их шкурах-подстилках, но и наука предполагала какой-то подобный способ размножения у Уродов. По крайней мере, никогда Уроды не были отмечены в преступлениях на сексуальной почве. Они жестоко убивали людей и Говнюков,

но никогда не насиловали, и это было главным доводом в пользу версии об их альтернативном размножении. Стэфан же утверждал, что у Уродов есть различия полов. Жульен даже усомнился, не врет ли ему собеседник, тогда уже Говнюк позволил себе сделать обиженное лицо и заявить, что никогда не говорил правдивее, чем теперь. Жульен требовал подробности, и Стэфан давал их в изобилии, не позволяющем усомниться в истинности повествования. Все, рассказанное Стэфаном, в высшей мере соответствовало анатомическим исследованиям Уродов, которые смог осуществить Жульен, присутствуя при изготовлении мази из уродских внутренностей. Получалось, что Уроды физически были тем же, чем были и Люди, и Говнюки! Жульен умолял Стэфана вспомнить что-нибудь еще, особенно в области того, как Уроды живут между собой, чем занимаются, что делают самки и самцы. Но Стэфан не мог вспомнить больше ничего. Он просто больше ничего не видел, так как они с Кромбелем находились вблизи лагеря Уродов всего несколько минут.

После этой истории Жульен рассказал Стэфану о Героях. Он не так-то много о них знал, потому что ни он, ни кто из Мудрецов никогда не видел Героя. Его дедушка рассказывал, что когда сам он был мальчиком, то знал человека, который еще помнил Героя. Тот человек семьдесят пять лет назад рассказывал его деду что время, когда на земле есть Герой, — прекрасное время для всех. Он говорил, что возле Героя Говнюки становятся людьми, а люди становятся прекрасными людьми. Еще он говорил, что нет никого сильнее Героя, но вместе с тем герой никогда никого не пересиливает. Еще он говорил, что Уроды, только почуяв Героя, со всех ног спасаются бегством, и он не преследует их, давая убежать, потому что если Урод окажется рядом с Героем, то впадет в смертельное неистовство и немедленно сам разорвет себя своими уродскими лапами. Еще он говорил, что Герои умеют летать высоко над землей и умирают только тогда, когда сами того захотят. Дедушка со свойственной детям настырностью допытывался тогда у своего рассказчика, что из всего этого тот видел сам своими глазами, но не смог выяснить ничего определенного, и, будучи недоверчивым мальчиком, подумал, что старик все это ему наврал.

Стэфан очень проникся рассказом Жульена о Героях и даже чуть-чуть всплакнул от восторга. А когда Жульен рассказал ему о предположении, что именно Говнюк может сделаться Героем и спасти всех вокруг, Стэфан схватил Жульена за руку и с огромным жаром проговорил, что он отдал бы все на свете, что он готов был бы сделать все что угодно, только бы получить хоть маленький шанс стать Героем. Еще Стэфан говорил, что ему очень нужно стать Героем, чтобы спасти Принцессу, и Говнюк рассказал ученику Мудреца то, что сам он еще помнил о Принцессе, и о своих тренировках с зеркалом, и о том, что ему как раз очень плохо быть Говнюком, и он мучается, как никто другой, так что именно он, Стэфан, подходит для того, чтобы сделаться Героем. Он умолял выбрать его, Стэфана, как будто бывший Судья был волен здесь в выборе. Жульен ничего не ответил, но подумал про себя, что не предполагал у Говнюков такого сильного желания к переменам своего человеческого статуса, а желание, как говорил его дедушка, — уже половина успеха, конечно, если это настоящее желание.

Потом Стэфан уселся и принялся заплетать и закручивать свои косы. Он делал это сосредоточенно и серьезно, а когда расположил их на голове в некотором, порядке, то попросил Жульена взглянуть на себя и, немного смущаясь, задал вопрос, не считает ли судья Жульен, что у Героя должна быть именно такая прическа. Жульен усмехнулся, и снова ничего не ответил, и подумал только, что Говнюки любят играть как дети, и возможно было бы даже умилиться по этому поводу, если бы эти дети не выглядели как здоровенные, заросшие щетиной верзилы, обуреваемые совсем не детскими желаниями. И еще он подумал, что играть в желаемое это ведь способ получить что хочешь, ничего не делая, пусть бы даже понарошку, но получить.

А Стэфан, почувствовав неодобрительное настроение ученика Мудреца к своим преобразованиям, расплел волосы и снова заплел уже по-другому, бормоча при этом, что если бы он сам мог себя видеть, то он точно знал бы, как должен выглядеть настоящий Герой, и что прическа — это дело серьезное, потому что она помогает чувствовать себя тем, кем нужно. Потом он лег на спину и начал думать. Он молча лежал почти час, а после сказал, что сейчас пойдет и точно выяснит, сознался уже Кромбель во всем или нет, и разыскивают ли их по всему городу. Жульен только удивленно поднял брови, а Стэфан уже начал собираться в дорогу. После минутной паузы он пояснил, что собирается пойти к их с Кромбелем дому и проверить, имеется ли там засада. Если засада есть, он тихонько уйдет, если нет, то раскопает свои тайники и принесет денег, а потом они на эти деньги наймут и вооружат отчаянных Говнюков из окраин, с которыми вернут власть в городе законному судье, освободят Кромбеля, если его еще не повесили, а потом на всякий случай проводят судью до пещеры Совета. Еще Стэфан сказал, что если удастся найти и Кромбелевские записки, то войско можно будет собрать нешуточное — Говнюков в пятьдесят, и добавил, что именно волосы, уложенные как у Героя, помогли ему прийти к такому простому и правильному решению. Жульен тоже стал одеваться, сказав, что надеется, что прическа Стэфана еще поможет этот план и осуществить, и еще заявил, что поддерживает вышеизложенные мероприятия и согласен принять участие в его осуществлении, но только нужно все делать очень аккуратно и дисциплинировано, чтоб обойтись без погромов, беспорядков, грабежей и убийств. Здесь Стэфан задумался и изрек, что при таком суровом условии пятьдесят человек найти не удастся, но можно попробовать найти человек двадцать, и некоторых он уже проверял, когда брал с собой на уродский промысел. Но платить им придется за такую железную дисциплину как минимум вдвое против обычной платы, за которую Говнюк согласен рискнуть своей шкурой. Жульен решительно протянул Стэфану свою пухлую ручку, и тот с готовностью, но аккуратно пожал ее, тряхнув правильно расположенными для героического дела косами и чувствуя, что что-то в его жизни кардинально меняется.

\*\*\*\*\*

Засады в доме не было, но бывшее жилище Говнюков представляло жалкую картину совершеннейшей разрухи. За три дня отсутствия хозяев его, возможно, обокрали раз пять. Украли всю еду, всю одежду, мебель, состоявшую из кровати, комода, пары ковров, стола и нескольких стульев, украли новые двери, а Кромбелевские горшки с цветами расколотили об пол. Такая же участь отчего-то настигла и вполне добротный шкаф, которым Кромбель всегда гордился, вероятно, поленившись вытаскивать, его просто разломали на куски. Но, прельстившись поверхностной добычей, грабители не имели возможности покопаться как следует и найти изобретательно спрятанные денежные сбережения Говнюков. Стэфан быстро выпотрошил свои тайники и принялся разыскивать Кромбелевские, когда Жульен, ведший на чердаке наблюдение за подходами к дому, подал условный сигнал о приближении опасности. Стэфану было решительно некуда спрятаться, и он просто вжался в уголок, навалив на себя обломки шкафа и обрывки штор, надеясь, что так он сможет сойти за наваленную в углу кучу мусора. Говнюк замер и старался даже не дышать, чтобы больше походить на помойку. В дом вошли трое и начали то же самое, в чем прервался Стэфан. Они

перекапывали лопатами пол, простукивали стены, настойчиво и систематично обыскивая каждый метр поверхности. Стэфан, рассматривавший мародеров через щелочку, решил не ждать, пока его истыкают железными щупами или перекопают лопатой, и, выждав удобный момент, выскочил из-под обломков, и вместо приветствия уложил одного из визитеров ударом дубинки. Двое других секунду были в нерешительности и, вероятно, размышляли, вступить ли в бой или ретироваться, пока из верхнего люка кухни, которая из-за разрушенных стен практически объединилась со всем домом, не выпрыгнул Жульен. Говнюки узнали Судью и принялись молить о прощении. Они скулили, что не хотели ничего дурного, а просто думали, что все здесь уже разрушено, и искали себе чего-нибудь на ужин, потому что не ели три дня. Еще они говорили, что старшим у них был тот, которому досталось дубинкой, и если разбираться, то он во всем виноват... и многое другое почти безостановочно эти Говнюки молотили своими языками, подобострастно наклоняясь и делая жалостливые физиономии, хотя по опыту Стэфана и Жульена это совершенно не означало, что можно расслабиться. Такие Говнюки могли в любую секунду пырнуть ножом или треснуть по голове зазевавшегося оппонента. Их подобострастие было только одной из форм протянуть время, разобраться в ситуации и выждать момент для нападения. Стэфан грозно потребовал от них городских новостей, и оба бандита теми же сладкими голосами принялись рассказывать об арестах, которые справедливейшая власть произвела в городе, о том, что кто-то из городского начальства сильно пострадал и что ходили слухи, что сам Судья, но теперь они счастливы увидеть Судью в добром здравии, хотя в несколько непривычном виде и в странном месте, больше приличествующем таким, как они, Говнюкам, занимающимся своим скромным бандитским промыслом.

Когда говорившие закончили выдавать информацию и пошли по второму кругу, Стэфан нагрузил их раненым товарищем и отправил на чердак, велел сидеть тихо и заперев за ними люк на засов. Потом он снова приступил к своим поискам и успел даже найти одну Кромбелевскую заначку, как в их дом ввалились еще пятеро Говнюков и, недружелюбно глянув на Стэфана, молча начали делать то же самое, что и он. Это, вероятно, были совершенно необразованные Говнюки, так как они даже не узнали Жульена. Только один из них глухо произнес, что не хочет никаких конфликтов и кто что найдет, то того и будет. Стэфан перевел для себя это предложение так, что если он что-нибудь найдет, то эти пятеро, конечно, убьют и его, и Жульена с целью грабежа. Оставалось только ретироваться с тем что есть, пока оставалась такая возможность, что и было бы сделано, если бы не два Говнюка на чердаке. Они, вероятно, чутко прислушивались к происходящему, и как только Стэфан с Жульеном безо всяких поклонов засобирались, запертые заорали что было силы, что нельзя отпускать этих двоих, пока не вывернут карманы, потому что наверняка карманы у них набиты золотом. Это смелое предложение было очень логичным, и все пятеро Говнюков, бросив свою работу, угрожающе уставились на откланявшихся, а с чердака продолжал раздаваться подстрекательский голос, который обращал внимание присутствующих хотя бы на золотой перстенок, так соблазнительно поблескивающий на пальце у Жульена.

Вместо ответа Стэфан тихо нагнулся, подобрал один из стальных щупов и, резко наступив на вторую ступеньку целехонькой лестницы, с силой вогнал щуп между гнилых досок чердачного люка. Голос сверху оборвался, а через секунду оттуда закапала кровь. Сначала капнула одна капелька, потом еще, потом капельки стали частыми-частыми и превратились в струйку, потом к ней присоединилась еще одна струйка, потом третья, потом они как-то снова объединились в одну, а на полу уже собиралась лужица, потом кровь начала вытекать из лужицы под уклон, промывая грязь и песок, а прямо под лужей Стэфан увидел главный Кромбелевский тайник, точнее, цепочку, открывавшую его. Он медленно, сопровождаемый взглядами всех присутствующих, присел возле лужицы крови, погрузил в нее пальцы, потянул за цепочку и через минуту, перепачкавшись, вытащил из лужи заветный

Кромбелевский сундучок с золотыми монетами. Он резко поднялся и подбросил тяжеленный сундучок, как будто тот был совершенно невесомой вещью. Пятерым уставившимся на него бродягам он весело улыбнулся во весь рот и, как бы невзначай указывая на свою находку, проговорил безразличным голосом: «Я это искал... ничего ценного, семейный архив... все остальное ваше, ребята...» Через минуту нагруженные деньгами они уже двигались быстрым шагом подальше от бывшего дома торговца мазями из уродских внутренностей.

\*\*\*\*\*

Почти месяц ушел у Стэфана и Жульена на поиск верных людей. Денег оказалось более чем достаточно, так как в заначках у Кромбеля, томящегося от голода в тюрьме, но считавшего еще себя богатым человеком, их случилось гораздо больше, чем предполагал его партнер по уродскому промыслу. Стэфан, окрыленный желанием сразу из Говнюков сделаться Героем, проявлял чудеса смекалки, ума и решительности. Он все чаще переплетал свои косы, заявляя, что ему осталось совсем немного до того, чтобы найти именно ту форму, в которой его самоощущение будет наиболее близко к героическому, и зло упрекал Жульена в нежелании помочь с таким важным и существенным делом. Еще он с ожесточением паялился в огрызок зеркала, доводя себя до рвоты и обмороков. Жульен не мешал. Дело шло, их отряд день ото дня увеличивался, и наступил момент, когда он составил сто пятьдесят хорошо экипированных Говнюков, одетых в одинаковую форму, снабженных легким вооружением и готовых по команде выступить куда угодно под знаменем Стэфана и судьи Жульена.

\*\*\*\*\*

Лежа в самой комфортной палате тюремного госпиталя, Кромбель заскучал. От скуки он потребовал себе бумаги, чернил и начал сочинять сам для себя истории, которые называл сказками для Говнюков. В его комнате под самым потолком было большое, хотя и зарешеченное окно, и через это окошко он видел свободу, видел голубое-голубое небо с белыми облаками, видел снующих во всех направлениях птиц, видел даже маленький кусочек улицы, и если вставал на стуле, то мог увидеть снующих по улице Говнюков. Он смотрел на свободу из палаты тюремного госпиталя и видел, что там ничего не изменилось! У него в жизни изменилось все, а там ничего! В небе ничего не изменилось, в облаках все осталось, как раньше, даже на улице Города Говнюков никому нет дела до Кромбеля. Он очень ждал, что Стэфан как-нибудь даст о себе знать, очень надеялся на его помощь. Даже свои сказки он никому не показывал, мечтая показать только Стэфану, который только и должен был понять и оценить по-достоинству его творчество. Но день проходил за днем, а товарищ все не появлялся. Режим теперь у Кромбеля был легкий, питание хорошее, новый Судья заходил каждый день и очень ласково справлялся о здоровье, присылал цветы, фрукты, конфеты, туфельки и шелковые рубашки. Кромбелю разрешалось гулять когда

вздумается, но только по тюремному двору, как объяснил ему новый Судья, оттого что все теперь знают об их теплых отношениях и могут сделать любую неприятность его лучшему другу. Судья сказал, что когда Кромочка совершенно выздоровеет, то он поселит его у себя и уже готовит для милого дружочка комнатку рядышком со своей. Заключение уже неделю отдавал тюремному лекарю все подряд подарки Судьи, только чтобы тот не признавал его здоровым. Лекарь вообще оказался отличным Говнюком и приятным собеседником, он с таким жаром рассказал Кромбелю о своей потрясающей статье, написанной после излечения заворота кишок методом клизмования под давлением, растрясания и цилиндрического поддавливания, что бывший испытуемый почувствовал к собеседнику искреннее уважение. Лекарь справедливо предлагал назвать метод своим собственным именем и, скромно потупив глаза, располагал посредством этого случая войти в историю медицины. Кромбель был не против.

Не известно, чем бы кончился карантин, если бы однажды ночью к лекарю в дом не прокрался Стэфан и, приставив ему к горлу небольшой, но очень острый нож, не расспросил бы о своем приятеле. Удовлетворившись в целом рассказом, он довел до сведения тюремного эскулапа, что если что с его другом случится не так, то ему, лекарю, на этом свете не жить, чему автор статьи об излечении заворота кишок почему-то поверил безоговорочно. Еще разбойник велел передать для Кромбеля записочку и следующей ночью принести ответ. Записка была короткая и состояла из двух слов и одного знака препинания: «ТЫ КАК?» Еще лекарю было вручено пять золотых монет, после чего он понял, что пропал совершенно, так как там, где раздают такие деньги, жизнь Говнюка не стоит ничего.

Ответное письмо Кромбеля было на три листа. Лекарь умолял его написать что-нибудь хорошее о нем самом и его новом санитаре, с которым он сдружился и благодаря которому Кромбель, собственно говоря, и попал в лазарет, что и было сделано незлобивым участником эксперимента по клизмованию под давлением, растрясанию и цилиндрическому поддавливанию.

## Глава 16. О том, как ненужно опаздывать.

Некоторое время назад Стражник осознал, что он искренне, глубоко и очень сильно презирает Трактирщика. Более того, ему пришло в голову, что только благодаря ему, Стражнику, этот жалкий подхалим и воришка сделал свою карьеру и добился места судьи в Городе Говнюков. Осознание этого простого факта сделалось с новым первым помощником судьи, когда он получил личное письмо напрямую от председателя Совета.

Совершенно секретно

Незаконно прочитавший дальше этой строчки объявляется  
государственным преступником и приговаривается  
к повешению, где бы ни находился, будь он человеком или Говнюком.

Достопочтимый первый помощник Судьи, ваши скорбные новости о бывшем друге нашем, назначенном мною судьей Города Говнюков и вместо усердной работы погрязшем в праздности и порочащих человека страстях, вполне подтвердились и моими собственными

источниками, кои о вас предоставили мне самую положительную информацию, поему обращаюсь этим письмом непосредственно и прямо к Вам, видя в Вас возможность исправления ситуации. Оставляя до времени вопрос официальных назначений, дабы не будоражить народ изменчивостью власти, я прошу вас, пользуясь инертностью нашего бывшего друга, сосредоточить у себя в руках все бразды управления и направить усилия на решение следующих неотложнейших задач:

Первое: Сформировать из Говнюков сколько-то боеспособное войско, чело-век в пятьсот, так как тех двух десятков людей, которых вы привезли с собой, вовсе недостаточно для поддержки власти при ее современных функциях;

Второе: Собрать с Города Говнюков все недоимки по налогам за последние двадцать лет, сумму которых вы легко узнаете в собственной канцелярии.

Вот, собственно говоря, и все. Всего две задачи, но позволю себе дать по каждой несколько комментариев.

— Для организации войска потребуются деньги и боевой опыт, первичные деньги возможно приобрести, конфискуя имущество Говнюков, обвиненных в государственной измене и каких-нибудь преступлениях. Вполне подойдет повод нападения на Вас, случившийся в прошлом месяце, кстати, того Говнюка, который находился на месте преступления, я бы советовал Вам еще раз подвергнуть допросу с пристрастием, весь мой опыт подсказывает, что он не может быть невиновен, а найти реально нападавших на вас — задача первоочередная.

— Опираясь на небольшое подразделение, собранное за счет первичных средств, приступайте к задаче сбора недоимок, увеличивая численность вооруженных сил за счет полученных средств и так далее.

— Также советую вам не гнушаться использованием механизма взяток и подношений для общего дела. Имеется в виду, что как только вы начнете насильственное изъятие средств в счет недоимок, тут же лично к вам станут обращаться Говнюки, предполагающие, что за небольшое подношение смогут избавить себя от общей участи. Не отказывайтесь, но следите, чтобы их величина не была мизерной — это может подрывать ваш авторитет, величина взятки должна быть не меньше, чем треть официальной суммы изъятия. Тех, кто с радостью согласится на такое условие, оставьте на потом, а по ходу работы опирайтесь на них в общем деле.

— Наставление по организации армии вы, как и величину недоимок найдете в канцелярии. Первичный боевой опыт войска можете оттачивать на подавлении мятежей, которые неизбежно случатся, если ваша политика будет последовательной и решительной.

Желаю удачи и твердости.

Ф.

P.S. По получении письма сделайте себе копию или конспект, а оригинал немедленно предайте огню, и поступайте так всегда по ходу нашей переписки.

Ф.

Первый раз прочтя письмо, Стражник понял только то, что теперь он самый главный начальник в городе, и только временно и номинально слизник Трактирщик занимает еще свой пост. Еще он понял, оригинал предписывалось сжечь, но не подумал это сделать. За день он перечитывал письмо несколько раз и в общем осознал, что там было написано на счет недоимок и вооруженных сил. Задача показалась требующей глубокого осмысления, и,

прежде всего, он принялся читать наставление по организации армии, а пока дал команду изъять имущество всех уже сидевших и арестовать всех, на кого сидевшие дали показания.

На следующий день команда из двенадцати оставшихся младших стражников (восемь уже оставили службу), заперев тюрьму, пошла по домам Говнюков арестовывать и изымать имущество. Но имущества, равно как и подозреваемых, обнаружить не удалось, вероятно, Говнюки как-то прознали об опасности и попрятались. Тогда Стражник велел хватать любых Говнюков, состоящих в родстве с подозреваемыми, что и было сделано еще через день. Тюрьма тут же переполнилась и, как и предвосхищал мудрый председатель Совета, к Стражнику пошли просители. Они приходили и раньше, Стражник даже грешным делом отпустил несколько Говнюков за ничтожную, правда, как он понял теперь, сумму. Нынешним он объявил про недоимки за двадцать лет и выкатил такие счета, что Говнюки в ужасе убежали, но двое все-таки двумя днями позже притащили денежки.

Теперь нужно было приступить к формированию войска, чем и хотел заняться Стражник как раз в то утро, когда вместо вежливого камердинера его поднял утром с постели удар сапога по ребрам. Сначала Стражник думал спросонья, что случилось землетрясение или он случайно упал с кровати, но потом, разлепив глаза, увидел над собой того самого Говнюка Стэфана, от побоев которого лечился чуть ли не месяц и которого пытался разыскивать для ареста и скорейшей казни. Говнюк, нагло и презрительно ухмыляясь, стоял теперь над ним, одетый в легкую походную одежду, отороченную мехом, с длинными, заплетенными в косы волосами, подобно великим воинам прошлого. Душа Стражника исполнилась какой-то утробной тоски и предчувствия страшного. Увидев, что первый помощник Судьи открыл глаза, Стэфан еще раз наподдал ему сапогом по ребрам, притом очень больно. Тут-же Говнюк отдал короткую команду, и два других Говнюка, стоявшие до этого возле двери, вооруженные и в одинаковой одежде, как будто только что сошедшие со страниц читанного Стражником наставления по созданию войска, резко подняли и вытащили его из кровати, а затем поволокли вниз без всякой почтительности. По дороге он видел, что кругом снуют такие же одинаковые Говнюки, они деловито бегали, занимали какие-то посты, кругом раздавались отрывистые команды и бряцание оружия.

Стражника поместили в отдельную камеру, а в двух соседних располагались все его вооруженные силы из двенадцати перепуганных человек, чуть дальше сидели тюремный лекарь со своим приятелем санитаром, а в противоположном конце, забившись в уголок, крупной дрожью дрожал Трактирщик. Каждый, кто проходил мимо его камеры, мог бы заметить, что этот странный человек, очень похожий на Говнюка, отчего-то беспрерывно тербит рукой штаны, при этом дико озирается и челюсть его крупно-крупно дрожит. Сам бывший Трактирщик, бывший Судья и бывший Человек этого за собой уже не замечал.



## Глава 17. О том, как оказаться в центре грандиозных событий.

Город Говнюков с облегчением отнесся к новости, что нового Судью снова поменяли на старого и выпустили всех арестованных. Единственно, кто остался расстроенным и даже возмущенным, так это отнесшие уже кругленькие суммы отступного, а больше всех радовались те, которые уже собрали деньги для выкупа и намеревались нести их только на следующий день. Все двенадцать младших стражников были готовы служить новой власти, но пятерых из них продолжали держать в тюрьме по причине активной причастности к преступлениям. Пострадавшие Говнюки наперебой писали что им пришлось пережить, и формировалось объемное досье на Стражника и Трактирщика. Это было не быстрое дело, но бросить его, не исполнив хотя бы самого главного, Жульен не мог.

Сами бывшие городские руководители тоже являлись источником информации о делах за пределами Города Говнюков. Стражник отдал все полученные им письменные инструкции из центра, и первые два-три дня оба бывших начальника давали правдивейшие и детальнейшие показания, правда, Трактирщик выглядел так, что можно было усомниться в его дееспособности, но говорил зато много и охотно. Жульену было уже с чем выступить перед расширенным Советом. Он даже не задавал вопросов, а только слушал и записывал.

Каждый раз как увесистая оплеуха и известие о громадном несчастье обваливалась на него очередная информация о связи Франциска с Уродами. Показаниями арестованных прояснялись некоторые детали многолетней подготовительной работы для захвата места председателя Совета Мудрецов, которое сам дедушка ни при каких обстоятельствах не позволил бы занять Франциску, считая его неискренним, тщеславным и жестокосердным Человеком. Но ведь Человеком? Как дедушка мог не замечать возле себя Урода? Да и сам Жульен, много раз общаясь с братом, не замечал в нем Урода. Только каждый раз казалось, что Франциск отчего-то сердится на него и стал чужим... Да и как вообще могло получиться, что Франциск—человек сделался Уродом? Ведь Уродов все считают иной расой, на них даже разрешена охота! А возможно ли, чтобы человек являлся Главным Уродом? Как? Почему Уроды стали ему подчиняться, да и как он смог, связавшись с Уродами, остаться человеком? Жульен понимал, что этих вопросов из области теории пока слишком много для его головы и отложил их в сторону из-за более насущной и непосредственной мысли, которая состояла в настойчиво просившемся в его голову предположении, что брат Франциск не остановится на достигнутом, тем более, что без катаклизмов ему не удержаться долго в Совете, состоящим все-таки из людей неглупых и проницательных, и единственная возможность для него сохранить свое положение это бесперывное расширение полномочий. Он обязательно должен идти дальше, и будет стремиться к единоличному господству, а, как известно, единственный путь для этого есть война. Тяжелая, кровопролитная, но в конечном счете победоносная война. С кем? Вероятно, с Говнюками. А с кем же еще?

Мысль о перспективе войны между людьми и Говнюками казалась Жульену ужасной и противоестественной, его душа рвалась остановить эту глупость, остановить людей, которых могли в это втянуть, он чувствовал себя в силах противостоять этому и был к этому готов.

Но реальность, которой Жульен не знал и не мог знать, уже свершившаяся, уже существующая на тот момент реальность была гораздо страшнее всех предположений ученика Мудреца. Она заключалась в уже начавшейся войне, где Говнюки по малозначительности своих сил не могли сыграть решающей роли, войне, в которой предстояло погибнуть десяткам или сотням тысяч солдат с обеих сторон. Жульен со Стэфаном, ничего не зная о происходящем во внешнем мире, считали, что у них, в Городе Говнюков, происходят самые главные, все решающие события, а люди на тот момент уже

много дней вели кровопролитную войну, войну не из-за политических или экономических интересов, войну не из-за территориальных претензий, а войну за выживание расы людей. Это была война Людей и Уродов.

\*\*\*\*\*

Война разразилась молниеносно, со стороны Уродов она была блестяще спланирована и подготовлена. Началась она с того, что врагом был практически уничтожен единственный орган всей законодательной и исполнительной власти государства — Большой Совет Мудрецов. Люди никак не ожидали от Уродов, к которым относились чуть уважительнее, чем к окружающей флоре и фауне, такого уровня организации, такой численности войска и вообще такого уровня личной осмысленности.

Уроды не только сразу разгромили центр, они еще подвергли одновременному нападению все мало-мальски значимые города. Понеся потери и нигде не добившись победы, они выполнили главную свою задачу и на некоторое время приковали силы осторожных людей к защите своих поселений, а сами, оставив небольшие, только демонстрирующие активность отряды, немедленно начали сливаться в армию с целью объединиться раньше людей и разбить каждый город поодиночке. Люди разгадали этот замысел ровно на один день позже, чем могли не дать ему осуществиться, и за три дня уничтожив или разогнав бутафорские лагеря Уродов под каждым городом, начали объединение сил. Необходимо было объединить шесть армий в одну, и местом сбора было назначено предгорье вблизи Города Говнюков. Уроды к тому моменту уже несколько дней как закончили свою консолидацию, численность их была огромной, и, проведя разведку, они тоже ждали людей вблизи Города Говнюков, имея целью встретить каждый отряд по отдельности и разбить в неравном бою. Если бы удача улыбнулась уродскому войску хотя бы с одним из шести соединявшихся отрядов, их шансы в решающем сражении увеличивались бы несказанно. Людям нужно было слиться в единую армию, не потеряв ни один отряд, только тогда у них оставался шанс победить. Действуя без единого руководства, они изнурительными маршами двигались к месту соединения, но то и дело один или два отряда отставали от общего темпа или вырывались вперед, это исправлялось потерями скорости движения и давало Уродам возможность предпринять какие-либо еще не известные пока людям маневры. Самыми опасными были последние дни похода, когда каждый отряд уже мог столкнуться с переместившимся в его сторону войском Уродов. Темп еще снизили, усилили разведку, движение продолжали с максимальной осторожностью, но каждый понимал, что эти меры навряд ли могут быть совершенно эффективными. Точного положения Уродов не знал никто, разгром каждого из отрядов при встрече со всем уродским войском был бы вопросом нескольких часов, а до соединения оставалось еще два-три дневных перехода. Так прошел еще день, и на предпоследнем марше один самый сильный, а значит, самый вожделенный для Уродов отряд был оповещен разведкой о сражении, идущем прямо по направлению соединения армий. В этом месте не могло находиться никаких других подразделений или войск, и командующий отрядом дал приказ немедленно изменить направление и форсированным маршем обогнуть бой, не ввязываясь в столкновение, имея целью только соединение с остальными отрядами. Разведка была выслана на рекогносцировку, и, догнав основные силы уже поздно вечером, единственный уцелевший из десяти разведчиков сообщил, что они были свидетелями того, как небольшой отряд, состоявший из одних Говнюков, сражался со всей армией Уродов и был полностью ею уничтожен.

Тем временем маневр по уклонению от противника был выполнен по всем правилам военного искусства, и еще через один дневной переход шесть отрядов людей объединились в одну армию, установили единое командование и начали готовиться к решающему сражению. Местоположение противника теперь было известно, а Уроды, наоборот, судя по всему, потеряли людей из виду. По данным разведки, они хаотично метались не веря, что здесь уже не будет добычи. Столь удачное соединение было первой большой удачей войны и давало армии людей возможность отдохнуть хотя бы день и после напасть, используя преимущество внезапности.

\*\*\*\*\*

Кромбель вообще не хотел никуда идти. Он категорически требовал оставить его дома и не трогать, так как еще не полностью здоров и вообще не мог простить Стэфану своих выпотрошенных тайников. Говнюк до такой степени расстроился потерей всего имущества, что даже обращался с жалобой на Стэфана к Судье Жульену, где получил массу убедительнейших разъяснений, которые окончательно отняли у него надежду вернуть хоть что-нибудь из «цинично похищенного», как сам он выражался, имущества. Стэфан вообще, по мнению Кромбеля, потерял последнее соображение и впал в какой-то мобилизационный психоз. Он, обнаружив у Стражника в кассе еще денег, и начал увеличивать свой отряд с целью довести его численность до пяти сотен Говнюков. Целыми днями он отбирал добровольцев, экипировал их, делил на подразделения, назначал старших над десятками и сотнями, тренировал Говнюков в навыках боя, которые сам вычитал в наставлении об организации армии, что нашел в кабинете у Стражника вместе с деньгами. Кромбель рад бы был уйти, но не знал, куда ему теперь податься. Дом его, куда, разругавшись со Стэфаном, он в первый же день и направился, был не только разграблен, но и сожжен, денег у него не было, еды не было, так что оставалось только одно — вернуться обратно к своим освободителям, которых еще часом назад он называл только грабителями и негодями. По дороге Кромбель придумал, что бы такое потребовать у Стэфана в качестве компенсации грабежа, он решил стать эксклюзивным промысловиком по Уродам в армии своего друга, то есть составил бумагу, согласно которой, если войску Стэфана встретятся на пути Уроды, все они будут умерщвлены и отданы Кромбелю, который взамен будет еще исполнять обязанность бесплатного снабжения мазью лазаретов для раненых солдат. Бывший узник с порога выложил эту бумагу Стэфану и потребовал позвать Жульена, чтобы тот тоже поставил свою подпись и печать. Жульен пришел, они вместе со Стэфаном долго на разные лады издевательски читали договор, но в конце концов подписали его и заверили печатью, решив, что войску нужны медикаменты, а Жульену материал для исследований Уродов.

Получив то, что хотел, Кромбель помчался к знакомому ростовщику занимать денег. Тот не хотел давать, хотя и уважительно отнесся к бумаге и знал Кромбеля раньше. Только взамен на десять процентов долевого участия в новом предприятии Кромбелю после нескольких часов упорнейшей торговли удалось получить кредит, да еще под огромный процент. Получив деньги, он тут же ринулся покупать снаряжение. Нужно было иметь целый обоз из телег для сырья, котлов и готовой продукции, а телег в городе было не найти из-за формирования армии, так что Кромбель провозился целых три дня, почти не отдыхая, еще раз дозанимал денег у партнера-ростовщика, но в итоге собрал прекрасную, готовую для длительного похода экспедицию и двинулся во главе нее в расположение войск, уже

формирующихся для похода за городом. На самом подходе к лагерю его догнал новый партнер-ростовщик, заявив, что, как совладелец бизнеса, он тоже желает участвовать в предприятии и никому не даст себя обворовать.

Владелец концессии дал ему место на телеге, чуть передвинув свои вещи, среди которых была папка со сказками для Говнюков, которые Стэфану было так и недосуг прочитать. Кромбель хотел было прочесть несколько сказок ростовщику, да подумал, что тот, вероятно, не поймет, и решил подождать тихого привала, когда у Стэфана и Жульена будет время.

Жульен еще на два дня задержал выступление, продолжая собирать доказательства того, что ему самому было уже совершенно очевидно. Прямых доказательств у него не было, да и быть не могло, были только логика, размышления, да одно письмо к Стражнику с подписью «Ф», почерк которого Жульен не мог узнать, как почерк брата. Он вообще не был уверен в правильности всей происходящей клоунады (так Жульен называл армию Стэфана), но думал, что наличие у Города Говнюков хоть какой-то видимости вооруженных сил помешает сразу развязать войну тем, кому она на руку.

Поход был назначен на утро третьего дня. Говнюки выстроились в колонны сотнями и начали марш. Позади всех ехали со своими приспособлениями Кромбель и недоверчивый ростовщик. Солдатам было сказано, что они направляются для некоего смотра или парада перед пещерой Совета, где должны будут продемонстрировать лихость и бравый вид. Еще Стэфан, как известный охотник на Уродов, пообещал войску, что если встретится уродский патруль, то нашедшие его и умертвившие получают у Кромбеля приличное вознаграждение. Это в принципе было против контракта, по которому армия Стэфана должна была и так представлять владельцу концессии сырье, но Кромбель решил, что войску никогда не помешает лишняя мотивация на правильное дело, и подтвердил премиальные. После этого очень долго возмущался ростовщик, не рискуя поднимать шум во всеобщее услышание, он принялся изливать все свое негодование на одного Кромбеля, тихим свистящим шепотом ввинчивая ему прямо на ухо, что из своей доли не отдаст ни гроша и что одностороннее нарушение договора есть свинство и гадость, которое никому ни при каких обстоятельствах нельзя прощать, ни Говнюку, ни Человеку, и что только на этом может держаться мир, а иначе он рухнет и погребет под своими обломками всех, кто будет свидетелем этого Армагеддона. Кромбель старался не слушать, но голос ростовщика был таким противным и въедливым, а дыхание таким несвежим, что совершенно не замечать его было невозможно.

Солдаты дружно топали по пыльной дороге, обоз споро двигался за ними. Вскоре наступило время привала и, рассевшись в кружки, новоиспеченные воины принялись кипятить чай и болтать об охоте на Уродов. Пять или шесть самых неугомонных Говнюков, отпросившись у своих командиров, даже отправились в разведку, имея в виду, что, возможно, наткнутся на одного или двух Уродов и прикончат их пиками. Азарт к подобному делу объяснялся еще и тем, что во время недельной учебы Стэфан обучал своих Говнюков азам охоты на Уродов, кроме которой сам ничего не смыслил в околовоеенных науках. Он говорил про медлительность Уродов, про их невосприимчивость к боли и страху, про то, что Урода можно ошеломить или оглушить первым, самым сильным ударом, и что затылок у Уродов — слабое место, а по спине их бить бесполезно, и что они всегда друг другу мешаются во время драки, и еще, что самое лучшее для охоты на Уродов — их удивить. Удивленные Уроды вообще перестают соображать и просто стоят, раззявив пасти.

Всем в войске хотелось, чтобы твари себе на беду выползли бы на их дорогу, единственное, что огорчало бравых военных, так это то, что даже если Уроды и появятся, то все равно достанутся лишь несколькими везунчикам, и никто не будет их специально разыскивать, так как задачи у экспедиции касаются людей, а Уродов, по сути, совершенно не касаются.

После привала на сытый желудок Говнюкам стало гораздо ленивее маршировать и темп движения немного снизился Кромбель позволил себе оставить свой обоз и пешком догнать Стэфана с Жульеном, но поговорить с ними ему так и не удалось, оба были в суровом настроении и не поддерживали предложения поболтать. Он огорченно вернулся на свою телегу, где уже мирно спал ростовщик, черты лица которого даже во сне сохранялись возмущенными. Следующий переход был чуть короче, но дался войску труднее, все выглядели уставшими, и очередной привал не сразу заставил молча маршировавших Говнюков разговориться. Прошли минуты сосредоточенного раскладывания костров, деловитого извлечения из походных сумок припасов, котлов, мисок и ложек, миновал ревностный момент раздачи варева и торопливого начала еды. И, наконец, когда аппетит Говнюков был в основном удовлетворен, вокруг догорающих костров снова завязалась беседа. Послышались хохот, перебранки по поводу мытья посуды, у отряда оставалось еще с полчаса на отдых, которые целиком были посвящены болтовне.

Жульен давно отметил для себя особенности сытого разговора Говнюков и сейчас имел еще одну возможность для сбора материала в этой области, которая только первому, поверхностному взгляду казалась ничтожной, исходя из внешней ординарности события, — подумаешь, сидят себе Говнюки и болтают о всякой ерунде. Но наблюдательный Жульен и здесь находил для себя любопытный материал для размышлений. Любопытным обстоятельством было именно отсутствие содержательной части в говнюковской болтовне. Сытые Говнюки всегда разговаривали ни о чем, то есть предмет беседы был ничтожнейший, совершенно несущественный и уже через пять минут забывавшийся. Тем не менее Говнюки обожали так болтать, старательно изображая на лицах заинтересованность, и могли делать это часами при наличии досуга и собеседника. Все участвующие в таком разговоре по его окончании оставались в полном восторге от самих себя, своей беседы, а иногда даже и от собеседника. Хотя иногда, если разговор вдруг касался тем хоть сколько-то ни осмысленных и для кого-нибудь насущных, возникали горячие споры, переходящие в конфликты, а то и в драки.

Так что самый лучший, самый безопасный и самый приятный для Говнюков разговор должен был быть ни о чем. Идя дальше в своем анализе, Жульен отчетливо прослеживал эволюцию к болтовне Говнюков от лепетания уродов, которые, по многократным свидетельствам очевидцев, тоже любили усесться в кружок и, перебивая друг друга, бормотать свою уродскую тарабарщину, радостно скалясь друг на друга и довольно урча. Было очевидно, что это были весьма похожие формы времяпровождения, и Жульен видел здесь соль именно в бессмысленности происходящего. Как может быть бессмысленным занятие, которым занимаются часами, получая в итоге колоссальное удовольствие? Никак не может! Жульен давно искал какой-то важный, жизнеподдерживающий смысл и в уродском лепете, и в болтовне Говнюков, и только теперь, в этом, с позволения сказать, походе, где и армия была не настоящая, и сам поход не имел правильной военной цели, а больше был бутафорским спектаклем, Жульен наблюдал, как самозабвенно Говнюки изображали из себя армию, и видел, что им приятно казаться самим себе войском, и тут же он обратил внимание, что по ходу болтовни, если не вслушиваться в слова, Говнюки тоже кажутся умными и интересными собеседниками. А еще по ходу болтовни они сидят друг против друга мирно и дружелюбно и не только выдерживают общество друг друга, но и зачастую испытывают друг к другу искреннюю симпатию, а значит, хоть в какой-то мере отдают друг другу любовь! Это было совершенно новое в представлениях о Говнюках, главной отличительной особенностью которых являлась как раз неспособность отдавать и принимать любовь. Сам по себе этот вывод был интересным в отношении Говнюков, и получалось, что по этому признаку между людьми и Говнюками нет качественного различия, а только количественное, но если Жульен переносил свою логику еще дальше — на Уродов, то получалось, что и Уроды во время

своего лепета отдают друг другу любовь! Жульен с гордостью полагал, что здесь он набрел на одну из самых реликтовых форм взаимоотношений, формирующих человеческую сущность, являющейся, вероятно, весьма не эффективной для человека, мало эффективной для Говнюка и весьма эффективной для Урода, хотя последняя триада тезисов была бездоказательна и являлась интуитивным предположением.

Размышления ученика Мудреца и привал говнюковской войска прервало появление со стороны, куда через несколько часов должно было закатиться солнце, миража. Мираж выглядел как огромная масса огромных Уродов, которые показались на горизонте на пару минут, а потом снова исчезли. Сначала, увидев столько Уродов, Говнюки поддались было панике, но как только видение исчезло, кто-то объяснил увиденное игрой солнечных лучей в разогретом воздухе.

Говнюки успокоились, построились в ряды и двинулись дальше, хотя и удовлетворенные объяснением увиденного, но несколько обеспокоенные. Вперед была выслана разведка, которая через час вернулась и доложила, что мираж был не совсем миражем и что за холмом имеется лагерь Уродов, но там всего около пятидесяти или шестидесяти, максимум до сотни особей, беззаботно валяющихся на солнце, несущих свою обычную тарабарщину и гогочущих. Движение остановили, собрали военный совет, где Жульен категорически требовал оставить Уродов в покое, а остальные колебались. Кромбель со всей возможной вежливостью и осторожностью заметил, что армия собрана благодаря в том числе и его средствам, которые были у него изъяты незаконно, и он решительно намерен их компенсировать с помощью концессии, и если судья изначально был категорически против охоты на Уродов, то он не должен был вообще давать Кромбелю концессию, так как дать концессию при условии безоговорочного запрета на охоту — есть циничный обман, недостойный человека, а тем более Судьи и ученика Мудреца. Ростовщик, которого пытались не пустить на совет, как-то все равно пробрался и повторил все, вежливо произнесенное Кромбелем, но уже в безобразно истерической, грубой манере, присущей Говнюкам в крайней степени отчаяния. Все смотрели на Стэфана, который угрюмо молчал несколько минут, а затем красиво откинул назад свои геройские косы, которые стали уже в его армии предметом подражания, и изрек, что армии нужны боевой опыт и усиление материальной части, поэтому он принимает решение четырьмя колоннами окружить и уничтожить Уродов, а пятую колонну оставить в резерве на всякий случай.

Первую колонну он решил сам вести с фронта, а руководство тремя остальными поручил другим Говнюкам. В реальности он не надеялся ни на какое взаимодействие войск, а имел план атаковать в лоб, что и собирался сделать сам во главе ста Говнюков, а остальные три колонны он просто намерен был потренировать в маневрах на местности в ситуации, приближенной к боевой. Рассчитав время, Стэфан отправил в обход триста Говнюков и, выждав сорок минут, сам двинулся в атаку.

\*\*\*\*\*

Сколько себя помнил Стэфан, он в первый раз был выше сложившихся обстоятельств и сильнее их. Сейчас ему не нужно было прятаться, скрываться и выигрывать хитростью. Он был сила, которая могла неторопливо выдвинуться и нанести сокрушительный удар, не скрываясь. Сам он двигался впереди своих людей сначала шагом, потом перешел на легкий бег, и ему приятно было бежать, он чувствовал такую силу в руках, в ногах, во всем теле, что, казалось, мог бы один переколотить всех засуетившихся перед ними Уродов. Вместо

обычной дубины у него в руках был отличный железный шест, заостренный и отточенный с концов так, что выглядел как два скрепленных между собой стальных лезвия. Никогда еще у Стэфана не было такого оружия, тренируясь, он целиком перерубал им тоненькие деревья и теперь приближался к Уродам, представляя как сейчас рубанет!

Уроды были в пятидесяти шагах, когда Стэфан неожиданно для самого себя набрал в легкие воздуха и издал такой боевой рев, что сама собой скорость его бега еще увеличилась, косы живописно развевались по ветру, а его солдаты, подхватив этот крик вслед за своим командиром, обнажили оружие и полностью поглощенные азартом предстоящей победы, понеслись на Уродов. В этот же момент с трех сторон показались три обходные отряда и неполная сотня уродов, стоящая до того в угрюмой нерешительности, заметалась по сужающемуся вокруг них кругу смерти.

Стэфан первый врубился в расстроенные ряды противника, и немедленно справа и слева от него начали падать туши не успевших даже опомниться тварей, он не чувствовал усталости, его руки рубили, резали, кололи, тело уворачивалось, прыгало, уклонялось от ударов, и снова руки рубили, ноги перепрыгивали через уже мертвых или еще умирающих, издававших свой омерзительный визг Уродов, а глаза уже искали новые жертвы рукам. Его оружие вращалось как сверкающие крылья ветряной мельницы, рубило в кололо как молния, сошедшая с неба, и если бы Уроды знали, что такое страх, они наверняка в ужасе бежали бы, но Уроды не знали страха, и им оставалось только умирать под разящими ударами. Но одни умирали, а другие постепенно сжимали кольцо вокруг Стэфана, и еще секунда, как удар дубины свалил бы его на землю, как тут лавиной накатила сотня, и всего через несколько секунд Стэфан увидел вокруг себя вместо Уродов своих людей, а бой сместился еще метров на двадцать вперед, где горстка живых еще Уродов таяла под ударами врубившихся в нее с трех сторон обходных отрядов.

Все было кончено за полчаса, и из всего войска только пятая часть успела реально вступить в бой, но всех без исключения, даже резервную сотню захватил азарт сражения, все чувствовали пьянящую радость победы и эйфорию успеха. Еще едва отдышались, не успели даже окончательно разобраться по отрядам после боя, как с правого фланга, который успел к месту сражения, когда все уже закончилось, донесли радостные вопли и сотня, стронувшись с места, ринулась куда-то, увлекая за собой три оставшиеся сотни, из которых только сотня Стэфана подчинилась команде и осталась на месте. Да и та после минутной паузы со Стэфаном во главе, взяв чуть правее, бросилась на вновь появившегося противника.

Разгоряченные победой и ощущением своей силы Говнюки ринулись на врага, и удар их четырех сотен был чувствительным для десятитысячного корпуса Уродов, ждавшего здесь армию Людей. Соотнесясь со скоростью уничтожения первого своего отряда, долженствовавшего только заманить людей в окружение, и с силой натиска на основные силы, Уроды двинули к месту сражения еще два десятитысячных корпуса, что только и дало возможность армии людей совершить свой маневр и соединиться с главными силами.

А Говнюки еще не знали ничего о происходящем и сражались что было сил добывая себе победу, богатство, славу и еще то, чего каждому хотелось лично для себя.

Только резервная сотня и обоз видела, как огромная масса Уродов охватывает их рвущихся вперед товарищей, и видели, что там, куда они рвутся за победой, только океан черных дубин и неизбежная смерть. Вот уже отряд, где на острие удара можно было угадать яростно вращающего своим оружием Стэфана, замедлил движение сквозь войско Уродов, вот он уже остановился, вот уже Стэфан, взобравшись на плечи своих людей, что-то яростно кричит и машет рукой назад, а там, куда он машет, уже смыкается с двух сторон океан черных дубин. Вся резервная сотня, застыв, смотрела с возвышенности, как в облаке пыли погибают их товарищи, как их теснят Уроды и как тают ряды бойцов. Все смотрели на эту картину заморожено, и никто не двигался с места. Первым пришел в себя ростовщик,

который закричал на Кромбеля и других обозных, чтобы немедленно разворачивали лошадей и мчались назад, спасая жизнь и имущество. Он уже сам схватил вожжи одной из повозок и принялся тянуть их, продолжая орать, как вдруг упал, сбитый с ног. Это Кромбель, размахнувшись, треснул ему дубиной прямо по исступленно орущей роже и треснул в первый момент, подчиняясь скорее только импульсу заткнуть этот мерзкий и надсадный, выкручивающий душу крик.

Увидев, что наделал, Кромбель на секунду осекся в своей решительности, растерянно повернулся ко всем и увидел очень разные обращенные на него лица, где среди многих выражений он встретил и презрение. Это было привычное глумливое презрение изверившихся, но были и другие лица, были лица, горящие надеждой и отвагой, лица решительные и бесстрашные, и именно к ним он обратился, когда вскочил на одну из телег и громко отдал приказ обозным облить лошадей горячим маслом, запасенным для изготовления мази, а резервной сотне изготовиться для атаки. Все стояли в нерешительности, пока он не крикнул как мог громко, что они всю жизнь были Говнюками и только теперь могут умереть как Герои! И обозные облили повозки и шарахающихся лошадей горячим маслом, а сотня изготовилась к бою. Потом по приказу Кромбеля повозки подожгли и пустили лошадей с горящими телегами вниз, туда, где смыкалось уродское войско. Обезумевшие обозные кони неслись на Уродов и горели как небывалые огненные звери. Они врзались в Уродов и стали топтать их ряды, но Уроды не испугались, потому что не знали страха, но они удивились и встали, раззявив рты, а тут-то как раз в них ударила резервная сотня, ударила навстречу вырывавшемуся с остатками людей и Жульеном Стэфану.

Кромбель не мог бежать впереди, он был еще слишком слаб, поэтому его быстро обогнали солдаты, бегущие навстречу смерти. И он, глядя на лица обгонявших его, вдруг осознал, что это лица людей! Его обгоняли люди, а не Говнюки! И лица этих людей не выражали страха или отчаяния, на них читалась решимость и еще... что-то, что он не мог сразу разобрать.

Удар горящих лошадей и резервного отряда, усиленного обозными, стоил Уродам несколько сотен голов и позволил выбраться из кольца окружения Стэфану, Жульену и еще тридцати бойцам из пяти сотен, существовавших двумя часами раньше. Уроды не стали преследовать такую ничтожную кучку людей, а изготовились к битве с основными силами, которых так и не дождались в тот день, бестолково перемещаясь по окрестностям.

Почти все из тридцати были ранены, Жульен шел, преодолевая боль в раздробленном уродской дубиной плече, а Стэфан, не обращая внимания на кровь, стекающую с разбитой головы и пропитавшей все его косички, нес на плечах Кромбеля, который даже и не стонал, а только покачивался на плечах своего друга. Его голова в такт шагам терлась Стэфану о правое плечо, а ноги как две тоненькие палочки свешивались слева. Шли по направлению к горам, сами не понимая, почему стоит придерживаться именно этого направления, возможно, потому, что горы было хорошо видно, или потому, что там была их первая цель. Никто ни о чем не говорил, никто ни о чем не спрашивал. По ходу движения двое умерли прямо на марше, еще четверо свалились и не могли больше идти, теперь их несли оставшиеся, упорно продолжая замедлившееся движение неизвестно куда. Разгромленный, израненный отряд, обремененный ранеными, двигался всю ночь, преодолевая остаток пути. Только к утру они вышли к предгорью, где сделали очередной привал.

На этом привале умер Кромбель. Перед тем как умереть, он пришел в себя, открыл глаза, улыбнулся Стэфану и сказал так, как будто продолжал только что прерванную мысль:

— Я вспомнил это слово, Стэфан, это — «одухотворенные», только люди бывают одухотворенные...

— Кто одухотворенные?



— Те, кто в бой... Пока ты меня нес, я не мог вспомнить этого слова. Они были решительные, сосредоточенные, суровые, а еще одно слово, очень важное, я не мог вспомнить... а вот теперь вспомнил.

— Кромбель, может быть, ты хочешь попить? У нас есть вода... или... ты поспи, раз ты пришел в себя, поспи, наберись сил, а дальше мы понесем тебя на чудных носилочках...

— Дальше вы меня не понесете, Стэфан. Я умру здесь, мне только нужно было вспомнить это слово... и еще... я хочу сказать тебе, что очень, очень тебя люблю. Ты обязательно станешь Героем, но я люблю тебя уже теперь, таким, какой ты есть, мой единственный и лучший друг, Стэфан. Я зря на тебя сердился, ты почти всегда был прав во всем, а моя жизнь уже кончилась, но я благодарен судьбе, что умираю человеком... и в окружении таких прекрасных людей...

Последние слова Кромбель сказал очень тихо, Стэфан едва различал смысл сказанного, а в некоторых словах вообще не был уверен, оттого что ветерок, тихонько шелестя листьями, совершенно их заглушал, и оставалось догадываться по едва заметному движению губ. Стэфан даже не знал, куда Кромбель ранен, на нем не было крови, руки и ноги были целы, на голове не было ничего, что отсутствовало бы у других раненых: несколько шишек, ссадин и синяков, но Кромбель говорил о том, что умирает, а Стэфан отказывался верить, он с жаром убеждал друга в том, что тот только контужен и уж он-то, Стэфан, понимает толк в ранах, и совершенно целые, нигде не поврежденные люди не могут вот так умирать! Кромбель не спорил, он молчал несколько минут, закрыв глаза, и снова открыл их только для того, чтобы последний раз поймать взгляд друга, взять его руку в свою и положить себе на грудь. Там, завернутые в бумагу, лежали его сказки для Говнюков и Стэфан почувствовал их через одежду, хотя все время, пока нес Кромбеля на плечах, много раз снимая его и вновь взваливая на себя, не чувствовал ничего. Через минуту Кромбель тихонько перестал дышать. Обошлось без судорог, без каких бы то ни было проявлений агонии, его лицо совершенно не переменялось, а осталось таким же живым, как и было, даже руки какое-то время оставались теплыми, только дыхания не было, и еще глаза, глаза сразу стали стеклянными. Стэфан, проведя ладонью, прикрыл их, и Кромбель просто остался лежать с закрытыми глазами, как будто устал и решил немного отдохнуть, как будто он с наслаждением вслушивается в звуки утреннего леса и ожидает чего-то очень хорошего от наступающего дня.

Стэфан со всей аккуратностью, осторожно достал у него из-за пазухи сверток со сказками, о котором Кромбель много раз ему говорил, но вот прочитать все было недосуг. Теперь было время, можно было размотать бумагу и, сидя рядом с Кромбелем, прочитать. Стэфан читал, и ему казалось, что это написал не Кромбель, никогда не слышал от приятеля ничего подобного. Он останавливался в чтении и до боли в глазах всматривался в почерк, вспоминая, как его друг писал те или иные буквы, и получалось, что, без сомнения, почерк его. Тут же думалось, что он мог переписать или записать под диктовку, но откуда и от кого, когда во всем городе, пожалуй, не найти было и одной книжки, кроме наставлений по специальностям. И никаких сказочников среди Говнюков не существовало, да и где бы Кромбелю с ним встретиться... В тюрьме? И постепенно Стэфан понимал, свыкался с мыслью, что именно его приятель Кромбель сам это все написал, а значит, думал обо всем этом, но не делился ни с ним, Стэфаном, ни с Жульеном. Но почему? Почему он никогда не делился своими мыслями с друзьями? Это было очень обидно осознавать, что, оказывается, Кромбель не считал его, Стэфана, близким другом, так как не делился с ним своими самыми главными мыслями. Стэфан начинал плакать навзрыд, а потом снова читал листочки, и минутами казалось, что сам Кромбель читает их ему, что он, наконец, решился прочесть их лучшему другу, и еще казалось, что он еще жив и, может быть, никогда-никогда не умрет. Не обращая внимания на размазанные буквы, не замечая, что страницы были пропитаны

кровью, Стэфан хотел чувствовать за бумагой своего друга, слышать его голос, и только дочитав последнюю страницу, он еще раз посмотрел на его лицо и увидел, что все черты приобретают уже особенную, характерную для мертвецов заостренность, и этот мертвый человек лишь напоминал Кромбеля, но самим Кромбелем не является, хотя бы потому, что он мертвый, и самое ужасное было угадывать в этом похолодевшем мертвее черты только что говорившего с ним, ужасно было секунда за секундой убеждаться, что этот неживой человек не просто немного похож на Кромбеля, а это все, что осталось от его друга. У лежащего на земле опять наполовину приоткрылись глаза, и Стэфан снова провел рукой по холодному уже лицу и снова надвинул веки на остекленевшие глаза. Это оказалось нетрудно, веки послушно надвинулись и больше не раскрывались.

Он посмотрел на свою руку, которая только что касалась воскового лба неживого человека, и подумал, что пройдет еще день или два их скитаний, и он сам вот так будет лежать где-нибудь под кустиком, и еще повезет, если найдется кто-нибудь, кто его похоронит, и именно эта его рука, такая живая сейчас, будет неподвижно и холодно деревенеть в том положении, в котором случайно оказалась в последнюю минуту.

Бывшего продавца мазей из уродских внутренностей похоронили возле самой горы рядом с еще одним, умершим этой ночью человеком. Теперь из всего отряда их осталось всего двадцать шесть, плюс одного израненного, находящегося без сознания, они подобрали по дороге, он не был в форме отряда Стэфана, и кто-то предположил его отношение к войсковой разведке армии людей. Человек был очень плох, его тащили на носилках четверо из тех, кто мог еще идти, еще четверо, часто меняясь, тащили одного своего, остальные, пошатываясь и опираясь на палки, шли. Мало у кого в руках осталось оружие, вообще, боеспособных людей в отряде осталось не больше пяти-шести человек, но это еще был отряд, это были бойцы, сплоченные целью, которую, как они верили, знал командир, соблюдавшие боевой порядок движения, помогавшие слабым и раненым товарищем. Это был отряд людей, появившийся из построенной в ряды оравы Говнюков. Никто не мог сказать, когда именно это произошло. Возможно, во время той самой минуты перед атакой резервной сотни, или во время отчаянного боя, или во время тяжелого отступления. Никто не задумывался сейчас об этом, даже Жульен. Жульен думал теперь только о том, что не имеет права упасть, что должен идти сам и не может позволить своим людям нести себя на носилках. Плечо не просто болело, оно сотнями раскаленных штырей втыкалось само в себя, в руку, в грудь при каждом шаге, но это было еще ничего, это даже было хорошо, потому, что боль не давала упасть, она держала на ногах и заставляла голову, которой так хотелось сладко провалиться в обморок, оставаться в сознании. Так Жульен топал уже вторые сутки, являясь ареной неустанной борьбы между болью и слабостью. Сам он был на стороне боли, так как думал, что если победить слабость, то он умрет, а хотелось еще пожить. Хотя бы час, день или неделю! А если целый месяц... а если еще много лет! Это же почти вечно! Только нужно пережить эту минуту, этот час, продержаться и не упасть лицом к смерти.

Два или три часа движения снова сменились привалом, на котором, пойдя за водой, Стэфан увидел себя в ручье. Он ушел к ручью и не возвращался почти полчаса. Жульен заставил себя подняться и идти за ним, а проковыляв пятьдесят шагов, обнаружил рыдающего Стэфана на берегу ручейка, где тот, вздрагивая, сидел рядом с маленькой, круглой, похожей на тазик для стирки заводью. Жульен сначала подумал, что Стэфан горюет о Кромбеле, и, изо всех сил разогнав туман в голове, постарался помочь. Он положил руку Стэфану на плечо и заплетающимся от боли и усталости языком начал говорить какие-то слова о том, что потеря друга — это ужасно, но сейчас нужно взять себя в руки и идти, что по дороге они могут поговорить о Кромбеле и, возможно, станет легче. Но Стэфан сидел и молча мотал головой, а потом, наклонившись над водяной линзой, уставился туда и потребовал от Жульена ответить, кого там видно. Жульен взглянул и сказал, что видит там

себя, едва живого, и своего друга Стэфана, который научился видеть свое отражение и которому теперь не нужно тренироваться перед зеркалом. Стэфан отскочил от ручья, замахал руками, закрыл уши, чтобы не слышать, и, перекрикивая Жульена, начал говорить, что так мечтал увидеть себя и теперь видит, но лучше бы он не видел, потому что то, что он видит, ужасно, жалко и достойно только презрения. Жульен тогда подошел к своему другу, обнял его за вздрагивающие плечи здоровой рукой и сказал, что теперь Стэфан опять сделался человеком, способным выдерживать свое реальное отражение в зеркале, способным видеть себя настоящим, что не в силах сделать ни один Говнюк именно оттого, что не способен принять себя таким маленьким, жалким и ничтожным муравейчиком, коим каждый из нас и является. И еще он сказал тогда, что увидеть себя — только первая половина дела, а потом нужно еще научиться любить себя таким, какой ты есть — маленькой, крошечной, почти ни на что великое не влияющей песчинкой. Нужно принять и полюбить этого себя и дать себе такому микроскопическому и уязвимому место в нашем огромном мире, позволить себе право на жизнь.

Потом Стэфан, не расплетая, мыл в воде свои воинственные косы, и вода сразу становилась красной от того, как много крови было впитано в эти волосы, но нужно было избавиться от этой запекшейся и застывшей уже крови, так как уже сейчас она была лакомством для роя черных мух, а могла вообще испортиться, так как портится на жареное мясо.

\*\*\*\*\*

Имя человека, возглавившего объединенную армию людей, было Паскаль.

## Глава 18. О справедливости.

Паскаль Лебонж воевал уже три года. Противник, как всегда, был жесток, коварен и блестяще подготовился к началу боевых действий, а вот у Паскаля, готового, казалось, ко всему, оказались слабые места, из-за которых кампания началась с неудачи. Он потерял лучшего друга — Патрика Бенаму и позволил врагу выполнить все, что тот планировал, а теперь, когда все уже произошло и он ничего не смог предотвратить, ему оставалось только терпеливо собирать по крупицам свои силы для ответного удара. Но и неприятель не намеревался останавливаться на достигнутом, а, понимая шаткость своего положения при живом Паскале, планировал развить первоначальный успех до полной победы. Накал борьбы подходил к наивысшей точке, а резервов для быстрого наступления у шефа полиции не наличествовало и не предвиделось, сил хватало только на активную, изматывающую врага оборону, при которой, по опыту, победа была вопросом времени, но именно времени неприятель ни в коем случае не собирался ему предоставлять. Для победы в таких условиях очень нужна была ошибка противника, и Паскаль ждал ее, а если бы он умел привораживать или верил в колдовство, то и эти шансы использовал бы, для заполнения драгоценной и долгожданной ошибки врага, шансы на которую он считал увеличивающимися с каждым днем, потому что с самого начала войны противник еще ни разу не ошибался.

Военные действия начались с того, что случился грязный скандал вокруг корпорации Бенаму. Первопричиной его стали растиражированные прессой порнографические фотографии супруги вице-президента Джессики. Не дав никаких комментариев, мадам при странных обстоятельствах покончила с собой, и это стало вторым витком скандала вокруг корпорации. Далее, следуя за разваливающейся репутацией предприятия, случились две незначительные рекламации по качеству, которые были яростно подхвачены прессой и послужили спусковым крючком к огромному количеству судебных исков о неисполнении обязательств по привлечению клиентов, сумма которых быстро превысила активы Бенаму, объявленного банкротом и перешедшим в собственность страховой компании, которая по договору обязана была удовлетворить претензии. В преддверии этого события президент корпорации Патрик Бенаму назначил пресс-конференцию, до которой не дожид двенадцать часов, умерев на пороге своего дома от обширного мозгового инсульта, отнесенного патологоанатомами к редчайшим по силе и никак не прогнозируемым по предварительному анамнезу. Пока тактичные кредиторы выдерживали несколько дней траура до подачи судебных исков к страховой компании, она, не обращая ни малейшего внимания на похороны, собравшие половину города, быстро и дешево перепродала предприятие, оставив на распределение между кредиторами сумму, в пять раз меньше требуемой. Сделав этот факт общеизвестным, страховщики немедленно предложили всем мировое соглашение, дав понять, что в противном случае даже и эти средства могут пропасть с ее счетов и делить придется дырку от бублика. Большинство кредиторов вынуждены были согласиться и удовлетворились пятой частью от своего иска, несколько самых непримиримых подали в суд, где уже проиграли, подали на апелляцию, опять проиграли и теперь готовились апеллировать в третий раз, хотя сделавшая все допустимые для себя выплаты страховая компания осталась совершенно свободной от активов и при любом решении суда была не в состоянии ничего никому заплатить. Все активы Бенаму за бесценок скупил странное предприятие без кредитной истории, а стоящий за всей этой аферой младший внук Бенаму Франциск баллотировался в мэры Лиона, намереваясь, вероятно, по избрании устранить с постов всех должностных лиц, способных расследовать эту историю.

Каждый раз, видя с телевизионного экрана этого понятного, убедительного, умного и решительного политика, подкупающего аудиторию смелостью слов и тонкой иронией, Паскаль Лебонж удивлялся, как можно не видеть здесь звериной жестокости за решительностью, лицемерия и вранья за вульгарно простыми определениями и выводами, издевательства над всеми и всем, что есть хорошего на земле, так и разливающихся через эти тонкие губы, сложенные в почти откровенную гримасу презрения. Но главное, что нельзя было не заметить, это глаза! Глаза, совершенно не меняющиеся от смысла произносимого, глаза, как две дырки в снегу, холодные глаза неживого человека. Паскаль смотрел на Франциска Бенаму и размышлял, как много может сказать лицо, если не отмахиваться от возникающих чувств, а довериться им. Выключив звук и внимательно наблюдая за выражением лица, за жестами и позами, он многократно убеждался в выпуклости давно известных ему черт характера Франциска и делал предположения о пока не проявлявшихся сущностях молодого бизнесмена. Вскоре после начала такого просмотра отчетливо проявлялась деланость каждого его движения, а если всматриваться дальше, стараясь подглядеть под маску, то становились видны большая усталость, какая-то грусть и даже затравленность этого человека, еще глубже появлялся живой ужас, кошмар, от которого цепенеют, и становилось понятно, что делает замороженными эти глаза, а ненависть уступала место жалости. Жалость была непонятно откуда берущейся, но совершенно отчетливой, как будто какая-то часть Паскаля Лебонжа отчетливо видела умирающего, почти умершего уже человека, которому ничем нельзя помочь. Но как только включался звук, предшествующий образ немедленно разрушался и на экране оставался ловкий лжец,

виртуозно манипулирующий окружающими людьми и выглядящий вполне довольным своей жизнью человеком с большими планами на будущее.

\*\*\*\*\*

Шеф полиции смотрел вечернюю передачу одновременно с еще несколькими миллионами французов и не французов, и среди этой переключающей каналы, валяющейся на диванах, насыщающейся пивом и натапливающей в себя огромные бутерброды аудитории были еще несколько человек, видящих происходящее не так, как большинство. В числе этих людей, которые могли видеть кое-что из-за кадра, был и Жульен Бенаму, родной брат кандидата в мэры, который только что приехал домой, в свою московскую квартиру, и только что включил телевизор, сев за свой холостяцкий ужин, состоящий из двух купленных позавчера салатов, банки консервированных бобов в томатном соусе и курицы гриль в лаваше, прихваченной в придорожном ларьке. Последняя встреча сегодняшнего дня была у Жульена с адвокатом, и вчера последней встречей дня было посещение адвоката, и позавчера, и неделю назад, и вообще каждый рабочий день, за исключением редких выходных, Жульен Бенаму заканчивал у своего адвоката, и так последние полтора года, и не видно было ни конца ни края этим встречам, поскольку в отношении их со Степаном предприятия прокуратурой было возбуждено уже второе уголовное дело, точно такое же, как и первое, а первое три месяца назад закончилось судом и всех повергшими в ужас обвинительными приговорами для трех его сотрудников, чьи подписи были найдены на документах. Люди, по году почти проведенные в тюрьме, ожидая суда, получили максимальные приговоры и уже были этапированы к месту отбывания наказания, где каждый осужденный рассчитывал провести как максимум еще год или чуть меньше и выйти после окончания половины срока по условно-досрочному освобождению, как это и входило в планы Жульена, если уже ничего другого не получится. Но теперь, после известия о намерениях прокуратуры предъявления очередных обвинений, каждому из сидящих грозило, кроме четырех-пяти уже полученных лет, еще по столько же. Более того, прокуратура неофициально распространила информацию, что и эти обвинения не последние, а точно такие же будут предъявляться ровно до того момента, пока от всех троих не будет прямых показаний на самого Жульена Бенаму как организатора преступной схемы и главного мошенника.

Жульен уже давно говорил по-русски совершенно свободно, от него прежнего, пять лет назад приехавшего в Россию торговать тканями, остался лишь приятный французский акцент, а мыслил теперь Жульен совершенно иначе и представлял себе действительность совершенно иначе, иначе даже чем три года назад, когда умер его дед и когда он чуть было не стал абсолютно бедным человеком. Не случись тогда рядом с Жульеном его русского друга и партнера Степы Савраскина, то он, вероятно, сейчас скромно занимался бы репетиторством в Москве или, если бы повезло, работал на небольшой руководящей должности в какой-нибудь французской компании, но Степан тогда не позволил ему передать все московское представительство каким-то претендующим на это французским страховщикам, а наоборот, запатентовал в России марку Бенаму и на всякий случай поменял и без того свободные от обязательств перед кем бы то ни было юридические лица, через которые в России всегда ведется любая коммерческая деятельность. Жульен был в ужасе, он говорил Степану, что нужно действовать по закону, но этот очевидный для любого француза тезис находил здесь в

России не больше понимания, чем беспокойство перед атакой инопланетян, глобальным потеплением и озоновыми дырами. Более того, подчиняясь настойчивости друга, Жульен нашел новых поставщиков тканей из Франции, которыми представительство преспокойно продолжало торговать, даже и не объясняя клиентам, почему на тканях изменились этикетки, а на договорах появились другие печати. Главное, что телефон остался прежним, качество тканей ощутимо не ухудшилось и адрес склада не поменялся, а до скандала в какой-то там Европе русским дела не было. Тем более что собственное их компанией потребление тканей тогда уже приобрело вполне респектабельные обороты, которые давала фабрика по пошиву штор, имеющая приемлемую репутацию и клиентскую базу из сотен дизайнеров и интерьерщиков, не считая собственного розничного отдела, состоящего из пятнадцати человек. Партнеры тогда начали хорошо зарабатывать, а Савраскин, который как раз недавно оформил развод, узаконив фактическое отсутствие семьи, постепенно, но необратимо как-то образовавшееся в его жизни, всего себя посвятил работе, проявляя недюжинную коммерческую расторопность. Едва появилась возможность, он заставил Жульена купить во Франции технологию по производству мягких спален, и рядом с их подмосковной швейной фабрикой, объединив свои средства с кредитными, построили еще одну, уже для производства мебели, с тканевой, конечно, основой. Это было сделано за полгода, и швейные подразделения тоже пришлось увеличивать, так как к шторам добавились покрывала для кроватей, а сами мягкие кровати так понравились в России, что Степан уже думал еще укрупняться. Савраскин оказался очень деятельным человеком и очень не любил платить, как он выражался, «болтливым и наглым бездельникам», из-за чего сам наладил растаможку всех идущих к нему из Франции контейнеров с товаром. Так в предприятии образовался таможенный отдел, который, кроме собственных объемов, начал брать клиентов и давал фантастическую прибыль. Степан чрезвычайно гордился этим фактом и тут же купил маленький банк, чтобы не переплачивать никому за обналичку и выгон денег за рубеж. По проверенной схеме, кроме удовлетворения собственных потребностей, эти услуги тоже были широко предложены на рынке, но давали уже гораздо меньше, чем растаможка, хотя и не настолько мало, чтобы возникла идея отказаться от данного вида деятельности.

Доля Жульена, изначально занимавшего в бизнесе совершенно доминирующие позиции по количеству принадлежащих ему акций, к настоящему моменту стала значительно скромнее, так как, наблюдая за продуктивной активностью Степана на фоне своей скромной фактической роли, Жульен сам счел необходимым перераспределить акции пятьдесят на пятьдесят, притом что Степан выплатил ему половину первоначально вложенных двухсот пятидесяти тысяч. Жульен назывался генеральным директором, а Степан — исполнительным. Около года назад они еще пожертвовали каждый пятью процентами бизнеса в интересах третьего и, как все договорились, последнего учредителя. Им по рекомендации Савраскина стала молодая женщина, начавшая свою карьеру с секретаря на телефоне, но проявившая такие потрясающие качества во всех возможных областях, что прижимистый Савраскин убедил покладистого Жульена сделать ей эксклюзивное предложение о сотрудничестве в качестве соучредителя. Девушку звали Каталина Ромбель, и ее энергии наполовину с энергией Степана предприятие было обязано своим процветанием. Каталина со всеми находила общий язык, со всеми договаривалась, со всеми устанавливала отношения, ничего не забывала, и область ее ответственности уже распространялась настолько широко, что страшное для работодателя слово «незаменимость», так и просилось сорваться с губ.

Второе обстоятельство отчасти вытекало из первого, а отчасти из свойств характера девушки, чьи бабушка и дедушка приехали из Варшавы в послереволюционную Москву помогать советской власти — мадемуазель Ромбель трижды была застигнута в попытках обворовать предприятие по-крупному или открыть собственное дело через дорогу,

переманив часть клиентов и персонала. Первый прецедент завершился ее горячими слезами и искренним раскаянием, во второй она угрюмо произнесла, что не собирается оправдываться и пусть с ней делают все что хотят, а на третий просто заявила, что свинство со стороны двух мужиков, не делающих вместе и половину ее работы, не дать ей нормальную долю в предприятии.

Роль ее действительно была существенной, она полностью заменила Степана на двух горящих направлениях — на банке и растаможке, что не только определяло ее практическую нужность, но и требовало высокой лояльности общему делу. Тогда, в третий, последний разговор, Савраскин, поражаясь совершеннейшей и самоувереннейшей бессовестности ближайшего своего помощника, едва преодолевая ярость, задал ей, чеканя слова, вопрос о том, помнит ли она о своем первоначальном положении и о том, на каких условиях ее приняли в компанию и до каких высот теперь подняли, и где теперь ее совесть... Упоминание о совести взорвало относительно спокойную до этого Каталину, Степан не успел договорить, как Катька вскочила со стула и с не меньшей, чем он, яростью швырнула обратно Савраскину свой вопрос: считает ли он справедливым, когда в блокадном Ленинграде на хлеб выменивали произведения искусства? Савраскин на секунду задумался и, потеряв уже темп, начал было про то, что теперь не блокадный Ленинград, и она не за кусок хлеба работает, тогда, перейдя непосредственно к близким Савраскину реалиям современности, она выпалила, что если на рынке труда сложилась такая извращенная ситуация, что, работая с максимальной отдачей, забыв о сне, личной жизни и любой другой форме жизнедеятельности, кроме работы, подвергая себя всевозможным рискам, ежедневным стрессам и неприятностям, человек способен только чуть-чуть извлечь себя из нищеты, получая зарплату, которая позволит ему через десять лет круговой экономии и потери здоровья накопить на скромную машину, небольшую квартирку и дачку в ста километрах от города, то даже согласившись на эти априори несправедливые условия, предлагаемые людьми, которые к понятию совесть вообще не имеют отношения... Здесь она сделала паузу, как будто запнувшись или потеряв мысль, но секундою позже собралась и с таким же яростным воодушевлением продолжила, что человек, которого, пользуясь безвыходностью его ситуации, наняли для того, чтобы нещадно эксплуатировать, выжать как лимон и выкинуть на помойку, как только необходимость в нем исчезнет, так вот этот человек не должен чувствовать никаких угрызений совести, используя возможность вытащить из кармана у своего эксплуататора несколько лишних копеек, а наоборот, он должен радоваться и гордиться, что еще не поставил себя в категорию людей второго сорта, что он тоже желает питаться из дорогих магазинов, где продаются здоровые и полезные продукты, тоже хочет, чтобы его дети получили отличное образование и при случае имели нормальную медицинскую помощь, тоже хочет пару раз в год отдыхать в приличных условиях, выезжая на курорт, и что все люди, по сути, равноценны по своим способностям, и нет никаких гениев ума и работоспособности, эффективность которых в тысячи раз превышает эффективность их подчиненных и служащих в соответствии с тысячекратной разницей в доходах.

Степан уже сталкивался с подобными, как он называл, «западениями» Ромбель и знал, что теперь, когда у нее «запала кнопка», убедить ее хоть в чем-то совершенно невозможно, какую бы ахиною она не несла. По первости Савраскин вообще счел барышню немного не в себе из-за такой ее странной особенности, и не имея возможности уволить ее тут же, намерен был сделать это не далее как неделей позже, но за эту первую неделю Каталина Ромбель уже проявила себя так, что пока решено было от нее не избавляться. Дальше, сохранив за собой привычку к подобным фокусам, она тем не менее всегда компенсировала эту неприятную особенность характера потрясающей результативностью работы, и Савраскин стоически терпел. Так что теперь он уселся поглубже в свое кресло и просто так,

ради спортивного интереса, язвительно и холодно спросил у мадемуазель Каталины сколько бы она считала адекватным получать у них в предприятии соответственно своим невероятным заслугам. Ромбель, ни на секунду не задумываясь, серьезно ответила, что если получит десять процентов от всего, то готова будет жизнь отдать за общее дело, и это не болтовня. Такой поворот снова озадачил Степана, так как запрос не был невообразимо нахальным, и в разговоре появились малоприятные материи типа жизни, смерти, чего Степан недолюбливал. Он еще посидел, потом сказал, что подумает, посчитает, посоветуется с Жульеном и даст ответ через неделю.

Кстати говоря, Катилин подписывалась, ставя первую букву имени и затем фамилию полностью, так и получилась она Кромбелем, с чем согласилась, даже и не без некоторого удовольствия, заявив, что если ее прозвище переключается с английским Оливером Кромвелем, то она совершенно не против, так как считает его достойным и решительным человеком, а его пресловутую жестокость лучше отнести к не переменному свойству эпохи. Никто из присвоивших Каталине новое имя ни про какого Кромвеля не знал ровным счетом ничего, так что комментарию этому историческому экскурсу не получилось бы, не окажись тут случайно Жульена, который, покопавшись в своей бездонной голове, вежливо напомнил мадемуазель Катилине, что в английской истории кроме Оливера Кромвеля еще наличествует лорд Томас Кромвель, живший ста годами раньше и казненный по обвинению в государственной измене. Катка недоверчиво глянула на Жульена, к которому, единственному в компании, испытывала некоторый пиетет, и, вздохнув, философски заявила, что от судьбы не уйдешь. Так она и стала Кромбелем, некоторым образом превратившись из еврейки в англичанина. Она действительно никогда не вела себя как девушка и, надо сказать, чрезвычайно от этого проигрывала, так как, не порти она себя штанами, башмаками и рубашками с галстуком, была бы не просто интересной, а очень красивой женщиной.

Уже через месяц после фактического включения в состав учредителей Кромбель, как реально ведущую направление, сделали председателем правления банка. Еще ее хотели назначить директором зарегистрированной на таможне фирмы — декларанта, но она заявила, что это совсем уже небезопасно, и оформилась только заместителем директора, хотя и решала там все вопросы, по доверенности, договорившись с таможней, что требовать присутствия первого лица никто пока не будет.

Скарденый Савраскин подсчитал, что за первый год работы Кромбель получила почти триста тысяч долларов, и это не считая того, что предприятие продолжало укрупняться и принадлежащая ей доля, равно как и доходы, непрерывно увеличивались. Жульен тогда утешил приятеля, предложив ему сделать те же самые расчеты в отношении себя самого и порадоваться, что Каталине, кроме доли, еще не потребовала огромную зарплату в качестве компенсации за риск быть председателем правления практически черного банка и ведения криминального таможенного бизнеса. Тут Степан, не церемонясь с формулировками и эпитетами, заявил, что это с нее нужно еще получать за удовольствие адреналиновых встрясок, без которых она и дня не проживет, и посади ее заниматься унылым производством, она все завалит на второй день и еще сиганет из окна от недостатка острых ощущений. Жульен напоминал русскому другу, что речь все-таки идет о женщине, и просил использовать приличные выражения, на что Савраскин издевательски замечал, что при посещении сотрудниками таможенного отдела бани с проститутками мадемуазель Каталина, наравне со всеми таскает девушек в комнату для отдыха, иногда даже по две сразу, так что назвать ее вполне женщиной он бы поостерегся. Здесь Савраскин недоговорил, что еще Катка четыре раза уже отказывала его пьяным ухаживаниям, и это чрезвычайно бесило исполнительного директора.



## Глава 19. О результатах дурного воспитания.

Каждую ночь, чуть только сон смеживал усталые веки кандидата в мэры, он, проведя в тяжелом забытии немногим более часа и обильно вспотев, просыпался от одного и того же странного кошмара, который и кошмаром-то не был в нормальном понимании этого слова, он и не помнил оттуда ничего содержательного, но мог отчетливо восстановить в памяти ощущение липкого страха, который будил его, заставлял открыть глаза, привстать на кровати и удостовериться, что все в комнате на своих местах и это действительно его комната, он это он, и ничего не изменилось. Единственное, что получалось вспомнить иногда, это то, что комната вдруг начинает увеличиваться до огромных размеров, стены как будто разъезжаются и становятся так далеко, что их и не видно, а сам он, наоборот, превращается в малюсенького муравейчика, но вдруг у него, малюсенького, начинает расти, раздуваясь как воздушный шар, огромная рука или нога, и она уже почти заполняет собой всю и без того необъятную комнату, и сейчас раздавит его и задушит, а он такой маленький, и это отчаянно страшно. Тут он просыпается и... немедленно все проходит. Однажды, когда он очнулся и стал, как всегда озираясь, успокаиваясь, то увидел направленное на себя острие чего-то, похожего на компас. Это было возле шкафа, где у кандидата в мэры висело распятие. Испугаться он не успел, но попытка увернуться от направленной ему прямо в живот стрелы, а она меняла направление вслед за ним, и пришлось даже, схватив подушку, защищаться от этой угрозы. Прошла минута или больше, когда он окончательно пришел в себя и увидел, что возле распятия ничего нет, а он стоит рядом с кроватью голый, прижав к своей нижней части то, на что во время сна кладут голову. Тогда кандидат в мэры даже усмехнулся произошедшему, лег в постель и спокойно уснул. Кстати, он всегда спокойно засыпал после того, как убеждался, что все в порядке, и даже немного гордился, что, обладая такой уравновешенной психикой, не придает значения глупостям и даже спать они ему не очень-то мешают. Подумаешь, просыпаешься через час, осматриваешься и снова засыпаешь как ни в чем не бывало — совершенно несущественное в жизни обстоятельство.

Франциск Бенаму был чрезвычайно занятый человек, его время было расписано поминутно многочисленными помощниками, секретарями и советниками, весь день он работал в своем кабинете, проводил совещания и встречи, готовил выступления, просматривал фото- и видеоматериалы, давал интервью и выступал по телевидению. Он был в состоянии мгновенно переключиться от сладкоголосой встречи с избирателями к разносному совещанию членов своей администрации, где ничего не упускал и обсуждал по пятнадцать вопросов за два часа. Среди его сотрудников культивировались точность, исполнительность и краткость, мсье Франциск очень любил армейские метафоры и примеры, всегда четко, телеграфно-коротко, но подробно ставил задачи, а потом требовал такого же дотошного, но лаконичного отчета.

В последнее время он предпочитал больше общаться с подчиненными по электронной почте, предельно ограничивая размер записок. Если размер письма был больше допустимого, оно возвращалось автоматически, и компьютер вел статистику таких возвратов от каждого, кто лично подчинялся мсье Франциску. На разносных совещаниях выбирались один или два чемпиона по возвратам и методично размазывались по столу, так что у некоторых становилось плохо с сердцем. Люди, находящиеся под прицелом его неумолимого внимания, впадали в настолько обескураженное состояние, что совершенно затормаживались и неожиданно для себя лишались способности формулировать самые простые вещи, вызывая

даже и всеобщий смех, до того это выглядело престранно и комично. Вообще, надо сказать, что у мсье Франциска удерживались не многие, и эти уцелевшие были людьми в некотором роде особенными. Все они за глаза шепотом ругали его и называли самодуром, но эта критика, даже и между близкими людьми, всегда оканчивалась признанием вообще его неоспоримых заслуг и исключительных личных качеств. Употребив здесь сочетание «близкие люди», стоит пояснить, что любая, даже родственная близость в команде кандидата в мэры была дальше, чем близость к самому первому лицу. Его сотрудники должны были в любой момент находиться в готовности ради мсье Франциска продать родную мать, ребенка, жену, все что угодно, и этому не позволялось быть просто декларацией, а проводились изощренные проверки лояльности высшего управляющего звена. Каждый из приближенных к телу должен был быть готов в любую минуту оказаться на лобном месте и почтительно, а даже и с радостью принимать садомическую критику руководства, совершая при этом только те телодвижения и только то сопротивление, которые должны были доставить первому лицу возможность наивысшего удовлетворения справедливых претензий. Если лобное место оказывалось несвободно, то каждый находился в готовности занять роль при этом процессе в отношении кого-то из коллег для ассистирования мсье Франциску и предоставления ему всех необходимых поддержек и вспомогательных средств. Иногда случались встречи и с глазу на глаз, но это было лакомство для избранных. На таких встречах мсье Франциск был нежен и обходителен, никогда не кричал, хотя временами шипел, страшно выпучивая глаза, но, вообще, разносными, встречи наедине бывали редко, чаще это были встречи для взаимного излияния нежных чувств, трогательные и романтические. После таких аудиенций ближайšie соратники выходили исполненные трепета и восторга, глаза их светлели, а руки некоторых женщин инстинктивно прижимались к груди. Каждому казалось, что именно он настоящий любимчик шефа и только у него самые тесные, самые неформальные и дружеские отношения с любимым начальником. Это ощущение избранности возникало в том числе и потому, что, находясь в таком интимном формате, мсье первое лицо, доверительно наклонившись к млеющему от восторга посетителю, позволял себе язвительно и весьма гадко высказываться о других членах своей команды, смакуя не только и не столько их деловые качества, как пикантные детали внешности, запахи, личные привычки и привязанности. Так, похихикав всласть над теми, кого приближенный счастливцев до сей минуты считал своими коллегами, а иногда и руководством, и не забыв в конце, пронзительно глядя в глаза собеседнику, выдать, понизив голос, несколько слов об особенной непоколебимости их личных и деловых отношений, получив ответное заверение в любви и беззаветной преданности, Франциск Бенаму отпускал посетителя, выходящего от него с их тайной, с тем, что нечто очень важное и даже интимное случилось только что между ними двумя.

Естественно, на публике ничего подобного не повторялось. Много месяцев или даже лет мсье мог не подавать виду, мог быть строгим и формально требовательным, несправедливым, капризным и жестоким, но иногда, проходя мимо, он дарил взгляд... И этот взгляд говорил: «Я помню тот наш разговор, а ты помнишь...»? И каждый помнил свой такой разговор, или несколько разговоров, и каждый держал эту тайну внутри себя, иногда держал до самого увольнения, а некоторые даже и после того, как их выгоняли, считали все реально происходящее с ними глупой игрой, ошибкой, мудрым тактическим ходом или происками клеветников, а истиной было для них только то, что было тогда... и они готовы были в любой момент вернуться и снова отдавать ему свою жизнь. Вот такие, с позволения сказать, семейные отношения были приняты в кругу ближайших подчиненных Франциска Бенаму. Надо ли говорить, что круг этот был очень устойчивым и чрезвычайно редко как впускал в себя новых кандидатов в члены, так и выпускал из себя все таких же кандидатов. Полноценным и действительным членом этого коллектива был только сам мсье Франциск.

Возможно, здесь стоит упомянуть, что бывшее производство его деда, полностью теперь ему подчиняющееся, он не стал сильно переделывать под свои привычки, боясь, что из отлаженного механизма оно может превратиться в груды металлолома и тогда продать его будет вообще невозможно.

Мсье Франциск совершенно охладел к дедовским тканям, их производству и торговле, теперь его стала увлекать политическая деятельность, он обожал восторг народа, уличные митинги в свою поддержку, где его взгляд цепко вытаскивал из толпы сотрясающихся в восторженных рыданиях женщин и разъяренные в яростном упоении пасти мужчин, скандирующих его имя. Он специально содержал трех фотографов и двух видеооператоров, чтобы фиксировать такие моменты, самые яркие из которых, оставлял себе и любовался ими без свидетелей. Это занятие вдыхало в него силу, уверенность, вдыхало саму жизнь, если не побояться этого слова, он чувствовал необыкновенный подъем вплоть до сладостной дрожи, когда хотелось немедленно... что-то совершить, и становилось понятно, что он, Франциск Бенаму, именно тот, кто может дать счастье этим людям, и они простят ему все на свете за это самое свое счастье, которое может только и состоять в лицезрении его, их кумира, в том, что они поймали его взгляд или им посчастливилось дотронуться до его руки. Он купался в восторге толпы и несколько дней после хорошо подготовленного уличного мероприятия был бодр, весел и чрезвычайно лоялен к мелким нарушениям дисциплины и проявлением нерасторопности. В такие дни он мог даже позволить себе немного расслабиться и посвятить досугу несколько часов или весь вечер, а возможно, и половину следующего дня. Но здесь каждый раз возникала проблема. Кандидат в мэры никогда не знал, чего ему делать с этим досугом, неожиданно объявившим свои права. Друзей у него не было, из родственников — только Жульен, любимых занятий у него тоже не было, кроме работы, конечно, но не мог же он заниматься ею на отдыхе. Он даже не знал, что ему нравится с точки зрения гастрономии, просто требовал у официанта, чтобы еда была полезной, низкокалорийной и выглядела респектабельно, хотя и привык к некоторым блюдам, которые любили скорее его повара, а не он сам. Конечно, он мог при случае продемонстрировать отменный вкус и обширные знания в области ресторанных меню, но все это не было настоящими его удовольствиями. Регулярно отдавая должное устрицам, он не испытывал при этом настоящего наслаждения, знал толк в рыбе и посещал дорогие рестораны, но ловил себя на мысли, что в любой рыбе ему больше всего нравится майонез. Его раздражали салаты из-за необходимости в них ковыряться, мясо он не ел, как сторонник здорового образа жизни, пирожные всегда казались ему омерзительно приторными, а от кофе начиналось сердцебиение. Так что еда не могла претендовать на культовый элемент в жизни Франциска Бенаму. Иногда, проезжая мимо дешевых закусочных и рассматривая людей, вгрызающихся в жирные куски курицы, огромные бутерброды и набивающие животы жареной картошкой, он испытывал желание присоединиться к ним и даже тайком заказывал себе биг-мак через секретаршу, но, откусив, откладывал — и здесь действительность не оправдала его ожиданий.

Так что понятие здоровый отдых для Франциска Бенаму было проблемой. Некоторое время его привлекали экстремальные виды спорта типа прыжков с парашютом, полетов на бипланах, самолетах, катания на разнообразнейших водных досках, мотоциклах и яхтах, но каждое из увлечений быстро приедалось, и он оставлял их только на тот случай, когда нужно было произвести впечатление на прибывшего погостить нужного человека или свеженькую девушку. Как и во всех областях, с которыми соприкасался мсье Франциск, и в этой области, области досуга, у него был ответственный человек, профессионал, занимавшийся вопросами праздного времяпровождения. Эта должность в штатном расписании была одной из самых тяжелых, так как хозяин совершенно не знал, чего такого пожелать, что принесло бы ему состояние отдохновения, и специальная барышня, входящая в утонченный круг богемной тусовки, с опытом предыдущей работы в модельном бизнесе, совершенно не могла

удовлетворить потребности, увы, непонятные не только ей, но и самому заказчику. Она, добросовестно отработывая зарплату внушительных размеров, много экспериментировала, предлагая проекты досуга, смелые даже для людей ее круга, но успеха не происходило — клиент ни от чего почти не отказывался, но ни к чему не располагался, и постепенно она перестала выдумывать любовные, эротические и порнографические изыски, а ограничивалась мобилизацией к нему на яхту пяти—шести моделек, которым платили только за сопровождение, то есть не более одной—двух сотен франков за вечер, и которые иногда даже и не устаивались беседы высокого лица, предпочитавшего во время морской прогулки вообще не спускаться в каюту, где барышни в отсутствии хозяина от безделья объедались икрой и опивались свежесжатými соками, которые сами себе готовили, находя в этом единственное развлечение. Иногда клиент присоединялся к организованному для него обществу, и вежливо поздоровавшись, просил чашку чаю, затем молча включал телевизор, который и смотрел подряд час или больше. Барышни, сделав по несколько попыток разговаривать мсье, замирали, позволяя себе только перешептываться, а он впаивался в экран. И это не был канал новостей, биржевых сводок или политическое шоу, он просто пялился в экран с глупейшей музыкальной программой, где разукрашенные ведущие наставляли своих четырнадцатилетних телезрителей в вопросах того, что теперь круто в музыке. Иногда по окончании прогулки он забирал одну или двух барышень с собой, тогда им отдельно доплачивали. Забавным было то, что результатом такого вечера было все то же вялое неудовольствие, как и в случаях совершенно эквилибристически подготовленных и по бюджету занимавших фонды на несколько порядков большие. Ему было все равно. И то и другое в принципе было хорошо, так как галка в графе «отдых» ставилась и выходной считался состоявшимся, но во всех случаях он жалобно ныл, что голова не совсем перестала болеть и он не смог совершенно переключиться от текущих проблем. Сначала это неудовольствие ВИП-клиента приводило в ужас резвлекательницу, но потом она решила, что это такой тип, так будет всегда, и это не грозит увольнением. После осторожной проверки своего потрясающего вывода она стала с высокой колокольни плевать на мнение потребителя, вежливо выслушивая жалобы и каждый раз обещая учесть все пожелания с совершеннейшим безразличием.

Надо сказать, что вышеописанные элементы досуга шефа были известны тем лицам в окружении мсье Франциска, которые считали себя посвященными, некоторые из них знали, что еще при случае он любил поухаживать за умненькими и совершенно неимущими молоденькими девушками, как огромный ледокол проламывая нетвердый лед их целомудрия своей увесистой респектабельностью и немедленно за этим теряя к ним интерес. Но на самом деле, этим не ограничивалась интимная жизнь кандидата в мэры. У него имелось нечто его собственное, совершенно секретное, о чем не знала вообще ни одна живая душа на земле, и это нечто даже отнести к банальной категории отдых было бы неправильно, это было скорее его сакральным таинством, ритуалом его жизни, его причастием.

Настоящие свои удовольствия он не включал в круг компетенции персонала и организовывал сам.

За три года не так много изменилось в его сексуальной жизни, он все так же любил фотографии. Только теперь их количество у него выросло несказанно, и среди них была целая папка с фотографиями Джессики, в этой папке сначала была Джессика живая, потом умершая, потом он снял крупным планом, как ее раздевали санитары, как снимали с нее, умершей, трусы, полные каловых масс, исторгшихся из его жены перед смертью, потом он снимал, как ее мыли, как после уложили на стол для проведения вскрытия, и дальше он снимал все очень подробно, как ей разрезали живот и грудную клетку, откинув ребра по сторонам, как две крышки люка, и как при этом ее посиневшее лицо не менялось, исполненное безразличия, он снимал, как из нее вытаскивали кишки, перекладывая их в

огромный эмалированный таз, как извлекали внутренние органы, как мыли потом образовавшиеся полости и, закрыв крышки обратно, зашивали лохмотья кожи широкими стежками, потом он снимал, как ей пилили череп и извлекали мозг, как разрезали мозговые оболочки, снимал, как резали ее сердце, мозг, печень, приготавливая препараты для гистологии... Он отснял тогда почти тысячу кадров, заканчивавшихся тем, как ее гримировали, и как она, выпотрошенная, стала еще красивее, чем была при жизни. Санитары не знали, кто он такой, считая его корреспондентом медицинского издательства, подготавливающего материал для издания анатомического атласа. Тогда мсье Франциск заплатил бы в десять, в сто раз больше, если бы ему позволили снять во время этой съемки штаны, как он любил, и сделать то, что было ему необходимо... Но просить об этом было слишком рискованно. Так Джессика стала одним из бриллиантов его коллекции, но не была там единственной драгоценностью...

Сам он эту свою слабость не любил, видел свое настоящее предназначение в работе и политической деятельности, имея намерения со временем распрощаться с остатками глупых забав молодости, которые казались ему допустимыми, позволительными, но все же несколько стыдными для такого монументального человека.

Он искренне и по-настоящему считал себя человеком другого сорта, иным, качественно отличавшимся от окружающих, притом что людей своего уровня состоятельности и влияния он вовсе не присоединял к собственной, элитарной категории, а напротив, презирал и ненавидел, считая случайными выскочками, ничем не заслужившими свое положение.

На публику, вынужденную работать ради жалованья, в том числе и на ближайших своих сотрудников, мсье Франциск взирал с неким подобием сострадания. Представляя себе, что каждый из его помощников вынужден трудиться за зарплату, дающую лишь отдаленную надежду на скромнейшую финансовую независимость в весьма отдаленном будущем, он частенько сопереживал им, размышляя, что, вероятно, это очень грустно, тоскливо и даже безнадежно находиться весь день на работе, изматываться в командировках, забывать о собственных чувствах и желаниях, не имея возможности бросить все и валяться на диване, не имея даже возможности хорошенько выспаться среди недели, а в выходные наверняка находятся какие-нибудь приставучие дети, жены и прочие родственнички, и здесь не дающие покоя.

Он представлял, как ужасно жить, когда ежегодная поездка на море может сожрать четверть всех годовых накоплений, а если не экономить на всем, а тратить относительно вольготно, то вообще никаких накоплений не образуется, и год будет проходить за годом, и так уныло пройдет вся жизнь в мелочных мечтах и ничтожных жизненных планах. Так он думал о своих высокооплачиваемых помощниках, а когда его навещали мысли о жизни официанток, водителей, поваров или уборщиц, то он понимал смысл жизни всех этих людей не больше, чем смысл жизни своего попугая или рыбок в аквариуме. Только одно обстоятельство могло, как казалось кандидату в мэры, скрасить унылость существования большинства людей — это прикосновение к чему-то великому, прикосновение, а если повезет — приобщение к гиганту, делающему историю, меняющему по своему усмотрению ход событий, одним росчерком обрушивающим или воссоздающим то, на что у других уходит вся жизнь. Только это может дать маленькому человеку хотя бы иллюзию приобщенности к настоящей жизни настоящих людей, и мсье считал своим долгом и удовольствием дать людям это сладкое заблуждение.

Он любил повторять, что все они делают общее дело, что его личное участие во всем не такое уж и великое, а свои интересы он всегда называл интересами предприятия, что гораздо лучше звучало и придавало любым фразам оттенок альтруистического патриотизма. Мсье Франциск жил, окруженный сотрудниками своего аппарата, в некотором роде

ставшими частью его самого — огромного, могучего и всесильного, его, составленного из множества отдельных людей, слитых в единый организм с центром в точке под названием мсье Франциск Бенаму. Периферия этого организма, выполняющая самые многообразные функции, распространялась чрезвычайно далеко и имела возможность как к экономному сокращению, так и к быстрому росту в любой необходимой области. Так что понятие аппарат здесь можно было трактовать и биологически, это даже было бы правильнее, исходя из реальности. Центр, например, никогда не совершал нелицеприятных поступков, для этого был специальный квалифицированный орган. Очередной отставленной без компенсации барышне звонила помощница, набивавшимся в друзья старым знакомым никогда не отказывали прямо, но аппарат включал их вопросы в такую череду проволочек, что большая часть просителей отваливались сами собой, равно как отваливались лица, имевшие неосторожность в той или иной форме стать кредиторами столь великого человека. Центр, что есть сам мсье Франциск, находился как бы над зоной критики и над зоной ответственности, он всегда мог все забыть, ничего не знать и свысока удивиться произошедшему.

Центру всегда оставалась роль благородного и чуть было не обманутого по своей доверчивости человека. Он благосклонно принимал эту логику, иногда с некоторыми исправлениями, а другой специально натренированный орган доводил новое видение вопроса до внешнего мира и нивелировал все ответные волны. Иногда мсье Франциск сам проводил завершающую фазу переговоров, и это даже приятно будоражило его нервы, когда обескураженный совершеннейшей несправедливостью решения оппонент терял дар речи и выпучивал глаза. Было забавно и нравоучительно, что даже в такой ситуации совсем мало людей называли мсье Франциска теми словами, которые были бы здесь наиболее уместны — подлецом и негодяем, никто не давал ему пощечин, никто не плевал в глаза. Большинство корреспондентов сохраняли совершеннейшую политкорректность, пытались апеллировать к логике и здравому смыслу, не понимая по наивности своей, что жалкая логика одного, не очень-то уверенного в себе человека ни в какое сравнение не может идти с монументальной, изобретательной и многократно подкрепленной логикой могучего организма, составленного опытными людьми, организма с центром в точке мсье Франциск Бенаму, где белое спокойно могли признать черным, а сладкое — соленым, если того требовала ситуация.

\*\*\*\*\*

Чаще всего сам он понимал всю суть игры и иногда по ходу серьезного объяснения, как раз когда его оппонент находился на пике обескураженности, из него вырывалось даже веселенькое хихиканье, похожее на звуки радости шкодливого подростка, ловко устроившего смешную западню для противной соседской бабульки. Естественно, это длилось мгновения и не успевало испортить общего результата, он тут же собирался, делал правильное лицо и продолжал или заканчивал уже безупречно с точки зрения содержания речи и всех нюансов интонации.

Люди оказывались гораздо более мнительными и менее уверенными в очевидности своей правоты, чем можно было бы предполагать по первому впечатлению, и мсье Франциск испытывал злорадное удовлетворение, убеждаясь в этом очередной раз. После каждой победы он, останавливаясь невзначай перед зеркалом, раздувал ноздри и позволял лицу

принять суровое, победоносное и торжествующее выражение, вся фигура его преображалась, он как будто становился выше ростом, и созерцание себя таким великолепно-демоническим еще более возбуждало его восторг. Он верил в свою особую, inferнальную звезду, шел вперед и вперед, доверяясь ее зову, который всегда безошибочно чувствовал. Оставалось только сожалеть, что, подчиняясь стереотипным технологиям имиджмейкеров, заставлявших его изображать хоть и решительного, но скромника, он не может выглядеть натурально на рекламных плакатах и вообще на публике.

Обычно Франциск Бенаму не подчинялся никаким правилам и презирал авторитеты, все вокруг только работали на него, только составляли его аппарат, но в ситуации с имиджем приходилось кое в чем себя ограничивать, и не потому, что он уважал имиджмейкеров больше, чем юристов, например, или поваров, а только оттого, что его попытка как-то раз сделать в этой области по-своему немедленно стоила ему столько рейтинга, что повторение было слишком рискованно. Пока он решил пойти чужим путем, но только для этого, так нужного ему шага, а дальше, когда он уже сделается мэром и уладит все проблемы с ведомством, которым пока еще верховодит Паскаль Лебонж, он докажет всем, что людям больше нужны не слюнявое чистоплюйство и пресная добродетельность, а драйв, сила, успех и уверенность, сжатые зубы, слабые остаются на обочине... неуверенные слюнтяи получают пинка... и это не только справедливо, но и наиболее отвечает природным законам! Законам, по которым огромное количество людей рождены пресмыкаться, служить и подставлять свою спину — именно в этом их кайф и наслаждение, именно в этом удовольствие и смысл их жизни, так нужно им это дать, дать столько, сколько они захотят, и, получив этот кайф, они пойдут до конца. Пойдут до конца, но не за каждым сухоруким параноиком, а только за тем, кто достоин, этого, достоин чтобы сотни тысяч, миллионы людей верили в него, как в Бога, или больше чем в Бога. Люди, подчинение которым составляет высшее счастье и радость, лечь под ноги которого блаженство, появляются редко, очень редко народ получает возжеленное наслаждение и всегда готов платить за это наслаждение полновесной монетой своей жизни, жертвуя собой, близкими, детьми, жертвуя не задумываясь, с радостью и счастливо, так как в этом и есть счастье! Это как возбуждение, как наслаждение погони, как азарт игры, и это чувство приближает народ к великому оргазму, выражающемуся иногда в великой войне и великих потерях, но ведь и каждый мужчина, отдавая свое семя, теряет миллионы частичек себя, и каждый раз после выброса семени человек падает без сил, но это ничтожно по сравнению с удовольствием, которое зовет снова и снова, и нет силы, которая могла бы служить здесь препятствием. Только нужно позволить людям это почувствовать, нужно, чтобы они слышали внутри себя сокровенное «можно» и это «можно» зазвучало, наполнило мозг, вышвырнув из него искусственные и противоестественные для животного по имени человек конструкции устаревшей морали и жалкой нравственности, придуманной неудачниками и импотентами. И когда случится этот день, жертвы будут так же счастливы, как их экзекуторы!

## Глава 20. О стойкости.

Эта девочка, как и большинство современных младенцев, рожалась трудно. Осложнением была недостаточная родовая деятельность матери — роженицы. То есть ребенок был совершенно здоровым, но матка матери вместо энергичных схваток осуществляла редкие и слабенькие потуги родить ребенка. Акушерка, переговариваясь с врачом, говорила об астении роженицы, о клинически узком тазе, о том, что воды давно отошли и высока угроза гипоксии плода. Помимо всего прочего, согласно медицинской карте для роженицы была непереносима любая анестезия, кроме весьма экзотических, конечно, отсутствующих в районном роддоме препаратов, что осложняло перспективу проведения кесарева сечения. И еще, раздражая всех, роженица вела себя безобразно. Она орала, ругалась матом, требовала, чтобы «эту гадость вытащили из нее щипцами, пусть даже и по частям...», врачи уже собирались было действительно использовать щипцы как одно из последних средств родовспоможения, как вдруг показалась головка и еще через несколько минут родилась здоровая девочка.

Каталиночка очень хотела быть балериной, носить пачку, пуанты, легко как пушинка прыгать в такт музыки, кружиться как легенький мотылек и невесомо взмывать в воздух на руках у партнера. Она очень старалась, выполняла все-все упражнения, даже когда было совершенно невыносимо стоять в позиции и поднимать ногу, она все равно стояла и поднимала, и еще она улыбалась... чем тяжелее ей было, тем больше она улыбалась. Она улыбалась, когда смотрела в зеркало, где рядом с ней красивые тоненькие девочки с длинными золотыми волосами и кукольными ресницами делали упражнения и делали лица... Это были лица шестилетних девочек, уже полгода занимавшихся балетом и наблюдающих за тем, как неуклюжая новенькая громадина, у которой вываливаются бока и живот, а на попе топорщилась пачка, неказисто пыхтит и неудачно пытается своими пухлыми ручками и ножками попасть в такт фортепьяно.

Когда через год мама сказала, что для балета Каталиночка великовата и она решила перевести ее в секцию спортивного плавания, девочка не плакала, а только немного покапризничала, но быстро позволила себя успокоить на том, что еще два раза она сходит на балет, а потом уже будет ходить на плавание, и снова улыбнулась маме. Так же она улыбнулась маме, когда через три дня стояла в кабинете директора балетной школы и слушала, что она ужасный ребенок, потому что ударила шваброй по голове лучшую ученицу балетного класса на год старше ее, и что та теперь отказывается заниматься. Трое взрослых спрашивали у Каталины, зачем она это сделала, но не получали ответа, тогда подошла мама и спросила то же самое. Ей не ответить было нельзя, и Каталина сказала: «Она все время делала лицо...» Мама переспросила: «И все»? Каталина кивнула и тут же больно ударилась затылком о стену кабинета директора, потому что мама дала ей пощечину, от которой вся щека стала красной, а от удара об стенку голова начала кружиться и в глазах появились противные круги, но Каталина не стала падать на пол, потому что могла попой опираться о стену, а просто улыбнулась матери, которая тут же упала перед ней на колени и стала умолять простить ее, потом схватила Каталину на руки, повернулась и начала кричать на директора балетной школы и родителей девочки, ударенной шваброй. Мама кричала не долго, потом выбежала из кабинета, побежала по коридору, по ступенькам, снова по коридору, и, только выбежав на улицу, поставила Каталину на землю и почти бегом потащила домой. Дома девочка в тот вечер ни на что не жаловалась, утром тоже никто ничего не заметил, а на следующий день маме на работу позвонили из школы и сказали, что у Каталины вывихнута правая рука и сейчас ей накладывают гипс. Когда мать, отпросившись с работы, примчалась в травмпункт, Каталиночка улыбнулась ей и мама почти успокоилась,



хотя зачем-то, не обращая внимания на врачей, ощупала всю Каталину, то и дело спрашивая, больно здесь или не больно. Вообще-то мама щупала очень больно, почти щипала, и везде было больно, но девочка не стала еще больше расстраивать маму и везде говорила, что ей не больно. Говорить так приходилось не потому, что Каталиночка была черствой, не нуждающейся в материнской ласке и совсем не хотела поделиться с мамой тем, что чувствовала по-настоящему, просто она знала, что так будет лучше. Еще она знала, что маму нужно беречь и на маму нельзя обижаться, что мама у нее одна и другой мамы не будет. Эта фраза не была для девочки пустым звуком, так как папа из ее жизни уже пропал два года назад. Теперь они не виделись с отцом один раз в несколько месяцев, когда он брал ее и вел в кино, в детский театр или просто погулять по парку. Тайком от мамы Каталина очень любила дни, когда он заезжал за ней на машине, кормил ее в кафе, покупал жвачки, еще она любила, что папа обязательно поздравлял ее с Днем рождения и с Новым годом, и вообще, что он — папа, а она его дочка. Но маме девочка говорила, что любит только ее и никогда ее не предаст, и для нее, Каталины, мама самый главный человек на земле.

Говоря это, она не лукавила и не держала в голове мысль, что говорит неправду, она всегда говорила правду, так как шестилетний ребенок не может обманывать. Просто, приезжая от папы и войдя домой, она видела лицо мамы и тут же понимала, что маме не до ее радостей, не до кино, не до воздушного шарика, который они с папой отпустили, и радость тут же уходила, глаза девочки делались взрослыми и серьезными, она переставала улыбаться, а тихо подходила к матери, неподвижно сидящей перед телевизором или перед пустым окном, гладила ее по голове, целовала в щеку, шептала, что никогда, никогда ее не бросит, а потом они вместе плакали. Папа в такие моменты куда-то пропадал из ее головы, как будто его вообще не существовало, как будто вообще никого в целом свете не существовало, а на всей земле были только они с мамой вдвоем и вместе, и им было так сладко вместе плакать, и казалось, что они чувствуют одни и те же чувства и вдвоем им ничего не страшно, а страшным может быть только то, что когда-то им придется расстаться. Сказать, что Каталина не хотела расставаться с мамой никогда, было бы ничтожно мало для того, чтобы передать творившееся на душе у девочки. Как и все дети, она не задумывалась над определениями, но чувства ее были такими, что пропади мама, и Каталина умерла бы не задумываясь, мама и жизнь были понятиями совпадающими, тождественными и неразделимыми.

Они и спали с мамой вместе, в одной постели под разными одеялами, но если вдруг ночью девочка подлезала к теплой материнской спине, то мама не прогоняла ее, а пускала к себе, обнимала, гладила и шептала ей, что очень любит свою девочку, что никогда ни на кого ее не променяет, и что не нужны ей никакие мужики, когда у нее есть такая любимая и замечательная дочка. Они спали вместе, несмотря даже на то, что один или два раза в месяц Каталина обильно писалась в постель. Под их простыней всегда располагалась большая противно шуршащая клеенка, но обе привыкли к ней, и мама никогда не ругала доченьку за то, что происходило ночью, никому об этом не рассказывала, потому что это была их с мамой тайна. До двенадцати лет Каталина из-за этого обстоятельства не выезжала ни в какие лагеря, а на все лето мама снимала дачу, откуда ездила на работу, со спокойным сердцем оставляя дочь на хозяйстве. В школе Каталина училась хорошо, первые пять классов была почти круглой отличницей, помогала маме по дому, была очень трудолюбивой и самостоятельной девочкой. Ее не нужно было дважды просить ни о чем, зачастую ее вообще можно было ни о чем не просить, она сама знала, что нужно убрать со стола, вымыть посуду, пропылесосить, купить хлеба, ей не требовалось напоминаний для того, чтобы умыться, причесаться и собрать школьные учебники, она всегда сама делала домашние задания и сама учила стихи, сама читала себе на ночь и сама играла иногда в куклы. Четыре раза в неделю Каталиночка ходила в музыкальную школу по классу фортепьяно, три раза - на плавание,

участвовала почти во всех районных олимпиадах по всем предметам, но выигрывала чаще по истории и математике. Дома в ее комнате вся стена была увешана дипломами и медалями, и еще целая коробка хранилась в шкафу.

Такой маминой радостью дочка была ровно до восьмого класса, точнее, до лета между седьмым и восьмым классом, когда первый раз она поехала в лагерь. Это был даже не лагерь, а летняя математическая школа в Болгарии, куда Каталина выиграла бесплатную путевку как призер городской математической олимпиады. Решено было ехать, а на случай, если бы там продолжилось то же, что и дома, мама дала Катилине специальные памперсы, которые тайком ото всех нужно было одевать перед сном в туалете, а сверху надевать толстую пижаму, объясняя всем, что без пижамы ей холодно. Еще по дороге, в поезде, девочка решительно выкинула эти памперсы в помойку, и за все сорок дней у нее ни разу не было энуреза, хотя вечерами они опивалась с девочками чаем, для которого именно она изготовила самодельный кипятильник, целыми днями валялась на пляже и купалась в море, а еще тайком от вожатых ночью бегали купаться голышом.

Из лагеря девочка приехала уже другой. Сначала это не было очень заметно, она только переселилась на раскладушку, которую ставила себе в кухне и, вопреки материным протестам, запирала дверь специально изобретенным приспособлением. Потом Каталиночка отказалась ходить в музыкальную школу и демонстративно, запершись в ванной, сожгла все нотные тетради и учебники, заявив, что у нее в школе слишком большая нагрузка, и если мама хочет, чтобы у ее дочери состоялась золотая медаль, то пусть отстанет с фортепьяно. Стало ясно, что у ребенка наступил тяжелый подростковый период. Еще через месяц выяснилось, что Каталина систематически не выполняет домашние задания и ей грозят четверки в четверти по восьми предметам, что практически уничтожает мамины надежды на золотую медаль. В этот вечер мать надавала подростковой дочери пощечин, но когда она пыталась стащить с нее штаны, чтобы выпороть ремнем, Каталина рассвирепела и, искусав матери руки, вырвалась, обозвала мать старой шлюхой и удрала из дому. Вернулась она только через день, проведя ночь в вахтерской бассейна, куда ее пустила баба Нора, работавшая ночным сторожем и знавшая Катечку уже пять лет. Эта же бабушка рассказала девочке про то, что кровь, перепачкавшая сегодня ее трусики, не обозначает, что через час девочка умрет, и живот болит не из-за того, что она обозвала маму, а просто у нее начались первые месячные, которые теперь будут приходиться каждые двадцать один день, и ничего с этим не поделаешь, такая их женская доля. Бабуля же научила барышню пользоваться современными женскими гигиеническими приспособлениями, о которых сама узнала из телевизионной рекламы, так как в своей собственной женской жизни, завершившейся лет пятнадцать назад, обходилась в таких случаях совершенно другими подручными приспособлениями. Баба Нора вообще очень тогда Каталиночке помогла, она рассказывала ей истории из своей жизни, честно объясняла все что было необходимо знать, и Каталина ни под какими пытками не выдала бы, где она бывает вечерами и куда убегает из дому, когда мать, которая начала тогда прикладываться к бутылочке, опять пытается ее избить, если бы их не выследили. Выследил ее учитель химии — классный руководитель, которому мать рассказала, что девчонка превратилась в подзаборную девку, в месяц по два дня дома не ночует и вечерами пропадает неизвестно где. Выспросив у подвыпившей женщины подробности происшествий, он не поленился просидеть в машине возле подъезда своей взрослеющей ученицы три часа, пока мать, в соответствии с предварительным уговором спускала на барышню собак. Когда девочка выскочила из дому и, на ходу завязывая шарф, понеслась подальше от подъезда он тихо поехал за ней и вскоре обнаружил тайное место эвакуации, куда и явился через час в сопровождении матери и участкового. Нужно сказать, что, вломившись в каптерку бабы Норы, мужчины не обнаружили там ожидаемых ими наркотиков, спиртных напитков, порнографической продукции, а накрыли только мирную

старушку, которая поила девочку-подростка чаем и учила вязать на спицах. Бабу Нору уволили, на ее место наняли частное охранное предприятие, и Каталине некуда стало убегать. Тогда она решила бороться за свои права у себя дома, и через неделю участковый снова встретился с этой девочкой, будучи вызванный к ней и ее маме домой, где пожилая, чуть подвыпившая женщина, размазывая по щекам обильные слезы, показывала шишку на голове и рассказывала, как дочь ни с того ни с сего в приступе ярости набросилась на нее со сковородкой и могла бы убить, если бы не случайность. На кухне маленькой захламленной однокомнатной квартирке старший лейтенант обнаружил сжавшуюся в комочек и забившуюся в угол девочку-подростка, зажавшую в одной руке сковородку, а в другой — тупой столовый ножик с закругленным острием. В тот день он записал в своем журнале, что провел разъяснительную беседу с жителями квартиры такой-то по такому-то адресу по вопросу профилактики бытовых правонарушений. В реальности же он объяснил и матери, и дочери, что квартира у них приватизирована в совместную собственность без выделения долей и обе имеют на нее равные права, и если здесь будут продолжаться драки, то мать, злоупотребляющую алкоголем, вскоре лишат родительских прав, а если девочка будет подвергаться избиениям, то на мать заводится уголовное дело по статье 112, по которой в его районе за последний год уже осудили на реальные сроки одного папу и трех мам. Еще он посоветовал девочке связаться с отцом, объяснив, что в случае, когда подростку не находится опекуна из родственников, его отправляют в детский дом вплоть до достижения совершеннолетия. Мать после этого случая как-то притихла, драться перестала, но и почти перестала кормить Каталину, так как большинство денег уходило у нее на выпивку. Постепенно они стали общаться на «вы», папа подарил Каталине отдельный холодильник и алименты стал переводить лично на ее счет, минуя мать, которая по этому поводу жутко скандалила и писала в инстанции. Так Каталина и жила на эти отцовские алименты в квартире со спивающейся матерью, так она поступила на исторический факультет МГУ, за который платил опять же отец, точнее, даже не отец, а его новая жена, которая в их семье зарабатывала деньги и которая в свое время категорически запретила мужу предлагать его дочери от первого брака переехать к ним. Чуть до развода тогда дело не дошло, но Каталинин папа уступил из-за того, что совершенно безвыходная была у него ситуация и только всю жизнь потом удивлялся, как его вторая жена, такая любимая, достойная, порядочная и добрая женщина, могла сделаться такой непробиваемо жестокой в отношении его родной дочери.

С первого курса Каталина работала. Сначала она таскала по офисам коробку с кремами и лосьонами, потом, когда совершенно запустила учебу, бросила доходную торговлю и устроилась секретаршей, через год сделалась помощницей руководителя, а еще через год их предприятие закрылось, не выплатив сотрудникам зарплату за три месяца. Тогда-то Каталина Ромбель и попала к Жульену Бенаму и Степану Савраскину, а от них в тюрьму, а из тюрьмы в Можайскую колонию — учреждение УУ-163/5, где с ужасом почувствовала, что здесь ее молодая еще жизнь может плавно подойти к концу.

\*\*\*\*\*

За каждый месяц отсидки бухгалтер и начальник кредитного отдела получали по пять тысяч долларов кроме зарплаты, плюс адвокаты, плюс передачи, плюс машина для навещавших их родственников. Кромбеля арестовали позже других, после того как обе тетки дали на нее прямые показания, так что Катька находилась в тюрьме немного меньше своих бывших подчиненных. Следователь тогда обещал женщинам условные сроки или вообще

переквалификацию в свидетелей, на что они и надеялись, практически прервав сотрудничество с банковскими адвокатами и делая все, что требовала от них прокуратура. Единственное, что они сделать не могли, так это вспомнить про какого-то француза по имени Жульен, которого на самом деле не знали совершенно, так как Жульен ни разу в своей жизни не появлялся в банке и по работе никаких контактов с банком не имел. Вспомнить про роль Жульена могла только Каталин, и по ходу следствия это сделалось ясным для всех, но она вообще не давала никаких показаний, «закрывшись пятьдесят первой статьей Конституции» по терминологии адвокатов. Зачем прокуратура продолжала держать в тюрьме кроме Катки еще двух женщин за сорок, каждая из которых имела уйму болячек, проблем с детьми, первыми и вторыми мужьями, квартирами, было понятно лишь отчасти, и это отчасти нельзя было назвать иначе как «на всякий случай».

За последние полгода суд по возражениям прокуратуры отклонил два ходатайства банковских адвокатов об изменении меры пресечения бухгалтеру и начальнику кредитного отдела на подписку о невыезде. Тетки продолжали сидеть, банк, то есть Степа и Жульен, игнорируя их сепаратное сотрудничество со следствием, продолжал передавать доверенным лицам по пять тысяч долларов ежемесячно, все ждали суда, где две подозреваемые в незаконной банковской деятельности рассчитывали освободиться и, оставив в заключении бывшего работодателя, перевернуть, наконец, эту жизненную страницу. Свершившийся суд всех поверг в ужас своим приговором, даже Кромбеля, которой условно никак не светило. Освобождения не произошло, а тетке получил реальные сроки, полностью признав все свои преступления, состоящие, как установил суд, в том, что обе они в составе преступной группы из их обеих, гражданки Ромбель и неустановленных следствием лиц (под которыми подразумевался Жульен) совершили в течение года конвертацию из одной валюты в другую на сумму двести семьдесят четыре миллиона долларов, не уплачивая при этом положенного однопроцентного налога.

Кромбель, в общем, и до суда и после держалась молодцом, ей ежемесячно начислялись все дивиденды и еще по десять тысяч от Жульена и Степы пополам, плюс, естественно, все те же адвокаты, передачи и так далее. Внешне она выглядела бодрячком, в шутку называла себя политической заключенной и на свиданиях заявляла Савраскину, что теперь может быть по праву причислена к плеяде великих людей, прошедших через тюрьмы и концлагеря фашистских режимов разного времени. Степан, глядя на нее, даже подумывал, что слишком хорошо она устроилась, сидит себе в камере с телевизором и набитым продуктами холодильником, читает свои любимые книжечки, а ее заграничные счета тем временем аккуратно приращиваются, и бывшее начальство вместо нее работает как папа Карло. Еще у Кромбеля появилась новая привычка — покашливать со значительным видом. Савраскин тогда в шутку предложил, что привезет ей курительную трубку и табаку, дабы у нее была возможность вполне соответствовать образу старого революционера.

Этап на зону у всех трех состоялся быстро, уже через два месяца после суда каждая преступница достигла места отбывания наказания. Каталин с начальницей кредитного отдела оказались в образцовой Можайской колонии, в их отряде было сорок человек, из которых тридцать два отбывали срок за насильственные преступления и убийства, трое были больны СПИДом, восемь не имели начального образования и посещали в колонии школу, где учились читать и писать. При учреждении имелась специальная больница, куда с регулярностью направлялись осужденные в острых психических состояниях, процент которых был устойчиво высоким, то есть по малопонятным причинам отбывающие наказание в образцовой колонии сходили с ума существенно чаще не только чем обычные люди, но и чем заключенные других, не образцовых исправительно-трудовых учреждений. Гордостью учреждения УУ-163/5 было обширное швейное производство, оснащенное современным оборудованием и выполнявшее весьма сложные и дорогостоящие заказы.

Главным достоинством производственного процесса администрация колонии справедливо считало дисциплину, которая поддерживалась неукоснительно и считалась основой основ. Если, например, к осужденной приезжали родственники или адвокат, то свидание было возможно только после окончания ее рабочей смены на фабрике. Производство было крупным и поточным, так что почти все вновь прибывшие быстро получали в здешнем ПТУ квалификацию, необходимую для выполнения простейших швейных операций, какие и выполняли ежедневно по восемь часов с двумя короткими перерывами. Первая смена начиналась в семь утра и оканчивалась в три, после чего осужденные дисциплинированно обедали и дальше включались в напряженный жизненный распорядок. Начинались дежурства по кухне, организованная уборка в отряде, изнурительная воспитательная работа и так называемые досуговые кружки, где осужденные под непрерывным руководством начальников выпускали стенгазеты, рисовали плакаты, организовывали концерты, в которых пели и читали стихи. Ни у кого из осужденных не было ни минуты времени, чтобы сесть (а тем более прилечь) где-нибудь уединенно и почитать, например, книжку. Свободного времени не было и не должно было быть.

Когда Савраскин вместе с адвокатом первый раз приехал к Кромбелю на свидание, их вообще не пустили, так как оперативной части колонии для разрешения свидания требовался список документов согласно их собственным, внутренним правилам, узнать которые заранее было, естественно, невозможно. Только во второй раз, запасшись необходимым количеством заверенных копий, Степан увидел Каталин, прождав почти до середины дня. Ее привели в комнату для свидания в форменной синей юбке, из-под которой торчали тонюсенькие ножки в черных колготках со складками, завершавшиеся снизу огромными кирзовыми ботинками, еще была синяя кофта, и на голове такой же, как и юбка, синий платок, из-под которого смотрели ее глаза как два уголька, то раздуваемые ветерком, то гаснущие и покрывающиеся серой поволокой, как это бывает у только что застреленной птицы. Глаза и весь Катькин облик складывался в облик испуганного, нерешительного и до странности робкого человека. Разговаривали через стекло и Савраскин несколько раз ловил себя на том, что он некрасиво озирается, высматривая сзади расположенные дверь, адвоката. Каждые несколько минут он должен был успокоить себя созерцанием ЭТОЙ стороны и ощущением, что он, Степан Савраскин, здесь, а не там, и скоро свидание закончится, скоро его выпустят отсюда, он сядет в машину и поедет домой, а по дороге может остановиться где хочет и пройтись, например, или выпить чаю... А из-за стекла, где находилась Каталин, веяло чем-то неживым, чем-то парализующим волю, безнадежным и окончательным, и тогда Савраскин понял, что лично для него тюрьма совершенно невозможное испытание, которого он не выдержит, и что нет здесь ни капельки того, что нужно человеку для жизни и чего у него и так очень мало, а окажись там, и Бог знает, что может произойти.

Прежде всего, Катька как-то резко задала вопрос про УДО и вообще контакт с начальством учреждения, а когда Савраскин ответил, что пока еще определенности нет, что они работают, но нужно время, она умолкла и после говорила мало, слушала рассеянно, иногда прерывая собеседника кашлем, который не могла сразу унять, а в конце спросила Савраскина:

— Степан, вот ты смотришь на обычных женщин, идущих по улице, как тебе кажется, любая из них может хладнокровно убить человека?

Степан замешался, не зная, что сказать. Он хотел придумать что-нибудь оптимистическое, но Кромбель прервала его:

— Если не оригинальничать, то ответ будет НЕТ, конечно, обычная женщина с улицы города не воспринимается так, как будто она способна убить... А здесь... знаешь, здесь у всех женщин такие лица, такая походка, вообще они так выглядят, что как раз думаешь про них — убьет без сомнения и без всякой задержки мелодраматической, просто как мы

картошку чистим или режем салат, горло перережет и... и все... Я думала, Степа, что здесь легче будет, чем в тюрьме, но ошибалась... мне теперь главное привыкнуть здесь... вы часто не приезжайте, должно время пройти, чтобы я привыкла, иначе... я не знаю....

И она снова закашляла, потом достала из кармашка кофты серый носовой платочек и приложила его к глазам, потом, взглянув на Степу, шмыгнула носом, как бы извиняясь.

Савраскин встал и, прижавшись к стеклу лбом, быстро-быстро начал говорить Катьке, что все сделает, чтобы вытащить ее отсюда, что пусть она еще чуть-чуть потерпит, только пусть она не сломается и останется Катькой, которую они все любят...

Каталин слушала жадно, как человек, почувствовавший внезапную надежду, но Степан умолк на полуслове, потому что не знал, что еще можно здесь сказать, и она опять опустила глаза. Они помолчали минуту или больше, потом Каталин, как бы вернувшись, улыбнулась Савраскину и сказала, что начальницу кредитного отдела здесь прозвали Баул из за ее огромных сумок с передачами и, возможно, она станет в своем отряде бригадиром. Савраскин для поддержания беседы спросил, как прозвали ее, Кромбеля, Каталин пожалала плечами и сказала, что пока никак не прозвали.

## Глава 21. О трудности борьбы с невидимым противником.

После того первого свидания Степан поднял на уши всех адвокатов, требуя решительных мер. Решительные меры были осуществлены по настоянию клиентов и выразались всего в двух действиях: в ГУИН через адвокатов передали семьдесят пять тысяч, для того чтобы Кромбеля перевели на другую зону и улучшили условия содержания, предоставив, например, место библиотекаря. Сработать это должно было не очень быстро, но в течение полугода обещали сделать. Еще вскоре после суда, опять же по рекомендации и пользуясь связями адвоката, сделали письмо на имя некоего депутата Государственной Думы с описанием злодеяний прокуратуры и несправедливого решения суда. Письмо было необходимо, чтобы депутат имел возможность направлять свои, уже депутатские запросы в разные организации, демонстрируя поддержку несправедливо преследуемой властями организации и формируя себе имидж правозащитника. Еще депутат брался узнать самое главное — кто является заказчиком их бед и несчастий. За все это избраннику народа было пока передано сто тысяч, но он сказал, что этого хватит при наиболее гладком ходе процесса, а если возникнут непредвиденные осложнения, то придется добавлять.

Прошло еще несколько недель, и руководитель адвокатского бюро, в котором находился форпост их защиты, попросила обоих приехать для того, чтобы сообщить им нечто важное. Известие состояло в том, что ГУИН вернул половину денег и сказал, что по их делу помочь невозможно, так как оно лично на контроле у заместителя генерального прокурора по надзору за следствием Бирюкина, и как только они начали оформлять документы, поступил высочайший звонок, грозно запрещающий любые движения. Теперь ГУИН еще и оставался в обидах на адвокатское бюро, заставившее вернуть их клиентам хоть что-то, так как считал себя априори дезинформированным и зловредно подставленным, провинившимся перед начальством. Еще было сказано, что если бы они изначально знали, что делом занимается сам господин Бирюкин, то ни за какие деньги не стали бы браться.

Адвокат эту новость относил, конечно, к плохим, и не только потому, что ни о каких взаимодействиях с лагерным начальством речи теперь не шло, но и еще потому, что уровень противника был, вероятно, или равный заму генерального прокурора, или выше, что возможности выстраивания сопротивления существенно ограничивало, если не сказать что сводило к бесполезным трепыханиям. С другой стороны, они получили первую достоверную информацию о лицах, вероятно, близких к заказчикам нападения, и теперь имели больше определенности, что позволяло обратить усилия на более адресный поиск врага. Адвокат прямо заявила обоим приятелям, что единственное, чего можно добиться при подобном положении дел. Это отсрочки по времени, но победы против таких фигур она в практике своей еще не добивалась и даже не слышала, чтобы это хоть кому-то удавалось, дойти ты хоть до высших международных инстанций. Она подчеркнула, что если не найти источник неприятностей и не решить с ним вопрос, то все равно их додавят и усадят, вопрос только — когда, и свою роль она видит только в отдалении этого момента, о чем категорически заявляет и дважды это акцентирует, чтобы ни у одного из присутствующих не было иллюзий. И что теперь оба они на свободе и могут предпринимать хоть какие-то действия только и исключительно благодаря мужеству и нереальному упорству их отбывающей наказание девочки, о судьбе которой им обоим нужно заботиться не меньше, а больше, чем о своей собственной. На вопрос, сколько у них еще времени, она не смогла ответить определенно, а разумно заявила, что все зависит от активности заказчика нападения и мужества Кромбея, и вполне может так случиться, что они и недели на свободе не прогуляют, а может быть, у них в запасе и год или два. Жульен был ошарашен, а Савраскин, тоже сбитый с толку, разозлился и с наглой самоуверенностью пытался на все это адвокату заявить, что размер выплачиваемых ей гонораров вполне позволит им обратиться к самым известным из ее коллег и, возможно, они не будут придерживаться столь безнадежных взглядов, и что он слышал совершенно противоположные мнения о их деле и ему даже предлагали... Она жестом остановила и так затухающую Степкину убедительность и жалостливо, по-женски сострадательно взглянув на них обоих, сказала:

— Степочка... вы уж не сердитесь, что я вас так называю, у меня старший сын вашего, примерно, возраста, так вот, Степа, вы сейчас на меня злитесь только из-за того, что не знаете, на кого злиться по-настоящему. Я, Степа, как автомат, и выдаю ровно то, что реально и безо всякой ссылки на ваше или мое желание существует в этом мире. Гонорары мои, вы справедливо заметили, позволят вам нанять любого адвоката, в том числе и тех, что целыми днями в телевизоре, среди которых есть люди порядочные, и они после ознакомления с делом, которое обойдется вам тысяч в пять-семь и две недели времени, скажут вам то же самое, что и я, а есть негодяи, которые вас, Степа, будут дурачить и которым помимо моих гонораров, вы очень много еще заплатите, прежде чем неожиданно окажетесь в тюрьме. В моей практике, Степан Иванович, не было еще ни одного случая, чтоб клиент оценил выплаченные мне суммы как потерянные деньги. По крайней мере, мне такого никто не заявлял, хотя люди случались даже и бесцеремоннее вас. Поэтому я, относя вас к сильным духом мужчинам, надеюсь, что вы справитесь с осознанием реального положения дел и направите теперь усилия именно в те области, которые того настоятельно требуют. Так что от меня зависит использовать все возможности отсрочки вашей посадки и смягчения ее последствий, от вас и только от вас комплексное решение ситуации. Как человек, относящий себя к дорожающим своей репутацией, ничего другого я вам не могу предложить.

Пока она, не торопясь, весомо и отчетливо произносила каждое предложение, каждую мысль, Савраскин постепенно успокаивался от своего бешенства и потихоньку начинал соображать.

Сколько себя помнил, Степа всегда относил себя к людям пусть не очень-то доброжелательным, но вполне мирным, тихим и любезным. Он гораздо чаще пугался, чем бесился, и гораздо чаще сомневался в своей уверенности, чем ее отстаивал. Но последние полтора—два года так изменили его характер, что и сам он иногда удивлялся. Прежде для Степана всегда было проблемой кому-то высказать нечто нелицеприятное, а тем более если он, находясь в качестве начальства, должен был отчитывать подчиненных. Жульен еще до возникновения их совместной деятельности часто журил его за мягкотелость и отсутствие административного ресурса. Но куда подевалась эта деликатность теперь? Как-то незаметно для себя Савраскин приобрел среди подчиненных репутацию самодура и почти психопата, он действительно орал на людей, и не только на мужчин, а даже и на женщин, орал, временами сам себя не помня, не подбирая слов, и лицо его перекашивалось от ярости, а глаза почти выпрыгивали — вот так он орал, а еще лупил кулаками по столам, хлопал дверьми, швырял бумаги, шапки и даже мобильные телефоны, которых за последний год разбил три.

Он требовал, чтобы все сотрудники всегда были на связи, в любое время дня и ночи, в будни и выходные, в праздники и отпуска каждый из его людей должен был быть в доступности. Когда Савраскин вынужден был ждать соединения со своим сотрудником более получаса, он бесился, забывал, чего хотел по делу, и орал дурниной про правила, которые никто ни для кого не отменял, про то, что когда нужно будет подписывать зарплату его тоже поищут, и другие глупые и некрасивые вещи, на которые все просто старались не обращать внимания. Лучше всех с ним в таких ситуациях справлялась Кромбель. Когда она первый раз услышала в телефоне его разъяренное пение, то, будучи уже наслышана об особенностях шефа, вытворила такое, что все рядом находящиеся чуть не остолбенели от ужаса, будучи в полной уверенности, что вот сейчас он ее прямо по телефону после такого и задушит... А «такое» состояло только в том, что Катька, выбрав секундную паузу, начала ублаживать и уговаривать своего директора, как это делают с младенцами. Она нараспев, как нянька или заботливая мамочка, говорила, или скорее напевала, ему сладчайшим голосом: «Степочка сердится, бедный несчастный наш Степочка, целых сорок минут его со мной не соединяли, все виноваты, сволочи, что Степочку мучают, никому-никому нашего любимого Степочку в обиду не дадим, всех отшлепаем и всех поколотим, чтобы знали, как пропадать от Степочки, всегда все должны быть для нашего Степочки в доступности...» Савраскин на том конце провода сначала окаменел от такого хамства, а потом вдруг его ярость куда-то пропала и он расхохотался, за ним и Кромбель расхохоталась, и дальше они болтали уже по делу и без лишних претензий, а все, кто слышал, что именно она ему говорила, другим рассказывали шепотом, но никто не верил.

Сам Савраскин о метаморфозах своего характера сильно не задумывался, считая, что догоняет таким образом свою запоздалую мужественность, ему казалось, что в любую минуту он совершенно и полностью себя контролирует, а если и спускает на кого собак, то за дело и по собственному усмотрению.

Уже упоминалось, что как только у Савраскина появились деньги, он стал большим любителем пройтись по проституткам, что сейчас, при снижении доходов, стало пагубно отражаться на бюджете, а прежде он этих расходов и не замечал, испытывая только некоторый дискомфорт от утомительной необходимости через день набивать кошелек купюрами из сейфа. Каких он только себе не заказывал и к каким только сам не ездил. И к обычным, и в бордели, и к парам из двух девочек, и к госпоже с рабыней, и к госпоже без рабыни, и только к рабыне, и к семейной паре, и к маме с дочкой, и даже один раз был у тресвестита, с которым нажрался дорогущего коньяку и уснул, так и не сделав то, зачем приезжал, что, надо сказать, в его сексуальных похождениях было не такой уже и редкостью. Частенько, что он покупал девку, привозил к себе, поил, кормил и отпускал восвояси, если



она сама не изъявляла определенной готовности или даже не демонстрировала недвусмысленного желания вступить с ним, так сказать, в отношения. Многие, кстати, изъявляли подобное желание с огромнейшим воодушевлением, даже уютно гнездились в квартире Савраскина до утра, мыли посуду, подметали, но утром он безжалостно выпроваживал каждую, хотя с вечера, пока он был выпивши, многим из девушек казалось, что это такой особенный клиент, который, может быть, даже назавтра и женится.

Степан к тому времени приукрасил себя дорогостоящими золотыми часиками, которые получил в подарок от Жульена, при условии, что из восемнадцати тысяч их стоимости сам оплатит семь, вставил себе новые зубы, сделавшие его улыбку еще неотразимее, чем прежде, и любил, как говорится, произвести впечатление.

Перед проститутками он любил поднапустить туману и соорудить из себя значительную персону. Если его как таковую персону не воспринимали, оставалось только изводиться, и доходило даже до расстройства эрекции, с которым очередная девушка мучилась под его злорадным наблюдением. Вообще Савраскин вел себя с барышнями легкого поведения обходительно, и частенько они располагались к нему, с удовольствием болтали и были даже к нему чуть нежнее, чем того требовала профессиональная этика. В таких случаях он, преисполненный гордости, ликовал, раскрепощался и чувствовал то удовольствие, которое может чувствовать рабовладелец от нежнейшей и трепетнейшей любви обожающих его невольников. Больше всего он любил, чтобы искреннее дружелюбие и теплая расположенность проститутки вырастали из первоначальной робости перед ним и даже из трепета перед его значительностью. Так, к барышне, которая додумалась взвесить на руке его часики и пролепетать, что стоят они, наверное, как квартира, на которую она уже четыре года как копит, он наезжал еще раз пять и даже оставлял чаевые, будучи уверен, что именно здесь его обслуживают первоклассно. Но случалось такое комплексное удовольствие не часто, обычно никакой особенной почтительности к Савраскину барышни не проявляли, что приводило его в совершеннейшее недоумение. Он решительно не мог понять, как же так — у него денег раз в двадцать, а может быть, раз в сто больше, чем у каждой из них, он их покупает с потрохами, хочет так, хочет эдак, а может вообще вольную дать им на целый день, а если захочет, то и на целый месяц, да по большому счету он может жизнь каждой такой барышни на все сто восемьдесят градусов развернуть при своих возможностях, а при этом у них к нему никакого пиетета и никакой почтительности. Более того, зачастую на его снисхождение некоторые еще и довольно резко, буквально по-хамски реагируют или делаются насупленными и скрыто-озлобленными. Такого он не любил, но иногда терпел от безысходности. Еще он очень получал удовольствие от шанса позлорадствовать, когда барышни делились с ним уничижительными личными впечатлениями об известных в народе бандитах, политиках, музыкантах и бизнесменах, навещавших девушек наравне со Степаном. Когда проститутки рассказывали, какие они все жадные, закомплексованные, нечистоплотные, тупые и самодовольные, Савраскин хохотал, поддакивал и даже запоминал некоторые подробности для возможности употребить при случае. С началом неприятностей его половая активность было приутихла, но потом возобновилась и, возможно, даже сильнее, чем прежде. Вот и теперь по дороге к адвокату он уже созвонился с некой феей и даже назначил время, которое неумолимо приближалось, и он, похоже, не успевал.

Когда адвокат закончила говорить, Савраскин уже пришел в себя, извинился и они принялись детально, в подробностях изучать все остающиеся возможности и вероятности. Обсуждали их с час, и постепенно Степан пришел к выводу, что реальных положительных перспектив в их деле не наличествует. В числе прочих рабочих моментов он мельком спросил не повлияла бы, например, внезапная беременность Кромбеля на благоприятное решение вопроса по УДО, и получил ответ, что ни в малейшей степени, и еще, что ребенок, родившийся у осужденной, при отсутствии опекунов направляется в дом младенца. Потом

кто-то адвокату позвонил, она долго слушала, потом благодарила кого-то, Савраскин тем временем вышел в коридорчик и, перезвонив ожидавшей его проститутке, перенес время своего визита на два часа. Затем они еще беседовали, адвокатесса принялась что-то смотреть в Интернете, отвечая даже немного и рассеянно на вопросы заказчиков, как вдруг оторвала взгляд от экрана, жестом остановила Савраскина с его очередным планом организации Катьке побега и последующей пластической операцией и выразительно показала глазами на принтер, из которого вылезали какие-то бумаги. На листах, которые она положила перед обоими мужчинами, выделив предварительно нужный абзац, был распечатан проект постановления Государственной Думы Российской Федерации об амнистии. Там было ясно сказано, что: руководствуясь принципами гуманизма и в соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации, будут освобождены от наказания лица, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, попадающие в ряд льготных категорий граждан, как то: несовершеннолетние, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, женщины старше 50 лет, женщины — инвалиды 1-й и 2-й группы, женщины, больные туберкулезом, являющихся женами инвалидов войны 1-й или 2-й группы, беременные женщины и так далее. Получалось, что если постановление выйдет в такой же форме, как и проект, и Кромбель, равно как и две другие тетки, к моменту его вступления в силу успеет заболеть туберкулезом, выйти замуж за инвалида войны или забеременеть, то их вынуждены будут выпустить на свободу. Проект был датирован вчерашним числом, и, по словам адвоката, его принятие могло состояться еще месяца через четыре. Это была огромная удача, внезапно появился реальный шанс все повернуть в свою пользу. Жульен с Савраскиным тут же начали было соображать, к какой именно категории кого пододвигать, но были прерваны в своих размышлениях резонным замечанием, что профессионалы должны внимательно проработать документ и дать квалифицированное заключение о возможности применения этого нового обстоятельства к их непосредственной ситуации. На том и разошлись, договорившись снова встретиться послезавтра.

После таких перипетий Жульену не захотелось сразу разъезжаться, и он предложил Степе заехать в ресторанчик перекусить и уже вдвоем поразмыслить над происходящим в их жизни. Савраскин, вздохнув, согласился и, задержавшись возле гардероба, еще раз перезвонил ожидавшей его барышне с намерением перенести время еще на два часа, но та грубо оборвала его объяснения и без всякой почтительности заявила, что на сегодня она уже занята, а он ведет себя глупо и подозрительно, и если ему нужно только звонить, то пусть звонит в «секс по телефону», а она не предоставляет таких услуг. В общем, проститутка отчитала Степу, как пацана, и бросила трубку, а он, гроза всего своего производственного коллектива, отец дочери — школьницы, и последняя надежда погибающей из-за него на зоне девушки, вздохнул, пожал плечами и вычеркнул телефон барышни из обширного списка шлюх, у которых еще не бывал, но намеревался заехать.

\*\*\*\*\*

Жульен тогда, сосредоточенно подбирая слова, произнес, что теперь он уже почти уверен, что деятельность его родного брата Франциска определяет свалившиеся на них неприятности, и если раньше еще оставалась возможность к сомнениям, то теперь он почти уверен, и таким образом все страдают из-за него. Дальше он предложил партнеру продумать

перспективу продажи всех активов. Здесь он пояснил, что проще всего было бы ему, Жульену, продать Степе свою долю и избавить совместный бизнес от перспектив дальнейших неприятностей, но, зная своего брата, Жульен предполагал, что этого будет недостаточно, так как и его, Степана, Франциск знает лично и будет продолжать добиваться своего, подозревая их связь. Савраскин сказал, что можно вообще все оформить на подставное лицо, или на Кромбеля в крайнем случае, но и этот вариант показался Жульену недостаточным, он убеждал партнера по-настоящему продать бизнес и начать все заново в другой области, возможно, даже в другой стране. Савраскин раздраженно не согласился. Он припомнил Жульену, как тот хотел вообще все отдать своему наглому братику и как Степан один раз уже отстоял общее дело, сказал, что сейчас, когда они почти победили, глупо сдавать позиции, нужно нападать и развивать активность, еще он сказал, что не рассматривает все настолько драматически, как его беспокойный и мнительный французский партнер, а по правде сказать, он вообще не очень-то был настроен тогда как следует размышлять и подробно разговаривать, так как намеревался заскочить по дороге домой к еще одной барышне из своего списка и уже позвонил ей, когда Жульен отходил в уборную.

## Глава 22. О том, что каждая ситуация когда-нибудь обостряется.

Легкомысленность Савраскина была наказана не очень скоро. Ни завтра, ни послезавтра ничего не случилось. Последующие дни и последующие недели не принесли ничего неприятного, наоборот, казалось, все беды пошли к своему завершению. И даже на личном фронте у Степана появилось нечто, кроме его списка, откуда сверху имена вычеркивались, а снизу дописывались новые из Интернета, из газет или по рекомендациям товарищей.

В пантеоне богов индоевропейцев — наших далеких предков — есть бог Митра, рожденный из камня, Митра творит закон космоса, закон общества, закон этики и закон ритуала. Это надежно установленные законы. Митра — бог царей, он покровительствует правителям и воинам, составляющим среди людей касту Кшатри — одну из высших каст. Если царь хочет покровительства Митры, он должен жить и править в духе Митры — просто, ясно и законно. Митра не интриган, тайная интрига — область другого бога — Варуны, рожденного из воды, среды, не имеющей постоянной формы. Он изменчивый бог, гений интриги, он правит ночью. Все, кто входит в область интриги, попадают в страну, живущую по его законам, где наивно и самонадеянно вступают в безнадежное противоборство с самим богом. Ставки в этой игре высоки, и Варуна всегда приходит в момент наивысшей радости, тогда, когда человек приобретает наконец нечто, что по-настоящему жалко потерять. Часто это нечто даже более ценно, чем сама жизнь. И тогда Варуна приходит и говорит: «Пора прощаться». Он покровитель брахманов, носителей тайного, непостижимого знания. Идея изменчивости Варуны — темного бога еще и в том, что любому человеку, даже и обращающемуся к нему со всей почтительностью, он не дает никаких гарантий, он вообще не в контакте с человеком, приняв жертву он не сделает ничего, его невозможно ни уговорить, ни умиловать.

\*\*\*\*\*

Личным фронтом Савраскина стала Катька Ромбель, на которой он женился через два месяца после первого знакомства с текстом проекта амнистии. Вообще-то говоря, женился он для дела, то есть ради Катькиного освобождения, так как никому, кроме близких родственников, в ее колонии не давали длительных свиданий. А само длительное свидание нужно было для того, чтобы Катька забеременела и через два месяца попала в категорию амнистированных. Были и другие варианты, но не стопроцентные, как-то проплатить врачу за туберкулезный диагноз или оформить фиктивный брак с Героем России — адвокаты в принципе нашли возможности так сделать, но самым надежным путем на свободу была беременность. Еще до окончательного формирования плана освобождения по амнистии между Катей и Степаном как то так сами собой получились особенные отношения, которые оба чувствовали, но именно о них не говорили. Он к ней ездил не реже, чем три раза в месяц, они подолгу разговаривали по телефону через стекло, иногда ему удавалось даже ее развеселить чем-нибудь. Савраскин старался быть ласковым, нежным и предупредительным. Сам себе он никак это не объяснял и в качестве серьезного чувства и серьезных намерений будущее с Кромбелем для себя не формулировал, но считал, что по всем позициям так будет лучше, ведь нужно и товарища поддержать и, в конце концов, помочь ей придерживаться на допросах правильной позиции. Человек, в такой ситуации находящийся, не должен чувствовать себя брошенным соратниками, а тем более женщина, известно, какой к ней подход требуется.

А Кате Степа сразу понравился, еще как только она к ним на работу устраивалась. У нее вообще-то были тогда и другие предложения, но здесь... как его увидела — больше уйти не смогла, только скрывала ото всех и от него в первую очередь. А от себя-то не скроешь! Она очень, очень надеялась, что будет ему самой хорошей женой и они с ним вместе будут счастливы, потому что так его, обормота, любить никто в целом мире не сможет. Каталина сразу почувствовала, что этот мужчина только для нее, а все предыдущие были ошибками и глупостями, которые нужно выкинуть из головы и больше не вспоминать. Только оказался он такой непонятливый! И даже немного испорченный, но Катя на это внимания старалась не обращать, уверена была, что все пройдет, как только он распознает свою настоящую любовь — ее, которая готова за ним хоть куда, в любое время и без всяких предварительных условий.

Здесь необходимо заметить, что, несмотря на всю его внешнюю холодность и эксплуататорское безразличие, Каталине постоянно казалось, что Степа тоже глаз с нее не спускает, и женское чувство ей очень подсказывало, что этому мужчине она нравится. Катечка ждала, надеялась и находила, что день ото дня ситуация меняется к лучшему.

Потом все это случилось, весь ужас и кошмар, когда ее арестовали, судили, отправили в тюрьму, но Степа ее не бросил, а все делал, чтобы ее вытащить, и она ждала. Может быть, она чего-то себе и напридумывала, пока ждала, но по-другому решительно не получалось, если бы она в свои мечты тогда не верила всем сердцем, если бы она не знала точно, что все хорошее в ее жизни еще впереди, нужно только дождаться, то просто сошла бы с ума или руки на себя наложила бы от безысходности. Правда, все труднее и труднее было ей себя обманывать, особенно уже на зоне, там стало совсем тяжело. Когда Савраскин ей рассказал про амнистию, она как будто бы из воды вынырнула, у нее что-то вроде второго дыхания открылось, и когда Степан говорил про вариант с замужеством и беременностью, она в этом слышала предложение руки и сердца! Именно так, а разве могло быть по-другому? Разве мог мужчина, который ничего к ней не испытывает, просто так предложить ей выйти замуж и родить от него ребенка? Конечно, он тогда глупость какую-то говорил про донора, но,

вероятно, это только от робости. Мужчины же как дети, чем больше в любви и ласке нуждаются, тем сердитее и непонятнее стараются выглядеть. Она здесь решилась ему помочь немного, и когда он про донора ей сбивчиво объяснял, сам сгорая от неловкости, Катя остановила его взглядом, проникновенным таким женским взглядом, который в одно мгновение обо всем должен мужчине рассказать. Если у этого мужчины хоть капля чувств еще осталась, он должен понять этот взгляд, не может не понять! Она робко так на него взглянула и спросила, не мог бы лично он стать для нее донором? Он тут же закивал, радостно так, и очень довольным стал выглядеть. Каталина счастлива была в тот день, даже летала во сне. И Степан остался тогда удовлетворен произошедшим. Сам не зная почему, но был искренне рад. Он отчего-то был уверен, что так вот все и получится, и когда она эти слова произнесла, улыбнулся, как улыбается человек, наконец то убедившийся, что все идет, слава Богу, в соответствии с его планом и правильно. Месяц ему пришлось потратить на курс лечения у уролога, натерпевшись там ужасов, что в связях своих стал гораздо осторожнее и из всех интимных развлечений стал предпочитать разнообразнейшие массажи в эротическом клубе «Максимыч», где в конце оздоровительной процедуры клиент получал оргазм без всякого контакта со слизистыми оболочками массировавших его барышень.

\*\*\*\*\*

Амнистия вышла через четыре месяца и восемь дней после того самого первого о ней упоминания, а еще через три дня Степа встретил заморенную, измученную токсикозом Катьку у ворот учреждения и, ни о чем не спрашивая, отвез к себе домой. Бухгалтера и начальницу кредитного отдела тоже выпустили в этот день, их развезли по домам водители.

По пути они разговаривали мало, Катька почти всю дорогу проспала и о том, куда они едут, не спрашивала. Попав в квартиру к Савраскину, она сразу полезла в ванну и сидела там часа три, вытащив из своей сумки только маленький пакетик с чистым бельем, а все остальное попросила Степана прямо сейчас пойти и выкинуть на помойку, что он и сделал, пока она мылась. Все Катькины вещи из прежней ее съемной квартиры давно хранились тут, но теперь можно было сомневаться, что все старое подойдет ей по размеру — такая она стала худющая. Он постелил ей в гостевой, приготовил ужин, накрыл на стол, зажег свечи, достал бутылочку вина и приготовился к личному объяснению с женщиной, называющейся его женой и носившей под сердцем его ребенка. Савраскин сам не знал, что скажет в тот день. Даже и здорово получилось, что она мылась так долго, он сидел и думал о себе, о ней, о будущем, о Маше Селиверстовой, о своей бывшей жене, о дочери, которая уже ходила в школу, а к нему, ровняясь на мать и любимую бабушку, не испытывала больших чувств, чем к презренному источнику материального благополучия. Так он и гонял из угла в угол свои мысли все три часа, пока по звукам, доносящимся из ванной, понял, что Катька готовится вылезать и начал думать усиленно, лихорадочно прокручивая в голове варианты, уже и не думая, по сути, а составляя план разговора и подытоживая по каждому вопросу свою позицию для изложения. Он решил пока предложить ей пожить вместе, безо всяких взаимных обязательств, а потом смотреть по ситуации — разбежаться или составлять уже полноценную семью. Нужно было еще объявить Катьке, что операция по их освобождению оказалась весьма дорогостоящей и они с Жульеном решили прибегнуть отчасти и к ее деньгам, так как их собственных просто уже не хватало, и здесь он не вполне знал, как будет правильно сделать теперь, определить эти деньги как их перед Катькой долг или предложить ей, так сказать, участие в процессе. Еще было не совсем понятно, чем теперь Катьке

заниматься, так как таможенного отдела уже не было, а банк ничего не приносил. В общем, не успел додумать Савраскин, а дверь открылась и Катька в белом махровом халате и полотенце на голове уже из ванны вывалилась. Именно вывалилась и, глядя мимо накрытого стола, измученно спросила у хозяина, где ей лечь. Он растеряно показал гостевую, куда она протопала, едва не волоча ноги, рухнула прямо в халате на кровать, свернулась под одеялом в позу эмбриона и закрыла глаза. Через пару секунд она еще попросила набросить на нее сверху что-нибудь потяжелее типа шубы или тулупа, если можно. Савраскин накрыл ее двумя своими пальто, закрыл дверь и пошел думать дальше, сидя перед своим собственным накрытым столом, он даже ручку с бумажкой взял для того, чтобы все вместе легче собиралось, на бумаге нарисованное.

Еще через час Катька начала покашливать, сначала редко, потом чаще и сильнее, еще чаще, еще сильнее, и вот уже она кашляла не переставая, а Степа метался по своей квартире, не зная что делать: то ли заваривать чай с медом, то ли вызывать «скорую». У беременной женщины явно поднялась температура, пот каплями тек по ее лицу, она судорожно хватала воздух и кашляла, кашляла, и в те моменты, когда кашля не было, она так сжимала зубы, что ее лицо менялось до почти неузнаваемости. Савраскин выдержал в таком режиме двадцать минут и вызвал платную «неотложку», которая увезла кашляющую Катьку на своей разукрашенной машине со всеми включенными мигалками в больницу. Степан тоже был там, внес предоплату, оставил всем свои телефоны и был услан врачами домой с обещанием, что завтра после обследования ему будет в подробностях доложено все о состоянии здоровья его законной супруги.

Возвращаясь домой, он не заметил возле своего подъезда старой, потрепанной машины с выключенными фарами и затемненными стеклами, где сидели три подозрительнейшего вида молодых человека, которым предстояло сыграть в его жизни весьма приметную партию.

И сами три молодца, отследившие, где он ставит машину, проводили Савраскина взглядом до самого подъезда, так же как и он, не подозревая, что и в их жизни этот разодетый, толстеющий франтик произведет некоторые неожиданные и весьма существенные изменения.

\*\*\*\*\*

Утренний подъем для Степана, ухватившего всего три с половиной часика сна, был кошмаром. Он вообще ненавидел рано вставать. Когда не удавалось дать себе выспаться, организм немедленно заявлял протест в виде расстройства желудка, тянущих болей в печени, заторможенности и омерзительно плохого настроения на весь день. Но делать было нечего, и он шагнул в этот кошмар, когда помимо того, что глаза не желают открываться и резью реагируют на омерзительно яркий свет ночника, ты еще чувствуешь себя совершенно несчастным от осознания, что ни секундошки сна днем ты себе не позволишь, так как все минуты твоей жизни на сегодня уже расписаны и распределены, и если ты был бы волком, то завыл бы в черное окно тоскливую песню о том, что жизнь твоя - каторга.

В восемь часов утра его уже ждали на производстве, в десять нужно было позвонить в больницу, на десять же была назначена итоговая встреча с адвокатом, а еще в его компьютере было записано тридцать четыре пункта, которые требовали незамедлительного разрешения, как то поломанная машина для автоматического раскрытия, которая вышла из строя вчера в конце второй смены, и было необходимо найти виноватых в порче дорогостоящего

оборудования и подписать деньги на незамедлительный ремонт, еще нужно было подписать стопку документов по выплатам претензий, там, где нельзя было отвертеться, и эти суммы распределить на виноватых из персонала или отписать на дополнительные расходы предприятия, чего он ненавидел, нужно было заслушать начальника продаж, готовившего открывающуюся через три дня экспозицию на текстильной выставке, заехать на новую торговую точку, поздравить с днем рождения их районного главмента — Степана Аркадьевича, дружба с которым хоть как-то позволяла еще работать, разобраться с текущими задержками производства, явившимися причиной истерических претензий горластого сбыта, угрожавшего катастрофической потерей оборота, а производство в свою очередь, как он знал, будет валить на снабжение, не поставившего вовремя фурнитуру, снабжение же еще месяц назад требовало у него временно увеличить остатки фурнитуры, предупреждая, что с ней могут быть перебои, но у него не нашлось свободных двадцати тысяч и он отказал. Вот такие вопросы ждали его в этот день, и еще много-много других. Были в этом списке вопросы по результатам последней налоговой проверки, начислившей прилично штрафов, и, по мнению главного бухгалтера, несправедливых, так что требовалось либо обращаться в суд, либо платить, был вопрос по визитам пожарников, определивших необходимость во всех цехах установить дорогостоящую систему автоматического пожаротушения, заказав сначала у строго определенной организации проект на эту конструкцию, который обходился почти так же, как и вся работа вместе с приборами и материалами.

Под номером двадцать два в его списке значился вопросик, до которого руки не доходили уже месяц или больше, — провести ревизию учредительных документов, документов на собственность, проверить, как ведется архив, и забрать домой, в сейф, самые важные бумаги. В конце прошлой недели Савраскин поклялся себе это сделать, но уже была среда, а руки еще не дошли, и сегодня, если помимо всего прочего придется ехать в больницу к Кромбелю, он тоже не успеет. Хотя... может быть, и успеет, если повезет и дела закончатся быстрее, чем запланировано. Степка знал, что дела никогда не заканчиваются быстрее, чем запланировано, а наоборот, всегда занимают больше времени, но любил утешать себя надеждой, пусть даже и совсем маленькой, иначе совсем заедала тоска.

Так или иначе, день начался, и он приехал в офис пятнадцатью минутами раньше, с удовлетворением думая, что перед началом трудового дня выпьет чайку и соберется с мыслями. Но, войдя в приемную, он понял, что планы его под угрозой, так как только он переступил порог, то наткнулся на замороженное лицо собственной секретарши с расширенными и округленными глазами и на двух типов в костюмах, чего-то ожидавших в его приемной с беззаботными физиономиями. Девушка на телефоне молча уставилась на влетевшего начальника и не говорила ни слова, а посетители деловито поднялись, ослабили и, протягивая опешившему Савраскину руки, вскользь предъявили ему удостоверения сотрудников прокуратуры, которые он даже не рассмотрел как следует, так как господа, очень быстро, почти как фокусники, спрятав свои документы, еще лучезарнее разулыбались и заявили, что теперешняя цель их визита не рабочая, и они никому не намерены доставлять своим посещением никаких неприятностей. А дальше господа мягко вошли вслед за растерянным Степаном в его кабинет и, прикрыв за собой дверь, без приглашения уселись, ожидая, пока хозяин изготвится для беседы.

Савраскин угнезвился за свой стол, пожалел про себя, что у него в кабинете нет какого-нибудь потайного диктофона или камеры, и, вздохнув, вежливо предложил вошедшим изложить суть дела. Посетители сперва спросили чаю, что Степан оценил как наглость и попытку с порога продавливать, но сопротивляться пока не стал, а позвонил и заказал чаю, про себя отметив, что не готов к этой встрече, что чрезвычайно волнуется, если даже не сказать, что состояние его колеблется между страхом и паникой. Он даже подловил внутри себя омерзительное желание заискивать перед посетителями и им угождать, заглядывая в

глаза и делая вид, что чрезвычайно рад возможности теперь побеседовать. Ему хотелось подобострастно поинтересоваться, с чем они желают чаек, предложить конфеток, вареньица, булочек или даже коньячку, если господа желают, но Савраскин, мгновенно представив себе унижительность такой картины, набылчился и чаю потребовал у секретаря отрывисто и даже грозно, а молодцы в костюмах, продолжая улыбаться, пояснили, что разговор у них доверительный и дело, которое может стать взаимовыгодным только при условии взаимного расположения и доверия, вот они и попросили чаю, чтобы привести обстановку беседы в более уютную, чем могло бы быть при посещении директора предприятия сотрудниками прокуратуры. Степа в себе сил отвечать не нашел, так как очень боялся слабость свою и панику выпустить на свободу, а молча сидел и ждал, чего им надо.

Минут пять еще прошло в пустой болтовне, которая поддерживалась Савраскиным разве что кивками и угуканьем, а потом господа перешли к делу и прежде всего продемонстрировали подробное знание дел и даже истории их с Жульеном предприятия. Они очень высоко оценили роль самого своего Степы в становлении и развитии компании, уточнив, что все созданное здесь — только его детище и результат его труда, посетовали, что ни в чем не виновные люди так пострадали из-за непонятных и странных обстоятельств и намекнули, что многие еще могут пострадать, так как, по их данным, дело будет иметь самое далеко идущее развитие. Тут они короткую сделали паузу и задали вопрос о причинах происходящего, уточнив, между делом, знает ли сам Степан Иванович, что происходит и кто виноват. Савраскин из всех вариантов ответа выбрал самый простой и молча замотал головой, а визитеры продолжили, что переходят теперь к самой щепетильной части своего визита и говорить все это им вообще нет никакого смысла, а только совесть и человеческие чувства заставляют их так довериться. Тут они, внимательно глядя Савраскину в глаза, спросили, может ли он гарантировать, что разговор этот останется между ними, на что Степа снова отреагировал движениями головы, но только в вертикальной плоскости. Выдержав еще одну убедительную паузу, господа сообщили своему немногословному собеседнику, что сами они русские люди и очень переживают за основу новой России — производство, и именно наше, российское производство, которое со временем всю страну должно вытянуть из того унижительного и жалкого положения, в котором оказалась наша многострадальная Родина. Савраскин снова поддакнул, и, приободренные его согласием, господа изложили Степану, что все их проблемы состоят только в фигуре некоего француза по фамилии Бенаму, а по имени Жульен, материал о котором в плановом порядке давно уже поступил в органы, и имеется решение на самом высоком уровне очищать страну от заполонивших ее иностранных злодеев, тем более таких, как этот Жульен, и есть данные о его причастности не только к разграблению нашего многострадального государства, но и о его контактах с преступными группировками вахабитов, как бы невероятно это не звучало на первый взгляд.

Они, внимательно глядя на изумленную физиономию Савраскина, качали головами и говорили, что многого, очень многого не знает Степан о своем номинальном партнере. Говорили, что материал, которым оперируют органы, совершенно достоверный, а проблема только в том, что сложные международные отношения не позволяют его обнародовать, но, выполняя решение президента, взят курс на борьбу с подобными элементами любыми законными средствами, что очищение страны уже началось и не будет уже иметь обратного хода. Они снова сделали паузу и опять внимательно уставились на Савраскина, который снова крутил башкой, но уже очень растерянно и недоуменно бормотал что-то типа того, что ничего подобного он за Жульеном не замечал... И тогда пришедшие еще огорошили Степу, прямо заявив ему, что теперь каждый русский человек должен выбирать между Родиной и мерзостями, и они пришли к нему, простому русскому парню, только для того, чтобы дать ему шанс отрезать от себя все вражеское и, очистившись, зажечь новой, человеческой жизнью. Савраскин машинально спросил, а что делать-то нужно? И люди в костюмах, еще



оживившись и как-то даже потеплев, улыгнулись ему, как родному и сказали, что лично к нему никаких претензий нет, и наверху даже имеется стратегия массивированной помощи таким производственным предприятиям, как то предоставление им льготных кредитов, государственных заказов, помещений из нежилого фонда, но для всего этого нужно доказать свою готовность служить идеалам России и бороться с нечистью, и доказать это он может, переоформив все акции Жульена и одну свою на организацию, которую ему укажут, взять на работу их человека одним из заместителей, и тогда, когда они станут равноправными партнерами, он почувствует, что значит быть в доле с государственными людьми. Скромно улыбнувшись, они обронили, что у ребят, согласившихся с их предложениями, за первый год бизнес укрупняется где-то вчетверо. Пока Савраскин переваривал, они еще раз прошлись по Жульену, как бы между собой переговариваясь, что он за мерзкий тип и что сколько веревочке не виться... и так далее. А Степан сидел и собирал себя в кучу, но ничего не получалось. Он все уже в жизни припомнил и ни за что не мог зацепиться для спасения.

Он уже открыл было рот, чтобы лепетать что-то про надо подумать, про то, что еще у Кромбеля есть акции, а у Жульена всего сорок пять процентов, как и у самого Савраскина, но именно в эту минуту он вспомнил Машу Селиверстову, вспомнил, как она его во Франции тогда спросила по телефону насчет, намерен ли он сразу по приезде делать ей предложение или нет, вспомнил, какая она была при последней их встрече замороженная и еще вспомнил про ее письмо тогда, когда чуть не помер неизвестно отчего. И как пелена у него с глаз упала, и на место всей его боязливости и неуверенности всплыла такая ярость бесконечная, что он встал из-за стола, подошел к двери, резко ее растворил и, широко открыв рот, заорал на своих посетителей матом так, что секретарша натурально соскользнула попой под стол. Они вскочили, что-то пытались говорить, а он схватил из приемной вешалку и, замахнувшись, попер на них с этой железной палкой так, что им пришлось очень быстро уходить, даже убежать, а последнему он еще не удержался и такого пендаля отвесил перед лестницей, что тот, смешно расставляя руки, засеменял ножками, обгоняя товарища, и едва на землю не шлепнулся. Они уехали молча, никаких слов не произнеся, затравлено даже как-то глянув на Савраскина, а он вернулся к своим дневным обязанностям и думать даже не хотел об этом утреннем посещении, так гадко все здесь было, и самое гадкое, что он, Степан Савраскин, снова чуть было в самое мерзкое дерьмо не вляпался. Он даже секретаршу не стал тиранить за то, что ему не позвонила предупредить и не переписала данные их удостоверений, а только руку ей пожал и поздравил с первым боевым крещением.

Утреннее совещание пришлось скомкать, оно прибавило в списке нерешенных вопросов целых пять пунктов, а вычеркнуть позволило только один. Разогнав сотрудников по рабочим местам, он ринулся к адвокату, захватив с собой оставшиеся невыплаченными двадцать тысяч — как раз то, что ему сейчас очень нужно было на фурнитуру, очень нужно было бы для того, чтобы производство не лихорадило, люди выполняли план, работали, зарабатывали сами и давали заработать им с Жульеном. Но даже и мысли не возникло у него задерживать адвокату ее гонорар, придумать что-нибудь или попросить об отсрочке, не те были отношения, тем более теперь, после такого утреннего посещения.

День двигался дальше. Савраскин во времена запарок старался придерживаться одного неукоснительного правила — изо всех сил выдерживать то, что планируешь, минимально перенося или переставляя дела, стараясь не поддаваться никаким дополнительным обстоятельствам. Только это, затверженное им условие, заставило Степана за три минуты до встречи с адвокатом позвонить в больницу, куда вчера поместили Кромбеля. Он рассчитывал потратить на этот разговор пять минут, но пришлось разговаривать почти полчаса и к адвокату он тогда прилично опоздал, что случалось с ним редко. У Катьки оказался туберкулез. Врач просила его приехать прямо сейчас для принятия какого-то решения на месте, но он очень-очень попросил ее самые главные вещи рассказать

по телефону, сказал, что приехать сейчас никак не может, рассердил врача таким наплевательским отношением к собственной жене, но получил-таки некоторые общие заключения. Доктор называла Катькину болезнь как-то по-особенному, но в голове у Савраскина сложных слов не осталось, а запомнил он только три: «активный туберкулез легких», еще ему сказали, что раньше такой диагноз был однозначным показанием к прерыванию беременности, но сейчас в принципе имеются формы лечения, при которых туберкулез с определенной вероятностью не осложняет развитие плода, но большое сомнение врачей вызывает общее состояние его супруги, у которой они нашли очень низкий сахар в крови, истощение организма, нервное переутомление и сильнейшую астению. Они вообще в ужасе, как в таком состоянии женщине можно было беременеть и поражаются, как она вообще забеременела. Степа очень опаздывал и, уловив момент, попросил врача немного сократить описание болезненных процессов и перейти к рекомендациям. Доктор еще больше рассердилась, буркнула, что всякое видела, но в первый раз сталкивается с таким бездушным отношением к женщине. «Ваша жена может до родов не дожить или во время родов умереть! Вот так я могу вам сказать, если требуется короткий вывод! А назначение очень простое — отправляйте ее в хороший туберкулезный санаторий, желательно за границу, на солнышко, и никаких нервных нагрузок. Иначе при любом лечении, прогнозы неблагоприятные». Дослушав врача и выпросив, что стоимость лечения в хорошем заведении для туберкулезных больных колеблется от пяти тысяч долларов в месяц до почти бесконечности, он повесил трубку и еще пару минут раздумывал, что предпринять, поглядывая на денежки, которые пока еще были его, а через несколько минут уже должны были стать чужими. Размыслив немного, он отсчитал из одной пачки пять тысяч и сунул их в карман.

Адвокату, собравшись с духом, он сказал все как есть, и она согласилась подождать с оставшимися деньгами еще месяц, тем более что, по ее данным, амнистирование всех осужденных было просто недосмотром расслабившейся противоположной стороны, и как бы ни хотелось, но точку она ставить на этом деле не советует, на вопрос, что же делать, и как это не ставить точку, развела руками, давая понять, что ничего, кроме уже сказанного ранее, предложить не может. Савраскин здесь рассказал ей об утренних визитерах и еще раз получил по мозгам за то, что документы этих посетителей не удосужился скопировать, и еще адвокат сказала, что ситуация, похоже, становится все более динамичной, так что теперь нужно ожидать быстрого развития событий. Ему лично и Жульену посоветовала нанять охрану и вообще быть осторожнее. Такие банальные и неконкретные указания оставили Савраскина в раздраженном недоумении, но нужно было ехать дальше, а дальше был путь в офис с заездом сначала в магазин за подарком, а потом в управление к дорогому имениннику, не поздравить которого было бы не только хамством, но и непростительной глупостью. Приобретя в подарочек серебряную авторучку, он, подумав о ребятах в костюмах, положил в футляр еще пятьсот долларов и тронулся в путь.

Поздравление в целом прошло нормально, Степана поздравили с освобождением любимой супруги, с которой многие присутствующие были знакомы по работе, поржали все вместе по всяким скабрёзным поводам, главмент поблагодарил тезку за подарок и даже поднял тост за друга Степку, которого они никогда не отдадут никаким прокурорским сукам, потому что он классный парень и не спекулянт, и не торговец национальным достоянием, а построил фабрику, дал людям работу и государству нужный продукт. И на х... он видал своего надзирающего прокурора и всю службу собственной безопасности вместе с целым ФСБ, чтоб у них у всех жопы поотваливались! Еще он сказал, что от суммы и от тюрьмы не зарекаются, а если работаешь в следствии, то особенно от тюрьмы. Все менты сделали серьезные физиономии, закивали и начали вспоминать, кого из их знакомых за что посадили, а кому и как удалось выкрутиться, все со Степаном чокались, хлопали по плечу, так что хоть серьезно поговорить, а даже и рассказать об утреннем происшествии главменту не

получилось, но все равно оставшийся путь до офиса он ехал уже пьяненький и счастливый тем, что у него такие значительные друзья и что эти друзья по большому счету не такие уже и подонки, а где-то даже люди и с совестью.

День закончился для Савраскина около девяти часов вечера, но зато на целых пятнадцать вопросов он сократил список дел, и ехал домой с приятным чувством выполненного долга, настроившись завтра прямо с утра дунуть к Кромбелю и, ничего не обсуждая, отправить ее прямым ходом в санаторий. За день он дважды звонил в больницу, голос у Каталины был слабый, но она нашла в себе силы оптимистично промурлыкать, что приступов кашля больше не было и что ей дали какие-то таблетки, которые очень хорошо помогают, и состояние уже лучше, и она просит прощения, что так его перепугала и столько доставила неприятностей, хотя знает сколько у него работы, а Савраскин, перебивая ее в любезностях, обещал скоро-скоро приехать, и про санаторий сказал, проявляя заботливость. Каталина в принципе не возражала, в том смысле, что если бы она была одна, то, конечно, никуда бы не поехала, а осталась бы с ним, но теперь нужно учитывать ответственность не только за себя, и она готова подчиниться, раз это нужно для ребеночка. Подробности решили обсудить завтра при встрече, и Степа, выключив телефон, удовлетворенно пощупал в кармане пачку денег, радуясь, что решился их оставить, так как, честно говоря, других резервов у него на этот период уже не было. Припарковав машину на стоянке, он потопал к дому своей привычной дорогой, не обращая внимания на то, что чуть впереди, там где дорожка проходила по небольшому участку, засаженному дворовыми деревьями, его ждут, сидя на лавочке, те самые три парня, которых он вчера не заметил возле своего дома. Двое из них сидели уже давно, а один присоединился чуть менее часа назад. Савраскин не знал, что три часа назад его друг и партнер Жульен Бенаму был избит в сквере во время вечерней пробежки, в настоящий момент находился в больнице, доставленный туда «скорой помощью», и никто не знает, что за человека привезли, так как в сознание потерпевший пока не приходил, а никаких документов у него при себе не оказалось.

Метров за десять до места засады Степа вспомнил, что забыл в машине портфель. Он резко развернулся и двинулся назад, сначала быстрым шагом, а затем перешел на легкий бег. Немного сбитые с толку, засадчики решили его преследовать и кинулись было за ним, но не догнали, так как всего через минуту их цель уже добралась до стоянки, где сначала принялась о чем-то говорить с вышедшим сторожем, а потом, стоя возле будки охраны, начал названивать кому-то по телефону. Переглянувшись, молодые люди решили выждать несколько минут, закурили, как вдруг объект, выхватив из машины здоровенный портфель, решительно двинулся прямо на них и, чуть не растолкав плечами их ряды, быстро протопал к своему подъезду.

\*\*\*\*\*

На другой день Савраскин приехал в больницу утром, как и обещал, решив, неукоснительно выдерживая распорядок. Дел опять было невпроворот, все было на нем, а Жульенчик, по всей видимости, так увлекся дедуктивными размышлениями, что позволил себе всё прогулять и вообще не отзывался ни на один телефон.

Степан, когда понял, что Жульен ушел со связи, с досадой обозвал его про себя французским педерастом, правда, через минуту про себя же перед ним извинился, сказав, что

с «педерастом» погорячился, но, по сути, Жульен вообще не прав, так как именно сейчас ему, Степану, нужна помощь друга. И удивительно, как это товарищ не понимает происходящих процессов, какой он после этого вообще товарищ? Так бы приехали вдвоем, в общем бы Кромбелю поулыбались, мирно отправили бы ее в санаторий, и никаких объяснений до времени не состоялось бы. А теперь, поскольку придется говорить один на один, уже и непонятно, удастся ли обойти острые моменты, особенно если она спросит, где денежки с ее личной части корпоративного счета. Чего тогда отвечать? Особенно после того, как вчера врачиха прямо дала понять, что, если Кромбеля нервировать, она может запросто помереть. Ему, честно говоря, Катька тем, может быть, и нравилась, что всегда была здоровая, как лошадь. Никогда не болела, никогда ни на какие недомогания не жаловалась. А теперь что, из нее сделалось? Он чувствует, конечно, к ней благодарность и уважает ее мужество, но зачем при этом создавать семью, заранее обреченную на провал? Лучше честно посмотреть правде в глаза. Хотя, может быть, оклемается еще, она же всегда была выносливой, женщины вообще выносливые. Вот и нужно подождать пока, посмотреть, как все будет развиваться. А Жульен в такой простой вещи и... подвел! Ну чего ему стоило приехать, ну какие такие у него дела могут быть с утра в четверг? И ведь ничего от него не требовалось, просто приехать, улыбаться и поддакивать, а ведь теперь могут вопросы начаться и по поводу ребенка, по поводу их женитьбы... Все эти вопросы нужно отложить, и лучше не было бы способа, как вдвоем приехать так, второпях, типа опаздываем... и свинтить без объяснений. Так ведь и договаривались! Ну куда он мог деться, дубина французская?

Так по дороге размышлял Степан Савраскин и даже радио выключил, чтобы думать ему не мешало, и вел такой вот мысленный диалог с Жульеном Бенаму, можно сказать, ругался с ним мысленно, а если можно было бы мысленно дать пинка или за шиворот оттащить, то Степа с удовольствием осуществил бы и такие экзекуции.

А друг его Жульен даже если бы и слышал, то мог бы ответить Степану тоже только мысленно, поскольку в сознание так и не приходил, и единственное, с чем ему повезло, так это с утренней бригадой врачей, которые собирались обследовать его поврежденную голову с твердым намерением вернуть человека к жизни. Притом у каждого врача были свои собственные мотивы, и мотивы, надо сказать, совсем не героические, а даже обыденные, если не назвать их банальными или даже низменными. Лично для одного случай был интересный, он вообще был честолюбивым, интересующимся молодым доктором, и некоторые коллеги называли его карьеристом, выскочкой, иногда даже и подхалимом, но правда это или нет — дело темное, а такие, как у Жульена, состояния при ЧМТ как раз случились темой его будущей диссертации. Другой должен был перед главврачом в хорошем свете показаться, так как допустил ряд дисциплинарных нарушений в этом месяце, а главврач как раз всегда хвалил докторов, которые боролись за «ничейных» пациентов, привезенных по «скорой». Третий тайком и сильно-сильно про себя надеялся, что мужик этот тайный богатей, а не бомж, как все предполагали, так как полуоторванная этикетка запачканных грязью и кровью спортивных брюк, в которых пациента привезли, ассоциировалась у него с какой-то дорогостоящей маркой, и чего-то он где-то про это «Бенаму» видел по телевизору, или в глянцевых иностранных журналах, или кто-то ему рассказывал, теперь уже и не вспомнить было, но пару ампул дорогостоящего лекарства, заныканных «на всякий случай», он решился на этого гражданина употребить, что и добавилось в копилку общих стараний, приведших в конечном счете к оживлению Жульена, который очень удивился бы, узнав, что обширные рекламные мероприятия его братца так положительно сказались на его личной судьбе.

Каталина еще вчера, как только выпалась, поговорила с врачом, затем, получив передышку в проводившихся над ней обследованиях, позвонила в банк и узнала, что денег на ее части корпоративного счета нет. Ни много ни мало, а отсутствовало сто двадцать шесть тысяч долларов, которые по отчету менеджера две недели назад были списаны по распоряжению господина Савраскина, коему она сама такие права делегировала. Раньше она с этого корпоративного счета немедленно переводила деньги на свой личный, но, находясь в тюрьме, делать это перестала, целиком доверившись Степану. Катя в принципе и не возражала бы, если ему понадобились ее деньги, но нужно же было хоть как-то об этом поговорить, хоть как-то поставить ее в известность. И ведь была же у него такая возможность много раз! Они столько болтали просто так, и потом еще он вез ее позавчера и ни слова не сказал, а вообще молчал как утопленник. Она даже глаза закрыла и спала, чтобы не замечать этого его молчания. Вообще, Каталина не совсем понимала что теперь происходило, и готовилась задать своему дорогому супругу ряд вопросов, очень прямых и недвусмысленных, хотя доктор вчера вечером умоляла исключить любые нервные нагрузки, показывала снимки ее легких, объясняла, что такое каверны и что бывает такая стадия развития туберкулеза, при которой ничего невозможно уже сделать и человек умирает так же постепенно, как и неотвратно. Доктор говорила, что вообще без всякой симптоматики одни такие анализы, уже показание к немедленной госпитализации, а на фоне беременности — это вообще уму не постижимо! Каталина и сама чувствовала, что сил уже нет. А врач как-то к ней еще сильнее расположилась и уже по-женски доверительно сказала, что может представить, чем ее муж занимается, и только одно ей теперь всей душой советует — уезжать, если есть возможность, увозить своего будущего ребенка от всех опасностей, если жизнь ей дорога. Доктор сказала, что у них есть дружественный санаторий во Франции, куда можно хоть сегодня получить приглашение, и очень хороший санаторий, а по цене умеренный, и гинеколог там отличный, а визу по таким документам французы дают за один день и вообще самое лучшее было бы для нее вылетать безотлагательно, так как динамика процесса у нее неблагоприятная. Еще она сказала, что если здесь остаться, то ее, конечно, будут лечить, и квалифицированно, но сами роды — такая нагрузка для женщины, которую по теперешним временам не все здоровые выдерживают, а для нее в том состоянии, в каком она сейчас находится, рожать — натуральное самоубийство. Так и сказала — самоубийство, и еще сказала, что в Москве, как ни старайся, организм силы не наберет за оставшиеся семь месяцев и предложила подумать, стоит ли муженек, который и приехать в первый день не улучил возможности, того, чтоб из-за него самой умереть и ребенка своего погубить. Тут Катя подумала, что доктор все же немного в сердцах преувеличивает, но в целом согласилась и пыталась объяснить, что муж ее... так было приятно это слово произносить... так вот, что муж ее никакой не бандит, а просто у них временные трудности. Но доктор не поверила и шепотом рассказала, что к ним в морг каждую неделю привозят таких с «временными трудностями», застреленных или подорванных, или вон, в травматологию, еще живых, а потом выписывают в лучшем случае инвалидами, а жены сами не всегда-то и знают, чем их мужья занимаются.

В общем, подготовила женщина свою пациентку к встрече с супругом в лучшем виде, и разговор между мужем и женой состоялся, надо понимать, неприятный. И не только неприятный из-за уже имеющихся в избытке обстоятельств, а еще и потому, что пока Степа ехал, ко всем бедам добавилась еще одна, да такая, что Степан даже хотел было на ходу разворачиваться и мчаться на работу, но был уже совсем близко и решил хотя бы на минуточку буквально, но к Катке заскочить. Беда была такая, что даже в голове не укладывалась. Ему позвонила секретарша и быстро-быстро залепетала, что офис и фабрику

опечатаывают какие-то люди с милицией и судебными исполнителями, что их охрану выгнали, двоих, что сопротивлялись, даже избил, и милиция показала решение суда о том, что фабрика теперь не их, а чья-то, и уже новые хозяева собрали всех рабочих и что-то им говорят... Тут связь оборвалась, и больше офисный телефон не отвечал.

После таких новостей он, надо понимать, примчался к Катьке в палату в совершеннейшем шоке, а Катя сбивчивые объяснения мужа сразу не поняла, она услышала Степу так, что какие-то хулиганы забрались в офис с непонятной целью и нужно их выгнать, а еще поняла, что с ней говорить у него опять времени нет. На бегу он оставил ей визитку адвоката, вытаскивал пять тысяч, но не отдал, а сказал, что это на ее санаторий, но он пока их с собой возьмет, потому как вдруг деньги понадобятся. Катька тут расплакалась, начала его упрекать, что на все время есть, только не на нее, а он с минуты рядом с ней посидел, вроде как успокаивал, а потом как вдруг вскочил, схватил ее за руку и заорал, что она дура, если не понимает, что происходит сейчас, и ему некогда теперь ее сопли здесь на кулак наматывать, и что она никогда не была такой тупой идиоткой, и он вообще не понимает, что с ней случилось и она это вообще или нет! Она не понимала отчего он так кричит и что такого ужасного случилось, ну, забрались в офис, пьяные, наверное, ну, выгонят их через час. Было стыдно, было ужасно стыдно, потому что в коридоре врачи и сестры слышали каждое его слово, слышали, как он орал на нее и как она плакала. Каталина из последних сил вцепилась в его ручки, оторвала их от себя и плюнула в него, потому что ничего другого уже не могла сделать, и на этом выдохе от плевка у нее снова начался приступ, и так больно сделалось в груди, что она даже повалилась на пол и кашляла, кашляла, сгибаясь пополам. Тут вбежали сестры, врач, стали ее поднимать, укладывать, а Савраскину доктор велела выйти, и так на него посмотрела, что он выбежал и даже забыл у Кати на тумбочке свой мобильный телефон, по которому ему как раз нужно было теперь звонить во все инстанции и всех на ноги поднимать, всех мобилизовывать, чтобы к новой этой беде хоть как-то подступиться.

Он прыгнул в машину и понесся в офис, хотел мобильный нащупать свободной рукой, понял, что забыл его, и... чуть руки у него не опустились, чуть слезы из глаз не брызнули, но уже минутою спустя Степан, притормозив у магазинчика и лихорадочно суетясь, купил себе другой телефон. Пока неторопливая девушка оформляла его документы, он взял бумагу, ручку и начал вспоминать номер главмента, который тот много раз советовал ему выучить наизусть. Цифры путались, но он писал варианты, чтобы, как только получит работающую связь, прозвониться и что-то делать. И ведь адвоката визитку тоже Катьке отдал как на зло! Но возвращаться к ней он не мог! И даже не из-за Катьки, а скорее из-за врачихи! Думать об этом было некогда. Все против него! Все, все в одну минуту обрушилось. Хоть в Москва-реку сигануть прямо на машине! Как будто все и всё объединившись решили силою вернуть выскочку и трусливого воришку Савраскина на его законное место в жизни, но Степан таким мыслям не поддавался, а зубы сжал и решил, что как уж выйдет неизвестно, но он свою чашу сам до конца выпьет, до последней капельки. Купив телефон, он снова помчался, набирая на ходу записанные варианты, как вспомнилось, и все не туда попадал. Он ехал и вспоминал про схемы воровского отъема бизнеса, называемые теперь «недружественное поглощение», вспоминал про то, что не успел учредительным документам провести ревизию и забрать их домой, так что теперь ему вообще не с чем идти правду искать!

Когда уже близко к офису, на небольшом пустынном перегоне машину подрезала какая-то развалюха и он ударил эту развалюху крылом, потом еще треснувшись колесом о бордюрный камень, остановился, у него сначала никаких мыслей не было, кроме как послать в жопу дурака, который, наверное, ездить не умеет, и мчать дальше, но из развалюхи вышли и направились к нему три парня, в которых он, конечно, не узнал тех, что вчера чуть не столкнулся с ним возле стоянки, и тех, что позавчера всю ночь дежурили возле его подъезда. Тогда он молча нащупал возле двери бейсбольную битку, которую взял в правую руку, а левой

зачем-то сжал в кармане деньги на Катькин санаторий. Потом Степа открыл ногой дверь и, спрыгнув, выдвинулся навстречу участникам дорожно-транспортного происшествия.

\*\*\*\*\*

Все трое ребят были мастерами спорта. Двое по борьбе и один по боксу, к тому же опыт в таких, как сегодня, делах они имели уже предостаточный, так что разукрашенная американская дубинка в руке у объекта не произвела на них ни малейшего впечатления, кроме презрительных ухмылок, синхронно отразившихся на всех трех физиономиях. Степа даже ударить никого не успел, он в общем-то даже и не планировал сразу драться, а думал, что какой-то разговор состоится, но как только стороны сошлись, он получил такой удар в лицо, что вверх тормашками полетел на землю, но хоть и был ошарашен, упал на спину, палку из руки не выпустил, но выбросив инстинктивно левую руку из кармана, как веером сыпанул все свои доллары перед нападавшими. Более чем комичной была, наверное, эта сцена, и ребята рассмеялись, довольно друг на друга поглядывая и радуясь, что помимо гонорара за хорошо выполненную работу они сегодня получают еще и премию, и будь здоров какую премию, вон денег-то сколько из объекта выпорхнуло, вместо тех пяти сотен, которые им обещали и из-за которых они уже третий день корячились, ночь не спамши! А Савраскин разлепил глаза, сфокусировал изображение и как был из позиции лежа со всей силы треснул ближайшему парню по области колена. Дубинка у него была не совсем обычная, эту дубинку он выпросил у главмента, и там внутри был залит свинец, так что коленка у человека тут же как сухая деревяшка подломилась, и как подкошенная травинка он рухнул рядом с Савраскиным, а нога его оказалась в обратную сторону вывернута. Рухнул мастер спорта и заорал, завертелся волчком на земле. Пользуясь секундной паузой, Степка еще одному хотел треснуть между ног, но не попал, а сам получил сзади такой удар по голове, что снова все стало мутно перед глазами и только глухие удары на него как горох сыпались, он даже не помнил потом, как его били, не помнил, что под градом ударов подполз еще к одному, прыгнул и зубами вцепился ему в ногу, прокусив мышцу, и так челюсти сжал, что их потом уже в больнице разжимали.

Он не помнил, что очень быстро приехали милиция и «скорая». А милиция, как позже выяснилось, услышала не то, как Степана били, а наряд, счастливо оказавшийся рядом, среагировал на вопль человека, которому ногу назад выломали. Наверное, на такой вопль невозможно было не среагировать. Когда подъехал патруль, третий парень бросил выручать ногу товарища из Савраскиных зубов и пытался убежать, но был пойман и по установлению его личности оказался судимым и даже условно осужденным за разбой, и тот, которому хирурги теперь ногу на место ставили, тоже оказался судимым, а ногу ему удалось поставить, но только с декоративными целями, так как все сухожилия были перерваны и теперь эта нога была у него, как хирург сказал, только для симметрии. Третий парень с прокушенной и вырванной почти мышцей судимым не был, но по милицейским базам тоже проходил, и, конечно, ребят задержали, несмотря на совершенно грамотные их показания, что этот ненормальный человек, которого они первый раз в жизни видят, сначала в них врзался, а потом бросился на них с оружием, и они вынуждены были защищать свои жизни.

\*\*\*\*\*

Катя пришла в себя от того, что звонил телефон. И звук звонка был не ее, а чужой, какой-то мальчишеский что ли, воинственный такой и раздражающий. Приподнявшись над подушками и прислушавшись, она определила, что звук исходит из-под кровати. Сил слезать не было, и ничего не оставалось, как терпеливо дожидаться, пока звонок утихнет сам, и она снова закрыла глаза. Но настойчивое треньканье не унималось, и уже в голове ее все противно звенело, и когда это стало невыносимо, Катя нажала на кнопку вызова персонала. Медсестра появилась очень быстро, залезла под кровать и хотела было выключить телефон, но больная попросила дать ей трезвонящий аппарат, что и было сделано, но с выражением неохоты и некоторого одолжения, так как врач прописал этой больной полный покой, а полный покой не предусматривал в палате вообще никаких телефонов. Пациентка взяла трубку, но именно в этот самый момент он перестал звонить. Девушки обменялись взглядами, смущенно улыбнулись друг другу, и та, что стояла над кроватью, мягко забрала телефончик у той, что лежала, выключила его и положила к себе в карман халата, шепотом сказав, что отдаст, когда врач позволит разговаривать, а пока нужно еще поспать после укола. Каталина улыбнулась медсестре, тихонько кивнула, уютно повернулась на бочок, завернулась в одеяло и сладко уснула до самого утра.

Проснулась она в отличном настроении. Так было тихо, тепло, уютно и чисто вокруг, так ласково светило солнышко, пробиваясь через неплотные занавеси на окнах. Несколько минут Каталин лежала и просто наслаждалась этими необыкновенно приятными впечатлениями, наслаждалась и думала про то, что, когда у тебя есть теплая, чистая постель, когда нет подъема в бараке, утреннего построения, развода на работу это уже такое счастье... Минутую спустя она окончательно проснулась и вспомнила о разговоре со Степаном, точнее о том, что вместо разговора он схватил ее и орал, близко-близко наклонившись, и она не помнила слов, а помнила только его несвежее дыхание и помнила свое отвращение.

Первый раз в жизни она испытала к этому человеку отвращение, и когда осознавала это как реальность и свершившийся факт, то постепенно на место сказочной успокоенности и блаженной утренней неги начала заползать серая и холодная пустота, которую она хорошо знала и, вспомнив, испугалась. Эта пустота всегда приходила на место надежды и располагаясь полноправно, являлась предвестником смерти. Для Кати это не было пустой фразой, всего четыре месяца назад она уже умирала от этой пустоты, но тогда надежда победила, явившись в самый последний момент благодаря Степочке. Но как можно было объединить того человека, который женился на ней, который так поддерживал ее силы, с тем, что она видела вчера? Или позавчера? Это не мог быть один человек! Каталине сделалось нехорошо, она медленно слезла с кровати, сходила в ванную, где намочила виски, а потом, наклонившись над раковиной, простояла несколько минут. Стало легче, и она начала спокойно и внимательно рассматривать себя в зеркало, пытаясь угадать ребенка. Внимательно осмотрела животик и даже заметила, как он округлился. Несколько минут молодая женщина любовалась своим животом, но потом взгляд переместился на исхудавшие ноги с торчащими коленками, выпирающие ребра, острые локти, обтянутые кожей бледные щеки, на противные прыщики, и ей стало стыдно. Она подумала, что муж, наверное, ужаснулся, увидев ее такой, и это было причиной охлаждения. Но потом ей в голову пришло, что он ее и не видел. Или, может быть, видел, пока она спала? Катя даже зажмурилась на секунду от этих ужасных мыслей, но, открыв глаза, снова увидела все те же формы, похожие больше на мумию, чем на женщину. Тут голова у нее закружилась, и она присела на табуреточку отдышаться. Стыд постепенно сменился злостью, она сжала зубы и думала, что не была такой, пока не попала в тюрьму по милости господ учредителей, и почему-то на



Степу она злилась меньше, а больше злилась на Жульена и думала, что это Жульен во всем виноват, он и Степана заездил так, что тот потерял человеческий облик, и она из-за него, из-за его проблем с каким-то там его братом чуть не умерла в тюрьме, а сейчас еще и мужа лишается! Потом Каталина умылась, постояла под душем и снова улеглась в постель, потому что силы ее кончились. Дальше пришла врач, померила давление, пульс, заставила встать на весы, потом осмотрела ей рот, руки и ноги, потом Каталина подробно рассказывала, как себя чувствует, и доктор выспросила даже о том, какие мысли приносят облегчение, а от каких она грустит и расстраивается, на что Катя после небольшой паузы честно сказала, что расстройство приносят мысли о муже и о его работе. Доктор как будто обрадовалась этому подтверждению своих предположений и назидательно произнесла, что, как лечащий врач, запрещает ей думать о муже и его работе, а вместо этого назначает думать о том прекрасном санатории, куда Каталина вскоре должна отправиться, и чтобы думать о санатории было легче, она принесла ей толстые рекламные буклеты и иностранный медицинский журнал. Еще доктор задала вопрос о деньгах, то есть спросила, имеется ли у Каталины возможность оплатить себе лечение. Они вместе подсчитали, доктор еще выкинула из получившейся суммы пять процентов скидки, и получилось, что все пребывание до родов обойдется в двадцать три тысячи, сами роды обойдутся еще в пять, а на первый взнос нужно всего восемь тысяч долларов плюс виза, плюс билеты, плюс трансфер — получалось, сразу нужно без малого десять тысяч. В принципе у Каталины были деньги, которые она копила на квартиру, они находились на отдельном счете в Швейцарии, пополнявшемся ею еще до ареста, и было там почти сто восемьдесят тысяч евро. Посоветоваться было не с кем, и она все рассказала доктору, которая резонно заметила, что ехать нужно в любом случае, а если ее муж порядочный человек, то он потом компенсирует ей все расходы, а если не порядочный, то и подавно ждать нечего. Еще Кате пришло в голову, что, может быть, у Степы сейчас такая ситуация, что денег нет вообще и он от этого еще в бешенстве, а она сама себе оплатит санаторий - сделает ему облегчение, а потом, когда все будет хорошо, он, и правда, вернет ей... если сможет. В общем, Катка согласилась и через час уже подписала контракт с некой российской медицинской туристической компанией, представитель которой любезно приехал прямо в больницу и прямо в больнице, Катя сделала со своей кредитной карты предоплату. Было решено, что еще три дня, пока все оформляется, она побудет здесь, а потом сразу из больницы поедет в аэропорт. Она попросила еще отпустить ее на денечек, чтобы съездить к матери, да и к Степану нужно было заехать, хотя бы попрощаться, еще важным делом было посещение адвоката, визитку которого ей для чего-то оставил муж. Наверное, для того, чтобы она сама узнала подробности своего дела. Доктор обещала отпустить, если не будет осложнений и Катя станет соблюдать режим. Так прошел еще день, за который пациентка четыре раза с аппетитом поела, два раза поспала, и следующим утром уже выглядела лучше. Она позвонила адвокату, представилась и назначила встречу. Потом коротко справилась о муже и услышала, что с адвокатским бюро он на связь пока не выходил, хотя и обещался, а телефоны его не отвечают. Каталина поспешила сказать, что он забыл свой телефон у нее и чтобы они не беспокоились, но услышала, что и домашний, и офисные телефоны ее мужа не работают, также нет связи с Жульеном и она, только что освободившаяся по амнистии Каталина Ромбель, единственный из всего предприятия человек, объявившейся на связь за последние два дня. Женщины еще поговорили несколько минут, и адвокат очень одобрила Катины планы уехать из страны до родов, добавила, что можно не торопиться и после родов, напомнив обстоятельство, которое, надо сказать, обожгло Каталину начавшим уже зарубцовываться страхом. Адвокат напомнила о возможности предъявления новых обвинений, которую никто не отменял, и сказала, что, конечно, могут откуда угодно через Интерпол этапировать, но все же лиц, находящихся за границей, арестовывают с меньшей охотой, да и эпизоды прокуратуре теперь нужны будут новые, а человеку, располагающемуся

за границей, весьма непросто инкриминировать нечто, совершенное в России. Катю в этот момент снова бросило в холодный пот, но она нашла в себе силы вежливо попрощаться, положила трубку и подумала, что сам Бог послал ей эту врачу с ее французским санаторием.

Почти полчаса она успокаивалась, рассматривая нарядные картинки места ее предположительного спасения. Немного придя в себя, Каталина позавтракала и снова попыталась уснуть, но как только она закрыла глаза, в голову полезли настойчивые мысли про нее, Степана, про то, что на сто восемьдесят тысяч во Франции всю жизнь не проживешь, а тем более с ребенком на руках. Проворочавшись с час, она уселась на кровати, облокотившись о спинку, и решила обстоятельно разобраться в своих чувствах, а именно понять, что именно является причиной ее тревоги и как можно самой себе помочь. Каталина подсчитала в уме, что в принципе на первые год—два ей бы хватило денег, а может быть, и на три или четыре, если не шиковать, а потом как-то можно устроиться, найти работу, можно в конце концов переехать в страну подешевле, чем Франция. Она слышала, что в Южной Америке, например, в Аргентине или Венесуэле можно купить приличный домик за пятьдесят тысяч, а дальше жить на пятьсот долларов ежемесячно, ни в чем себе не отказывая. Но отчего-то все эти оптимистические выкладки отзывались в ее душе совсем не радостным предчувствием положительного исхода из неприятностей, а тоской. Тоской, от которой сжималось сердце и жизнь переставала иметь смысл. Она понимала, что остаться ради человека который схватил ее беспомощную в свои лапы и орал на нее, едва живую, с человеком, который, возможно, ее обокрал, который, возможно, все врал и притворялся, пока ездил к ней, а сам не вылезал из грязных притонов. И он мог это делать только для того, чтобы она их не выдала. Ей же предлагали за прямые показания на Жульена Бенаму из обвиняемых перевести в свидетели, а она отказалась. С одной стороны, понимая, что, вероятно, это предложение — обман, а с другой стороны, потому что верила им. Катя не хотела отпускать свои мысли так далеко и давать этим ужасным словам жизнь в своем сердце, она все три дня гнала их от себя, но сейчас они выпорхнули как птички и стали расти, занимая все больше места. И там, где они располагались, там проходила тоска, но вместо тоски оставалось пепелище, какое-то холодное и неживое пространство, не имеющее понятия боли так же, как и не имеющее даже теоретически возможной радости. И снова она узнала в этом чувстве смерть, и снова она взглянула ей в глаза, и смерть как бы улыбалась, говорила ей: «Все равно ты моя, девочка, никуда не уйдешь». И Катька заплакала, горько, обидно заплакала, как плачут люди, все в жизни потерявшие. Потом она умылась, снова постояла перед зеркалом... и решила все-таки улететь, рассудив, что умереть от тоски все-таки чуть менее вероятно, чем умереть от туберкулеза или в результате неблагоприятных родов. С этой мыслью она и уснула, и во сне, похоже, снова плакала, потому что подушка утром была мокрая и сильно болела голова.

Утренний осмотр прошел благополучно Катя снова немного прибавила в весе, давление у нее нормализовывалось, вчерашний анализ крови был лучше позавчерашнего, и доктор разрешила ей выехать. Вызвали такси, Каталин оделась, и уже в коридоре ей принесли Степин телефон, который она чуть было не забыла. Сев в машину, она с минуту или две думала, включить его или оставить выключенным. Можно было, вообще, оставить телефон у адвоката, если Савраскину нужно, он позаботится о том, чтобы его разыскать. В конце концов, он мужчина и должен сам что-то предпринимать, и не только по поводу телефона, но и по поводу ее самой. Если женщина ему хоть как-то дорога, не она должна бегать за ним в надежде выяснить отношения. Он два дня не появлялся, после такого разговора, который был у них, он даже не позвонил! Да что здесь было думать, какие могут быть еще варианты? Никаких! Нужно смотреть правде в глаза, он никогда ее не любил, и все,

что она думала о нем, было фантазией, было придумкой только потому, что очень хотелось поверить.

И ведь эта химера, пусть она трижды вранье, помогла ей выжить, она благодарна должна быть этому своему вымыслу, иначе уже умерла бы в тюрьме, если бы в его любовь тогда не верила! А теперь она на свободе, теперь она выживет, она сильная, слава Богу, деньги есть, все заново начнет, и на месте пепелища вырастает постепенно травка, и все проходит... Тут снова слезы у нее к горлу подступили, и, сама не зная зачем, она включила тихонечко телефон, как будто тайком от водителя или от самой себя. Он почти сразу позвонил, и как будто сердце оборвалось от этого звонка, как будто он и звонил все эти два дня без перерыва, но она не отвечала... Ее так вдруг заколотило, чуть сознание не уплыло, она вся задохнулась, тут же с ужасом подумала, что может приступ сейчас начаться, и одной рукой сразу полезла в сумку за лекарством, а другой нажала на прием и, поднеся трубку к уху, ровным, но отрывистым немного голосом ответила. В первую секунду было облегчение и даже разочарование, так как это не был Степа, и она вообще не сразу узнала говорившего, но через несколько секунд узнала и начала слушать, и пока слушала, сознание снова начало уплывать от того, что ей говорили, но она каждый раз собиралась с силами, там, где выпадала, просила повторить.

Ей звонил Степан Аркадьевич по кличке «Главмент». Он сообщил, что семьдесят два часа ареста для подозреваемых, которые ему подписал надзирающий прокурор, заканчивались сегодня в 15.00 и продлить арест не было никакой возможности, так как в их район пришла бумага, завизированная лично господином Бирюкиным, в которой адвокат троих его подозреваемых живописал, как зверски избитых и искусанных людей областные менты жестоко держат в заключении, оказывая на них давление с целью исказить происходящее и помочь избежать ответственности настоящему преступнику, имеющему с начальником следствия приятельские отношения, и умолял этот адвокат господина заместителя генерального прокурора как последнюю надежду вступить за неповинных и искалеченных и дать им наконец отдохновение. Резолюция была категоричной и требовала отстранить от работы начальника следствия, провести служебное расследование по этому вопросу, а искалеченных подозреваемых, немедленно отпустить, если они не попадают под описанные в 108 статье УПК категории лиц, как то не имеющие постоянного места жительства на территории РФ, неустановленные личности, лица, нарушившие ранее избранную меру пресечения. Так как у арестованных спортсменов были и паспорта, и прописки, и в бега они не ударились, то оставалось их только отпустить, тем более что делать это должен был уже заместитель Главмента, парень отличный, но никакой возможности чего-либо поменять не имеющий. Главмент очень удивился, что Каталина ничего не знала об этом, как не знала о том, что муж ее только вчера начал приходить в сознание, а Жульена нашли в таком же приблизительно состоянии, но уже очухавшегося, и что почерк у преступлений похожий, и последнее, что за оставшиеся четыре часа можно сделать, так это устроить Жульену опознание нападавших по фотографиям, чем они сейчас и занимаются, а потом отпустят граждан спортсменов на все четыре стороны. А когда Каталина обнаружила свое незнание того, что по предположительно поддельным документам их фабрика уже передана другим владельцам, которые ее в свою очередь продали, и теперь новые хозяева, как добросовестные приобретатели, все остановили и собираются вывозить оборудование, а помещение сдавать в аренду под склад, Главмент вообще подумал, что номером ошибся и переспросил на всякий случай: «А как ваша фамилия, девушка?» На что Катка по привычке ответила: «Ромбель», а потом поправилась и сказала «...ой, Савраскина». А он ответил: «Ну, тогда ладно, раз Савраскина. Катюха, а ты меня-то помнишь. Я Степан Аркадьевич, мы же знакомы с тобой...» И она ответила: «Конечно, помню, Степан Аркадьевич, только... вы же знаете, я только что освободилась, у

меня туберкулез и я беременна, и если я завтра не улечу в санаторий, то умру здесь, мне так доктор сказала, и ребенок мой умрет... я не знаю, что делать, Степан Аркадьевич...». Катька уже плакала, а он тоже смутился и бубнил чего-то, что, конечно, надо лететь, раз так, а они здесь уж как-нибудь сами попробуют. А она перебила его и почти закричала: «Да что вы попробуете, Степан Аркадьевич?!» Он осекся, а она сказала: «Извините за эту вспышку, нервы, знаете, после зоны пошаливают. Спасибо вам, что позвонили, у меня ваш телефон определился, я сейчас соберусь с мыслями и перезвоню». Вскоре машина подвезла ее к адвокатскому офису, и Катя подумала, что именно сюда и стоило приехать, и именно отсюда нужно начинать.

Она вытерла слезы, высморкалась, припудрила щечки и, велев водителю ждать, вышла из машины, на ходу набрав Главменту, которого попросила скинуть копию распоряжения Бирюкина по факсу сюда, к ее адвокату. Адвокат увидела ее уже решительной, почти спокойной. Каталина сказала, что все учредители, кроме нее, в больницах и она теперь будет руководить всеми процессами до их выздоровления, на которое, по ее мнению, может уйти несколько дней или неделя. Быстро изложив дело, они сделали еще несколько звонков, подписали новый договор, аванс по которому Каталине привезла вместе с задолженностью по старому, не закрытому Степой, на пять тысяч. Она съездила к ближайшему банкомату и сняла со своей карты пятнадцать тысяч долларов, которые и передала адвокату. В тот же день она перевела Степана и Жульена в больницу, где сама лежала до этого, оплатив им по две недели, что составило еще десять тысяч. К Степану пока не пускали, а с Жульеном она разговаривала минуты две, он сказал ей, что узнал в предъявленных фотографиях одного из нападавших и подписал соответствующие бумаги для следователя.

Больше всего она боялась говорить своему доктору, что не полетит. Как провинившаяся школьница, она придумала какую-то оправдательную историю, но говорить ничего не пришлось, врач очень быстро все поняла и сказала, что попытается аннулировать отправленную Катькой во Францию предоплату. Потом обе женщины сели друг возле друга, налили себе чайку и вместе поплакали.

\*\*\*\*\*

Наутро Катя увидела свою фабрику по телевизору. В коротком сюжете показывали, как люди в форме вяло уговаривают разойтись и покинуть здание группу людей, вывесивших из окон второго этажа транспарант, что не позволят ворам расхищать их фабрику, вывозить оборудование и лишать работы двести пятьдесят человек, еще был небольшой транспарант «Братья милиция — не стреляйте в народ». Кто-то собирал подписи среди собравшейся перед фабрикой толпы, а кто-то, сломав заборчик и раздавив две клумбы с цветами, подгонял к двери трактор «Беларусь». Следующие кадры показали, как водитель трактора, прямо перед камерой подъехав к самой двери, дождался, пока двое рабочих под руководством человека в пиджаке и галстук обвязали дверь цепью, и вместо того чтобы дернуть, резко сдал задом, вплотную прижавшись трактором к стене, потом вышел из кабины, плюнул на ногу человеку в пиджаке и галстук, а затем влез через окно к протянувшим ему руки товарищам. Люди в окне улыбались, махали руками и показывали в камеру всякие неприличные жесты, милиция топталась в нерешительности: по слухам, ждали ОМОН. Диктор, прежде чем перейти к другим новостям, сказала, что на место этого чрезвычайного происшествия уже выехал глава района и возможно, что прибудет и сам губернатор. Не

успела Катя еще решить, что делать, как ей позвонил Степан Аркадьевич и обычным своим глуховатым голосом, как всегда довольно медленно произнося слова, сообщил, что двое из трех отпущенных вчера на свободу подозреваемых этой ночью пропали, предположительно убиты, а третьего привела мать и он прямо с утра сидит у него в отделе и дает признательные показания со всеми подробностями, но вызывает сомнение его вменяемость, так как он весь трясется и простые слова понимает с трудом.

\*\*\*\*\*

Дальше у нее были два месяца жуткой нервозности, когда возбуждали уголовное дело, к которому теоретически можно было бы подтянуть целого заместителя генерального прокурора, за что ей пришлось еще раздать восемьдесят тысяч — практически все, что у нее осталось на тот момент, так как она оплатила в трех инстанциях судебные процессы по возвращении им фабрики, что при полной справедливости и очевидности такого решения задаром все равно не делалось. В Верховный суд оппоненты подавать не стали, так как многие из них сами сидели в тот момент на скамье подсудимых и было им уже не до апелляций. Еще пришлось добавлять на лечение мальчикам, за которых Катя очень долго беспокоилась, так как Жульен, по оценкам врачей, пострадал меньше Степы, но после травмы головы как будто немного поехал умом и все говорил, что ему нужно во Францию спасать брата от гибели, а Савраскин пришел в себя, но страдал жуткими головными болями и временами терял часть поля зрения. Его лечили нейропсихологи, специально приезжая из госпиталя Бурденко. Оказалось, что в России самая лучшая в мире школа нейропсихологии, и был такой Александр Романович Лурия, который еще в советское время, сразу после войны, придумал особую, многим иностранцам до сих пор вообще не понятную теорию, из которой родились уникальные методы восстановления функции головного мозга. Степу лечили почти полгода.

Несмотря на все старания, Бирюкин даже не стал подозреваемым, хотя в качестве свидетеля был допрошен дважды, а дело вскорости закрыли из-за отсутствия состава, но с работы его поперли, так как кроме мелочной неприятности с делом Савраскина у него еще и в высоких кругах как раз пошатнулись позиции, и все один к одному сложилось так, что от греха подальше он эмигрировал в Ниццу, а на его место поставили другого чиновника, по слухам тоже душегуба — будь здоров. Но к нашим героям тот, новый душегуб, к счастью, никакого отношения не имел и вообще со своих заоблачных высот такими мизерными муравейчиками и заниматься почел бы для себя унижительным. Фабрика снова заработала через два месяца, пока еще во всю шли суды и апелляции. В день начала работы Жульена со Степой привезли из больницы и они выступили перед рабочими, поблагодарив за все, Жульен даже до слез расчувствовался, что Каталина, часто общавшаяся теперь с нейропсихологами и даже в некотором роде овладевшая терминологией, отнесла к расстройствам эмоциональной сферы и подумала, что и Жульенчику тоже нужно бы поделаться реабилитационные упражнения вместе со Степой.

Пока выступали мужчины, народ часто аплодировал, радостно реагировал на их шутки, но когда после них на трибуну взобралась беременная Катя, весь фабричный двор, где проходило собрание, просто подорвался от рева. Народ орал, хлопал, топал, свистел, а Катя стояла и всем улыбалась. Когда вопли утихли, она сказала, что добро и

справедливость всегда должны побеждать и только от нас самих зависит, сколько будет в мире правды.

На этом она закончила, и снова весь двор взорвался овацией, а некоторые женщины из пошивочного цеха даже заплакали.

А парень, приперевший тогда своим трактором дверь, стал сначала личным Катькиным водителем, а потом начальником всего производственного гаража. И Катя, вопреки всем опасениям врачей, не умерла, а родила в положенный срок здорового сына. А сам Савраскин, как только пришел в себя, начал уговаривать Катю с ним обвенчаться, и сначала это вроде хотел так представить, как само собой разумеющееся, типа они и так муж и жена, но Катя, выждав, конечно, пока у него голова в основном зажила, четко ему объяснила, что если она и считала его своим мужем, то последние его выходки это мнение совершенно разрушили и теперь она их брак считает формальностью, и готова дать ему развод в любое время, и в дополнение ко всему у них еще имеются, требующие урегулирования, финансовые вопросы. Степа, ясное дело, очень разволновался, у него опять случилось выпадение поля зрения, и Катю испугалась, но стояла твердо, и единственное, что ему сказала обнадеживающего, так это то, что если он желает, то все их отношение необходимо заново начинать, и если она убедится, что его намерения серьезные, то, может быть, подумает. Тут Степа приободрился и начал терпеливейшим образом за собственной женой ухаживать, что было ему вдвойне непросто, так как делал он это, находясь на больничной койке. Но он терпеливо компенсировал отсутствие прыти настойчивостью, и еще месяца через два между ними состоялся очень серьезный разговор, когда Степан Кате преподнес колечко с бриллиантом, а она, прежде чем принять подарок, все ему высказала, а он ей как мог ответил, и они шесть часов подряд разговаривали, и в конце она плакала, а потом согласилась. И они обнялись и долго-долго просто сидели рядышком, а лицо у Кати было счастливое-счастливое, и тогда как раз ребенок у нее первый раз зашевелился. Обвенчались молодые уже незадолго до родов. А туберкулез у Кати Савраскиной прошел, как и не было его. Такое вот чудо получилось. А еще когда Катю была уже сильно беременная и вот-вот собиралась рожать, она познакомилась с девочкой Леночкой, которая была на нее очень сердита и сначала вообще отказывалась разговаривать, а только показывала Кате фиги и рожи, так что Степа даже начал сердиться и шепотом говорил жене, что девочка черствая и вся в мать, и никаких теплых чувств к отцу у нее как не было, так и нет, а Катя без злобы, но увесисто, назвала супруга тупым бегемотом и сказала, что так не бывает в жизни, чтобы ребенок не любил родителей, если они сами хоть немножечко позволяют себя любить. И пообещала мужу, что, как только родит, станет видеться с Леночкой чаще, и ей есть что этой девочке рассказать, в том числе и о ее родном отце, который только с виду такая бездушная скотина, а на самом деле хороший, добрый, порядочный и храбрый человек, если присмотреться и если самому ему это доходчиво растолковать.

## Глава 24. О том, что бывает во время войны.

Уроды не хоронили своих убитых. Для них убитый Урод просто переставал существовать и никакого внимания не заслуживал. Они оставляли своих умерших или погибших так, как заставлял их последний миг жизни. И это не было ритуалом и не наполнялось никаким смыслом. Если тело им мешало, как может мешать поваленное дерево или колючий кустарник, его передвигали или перекидывали, вовсе не заботясь при этом о его сохранности или пристойности позы умершего. Вообще понятие «пристойность» у Уродов установлено не было.

Потоптавшись на месте день или чуть больше, армия Уродов покинула место того самого боя, где четыреста Говнюков военных и человек двадцать Говнюков обозных, сами того не ведая, обеспечили своим отвлекающим маневром соединение армии людей. Теперь почти все они лежали мертвые между мертвых Уродов, похожих на огромные черные кочки. Кое-где можно было попытаться восстановить картину боя, можно было угадать главное и изначальное направление движения отряда, обозначенное большим количеством кучами наваленных уродских тел, меж которыми лишь кое-где виднелись убитые люди, потом следовало большое пространство, где, вероятно, отряд остановился, так как там люди лежали вперемешку с Уродами и мертвых было гораздо больше. Путь отхода понять было трудно, но был один участок, где отчетливо выделялись обгоревшие трупы лошадей, остовы каких-то повозок, и плотность убитых была там наибольшая, мертвые люди лежали вповалку, Уроды рядами, многие туши выглядели обгоревшими, земли не было видно под телами погибших в этом месте, и становилось понятно, что именно здесь была кульминация сражения. Еще отдельно от всех обнаружили восемь человек, вероятно, захваченных Уродами в плен и убитых впоследствии. Они лежали рядком, чуть в стороне от места побоища, похоже, все были ранены, прежде чем попали в плен. У всех убитых были однообразно переломаны шеи и выделялся среди этой группы только один человек, который казался намного толще других, одет был не в форму, а в мертвых руках сжимал кожаный мешочек с каким-то договором. Все вокруг было так пропитано кровью, что текст практически не читался, и удалось разобрать только, что это был договор о займе, а все остальное — кто давал в долг, кому и сколько — кровь вымарала с бумаги навсегда. При возможности приблизиться убитые переставали выглядеть как просто фигуры в мундирах или косматые кучи. Становились видны полуоткрытые рты, кровавые лохмотья, переломанные и раздробленные конечности, ребра, разорвавшие кожу, перебитые спины. А вот у одного мундир задрался почти до горла и видно синеватое тело с двумя огромными кровоподтеками сбоку, и один глаз уставился белым, выпуклым шаром в небо, а вместо другого лоскут окровавленной кожи, чуть надутый запекшейся кровью. Другой лежит ничком, выбросив вперед обе руки, и ветер треплет его волосы, а лицо, повернутое вбок, все смято, скулы торчат белыми обломками из багровой, запекшейся маски, и черная дырка, почти затянутая запекшейся кровью, зияет на месте рта. Еще один лежит на спине, неудобно подогнув ногу под себя, почти до самой спины достает эта нога, вывернутая вбок, а рот его раскрыт и ряд крупных верхних зубов кажется уставленным в небо из-за запрокинутой головы. И не было в этих застывших смертях ничего героического и ничего живописного, а в некоторых мертвых лицах читалась тоска, именно тоска, а не страх и не ярость, тоска и какая-то усталая болезненность, как будто давным-давно у этого человека заболел зуб и так до самой смерти ни на секунду не отпустил.

\*\*\*\*\*

Люди пришли на место сражения через три дня и похоронили убитых, так и не поняв, кем они были, почему сражались и во имя чего погибли. Гораздо позже это место было названо долиной истины, а тогда его называли вонючим полем, оттого что вся армия, расположившаяся за холмом, целых пять дней чувствовала вонь, исходящую от перебитых людей, Уродов и сгоревших лошадей. Держать все войска именно в этой точке имелась стратегическая необходимость, так как измученным походом отрядам нужен был отдых, а Уроды, обшарив в поисках армии людей уже все предгорья, именно сюда отчего то не возвращались и, по данным разведки, старательно обходили этот квадрат. Здесь, возле вонючего поля, люди готовились к генеральному сражению, к битве за свое право существовать. Все знали, что битва будет решающей и Уроды не отступят, их невозможно обратить в бегство, разбить, опрокинуть. Уродов можно только перебить всех до одного, так как они не знают страха. Не знают страха не по причине какой-либо особенной храбрости, как иногда говорят о людях, готовых рисковать жизнью, а вообще его не знают, не имея такого чувства. Тупое упрямство есть, есть что-то похожее на алчность или азарт, когда Урод предчувствует добычу, есть даже некоторые, плохо изученные формы привязанности, а страха нет. По преданиям старых людей Уроды боятся только Героя. При появлении Героя они моментально впадают в панику, заражаются ею друг от друга и бегут, как стадо испуганных буйволов. Правда ли это, никто не знал, но многие верили, в том числе верил и старый Глава Совета, который утверждал, что одна из способностей Героя, и, может быть, и главная способность, как раз и определяющая человека Героем, состоит в том, что возле него все немного приподнимаются на своей эволюционной лестнице вверх, у каждого как будто добавляется немного человеческой сущности, добавляется любви, что приводит к тому, что многие Говнюки становятся людьми, а люди — хорошими людьми. Это очень приятное чувство, как будто еще больше жизни вдохнули в каждое тело. И очень важно, что, пробыв возле Героя какое-то время, побыв таким новым человеком и почувствовав, какого это, можно навсегда сохранить это великолепное приобретение, которое называют счастьем и благодатью, и все способности человека становятся больше, и сил у него несказанно прибавляется. Но многие люди, как еще при жизни говорил старый Глава Совета, должны здесь же пережить и болезненные ощущения, так как они внезапно осознают в своей жизни много такого, с чем жить очень непросто. Осознают свою малость и слабость, осознают свои подлости именно как подлости, а не как вынужденные и адекватные поступки, осознают жестокость как жестокость и многое видят в себе такое, чего не видели прежде, и это огромное благо, так как живой человек почти все может исправить в своей жизни, и Герой дает на это силы. Но первый момент осознания себя может быть наполнен страданием, и те, кто выдерживает это страдание, идут дальше по дороге Героя, а те, кто не имеет мужества вынести, возвращаются назад, не принимая подарка человеческой сущности. И продолжая дальше эту же логику, старый Глава Совета говорил, что раз Уроды впадают в панику при виде Героя, значит, и они начинают осознавать себя, получают сознание, недоступное для них прежде. И, внезапно осознав себя Уродами, они в ужасе бегут, предпочитая гибель такой жизни, или сходят с ума, что старый Глава Совета считал одинаковыми по смыслу вещами. И по его рассуждениям, получалось, что Уроды тоже относятся к расе людей, с чем никто не соглашался, видя в этом очевидно ложном положении только подтверждение ошибочности логики старого человека.

Через сутки командующему объединенной армией доложили, что разведка наткнулась на неизвестно откуда взявшуюся группу израненных людей, одетых в форму того самого



образца, что была на погибших в районе вонючего поля, и там имеется некто, именующий себя учеником Мудреца, и этот человек настаивает на встрече с самым главным начальником, проявляет большое нетерпение, отказываясь даже от помощи врача. Генерал оставил свои дела и поспешил навстречу раненым. Он знал всех людей, имевших звание ученик Мудреца, и рассчитывал издалека узнать своего будущего собеседника, но не узнал. Не узнал и подойдя ближе, и только когда полулежащий на земле исхудавший, неопределенного возраста, весь заросший щетиной и облепленный грязью человек сказал: «Дядя Паскаль, вы что, не узнаете меня, это же я, Жульен...», только тогда Паскаль Лебонж еще раз пристально взгляделся в его лицо и узнал младшего внука бывшего главы Совета и родного брата предводителя армии Уродов. Он подсел к Жульену и проговорил только два слова: «Откуда ты?» Жульен хотел ответить, что с того света, но не решился шутить, а коротко рассказал свою историю... Жульен почти не мог уже говорить, так мешали кружившаяся голова и сильная боль, которая была теперь везде и неимоверно усилилась, как только его тело почуяло надежду на отдых и спасение. Теперь эта боль уже не помогала удерживаться в сознании, а сама из него выкидывала, так что держался Жульен из последних сил, секундами он уже выключался и снова начинал говорить, как бы спохватываясь. Паскаль Лебонж жестом остановил его речь и хотел сказать, что то, что успокоило бы раненого, но... тут Жульен потерял сознание и был перепоручен докторам. Генерал хотел говорить еще с кем-нибудь из пришедших людей, но ему сказали, что все до единого помещены в полевой госпиталь и врачи просили без крайней необходимости не беспокоить их хотя бы шесть—восемь часов. Генерал подумал, что у него нет крайней необходимости и принялся за изучение бумаг прибывших, отдав предварительное распоряжение о ненасильственном разоружении пришедшего отряда и усиленной охране полевого госпиталя, так как и по должности своей, и по здравому смыслу обязан был провести расследование и детально разобраться в произошедшем. Бумаг было немного, и самая толстая пачка составлялась из каких-то сказок, завернутых в перепачканную кровью бумагу. Старый солдат раскрыл первую из них и хотел было просмотреть, но успел только понять, что, вероятно, перед ним нравоучительные сказки для детей, возможно, что то наподобие сказок Лафонтена, как к нему пришли с докладом, и нужно было отдавать срочные распоряжения и продолжать дальше напряженный день командующего в преддверии решительного сражения.

День уже подходил к концу, как прибежали с докладом, что в госпитале один раненый из вновь прибывших в сильном волнении требует, чтобы ему вернули оружие и бумаги, угрожая в противном случае взять в заложники медицинский персонал и другие из их отряда, кто мог подняться, присоединились к его требованиям, и они называют его командиром, и это не тот человек, с которым говорил генерал. Паскаль приказал привести к себе этого беспокойного, что и было сделано пятью минутами позже. В его палатку ввели высокого, исхудавшего, но крепкого по виду человека с твердым спокойным взглядом и перевязанной головой. Еще одним его отличием были сложной формы косы, в которые были сплетены его волосы, делавшие облик своего обладателя похожим на облик великих воинов прошлого. Он, как и Жульен, представился командиром отряда и, ровно как и Жульен, заявил, что только он один лично виноват в смещении в Городе Говнюков власти, присланной людьми, что все подготовлено и проведено на его деньги и под его непосредственным руководством, и более того, он нисколько об этом не жалеет, так как власть люди прислали омерзительнейшую.

Паскаль уточнил, что, насколько он осведомлен, последним Судьей Города Говнюков был ученик Мудреца Жульен, но Стэфан сообщил ему, что Жульена пришлось вытаскивать из тюрьмы, а новым начальством были Стражник с Трактирщиком. Второй вопрос Паскаля выражал недоумения по поводу того, что ни своего собеседника, ни кого либо из членов его

израненного подразделения он не может отнести к категории Говнюков в хоть сколько-то большей мере, чем самого себя. Стэфан при этом пожал плечами и заявил, что еще неделю назад все они были Говнюками: и те, кто пришел с ним, и мертвые, которые лежат за холмом, конечно, кроме самого судьи Жульена. Тогда Паскаль бросил остатки формального тона, подсел ближе и просто попросил Стэфана все ему рассказать, что тот и сделал, усевшись за стол, где были разложены Сказки для Говнюков, и аккуратно пододвинул их к себе, прежде чем начал говорить. Два или три часа длилась беседа, в середине к ней присоединился пришедший в себя Жульен, и они уже говорили втроем. А потом, после того как Паскаль Лебонж распорядился снять вокруг госпиталя охрану и вернуть всем пришедшим оружие и их личные вещи, Стэфан встал и ушел спать. В ту же ночь был написан приказ, который на следующий день зачитали перед всеми подразделениями, о награждении всех уцелевших в том бою и о том, что эта жертва была не напрасной, и только благодаря ей войска соединились, и теперь, обогатившись боевым опытом товарищей, они будут еще сильнее в своей битве.

Стэфан и другие уцелевшие бойцы рассказали все что могли о поведении Уродов в бою и еще раз подтвердили, что враги не поддаются страху или панике, и только если их удивить, становятся на некоторое время еще более заторможенными. Сила Уродов была только в их невероятном количестве, так как своими индивидуальными боевыми качествами они не блистали, теряя преимущество огромной силы из-за медлительности и неспособности соображать. Стэфан с Паскалем долго ходили по полю боя и считали погибших с обеих сторон, подсчитывая соотношения павших. После Паскаль провел подсчеты, из которых получалось, что даже прими генеральная битва с Уродами форму постоянного натиска, при котором на каждую человеческую жизнь удастся обменять семь уродских, и то он приведет домой не более четверти воинов. В самом лучшем случае три четверти людей, наполняющих сейчас лагерь, должны были принять жестокую смерть от уродских дубин. А если пришлось бы обмениваться в соотношении даже один к трем, то людей просто не хватило бы! Они были бы истреблены, и все это в том случае, если сами люди не дрогнут и не побегут от страха смерти. Конечно, у Паскаля были в запасе несколько уловок, которые должны были обеспечивать войску людей преимущество, конечно, его войска без усталости тренировались в маневрах, чтобы жалить Уродов со всех сторон, на давя им навалиться всей силой, но всего этого могло не хватить!

Он предложил Стэфану командование ополчением, надеясь иметь там офицера с боевым опытом, но бывший Говнюк отказался, заявив, что он уже закончил свою войну и отдал людям то, что, вероятно, был должен. Еще он сказал, что имеет дело в Городе Говнюков, и добавил, что посоветался со своими бойцами и все они решили уйти. Конечно, если их отпустят с миром. Паскаль Лебонж с досадой подумал тогда, что бывший Говнюк есть бывший Говнюк и людям никогда их не понять. Он не стал удерживать горстку раненых людей и предоставил им полную свободу.

Весь следующий день Стэфан почти со всеми своими бойцами занимался очень странным и неприятным делом. Они пошли на вонючее поле, собрали какие-то огромные разбросанные котлы, здоровенные жернова, а потом стали выкапывать убитых Уродов из земли, резать их на куски, перемалывать уродские внутренности, крошить и перетирать кости, затем все это варить, сушить, выпаривать, смешивать с травами и получившуюся под конец черную жижу притащили в пяти огромных бочках в лагерь. По законам людей охота на Уродов была запрещена, запрещенными были и всякого рода мази, настои и капли из уродских внутренностей, несмотря на их целебное воздействие, так что законопослушные люди практически и не знали о действительной силе этого средства. Стэфан сказал, что в военное время нельзя пользоваться мирными законами и, получив согласие от генерала, научил всех пользоваться мазью для заживления ран, научил разводить ее для приема

вовнутрь и настаивал, чтобы каждый набрал себе из бочонка достаточный запас. Войско некоторое время было в нерешительности, но постепенно вычерпало все емкости, отдельно был сделан специальный запас для лазарета. Стэфан сварил еще три здоровенные емкости, но только половину отдал в войско, а вторую половину разделил поровну между своими товарищами, каждому из которых получилось по огромной глиняной банке.

На четвертый день до зари Стэфан построил своих людей, попрощался с Жульеном, и так и не дождавшись, что генерал скажет им до свидания, тронулся обратно в Город Говнюков. Жульен, как и Паскаль Лебонж, не понимал решения друга, пытался остановить его, говоря о долге, о всеобщей гибели от Уродов, о недостатке боевого опыта армии людей, но Стэфан сказал, что должен хоть сколько-то своих солдат привести домой живыми, что у них должен быть шанс избежать гибели, так как все они уже ставили свои жизни на кон с очень маленькими шансами и честно выиграли.

С рассветом отряд тронулся в путь, и на марше Стэфан думал, что люди, которых он видел в лагере, очень похожи на тех, что устраивали на него засаду тогда, когда он, залечивая раны, жил в лесу. Он хорошо помнил, как один из них упал с дерева, а другой стоял с закрытыми глазами и отчаянно махал перед собой ножиком. Как из таких людей могут получиться пригодные к бою солдаты, он понять не мог, так что успех планирующегося сражения представлялся ему совершенно невероятным. Говнюки, которыми он командовал, по крайней мере, были людьми отчаянными и жизнью своей рисковали не первый раз, а эти наряженные в военную форму обыватели вызывали у него только жалость, и он не хотел быть свидетелем их глупой и бесполезной гибели под уродскими дубинами. Он и его люди отдохнули три дня и чувствовали себя гораздо лучше, все бодро шагали домой и через два дня без всяких приключений прибыли в Город Говнюков, где Стэфан поселился в пустовавшем доме Жульена, а остатки своего отряда зачислил в гвардию и пообещал взять на довольствие как государственных служащих.

\*\*\*\*\*

В армии людей действительно было много ополченцев, но добрая половина войска состояла из кадровых военных, которых Паскаль Лебонж на всякий случай расположил так, чтобы они не попадались на глаза гостям из Города Говнюков. Генерал имел в распоряжении немного легкой кавалерии, но главной ударной силой считал свою прославленную панцирную пехоту, с огромными железными щитами, готовую непреодолимой стеной, ошетилившейся длинными копьями, остановить, сжать и уничтожить любого врага. Войско было готово к сражению, которое Паскаль спланировал, как отсечение от массы Уродов небольших частей и их быстрого уничтожения превосходящими силами. Люди всегда воевали с неразворотливыми Уродами именно так, и всегда эта тактика срабатывала. Для отсечения частей от уродского войска планировалось использовать самые современные средства и технологии, как то секретное новое оружие — громадные шары, скованные из сети железных пластин и наполненные специальным горючим составом, запускаемые по желобам в земле с вершины холма, вслед за которыми на Говнюков должна была ринуться лавина закованных в латы пехотинцев и, выкосив проход, занять за большими щитами оборону на обе стороны. Одновременно главные силы противника должны были быть

атакованы легкой кавалерией, имеющей задачу увлечь Уродов преследованием и оторвать от отсеченной части, которая по расчету старого генерала сначала втискивалась с двух сторон в пространство между холмами, потом расстреливалась с вершин холмов уже нацеленными на местность катапультами и фрондиболами, вынуждая Уродов атаковать холмы, где их ждала железная оборона, и в конце обессиленный враг, рассекался контратаками на еще более мелкие части, которые полностью уничтожались. Расчетное время истребления каждого окруженного отряда уродского войска составляло два с половиной часа, ополченцы при этом вообще не планировались к участию в сражении, а составляли резерв для усиления обороняющейся пехоты и отдельный резерв на случай попыток прорыва основных сил к блокированным. Генерал разработал специальную диспозицию, по которой были расставлены войска, и только их блестящее взаимодействие могло обеспечить выполнение поставленных задач — оттягивать более или менее существенные части Уродов в рукава между холмами и там уничтожать, сначала изматывая в бесплодных атаках, а затем контратакуя с возвышенностей. Было заготовлено восемь таких ловушек, и срабатывание хотя бы пяти уже делало победу почти предрешенной. Три недели ополченцы вырубали на вершинах холмов деревья и кустарник, оставляя для маскировки только наружные заросли, копали ямы под метательные орудия и пристреливали их по точкам, выкапывали и маскировали желоба для горящих шаров и оборудовали укрытия для пехоты. Вершины холмов превратились в крепости, обнесенные частоколом, но ничем не выдающие себя для взгляда стороннего наблюдателя, пока ему не вздумалось бы подобраться совсем близко. Пехота и кавалерия тем временем отрабатывали упражнения на местности, добиваясь полнейшей слаженности и высокой скорости выполнения маневра. Два последних дня, когда армия Уродов уже двигалась в их сторону, попробовали тренировать освободившихся от земляных работ ополченцев, но научить их чему бы то ни было толком не получилось. На всякий случай с ними отрабатывали приемы круговой обороны и самые элементарные формы боевого взаимодействия, имея целью хотя бы заставить их запомнить своих командиров и правильно реагировать на самые незамысловатые команды типа вперед, назад, изготавиться к атаке или к обороне.

В последнюю ночь перед битвой Уроды встали лагерем всего в пяти километрах, и по плану Паскаля под утро должны были быть атакованы небольшим отрядом с задачей наделать переполоха и, не дав окончательно разобраться, втянуть их в бой и преследование на том направлении, в котором им была уготовлена гибель меж холмов.

## Глава 25. О том, что события почти никогда не развиваются по плану.

Главный Урод ждал своих эмиссаров из Города Говнюков. Он не знал где находятся люди, и не намерен был сражаться сейчас. Он вообще был уверен, что медленно отступает, так как, вопреки боевому подъему Уродов, двигался в сторону, противоположную той, где его разведчики обнаруживали конные разъезды Паскаля Лебонжа, который, как думал Главный Урод, теперь преследует его. Тупость и неповоротливость Уродов приводили его в ярость, они не поддавались тренировкам, не могли освоить никакое другое оружие, кроме дубин, и не воспринимали никакого боевого взаимодействия, кроме нападения толпой. Единственное, чему удалось их более или менее научить, так это, находясь во второй линии, кидать камни через головы Уродов первого ряда. Этим нехитрым приемом планировалось разрушить ряды панцирной пехоты Паскаля Лебонжа. Камни планировалось использовать

для этих целей огромные, размером с человеческую голову или больше. От такого камня, вышвырнутого уродской силой метров хотя бы на десять, людей не спасли бы ни щиты, ни панцирные доспехи. Теперь уродское войско тащило в себе тысячи повозок с камнями, а у Уродов-метателей были отобраны дубины, чтобы они во время боя не забыли о своей новой обязанности. Во время тренировок по метанию камней через головы впередистоящих, множество Уродов получили ранения, а несколько десятков погибли, так как меткость Уродов не выдерживала никакой критики и камни могли существенно отклониться от заданного направления, вплоть до направления обратного, если что-то отвлекало метателя. Главный Урод, наблюдая за упражнениями своих воинов, едва сдерживал клокочущую злость, с удовлетворением думая, что после его победы этих тупых тварей останется гораздо меньше. Ему нужна была власть над людьми, она была его единственной целью и единственным смыслом всей его жизни.

Он все уже придумал, его план состоял в том, чтобы после уничтожения армии людей объявить оставшимся человечикам, жалко спрятавшимся за городскими стенами и готовящимся к неминуемой смерти, что эра Уродов, которую все они так боятся, может и не наступить, он объявит этим перепуганным обывателям, что у них есть шанс жить и даже не распрощаться со своим имуществом, так как он один знает подход к Уродам и знает, что совсем не обязательно для Урода питаться человеческими жизнями. И люди сами подчинятся ему, хотя, возможно, пару городов перед этим придется и истребить. Но потом, когда он захватит всю власть, то не будет больше опираться на Уродов, а создаст себе новую армию из людей. Это будет уже его армия, закованные в броню всадники и пехотинцы, осадные орудия. Он знает, как сделать армию преданной своему командиру! Он заставит всех их себя полюбить. Он заставит их себя обожать, обожать больше жизни, без всякого сознательного или критического компонента обожать его — великого вождя, и ему, только ему отдавать всю свою любовь. И тогда его жизнь никогда не закончится и не будет во всем мире человека сильнее и счастливее. Пусть на это уйдет пятьдесят лет, и только дети сегодняшних обывателей будут способны верно служить ему, он подождет.

Мыслям о будущем счастье нельзя было давать слишком много места, тем более теперь, когда первый план разбить людей по частям был провален из-за досадного недоразумения и оставался только один способ получить гарантированную победу — заключить союз с Говнюками. Изначально этот пункт планировался как обязательный и решение его двигалось к благополучному завершению, но все провалилось из-за безмозглых тупиц, которых он уполномочил заниматься столь важным вопросом. Сам был виноват - хотел сэкономить - заполучить в свое войско смысленных Говнюков, ничего не дав им взамен, но теперь он готов на многое, он готов пообещать Говнюкам главные позиции в новом мире, где люди, наоборот, будут уступать им дорогу. Он был уверен, что за такую подачку Говнюки продадут и самих себя, и родную мать, и детей, и все, что только можно будет придумать. Оставались, правда, некоторые малозначительные противоречия типа того, что до войны Уроды и Говнюки гораздо чаще убивали друг друга, так как Говнюки, нарушая человеческий запрет, охотились на Уродов, а Уроды ловили Говнюков как самую легкую добычу, но Главный Урод верил, что личная вражда, равно как и личная приязнь и благодарность, всегда уступают высшим политическим интересам и новой выгоде.

Его нынешние эмиссары осторожно работали в Городе Говнюков уже неделю и прислали два донесения, первое — с изложением действительного провала предыдущей администрации, а второе — с тайными предварительными условиями говнюковской элиты и просьбой не торопить события. Главный Урод ответил только на вторую записку, написав, что перечень требований готов согласовать, а события рад бы не торопить, но может не получиться удержать уродское войско возле их города, так как голодные Уроды очень настаивают, чтобы им разрешили сделать из прибежища Говнюков тренировку генерального

сражения с людьми и дали там немного подкормиться почти бесполезными говнюковским жизнями, так что сроку думать им еще три дня.

Безмозглые Уроды действительно хотели драться. Они уже настроились воевать, желали добычи и зло ухали своими ножищами по предгорьям, все чаще и чаще пытались ввязаться в драку с появлявшимися на горизонте людьми. Много раз приходилось уже Главному Уроду прибегать к самым действенным средствам убеждения, дабы удержать своих подчиненных от несанкционированных нападений, и он чувствовал, что долго так продолжаться не может, он все больше и больше терял реальный контроль над своим уже разнузданным, но еще не взбесившимся войском.

\*\*\*\*\*

Взбесившимся оно сделалось под утро, когда лагерь Уродов подвергся решительному нападению крупного отряда людей, вероятно, рассчитывавших на эффект внезапности.

Уроды-метатели, не поняв спросонья, где противник, принялись расшвыривать камни в разные стороны, что сократило ряды уродской армии на несколько тысяч всего за пять первых минут боя, тем более что летящие на головы камни еще и весьма удивили мохнатых солдат, многие из которых встали столбами и, задрвав головы вверх, принялись дико тарачиться на град из огромных булыжников. Как в эти минуты жалел Главный Урод, что в его войске нет хотя бы одной тысячи Говнюков, которым можно было бы поручить командование уродскими сотнями. Он был в шоке от происходящего и уже считал дело проигранным, как войско людей, понеся, вероятно, чувствительные потери, начало отходить. Как раз к тому времени удалось утихомирить метателей. Удивленные Уроды вышли из ступора и, одновременно озверев, армада ринулась преследовать отступающих людей с одним только желанием не дать уйти никому, а всех до единого сокрушить дубинами. Люди пытались скрыться, используя пересеченную, холмистую местность, но Уроды не отставали, а наоборот, иногда накатываясь на арьергард, растаптывали десяток другой человек, но каждый раз при этом теряли темп, и преследуемым удавалось немного оторваться от смертельной погони. Главный Урод знал, что Уроды выносливее людей и скоро его войско настигнет отступающих. Он не знал только, что это за отряд. Было сомнительно, чтобы перед ним находилась вся армия Паскаля Лебонжа, хотя Главный Урод и допускал такую вероятность. Ведь Уроды видели только последних из бегущих людей, сколько их там впереди — понять было невозможно. Но в любом случае состязание с Уродами в монотонном беге не выдержал бы ни один человек, и сколько бы ни было людей, их силы скоро должны были кончиться, и тогда они станут легкой добычей. Сердце замирало в груди у Главного Урода, когда он представлял себе, что победа близка! Он и не помнил в эти секунды, как только что столь же близким казалось полное поражение. Как девушка на выданье, он сдерживал дыхание в груди и сжимал руки, надеясь на внезапное счастье. Но ощущение катастрофы очень быстро явилось снова, снова ему захотелось в голос разрыдаться и закрыть лицо ладошками, когда на его замыкающий десятитысячный корпус покатались с холмов странные красные точки, через несколько минут превратившиеся в громадные горящие шары, которые с разгону врезались в ряды его мохнатых солдат, а вслед за камнями как огромные серебряные змеи с холмов заструились ручейки панцирной пехоты, под ударами которой Уроды падали, как будто землю выдергивали у них из-под ног, и еще через полчаса целый корпус Уродов, как в стену, бился в серебряную линию, ошестинившуюся копьями, и каждый удар оставлял на земле сотни еще содрогающихся черных кочек. Панцирная пехота выстраивалась, раскрыв щиты перед атакующими, так,

чтобы весь вид беззащитных людей провоцировал Уродов на яростное нападение, но за десять уродских прыжков до линии людей, щиты по команде поворачивались, каждый подпирался специальными подпорками и трое бойцов держали его, а когда Уроды уже готовились ударить своими тушами и дубинами в линию щитов, в просветах появлялись копья, которые резко, с силой и скрежетом выдвигались в двух уровнях, продырявливая тела прижатых задними рядами нападавших и тут же убирались, сбрасывая с себя нанизанные туши, а вся первая линия падала замертво, и места убитых уже занимали живые, но оставались живыми всего несколько мгновений, пока уже перепачканные, в черных уродских внутренностях, грубые копья снова, со скрежетом выдвигаясь обратно, и насаживали на себя следующую партию первых. Меньше чем через минуту перед линией щитов вырастал вал убитых врагов и следующие могли бы, взобравшись на этот вал, добраться до пехотинцев сверху. Избегая этого, через каждые десять ударов копьями ряд пехоты на несколько секунд убирал подпорки и делал два шага вперед, если напор был не очень сильным, или два шага назад, если противник давил чрезвычайно. Каждый метр такой обороны перемалывал десять Уродов в минуту, а если давление нападавших усиливалось до такой степени, что маневры становились невозможными, то сверху выстраивался еще один ряд щитов, укрепленных длинными подпорками, и пехота второго этажа располагалась на широких длинных досках, которые держали на своих головах и плечах ополченцы.

Судьба первого затянутого в ловушку уродского корпуса стремительно развивалась в направлении полной его гибели. Не успели Уроды опомниться и не успели метатели выдвинуться к передней линии, отсекающей их от основанного войска, как на них сверху полетели такие же огромные камни, как и те горящие железные шары, которые двадцать минут назад катились на них с холмов, подпрыгивая и набирая скорость. Стало ясно, что враг на холмах, и, ослабив натиск на разделительную линию пехоты, Уроды ринулись туда, ища сражения и желая только одного — добежать, достать дубиной, размозжить, растоптать. Широкой лавой, раскинувшись в обе стороны от долины, тысячи Уродов, оставшихся в живых от корпуса, отчаянно атаковали холмы, где наткнулись на частоколы, на ямы с кольями, которые они заполняли своими телами, и рвались дальше, а в конце концов, подуставшие, встретились с новыми рядами копий, на которых остались все, бывшие здесь первыми, но с каждой минутой подоспевали все новые, и если бы это была вся масса уродского войска, то напиравшие снизу, конечно, проломили бы линию обороны, но ряды Уродов были уже редки и многие из них остановились в недоумении, не зная, что делать дальше с этими непроходимыми копьями. И как раз в минуту уродского недоумения ряды копейщиков, внезапно расступившись, и дали дорогу сотням мечников, начавших жестоко и умело рубить Уродов своими мечами, и не пришлось даже рассекать остатки корпуса на более мелкие части, он был уничтожен в рекордно короткие сроки — за час пятнадцать вместо двух с половиной планировавшихся. Тридцатью минутами позже предпоследняя колонна, пытавшаяся пробиться к отрезанной последней, была атакована по тому же самому сценарию, и еще через два часа оба замыкающих корпуса уже не существовали, а основные силы, увлеченные преследованием всадников и добровольцев, были уже далеко впереди.

Оставшиеся одиннадцать корпусов, кроме одного резервного, личного корпуса Главного Урода, двигались дальше, и еще три из них были уничтожены так же, как и два последних, но семь оставшихся, хотя и имея до двадцати процентов потерь, вступили в сражение с основными силами людей. До того, как это наконец произошло, Главный Урод, получавший известия о гибели все новых и новых своих подразделений в совершенно одинаковых ловушках, оставался здесь на поле сражения только из чувства злорадства и жестокой ненависти к своим солдатам, которое внезапно приходило на смену отчаянию и безысходности. Он весь клокотал от злобы, понимая, что противник оказался совсем не сзади, а спереди, что его туповатые солдаты теперь сражаются на местности, тщательно

подготовленной людьми к сражению, и это вообще не сражение, а избиение Уродов по частям, и только чудо может теперь помочь. Думая о чуде, он вспоминал о Принцессе, находившейся при нем весь поход. Он держал ее в специальном шатре, в который простых Уродов не пускали и куда Главный Урод врывался, если страх или ярость грозили совершенно взорвать его внутренности и становились невыносимыми. Он вбегал, широкими шагами подходил к ее постели, отшвыривал одеяло и, схватив ее рукой за волосы, орал прямо в лицо, какая она сука, какая она гадина и тварь, потом привычно ловил ее взгляд, делал несколько плотков целебной любви, которая позволяла жить дальше, и, снова набросив на нее одеяло, такими же мощными шагами уходил, но уходил уже спокойным, уравновешенным и уверенным в себе господином. Когда ее только поймали, насколько раз он выставлял ее перед всеми Уродами, и они были в восторге, а поголовье их несказанно увеличилось, но теперь Принцесса была уже почти дохлая и хватало ее уже только ему одному. Он пытался отдавать приказы, запрещающие преследование людей, приказывал силами до пяти корпусов атаковать холмы, с которых начинали катиться камни, но или приказы не доходили, или Уроды не слушались. То есть они слушались, но очень туго и бестолково. Раз пять они ходили в атаку на пустые холмы, не находя на вершине ничего, кроме диких зарослей, они не могли не поддаваться на удары легкой кавалерии людей и каждый раз, озверев, пускались в погоню. Те, которым улыбалось счастье добираться до этих людишек, разъезжающих на четырехногих копытных, зубами загрызали лошадей, а людей разрывали на куски, но так мало было подобных счастливых! Спустя пять часов после начала сражения им удалось наконец объединенными силами четырех корпусов атаковать один холм с засевшими на нем воинами Паскаля Лебонжа. Они тушами проламывали частоколы и, нанизываясь на копыта, продавили линию серебряных солдат, за которой были мечники, и тут была кровавая схватка, и на место убитого Урода вставали десять живых, и не было им числа и предела. Когда серебряных солдат почти не осталось, в центре, возле самых смертоносных машин, сметающих камни, остались еще люди без серебряных лат, и они выставили перед собой копыта и, встав большим кругом, пытались защищаться, но все были убиты очень быстро и почти без потерь для уродского войска. По ходу боя к четырем корпусам подошли в долину еще два и два в долину с другой стороны. Весь холм, как коричневой чешуей, был покрыт Уродами — победителями. Весть о первом успехе разнеслась по армии, и, радостно взревев, мохнатые солдаты рвались ринуться на другие, соседние холмы. Главный Урод тогда снова во второй уже раз почувствовал запах победы и подумал, что старый Паскаль Лебонж сам себя перехитрил, разместив все свое войско на отдельных холмах, которые его Уроды уничтожат один за другим, и думал только, какой холм атаковать следующим, как его войско, не дожидаясь команды, начало наступление на возвышенность неподалеку, откуда, как только лавина Уродов обозначила свое направление, полетели камни, убивавшие десятки мохнатых солдат, но они шли дальше, зная, что потом будут ямы с кольями на дне, частокол, который нужно будет проламывать тушами еще живых и уже умерших, а за частоколом их встретят неприступные ряды серебряных копейщиков, а за ними мечники, каждый из которых убьет не пять, а может быть, десять Уродов, но они шли, зная так же, что их Уродов неизмеримо больше и все равно они победят!

\*\*\*\*\*



Старый генерал никогда не верил в удачу и на удачу предпочитал не надеяться. Он вообще считал, что удача есть не что иное, как результат приложенного труда и больше ничего. По крайней мере себя он точно не считал везунчиком и теперь, на седьмом десятке, твердо мог сказать, что, возможно, где-то и для кого-то являются счастливые или даже невероятно счастливые совпадения, но только не там, где находится в настоящую минуту Паскаль Лебонж. Более того, жизнь убедила его, что удача ненадежна и в самый нужный момент отворачивается, как будто издеваясь, и поэтому там, где можно было эту самую удачу заподозрить, Паскаль Лебонж терпеть ее не мог, считая обязательным предвестником скорых неприятностей. Когда ему доложили, что в лагере Уродов от первого наскока началась паника и большая часть Уродов впала в ступор, а другая с непонятной целью расшвыривает в разные стороны огромные камни, убивая находящихся невдалеке однополчан, он и не подумал ударить всеми силами, используя сложившееся положение, так как имел к этому множество убедительнейших причин. Во-первых, он был уверен, что вскоре Уроды оправятся и начнут драться, иначе не были бы они Уродами, во-вторых, даже и при условии беспредельного натиска его войска соотношение сил было таким, что обмен даже одного воина на восьмерых Уродов был бы катастрофой, а такого соотношения никто не мог ему гарантировать в продолжительном сражении лицом к лицу. Кроме убедительнейших логических, была еще причина — внутренняя, нелогичная, но непоколебимая ничуть не меньше, чем доводы здравого смысла — он не верил в удачу и не собирался идти на поводу у ее завлекающих сигналов. Сражение продолжилось в соответствии с предварительным планом. Ценой гибели четверти первого ударного отряда Уродов заманили именно в то пространство между холмов, где все было готово для их уничтожения. Две первые ловушки сработали с разрывом в сорок минут, и двумя часами позже при незначительных потерях людей два десятитысячных корпуса Уродов перестали существовать. Для отвлечения противника и оттягивания основных сил в необходимом людям направлении использовались специальный сводный полк добровольцев и легкая кавалерия. Особенностью Уродов было то, что они сохраняли направления преследования, только имея регулярную возможность добираться до арьергарда людей и убивать, иначе их интерес к погоне быстро угасал. Сводный полк и легкая кавалерия несли огромные потери, но раз за разом продолжали атаковать массу Уродов, быстро обращаясь к отступлению после атаки и оттаскивая Уродов от отсеченных корпусов. Двенадцать раз люди ходили в атаку и двенадцать раз откатывались от озверевших врагов, погибая и теряя товарищей. Перед десятой атакой, когда ото всей конницы осталось меньше трети, полковник, командовавший легкой кавалерией, захватил командный пункт, и выразил надежду, что гибель его людей приведет к тому результату, на который рассчитывал генерал. Это был молодой полковник, командир одного из тех четырех отрядов, которые соединились у вонючего поля, блестящий и талантливый офицер, чья военная карьера была на самом взлете, муж жены — красавицы, отец троих маленьких детей и наследник известной фамилии, его кандидатура в числе других рассматривалась как кандидатура командующего, но остановились на более опытном Паскале, и сам полковник голосовал на совете не за себя, а за генерала Лебонжа.

Командующий выслушал его молча и молча выдержал его взгляд. Он не стал объяснять полковнику, что из ста тридцати тысяч Уродов тридцать пять уже уничтожены, а еще два корпуса уже находятся каждый в своей западне и нельзя дать им выбраться, он не стал объяснять, что этого мало, что нужно еще хотя бы двадцать—тридцать тысяч перемолотить на холмах, и тогда уже можно будет ударить всей силой на слабеющих Уродов, чьи ряды редеют не только из-за отсекаемых корпусов, но и потому, что они давят друг друга в погонях за всадниками и толпами гибнут под ударами добровольцев. Паскаль не стал

объяснять это своему офицеру, не стал согревать его сердце, так как решил, что человеку легче погибать, когда его сердце ожесточено. Когда сжаты зубы в руках больше сил и гибель не кажется таким ужасным исходом. Он только сказал: «Благодарю вас за службу, полковник, люди не забудут ваш подвиг», и голос его был тверд, а взгляд неумолим. Молодой человек тогда молча достал из внутреннего кармана мундира и передал своему генералу завернутую в бархатную тряпочку небольшую стопку личных писем, бумаг, снял с пальца фамильный перстень и положил сверху. Затем, ни секунды не медля, он повел своих людей в бой, где занял место в арьергарде, передав общее командование другому офицеру, и уже через полчаса был заживо разорван Уродами на куски. Ценой этой атаки пятый корпус Уродов удалось затянуть в засаду и уничтожить, так же, как и четыре предыдущие, пока оставшиеся добровольцы и всадники двумя своими последними атаками еще раз оттянули главные силы. Но они не смогли оттянуть Уродов далеко, так как после двенадцатой, последней атаки в живых от полка добровольцев осталось только четырнадцать человек, а из всего отряда легкой кавалерии вырвались из уродских лап только четверо, да еще в полевом госпитале осталось человек сорок раненых, которых товарищи вынесли на руках из предыдущих одиннадцати дел.

Уроды, оставшись без цели для преследования, потоптались на месте, потом атаковали три пустые холма, но после этого все же додумались вернуться назад, к оставленному корпусу, который к тому времени представлял из себя уже десять тысяч неподвижных мохнатых кочек, разбросанных по склону холма. Обозрев такую картину, около четырех корпусов Уродов, объединившись, бросились на холм и, потеряв до полукорпуса убитыми, уничтожили оборону, перебив всех защитников и в щепки разнеся метательные орудия. Это побоище происходило в виду крупных отрядов людей, укрепившихся на двух соседних холмах, которым было строжайше запрещено как бы то ни было раскрывать себя до команды или до начала непосредственной атаки Уродами их высоты. Паскаль Лебонж пытался продолжить сражение по тому же самому сценарию, что уже позволил ему, потеряв меньше пяти тысяч бойцов, уничтожить более пятидесяти тысяч противника, а по более смелым подсчетам, и до семидесяти тысяч, учитывая потери внутри боеспособных корпусов Главного Урода. В этот момент он экстренно формировал еще один добровольческий полк для отвлечения основных сил противника, и полк очень быстро собирался возле его ставки, а в дополнение к месту концентрации Уродов двигались силы, снятые с других, отдаленных холмов, и уже на подходе был резерв ополченцев, которые должны были скрытно выдвинуться к укрепленным холмам и усилить их оборону на тот случай, если вся уродская армия снова начнет атаковать укрепленные возвышенности. Нужно было еще перемолотить хотя бы пару корпусов и не отдать ни одного холма целиком, и тогда победа была бы уже делом техники. Но добровольческий полк подошел только тогда, когда уродская армия всеми своими силами навалилась уже на два, усиленных резервами, укрепленных холма и сражение было в самом разгаре. Они с ходу ударили и заставили часть Уродов — до корпуса откатиться вместе с ними, и откатившись, завязали бой на линии, по которой должны были еще подходить резервы, которые с марша вступали в сражение, где редющий корпус уродов отчаянно дрался с тысячей человек, из которых уже в живых было пятьсот, но еще три полка мечников, подойдя вовремя, решили дело, Уродов окружили и начали сжимать кольцо. Тем временем Паскаль Лебонж снял уже войска отовсюду и направил к месту сражения с приказом соединиться в районе добровольческого полка и всей силой ударить по атакующим холмы Уродам. С трех вообще не тронутых боем холмов люди снялись и пошли пешим ходом, оставив метательные орудия, и так и не подпалив железные шары, войска с первых двух холмов, которые перемолотили арьергард Уродов, тоже выдвинулись в указанном направлении. И сам генерал вместе со всей ставкой выехал туда же, поняв, что начинается решающий этап сражения и теперь две силы — люди и Уроды

столкнутся лицом к лицу и будет битва, в которой решится участь будущих поколений. Исход ее, как предполагал Паскаль Лебонж, должен был предопределяться тем, как дорого два обороняющихся холма отдадут свои жизни.

На холмах тем временем ситуация развивалась драматически, все шесть оставшихся корпусов ринулись на них, и на одном, куда направился удар большей уродской массы, линии обороны уже не существовало, а вся вершина холма была покрыта режущими, пронзающими, давящими и утюжащими друг друга людьми и Уродами. На втором, который был атакован силами только двух неполных корпусов, оборона пока держалась, из центра холма то и дело вылетали вышвыриваемые фрондиболами огромные камни и обрушивались на косматые бошки напирających Уродов, кое-где люди даже контратаковали силами мечников, врываясь в массу Уродов и ценою своих жизней ослабляя натиск на ряды едва держащейся панцирной пехоты и ополченцев.

С час продолжалась уже резня на холмах, когда радостный рев тысяч уродских глоток возвестил о том, что на одной из возвышенности не осталось больше живых защитников. и освободившиеся чудища бросились на оставшейся холм, где волны Уродов пока еще разбивались о железную стену панцирных солдат. Но в этот момент заиграли трубы, и все оставшееся войско людей, появилось в долине. Серебряной чешуей, перемежаемой знаменами, двигались ряды пехоты, серой массой змеилось ополчение, очерченное черными рядами мечников, и в самом центре этого красиво выстроенного из людей прямоугольника виднелась яркая палатка командующего. Людей было около двадцати тысяч, еще полторы тысячи держали оборону на холме, а объединенные силы Уродов насчитывали еще до сорока тысяч дубин, притом что один личный корпус Главного Урода был совсем свежим и только что вступил в бой, как раз когда резня на холме приняла благоприятный для них оборот. Фактически они только раззадорились от избиения ополченцев и теперь, увидев, наконец, всего врага целиком, ликовали от скорой возможности ударить. Уроды и не подозревали, что их армия потеряла уже почти три пятые своего состава, что для любого другого войска было бы катастрофой, но только не для уродского. Они не умели считать, и им было совершенно безразлично, что сто тысяч собратьев уже разбросаны по холмам мертвыми, и большинство из них, рвущихся в бой, вероятнее всего, ждет такая же участь. Они просто хотели врезать кому-нибудь дубиной, или вцепиться зубами, или топтать ногами, выламывать кости, так как в каждом из них была уже разбужена сегодняшним днем дикая уродская ярость, которой нет выхода никуда, кроме убийства. Главный Урод был неподалеку, он почти уже измучил Принцессу, так как приступы паники продолжали перемежаться у него с приступами эйфорической радости, еще оказалось, что Принцесса не выносила близкой смерти и однажды, ворвавшись к ней в очередной раз, он подумал, что его добыча мертва, так как она не шелохнулась при его приближении и кожа ее была холодная. Главный Урод не хотел, чтобы Принцесса умирала, она нужна была ему не только для сегодняшней победы, но и для завтрашней. Ведь увидев рядом с ним Принцессу, люди скорее подчинились бы новому правителю, разгромившему все их вооруженные силы. Испугавшись, что она действительно умрет слишком рано, он приказал снарядить повозки и отправить ее за гору, в туман, в его резиденцию, где для нее был выстроен специальный домик и даже выкопан специальный прудик с водопадом. Находясь в этом уединенном месте, Принцесса обычно приходила в себя, пока Главный Урод не устаивал ее своим посещением.

Люди не торопились атаковать, и Уроды спокойно спустились в долину, выстроились и, минут пять поорав что-то, воодушевляющее их силы, ринулись в бой, где навстречу им вырос лес копий и мечники, сместившись на фланги, изготовились наносить контрудары. Теперь ни у одной из сторон не было преимущества, люди Паскаля Лебонжа устали на марше, и армия потеряла почти треть своих людей, больше половины солдат были ополченцами, которые сначала предполагались только как сила для земляных работ, так что

наиболее вероятным результатом боя могло быть практически полное истребление обеих армий, и то в том только случае, если люди не дрогнут и не побегут под ударами уродских корпусов. Относясь к результатам сражения сухо математически, можно было бы и не ввязываться в дальнейшие боевые действия, а позволить Уродам добить осажденный холм, при котором уродское войско стало бы меньше еще тысяч на пять солдат, а потом отойти, сохранив основные силы, и через некоторое время еще раз изготовить Уродам ловушку, в которой жизнь каждого человека будет обменена на жизнь десяти—двенадцати Уродов. Так, вероятно, поступила бы армия Говнюков, но Паскаль Лебонж командовал человеческим войском, а люди своих не бросали потому, что и были именно людьми и не были Говнюками. И в этой битве ни один человек из войска или из ополчения не стал Говнюком. Многие отдали свои жизни, но почему-то Героем тоже не стал ни один. Ведь сказано было, что если бы среди человеческого войска появился Герой, то Уроды побежали бы в ужасе, а Уроды стояли и даже не думали о поражении. Кстати говоря, они вообще не думали, так как практически лишены были этой способности.

Паскаль Лебонж не мог дать никаких прогнозов. Теперь при фронтальном столкновении никто не мог сказать, что будет через час. Одно было ясно — Уроды не дрогнут и не побегут. Сам генерал остался на возвышении с намерением наблюдать всю картину битвы, оставив себе только ординарцев для связи и для охраны две роты ополчения, заменивших батальон мечников, уже отправленных им в бой. Никаких резервов, кроме израненных людей, на холме не было, а они, помня о воинском долге умереть заодно со всеми, уже сформировали небольшую колонну, которая готовилась начать спускаться с холма. Через минуту войска сошлись, и люди, и Уроды начали с решительнейших действий, первые навалились на центр, а вторые, удерживая центр, нанесли фланговые удары мечниками. Уроды давили что было силы, не считаясь с потерями, но люди стояли насмерть, многие, получив удар дубиной, отползали от передней линии, хватались за фляжки с мазью, пили из них, мазали разбитые головы и, веря в чудодейственную силу лекарства, немедленно возвращались в бой, даже если в глазах еще мелькали круги и ноги подкашивались. Все они возвращались для того, чтобы победить, но многие уже через несколько минут получали еще удар, или удары... и гибли. Паскаль Лебонж, наблюдая за разворачивающимися событиями, сказал себе, что так или иначе решится исход сражения, он не сдвинется с этого места. К пурпурному свертку погибшего полковника он добавил свой личный, который так же увенчал фамильным перстнем, и, отдав ординарцу, записывавшему хронологию сражения, велел ему взять последних четырех всадников и быть готовым по приказу скакать с вестью о гибели армии в ближайший из городов людей. Еще он приказал раненому Жульену заняться подготовкой полевого госпиталя к эвакуации и в случае неблагоприятного исхода передать людям, что армия людей погибла, уничтожив все уродское войско, и силы врага подорваны так, что ни один город им теперь не взять, и необходимо собрать все резервы, все комендантские роты и все гарнизоны, даже если на крепостных стенах придется оставить только женщин и стариков, и добить Уродов, уничтожив остатки их войска, их поселения и самого Главного Урода, если удастся сделать это до того, как он соберет свои силы для повторного нападения. Жульен не хотел подчиняться, но старый генерал очень его попросил, памятью деда заклинал, объясняя, что кому-то нужно уцелеть и завершить все их дело, так чтобы много следующих поколений людей рождались и жили свободными от уродской опасности. Жульен попросил еще час, но старый генерал отдал приказ ехать немедленно, так как, несмотря на отчаянное сопротивление копейщиков, несмотря на удар с холма, защитники которого оттянули на себя часть сил, несмотря на отчаянные фланговые контратаки, Уроды давили все сильнее. Они научились-таки швырять свои камни, и ряды панцирных солдат стояли под градом огромных бульжников, калечивших и убивавших людей в задних рядах, истончая оборону. Сверху было хорошо видно, как войско людей

медленно пятится назад и напряжение битвы казалось запредельным. Паскаль Лебонж спиной чувствовал это напряжение, и его старая спина подсказывала, что долго так не продержаться, а Уроды не ослабляли смертельный напор, совершенно игнорируя то, что их стало меньше уже на треть, что вся долина уже усеяна черными лохматыми кочками, еще полчаса назад бывшими их живыми товарищами. Старый генерал понял, что несколько минут отделяет их от прорыва центра. Что будет дальше, он хорошо знал. Дальше будет резня, где каждый уже бьется за себя, и мечники с копейщиками дорого отдадут свои жизни, а ополчение перебьют почти задаром, и через три—четыре часа в этой долине, усеянной трупами, несколько тысяч уцелевших Уродов будут плясать танец победы. Ровно в этот момент, когда десятки людей уже погибали каждую минуту, когда со всех сторон окруженная колонна с холма наполовину перестала существовать, но оттягивала еще на себя силы уродского войска, позволяя центру из последних сил, но держаться, ровно тогда холмы огласились отчаянными воплями и сверху на Уродов покатилося какое-то непонятное войско. Они не были даже похожи на ополчение, вооружены были чем попало, одеты до неприличия пестро, некоторые имели прекрасную амуницию, оружие и доспехи, а рядом бежали солдаты в изодранном тряпье и вооруженные одними только небольшими топориками, кинжалами или даже железными палками. Это были Говнюки, и первыми чувствами Паскаля Лебонжа были злость и отчаяние, получалось, что толпа жалких Говнюков может решить исход великого сражения людей. Старый генерал сжал зубы, как от боли, и, наблюдая, как расстроенная толпа врзалась в массу Уродов, отметил, что им повезло и они удачно ворвались, разорвав окружение колонны с холма, и начали расширять область людей слева. А дальше над всем полем боя вдруг раздался победный крик двух десятков тысяч человеческих глоток, и это был крик отчаянной радости, и, как показалось Паскалю, от этого крика ряды Уродов дрогнули, их линия заколебалась, камни перестали лететь на людей и еще через мгновение вся масса Уродов побежала назад, в ужасе закрывая лапами головы, падая и давя друг друга, как будто все они сошли с ума и единственное, чего каждый Урод хотел теперь больше жизни — скорее умереть.

## Глава 26. О неожиданном везении...

Тремя днями до начала генерального сражения в Городе Говнюков стояла совершеннейшая паника, и прибытие остатков Стэфановского отряда прошло незамеченным. Одни жители собирали имущество с намерением бежать, но не знали куда, другие подготавливали какую-то многообещающую военную экспедицию. Самого Стэфана занимали другие мысли, он размышлял о возможности перенести тело Кромбеля на кладбище Города Говнюков. С одной стороны, логично было похоронить друга на кладбище, вместо того чтобы оставить его закопанным в лесу. Ему нравилось представлять, что имеется место, куда можно прийти, посидеть в уединении, даже и проговаривая вслух свои мысли, как будто они вместе болтают. Теперь было жалко, что за все время знакомства они толком и не разговаривали с приятелем. Вот с умником Жульеном обо всем разговаривали, а Кромбель как-то не вписывался в образ содержательного собеседника, сидел себе тихонечко и слушал, а иногда просто шел спать, не дожидаясь окончания ученой дискуссии. Стэфан перечитывал его сказки, и каждый раз ему казалось, что главного он от своего друга так и не услышал, а

мог бы услышать, если бы хотел. Хотя он тут же вспоминал, как Кромбель перед смертью сказал ему те слова... Сказал, что любит его и что он, Стэфан, наверняка станет Героем. И Стэфан удивлялся, как ему это теперь безразлично. Говнюк ли он, Человек или Герой. Все казалось совершеннейшей глупостью и наиничтожнейшими помыслами. Он снова думал о Кромбеле, о том, что тот и не собирался становиться ни человеком, ни Героем, а просто и без всякой демонстрации взял и спас их всех, а сам погиб. И всё, и никакого героизма, никакой пафосной ноты, и вместе с Кромбелем их спасли еще сто двадцать Говнюков, большинство из которых так же погибли и у многих, возможно, нет на земле никого, кто помянет их добрым словом. И только благодаря им он, Стэфан, который считал себя особенным, который намерен был сделаться Героем, теперь жив. А все они мертвы и долго вообще валялись как мусор, как грязь, начали уже гнить и пускать ужасную вонь, а потом их закопали в ямах, оттого что живым не нравится, как выглядят мертвые и как они пахнут. И мир теперь будет без всех этих людей, которых погибло за пару часов триста пятьдесят четыре человека. Так же мир будет и без Кромбеля, и он совсем не изменится, совершенно не пострадает, не перевернется, а будет существовать себе дальше и дальше со всеми глупыми страстями и жалкими переживаниями. Так Стэфан размышлял часами, растравливая себе душу, иногда при этом пялился в зеркало, привыкая потихоньку к своей, мало ему приятной физиономии, и на сердце у него была тоска. Он даже не мог понять, отчего тоска была больше, от разочарования, что он вроде стал человеком и ничего при этом не произошло и ничего не изменилось, или от того, что умер Кромбель. Так он сидел и думал, думал... когда в дом судьи Жульена явились трое известных и влиятельных в городе граждан с неким решительным к нему предложением.

Они вошли энергично, но уже на пороге в их действиях произошла заминка, вошедшие переглянулись в некоторой нерешительности, как бы раздумывая, входить ли вообще со своим делом или повернуть назад без объяснений. Но, постояв так пару секунд в дверях, они, таки вошли и, без приглашения усевшись напротив Стэфана в приемной судьи, приступили к делу, игнорируя отсутствующее выражение лица своего собеседника. Выразив прежде удивление, что Стэфан перестал быть «одним из них», они с некоторой долей юмора предположили, что именно эта метаморфоза так печалит его душу и столь отчетливо выражается на физиономии. Стэфан никак не отреагировал на шутку, но когда ему объяснили, что первые граждане города теперь намерены собрать войско в помощь новому главе Совета Мудрецов, который теперь вынужден наводить порядок среди взбунтовавшихся под его законной властью людей, его задумчивость рассеялась, а взгляд сосредоточился на вошедших с любопытством и удивлением. Он смотрел так, как смотрят на человека, неуклюже, но алчно и с жадностью хватающегося за совершенно незнакомое ему дело, к тому же самонадеянно полагая, что исполнить его несложно, так как другие с легкостью это проделывают. В его взгляде было не просто любопытство, а скорее сарказм и любопытство издевательское. Это рассердило визитеров, и они строго заявили, что теперь не то время, чтобы они должны были терпеть от людей насмешки, и если их слова не вызывают ничего, кроме ухмылки, то они готовы откланяться и не желают продолжать. Здесь на лице человека выразилось даже некоторое сострадание, он перестал улыбаться, а посмотрел на визитеров очень внимательно, а затем спросил, знают ли они, что новый глава Совета есть Главный Урод и армия его состоит из Уродов. Первые граждане города с достоинством закивали и пояснили, что новый глава Совета временно использует Уродов для решения политических вопросов, чтобы не устраивать братоубийственной гражданской войны между людьми. Тогда Стэфан еще спросил, известно ли им что-либо о городах людей, поддерживающих этого нового главу, на что получил ответ утвердительный, но не конкретный. Было сказано, что такие города, безусловно, имеются, но боятся открыто выступать, так как армия пока на стороне мятежников. Чуть помедлив, Стэфан спросил как поживают Трактирщик и

Стражник и как их власть понравилась в Городе Говнюков, но и здесь он получил весьма решительный ответ, что его тенденциозные и предвзятые вопросы уже становятся невыносимыми и двух упомянутых им граждан сам новый глава Совета осудил по законам военного времени на смертную казнь, так что их уже неделю, как удушили, каждого в своей камере. Тут Стэфану стало немного не по себе, он понял, что сидящие перед ним Говнюки все уже решили и бесполезно пытаться пробудить их логику и здравый смысл.

Они ведь Говнюки и имеют способность ничего не понимать и не видеть самого очевидного, чего не желают видеть или понимать из-за какой-либо своей личной надобности. Тогда Стэфан спросил, чего же прибывшим нужно лично от него, и получил ответ, что, вероятно, уже ничего, так как он сделался человеком и совершенно перестал понимать простых Говнюков. Краем глаза Стэфан тогда увидел у себя в окне вооруженных субъектов, препиравшихся с его солдатами в воротах, и понял, что раз переговоры зашли в тупик, то теперь его визитеры постараются вежливо уйти, прислав вместо себя сто Говнюков с задачей перебить остатки его гвардии и умертвить его самого, а потом, запудрив головы паре тысяч Говнюков, они отправят их на помощь к Главному Уроду против людей, и эти две—три тысячи наверняка погибнут, а город потом уничтожат либо Уроды на радостях, либо люди за предательство. Это развитие событий показалось Стэфану таким отчаянно несправедливым, таким иезуитски подлым и глупым, тем более что все дело-то оказывалось только в трех тупых и раздутых от важности Говнюках, которые, несмотря на всю свою хитрость и тотальную недоверчивость, глупо и простодушно купились на посулы. И на чьи посулы? Главного Урода! Мелькнула мысль зарезать здесь их всех троих, благо нужно было сделать всего шаг до прислоненного к стене клинка, но убивать обманутых Уродами Говнюков за глупость было бы неправильно, и Стэфан решил поступить иначе. Он вспомнил, как в первый раз вразумил Кромбеля, и подумал, что, возможно, здесь тоже удастся пробиться к сознанию собеседников, пригрозив им, но пригрозив натурально. Как говаривал Жульен: «Сделав для них ощутимым присутствие такого понятия, как смерть, и не кого-нибудь, а именно их». Говнюки как будто чувствовали ход его мыслей. Лица их окаменели, они вжались в кресла и примолкли, уставившись на молчащего собеседника. Стэфан встал, они продолжали сидеть, он сделал шаг и, резко схватив меч, остановив клинком попытку двух из трех вскочить на ноги. Говнюки рухнули обратно, и теперь все трое смотрели на него с выражением нарастающего ужаса. А Стэфан, почувствовав в руке оружие, незаметно для себя разозлился. Он сжал зубы и проговорил, что у них имеется только один шанс остаться в живых, это услышать то, что он будет им сейчас говорить. Говнюки переглянулись и торопливо закивали головами, а Стэфан крикнул в окно своим людям, чтобы те доложили о ситуации, и услышал в ответ, что две сотни вооруженных Говнюков беснуются за воротами, к ним постоянно подходят подкрепления и старшие от них требуют возвращения своих парламентаров немедленно, в противном случае обещая убить всех, кого найдут в этом доме.

Он выслушал все, не сводя глаз с сидящих перед ним, и отдал команду вывести посетителей вон, а сам, оставив идею разговаривать с тремя, подошел к окну, выходящему на площадь перед домом. Он широко растворил створки и крикнул собравшимся внизу, что отпустил их переговорщиков восвояси, но прежде чем они начнут штурмовать его дом, он намерен сказать несколько слов. Говнюки внизу орали и кривлялись, хамили, ржали и улюлюкали, трое, вышедшие из его дома, орали громче всех, что нечего его слушать, и командовали своим людям немедленно ломать ворота. Стэфан молча стоял в окне и думал о том, сколько в мире глупых и парадоксальных вещей. Говнюки, которых он хочет спасти от неминуемой гибели, не намерены слушать его, а готовы подчиниться тем, кто, наняв их за копейки, отправляет на верную смерть, он смотрел на них, а перед глазами его всплывали падавшие под ударами дубин справа и слева его люди, и как они потом лежали мертвые среди мертвых Уродов, и он уже представлял себе, как кто из скачущих под его окном будут

выглядеть убитыми, и площадь представилась ему заполненной живыми мертвецами. И он крикнул им изо всех сил, что видит перед собой толпу беснующихся мертвецов. Несколько голосов похабно заржали и заорали в ответ, что он сам скоро станет мертвецом, только не живым, а обычным, но за их ржанием не последовало общего взрыва хохота, а наоборот, площадь немного примолкла, и он еще раз прокричал, что видит перед собой живых, беснующихся мертвецов. Тогда Стэфану крикнули, чтобы он говорил, и он начал говорить так, что все Говнюки его слышали:

— Неделю назад я уже видел триста пятьдесят четыре изувеченных трупа, вповалку валяющихся на залитой кровью, истоптанной траве! И это были мои погибшие солдаты. У многих из них был выбор: умереть или остаться живыми. Выбор был больше, чем у ста Говнюков, которые находились в резерве, и они могли спастись от смерти, оставив товарищей, либо разделить общую участь. Никто из нас тогда вообще не имел понятия, откуда возле Города Говнюков может быть столько Уродов. Мы наткнулись на первый отряд и перебили сотню тварей. Это было легко, Уроды неповоротливые, и каждый из вас, кто охотился на Уродов, знает это не хуже меня. Когда мы встретили их во второй раз, не получилось сразу оценить численность противника и мы напали на них с ходу, но, только ввязавшись в бой, поняли, что их перед нами тысячи! Возможно, их было десять тысяч или больше! А нас было триста и еще сотня в резерве плюс обоз...

Говнюки слушали, улавливая каждое слово, троих или четверых, пытавшихся оборвать Стэфана, заткнули увесистыми оплеухами, и человек в окне продолжил:

— Мы ударили и проделали себе путь в их рядах, убив несколько сотен в первые десять минут, но после поняли, что пробиваем дорогу к гибели, так как впереди было только море Уродов и никакого просвета. Враги были впереди, справа и слева, и сзади тоже были они, но пока еще сзади их было немного — около пятисот тварей. Мы начали пробиваться назад, но это было почти невозможно, так как нас теснили со всех сторон и потери уже были огромными. И тогда с холма, где стоял резерв, состоящий из таких же, как вы, Говнюков, как раз в то место, где мы пытались проделать себе проход, ударили сначала подожженные повозки обоза, а следом за этим резервная сотня вместе с обозными. Мы дрались, пробиваясь навстречу друг другу, и никто не жалел своих жизней в этом бою. Из всех вступивших в сражение вырвались чуть больше тридцати бойцов. И, оторвавшись от Уродов, мы поглядели друг на друга и поняли, что среди нас не осталось Говнюков! Мой отряд состоял из тридцати восьми человек, шесть из которых умерли в том отступлении. Среди умерших на этом марше был и мой друг Кромбель, которого вы, возможно, знали как продавца мазей из уродских внутренностей. Он не был солдатом и вообще находился при армии ради самого что ни на есть говнюковского дела — ради заработка. И именно он, стоя на холме с резервной сотней и обозом, сказал окружавшим его Говнюкам слова, заставившие их пойти на смерть. Я не слышал этих слов и сейчас хочу, чтобы вы узнали их от того, кто сам стоял в ту минуту рядом с ним на холме и потом шел в атаку на десятитысячный корпус Уродов. Среди вернувшихся со мною двенадцать человек слышали эти слова, пусть они скажут их вам.

Говнюки продолжали стоять очень тихо, а из отряда Стэфана выступил вперед один человек и громко произнес: «Он сначала врезал по роже дубиной ростовщику, оравшему, что надо сматываться, а нам сказал, что все мы всю жизнь были Говнюками и только теперь можем умереть как Герои». Подождав немного, Стэфан продолжил свою речь, обращенную к собравшейся под его окнами толпе.

— Я понятия не имею, как произошло то, что случилось тогда! Возможно, чтобы стать человеком, нужно быть готовым отдать свою говнюковскую жизнь. Еще через трое суток мы набрали на разведку армии людей и узнали, что между людьми и Уродами идет война и что Уроды готовы драться до последнего ради истребления всех людей и



наступления эры Уродов. Еще мы узнали, что именно благодаря нашему удару все человеческие отряды смогли объединиться в одну армию и теперь готовятся к решающей битве. Все мои солдаты имеют награды армии людей и никто из них не хочет снова стать Говнюком, хотя мы и вернулись в этот город. И у вас, у каждого из вас есть шанс не совершать сейчас еще одной подлости в вашей жизни, пусть даже их было уже и очень много, а получить искупление за все одним поступком, одним решением. У вас есть шанс уже завтра перестать быть Говнюками... или умереть.

Когда Стэфан окончил свою речь, его спросили из толпы снизу: «А почему ты говорил о нас, как о живых мертвецах?» И он ответил, что те, кто хоть немного знаком с повадками Уродов, никогда не поверят, что кто-то из Говнюков останется жив у них на службе. «Вы что, забыли, что эти твари питаются нашими жизнями? Вы будете служить им приблизительно так, как вам служат курицы, коровы или молодые барашки», — были заключительные слова Стэфана, а потом начались крики, гвалт, драки. Площадь бурлила с полчаса, разные Говнюки забирались к Стэфану на окно, чтобы говорить, он никому не препятствовал, говорили и его солдаты, у многих из которых были знакомые в этой толпе, и еще через час полторы тысячи Говнюков готовы были идти со Стэфаном на помощь армии людей, и даже некоторое количество первых граждан решили присоединиться к войску, а другие спрашивали, нет ли у них шансов стать людьми, если они просто профинансируют общее выступление, а сами в бой не пойдут по причине слабого здоровья или преклонных лет. Таким Стэфан тактично говорил, что если они сами хотят, то можно попробовать, но безо всяких гарантий.

В ночь перед выступлением он срезал все свои косы и полностью побрил голову, мельком глянув потом на свое отражение в зеркале. Сердце его успокоилось, и в душе появилось что-то похожее на радость.

\*\*\*\*\*

Выступили на следующий день с рассветом. День и больше половину следующего были на марше. Вперед выслали разведку, и солнце уже готовилось закатиться за гору, как разведчики, примчавшись, донесли, что впереди на холмах, десятки тысяч убитых Уродов, тысячи погибших людей и два огромных войска выстраиваются друг против друга в следующей долине. Стэфан приказал перестроиться в боевые порядки и ускорить шаг. Сам он бегом выдвинулся с разведчиками вперед и, расположившись на холме, наблюдал начало сражения, видел палатку старого Паскаля, и даже ему казалось, что в крошечной фигурке рядом с флагами он узнает Жульена. Его отряд подходил и выстраивался на вершине для удара, а Стэфан видел, как давят Уроды, как гибнет ударивший им во фланг потрепанный отряд, он увидел редуемые ряды панцирной пехоты и с удовлетворением понял, что тысяче Говнюков никогда не изменить ход такой битвы. Тогда он наметил место, где ударят они, разъяснил задачу командирам сотен и, встав во весь рост, отстегнул с плеч кожаный доспех, который свалился к его ногам, снял шлем, рубаху и, оставшись голый до пояса, первый двинулся вниз, вооруженный одним только коротким мечом. Он начал свое движение неторопливо, почти медленно, потом перешел на быстрый шаг, на легкий бег и вскоре уже бежал мощно, быстро приближаясь к месту сражения, и казалось, что в его теле нет места усталости. Многие старались тогда обогнать своего командира, хотя бы для того чтобы не дать ему умереть в самые первые секунды, но никто не смог. Он бежал впереди всех, а лавина его солдат катилась за ним. Упруго сокращая расстояние до своей цели, он не думал ни о чем, ничего не осознавал особенного, кроме того, что ветер обдувает его грудь, и это чувство было похоже на чувство полета. Он не думал о том, что скоро умрет, он уже жил в

этом чувстве, оно было им, и в душе не было боевой ярости, потому что ярость нужна, если собираешься жить или тебе небезразлично, сколько погибнет врагов, а Стэфан не чувствовал в эту минуту желаний убивать. Чувств внутри него было очень много. Ему было до слез жалко того, что многие скоро умрут, что никогда не вернуться к своим детям, а сам он никогда не увидит Жульена, Кромбеля, Города Говнюков, не спасет Принцессу, жизнь снова представлялась ему странным парадоксом, и себя он чувствовал крошечной, незначительной частью этого парадокса, и было немного грустно от того, что ничего невозможно поделать, но еще было чувство, что теперь пришла его очередь и он готов. Это было светлое чувство, еще и перемешанное со странным ощущением тихого счастья непонятно из-за чего. И все это собралось у него только в одном осознаваемом ощущении — как ветер обдувает его грудь и он почти уже летит навстречу неизвестности. Подбегая к уродскому флангу, Стэфан изо всей силы оттолкнулся ногами и прыгнул так, как если бы он мог взлететь. И вдруг он увидел всю долину под собой внизу, а сам он парил над нею в воздухе. С высоты птичьего полета он обозрел сражающихся людей с сосредоточенными и суровыми лицами, увидел Уродов, замерших на секунду, как будто от удивления, увидел своих солдат, вчерашних Говнюков, лица которых были именно одухотворенные, и снова он вспомнил Кромбеля. Потом картинка изменилась, люди переменились, в лицах их загорелось что-то особенное, какое-то сильное чувство, и они разом закричали что-то, а Уроды, перестав драться, с ужасом озирались кругом, дубины уже выпали у некоторых из лап, и они приседали на корточки, как от огромной боли, обхватывая косматыми лапами головы. Дальше люди подняли вверх свое оружие и ликовали, продолжая кричать изо всех сил, и бывшие Говнюки, все до единого живые, тоже прыгали друг на друга, обнимались и не могли поверить в свое счастье, в то, что кто-то подарил им человеческую жизнь навсегда и за просто так. А Уроды бежали сломя голову, закрываясь лапами от чего-то, невидимого людям, а некоторые падали замертво, но другие бежали, перепрыгивая через них, и ужас их нарастал, хотя никто и не думал о преследовании остатков их армии. Стэфан летал, он поймал какое-то особенное усилие, которое нужно сделать, чтобы лететь выше, и, расслабившись от него, мог снизиться, это усилие было даже не телесным, а скорее внутренним, душевным каким-то усилием, но не очень сложным, немного похожим на то, чтобы просто задержать в груди дыхание и еще что-то, что он не успел понять, а только делал. Стэфан даже удивлялся, как раньше он так не мог.

Это длилось недолго, всего несколько секунд, а потом он как-то вдруг забыл то самое усилие и как-то осознал себя иначе, чем в те секунды, пока парил в воздухе. Он тут же приземлялся на ноги, как будто только что закончил свой отчаянный прыжок, но вокруг него не было Уродов, а были только ликующие люди, радостно машущие руками, подпрыгивающие, обнимавшие друг друга и очень, очень счастливо улыбавшиеся. Стэфана тут же подняли на руки и понесли, сделав ему кресло из древков копий, он пришел в себя и приветствовал всех поднятием руки, а потом встретился с генералом Лебонжем, возле которого стоял Жульен, перевязанным плечом и смотрел на друга очень теплыми, какими-то особенными глазами, излучавшими необычное, мало кому доступное понимание происходящего. Старый генерал обнял Стэфана за плечи, потом взял его руку и поднял вместе со своей, в этот момент двадцать тысяч глоток ответили на этот жест криками радости так, что казалось, горы должны были задрожать.

Прошло еще время, полки разбирались для похода, с холмов собирали раненых, которых, к огромному удивлению генерала, оказалось гораздо больше, чем погибших, и Паскаль пригласил Стэфана взглянуть на нечто важное. Они прошли около двух или трех километров с проводником из разведчиков, и им было представлено тело Главного Урода, затоптанного его же взбесившимся войском. Это был маленького роста человек, тонкий, если не сказать хрупкий, лицо его почти не пострадало, так как перед смертью он упал вперед и закрыл голову руками, как это делают дети и женщины, если очень пугаются. У него было

почти детское это лицо, очень красивое, нежное и очень испуганное, именно по-детски испуганное, открытые голубые глаза со стеклянным ужасом смотрели в небо, а на щеках, промыв толстый слой пыли, остановились слезы, которые, вероятно, продолжали бежать даже тогда, когда сам человек уже умер. Еще генералу доложили, и Стэфан слышал это, что перед началом финала битвы из ставки Главного Урода был выслана телега с конвоем и следы ведут в горы, за которыми, как известно, туман. Здесь Стэфан объявил Паскалю Лебонжу и Жульену, что должен догнать этот конвой, так как предполагает там найти нечто очень для себя важное. Генерал Паскаль хотел было возражать, но Жульен остановил его и еще раз посмотрел на своего друга Стэфана таким же особенно-понимающим взглядом, каким встретил его на поле боя. Стэфан немедленно тронулся в путь, не взяв даже и взвода охраны, и уходя, еще слышал, как генерал вышучивал Жульена с его несовершенной наукой за так растиражированное ими, Мудрецами, убеждение, что Уроды не знают страха и никогда не бегут с поля сражения, кроме того случая, что встречаются с Героем. Лебонж тактично, но совершенно убедительно констатировал совершеннейший факт, что Уроды дрогнули и побежали от железной выдержки его обороны и фланговых ударов мечников, конечно, подстегнутые неожиданным нападением бывших Говнюков, если так можно выразиться, не оскорбив уважаемых союзников, но отчетливо и однозначно сражение обошлось безо всяких Героев, коих никто не видел и присутствия которых никто на себе не чувствовал. Впрочем, настроен генерал был совершенно благодушно и упреки его носили шуточный характер, и выглядел он как счастливый человек, которому хочется говорить, говорить без умолку, но это неловко — просто болтать и он предпочитает говорить о делах существенных, но радость и счастье так и прут из него, не давая этому существенному сделаться существенным, а все облегчая и делая все милым, праздничным и даже немного легкомысленным.

## Глава 27. О противостоянии.

Когда мысль заходила в тупик, Паскаль Лебонж садился и терпеливо перечитывал материалы следствия. Вот и теперь он, сидя за столом в своем кабинете, читал. Было раннее утро, город только начинал просыпаться, а он уже расположился за столом в своем кабинете, придя на работу раньше всех подчиненных, раньше секретаря, и даже раньше, чем уборщица завозила в их офис свою тележку с тряпками, вениками и огромным пылесосом, по первому требованию которого сам полковник Лебонж благоразумно отступал из кабинета в секретарскую заваривать себе чай. Когда пылесос умолкал, он возвращался и успевал перекинуться с уборщицей парой слов, пока та протирала его стол, подоконники и все, на чем могла скопиться пыль. Между отъездом пылесоса и прибытием сотрудников оставалось еще минут сорок, за которые Паскаль иногда успевал больше, чем за весь день. Сейчас он перечитывал общие рапорты, самые важные справки и наиболее существенные оперативные записки, собранные за последние годы в отношении Франциска Бенаму, чья избирательная кампания должна была вот-вот увенчаться блестящей победой предвыборных технологий над демократией, здравым смыслом и истиной. Ни при каких обстоятельствах старый человек не был намерен допустить такого исхода и, понимая, что решающий час наступил, обдумывал завершающий этап своей кропотливой, многолетней работы. Все материалы,

имевшиеся в его распоряжении, лежали теперь перед ним на столе, это были все его войска и никаких дополнительных резервов не предвиделось в этом сражении. Теперь он размышлял, какие материалы послать вперед, а какие оставить в резерве, как выстроить линию защиты от ответных ударов и как проламывать сопротивление противника. В двадцатый, если не в сотый раз он просматривал перечень лиц, на арест которых у него были основания, и думал о том, что для ареста самого Франциска оснований у него нет, и могут они возникнуть, только если кто-либо начнет говорить. А если говорить не начнет никто, то человек пять мелкой рыбешки окажутся, конечно, за решеткой и возможно, даже отсидят свои сроки по мелочным статьям, а большинство из теперешнего его списка выкрутятся на суде, некоторые даже до суда, и все это будет бесполезным, неудавшимся выстрелом, означающим для Паскаля Лебонжа скорую отставку, после которой останется только гадать, каким именно способом маленький Франциск сведет счеты со своим кровным врагом. И еще Паскаль Лебонж думал о том, что, как ни старайся, какие ни применяй технические средства, аналитические техники и эшелонированную агентскую деятельность, все в жизни сводится к непредсказуемому человеческому фактору. Все и всегда зависит только от того, что решит каждый человек для своей собственной жизни. Почему-то эта мысль согревала душу старого человека и давала не только надежду, но и какое-то подобие уверенности.

\*\*\*\*\*

Для успеха на новой работе Маша научилась выглядеть доверчивой, всем искренне восхищающейся и даже немного легкомысленной милашкой со взором, исполненным восторга, оставаясь внутри спокойной, сосредоточенной, расчетливой, никогда не теряя из виду свои собственные цели и никогда не поддаваясь симпатиям или жалости. Два месяца ушло на отработку этой техники. Это были тяжелые два месяца, хотя технически исполнить задуманное оказалось не сложно, она всего лишь научила себя внешне реагировать так, как будто оставалась прежней Машей, всех любящей и всем искренне симпатизирующей, не замечающей в людях плохого и верящей в торжество справедливости на земле, в любовь и всеобщее счастье. Это была очень выгодная форма поведения, весьма располагавшая окружающих, которые, едва почувствовав невдалеке такую замечательную девушку, сразу пытались что-то из нее вытянуть или, наоборот, что-то в нее всунуть, и уже готовились торжествовать успех, как вдруг понимали, что сами остались не бобах и все, что было от них этой барышне нужно, она уже получила, но, продолжая вести себя с самой очаровательной непосредственностью, девушка предлагает сыграть еще один кон, чуть увеличив ставки. Многие играли с ней несколько партий кряду, отказываясь верить, что это ангельское существо уже разделало их под орех. Весьма почтенные лица, многого в своей жизни повидавшие, находились в каком-то губельном упоении, неустанно предоставляя ей себя для жестоких экзекуций, ничего не деля для своей защиты и как будто только умоляя ее об одном — не останавливаться. Притом эффективность ее одинаково проявлялась как в отношениях с женщинами, так и в отношениях с мужчинами, безо всяких половых различий.

Чем больше она делалась такой, какой решила себя соорудить, тем больше видела за каждым человеком отвратительной подноготной, тем безжалостней и расчетливей она становилась, понимая, какие жалкие ничтожества, какие трусы и изломанные, извращенные люди окружают ее со всех сторон. У каждого находилось что-то, за что его можно было презирать, что-то им тщательно скрываемое ото всех и бывшее раньше для нее незаметным,

но делавшимся все выпуклее и все отчетливее теперь, когда она стала другой. Она как будто начинала видеть иной мир, где сквозь лица достойных, образованных и вежливых молодых людей виднелись жалкие и испуганные мордашки юных и беспомощных жертв Содома и Гоморры, вчера еще бывшие только испуганными, а сегодня ставшие уже и злыми, уже готовыми жестоко куснуть рядом стоящего ради одного только наслаждения впиться зубами в незащитную плоть, разрывая живые волокна, достичь до самого сердца и пусть трепещущая жертва испустит дух прямо в зубах у охотника.

И за первой жертвой будет вторая, а за второй третья, и не будет числа их триумфам, но пока еще нужно продержаться, нужно терпеливо дожидаться своего шанса, ведь клыки еще не готовы драться, и тем, кто сильнее, нужно показываться не добычей, а источником удовольствия, которое придется им отдавать, терпеливо и старательно шлифуя злостью свою ненависть, пока не случится момент извернуться и неожиданно нанести смертельный удар, а затем мгновенно сожрать добычу и как можно быстрее снова вернуться в прежнюю свою позицию искательной готовности, потому что выпрямлять спину еще рано, еще близки другие матерые волки, которые не дадут пощады, раньше времени распознав в тебе бойца.

А какими жалкими выглядели те, кто малодушно отказался от своей единственной цели и решал без сопротивления предоставлять себя сильнейшему, мечтая только о счастье попасть в руки доброго хозяина, который мог бы иногда поощрительно потрепать по загривку, а если давал пинка, то дружелюбно и весело, и мог бы позволить чуть-чуть разгибать спину хоть иногда, хотя бы даже для куража или издевательства. Утешая себя тем, что с ними случилось не самое страшное из возможного, с жалкой улыбкой могут только умолять своих мучителей о снисхождении, апеллируя даже не к состраданию, а только к рациональности, осторожно поясняя, что если их измучить сразу, то нечего будет мучить потом, а если хоть немного беречь, то хватит надолго.

Помимо своей воли, Мама стала замечать, как повально неопрятны и нечистоплотны мужчины, а женщины еще и безгранично лицемерны, лживы, жеманны и безнравственны. Она с омерзительностью начала чувствовать от многих отвратительные запахи и не могла не замечать, как большинство людей самодовольны в своем безобразии.

Глядя на сотрудника, вернувшегося из уборной, она тонко улавливала изменения в его одежде, подтверждающие, что он посещал туалет не только для мытья рук, и едва сдерживала отвращение, понимая, что он грязный сейчас, так как в любом случае не имел возможности воспользоваться душем или биде. К концу рабочего дня она старалась подальше отодвигаться от собеседников, понимая, что у них должно дурно пахнуть изо рта, а после обеда представляла, как у всех у них должно урчать в животе, когда они, экономя, нажрут всякой дряни, и как они переполняются газами, которые незаметно выпускают, улучив удобный момент так, чтобы другие не заметили. Она слышала за фразами мелочную зависть и беспричинную злобу близких друг другу людей, чувствовала алчность за каждым движением, везде видела вульгарное, площадное кокетство и желание подороже продаться. Все это она виртуозно использовала, аккуратно включая каждого человека в сеточку своей паутинки, и постепенно позиции Марии Селиверстовой почти бесконечно упрочились на рынке сбыта самой разнообразнейшей продукции, которую мсье Франциску вздумалось бы реализовывать оптом или в розницу.

Продолжая свое погружение в новую реальность, Маша почти не вспоминала то, что было с ней прежде, матери звонила редко, предпочитая посылать короткие записки по электронной почте. На похороны бабушки она приезжала, но по прошествии всего месяца произошедшее как-то вытерлось из ее памяти, заместившись калейдоскопом встреч, проектов и феерией успеха. Иногда, очень редко, воспоминания о прежнем резко врываются в ее память и составляют чрезвычайно контрастные формы с нынешними ежедневными происшествиями. Так, случайно узнав, что один из менеджеров Московского филиала

тяжело болен и, по слухам, может даже умереть, она вспомнила о Степе, и вся подлость его поступка показалась такой мизерной и такой крошечной по сравнению с теперешними ее обыкновениями, что Машенька даже расплакалась и тогда же написала ему личное письмо, о котором, правда, почти жалела на следующий день и, получив короткий ответ от Савраскина, вступать с ним в дальнейшую переписку уже не сочла для себя допустимым, тем более что она тогда собиралась замуж за Франциска, который сдержанно обещал бросить свою спивающуюся женушку, точнее, не обещал прямо, а давал понять, что это будет единственно возможным вариантом, и откладывается он только по соображениям сложности раздела совместного имущества, к которому были еще чуть-чуть не готовы его адвокаты.

Еще через три месяца Маша забеременела от него и сделала аборт. Вся ситуация сложилась так, что этот выход показался ей единственным из возможных, нормальным и совсем не страшным. А Франциск вроде бы был и ни при чем. Он просто сделал вид, что его это касается не в первую очередь, дал понять, что у них огромное количество дел, а возможности, открывающиеся перед нею, и задачи, стоящие перед предприятием, ни в какое сравнение не идут с двухмиллиметровым зародышем, который может прервать ее триумфальное шествие к вершине, а предприятия, к всеобщему благоденствию. Он тогда сказал, что вообще не намерен ничего ей советовать и, как порядочный человек, примет любое решение, что есть в конце концов няньки, медсестры, сиделки, но даже двух—трехмесячный перерыв в делах может привести к непредсказуемым последствиям в бизнесе, и у них во Франции, вообще, не принято для женщины так рано рожать.

Потом она заболела, вынуждена была воспользоваться стационарным лечением и пропустила—таки свои два—три месяца на работе. Вернувшись, оказалась на несколько менее ответственной должности «временно, пока не восстановится», потом сама поймала себя на ощущении, что не справляется с работой, что кураж куда-то пропал и что-то в ней изменилось.

Внешне не было заметно, но ровно настолько она поменялась, что ее живость, теперь чуть натянутая, перестала к себе располагать, к ее словам перестали прислушиваться и находить в них мудрые смыслы, ее ошибки делались все глупее и все выпуклее, она банально забывала о деталях, медленно переключалась, выпадала из переговоров в какую-то странную задумчивость и некрасиво спохватывалась, когда беседа уже далеко уходила за поле ее внимания. Франциск говорил, что ей необходим отдых, что темп, взятый ею сначала, оказался слишком быстрым. Но виделись они все меньше и меньше.

По делам они тоже почти не встречались, так как уровни их совершенно уже не соприкасались в строгой служебной иерархии. Машина работа вызывала все больше и больше нареканий у руководства, а некоторые промахи вообще грозили увольнением, но ей счастливо удалось зацепиться за должность в отделе претензий, когда весьма неожиданно Франциск позвонил сам и, посетовав, что у нее не состоялась карьера продавца, сообщил, что благодаря их теплым отношениям не намерен дать ей скиснуть в жалком отделе претензий, а хочет поручить весьма важное дело, не требующее никаких усилий, а только личной преданности. Тогда он сделал ее директором в одном из своих предприятий, и два раза в неделю за ней присылали машину и доставляли в центральный офис, где она, сидя в отдельной комнате, подписывала подготовленные бумаги. Еще через несколько месяцев жизнь наполнили неприятности, начало которым положила ужасная смерть Джессики, потом гибель старого Патрика и банкротство всей корпорации. Маша тогда не получала зарплату три месяца и писала маме, которая выслала ей немного денег на еду. Потом всю зарплату выплатили, и Маша опять стала мирно работать в отделе претензий, правда, несколько раз ее вызывали в полицейское управление и спрашивали о тех ее подписях. С ней ездил адвокат Франциска и сам за нее отвечал, так что ей не потребовалось даже и рта открывать, а он просто повторил несколько раз, что по французской конституции его клиентка не обязана

давать показания. Полицейский сказал тогда Маше, что таким способом она осложняет свою и без того запутанную ситуацию и в ее интересах давать теперь показания. Но Маша не стала ничего рассказывать, она растерялась и смотрела недоуменно на адвоката, который очень рассердился и строго заявил полицейскому, что напишет жалобу.

Так и шла ее жизнь. Можно сказать, что даже и неплохо шла, если не считать того, что она потолстела на шесть размеров, ее называли теперь «толстуха из отдела претензий», никто за ней не ухаживал, никому она не была нужна и все чаще вынуждена была обращаться к врачам с самыми разнообразными болячками, так что количество ее больничных уже вызывало негативное отношение руководства. Так прошел еще год, она жила совсем одна, стала любить вечера перед телевизором, вязала, читала мало, и какого же было ее удивление, когда в один из привычных вечеров звонок ее двери нетерпеливо потренькал, и нажав кнопку включения уличной камеры, она увидела перед своей дверью мсье Франциска, а когда торопливо впустила его, то поняла, что состояние ее бывшего любовника очень далеко от того, что можно было хотя бы с натяжкой отнести к норме.

\*\*\*\*\*

У Франциска тоже был список людей, которых могли арестовать. Фамилии там были ровно такие же, что и в списке Паскаля Лебонжа, и по поводу каждого приходилось задавать себе один и тот же вопрос: «Предаст или не предаст?» Накал последних дней был запредельным, голова болела всю неделю, не переставая, и никаких шансов на выходные не предвиделось. Плохие новости из Москвы еще усугубили ситуацию, и дополнительным ударом был звонок в его приемную от младшего братика, который явился и требовал встречи.

Естественно, никакой встречи ему не назначили, но, не отказав прямо, на всякий случай включили в череду бесконечных проволочек, переназначений даты и времени, а мсье, закончив самые неотложные дела, отпустил водителя и выехал в никому не известном направлении. Сначала он сделал несколько кругов по окрестностям так, как если бы хотел запутать погоню, потом постоял около получаса возле парка на совершенно пустой маленькой стоянке и вдруг почувствовал, что должен увидеть ее.

Эта мысль железной спицей пронизала голову, а чувство вседозволенности окатило волной возбуждения. Через минуту он уже ехал, не вполне даже и осознавая зачем ему все происходящее.

Прямо с порога он схватил ее, растолстевшую и бесформенную. Ему было все равно, даже лучше, что она стала такая, он схватил ее и стал мять руками, потом свободной рукой закрыл ее рот, чтобы не слышать глупых вопросов и всхлипываний, повалил на пол здесь же, в коридоре, а она закрыла глаза и не смотрела на него, и голова ее вздрагивала под его толчками, как когда-то вздрагивала голова мертвой Джессики под натиском пилы для разделывания мертвецов. Он находился в нескольких сантиметрах от ее лица и не видел, как из закрытых глаз его жертвы текли слезы, ему казалось, что она жмурится от наслаждения, он думал, что у нее давно не было мужчины, и она, конечно, очень ждала его и очень хотела, чтобы это произошло.

Потом она отползла от него и попыталась встать, но он кинулся к ней и зарылся головой на груди, стал осыпать ее поцелуями, а потом достал из внутреннего кармана пиджака нож, выдвинул лезвие и как бы про себя, как бы машинально произнес, что все будет хорошо, если никто не будет ему мешать. Когда все кончилось, он прислонился к стене

и закрыл глаза, а Маше удалось через кухню ускользнуть на балкон, где она и стояла, думая, что теперь, когда у нее нет стула, самой придется лететь вниз.

\*\*\*\*\*

Девушку, стоявшую на балконе квартиры восемнадцатого этажа спасли пожарные. Они выломали дверь и застали там Франциска Бенаму, пытавшегося удрать. Придя в себя, жертва рассказала о насилии, применявшемся к ней кандидатом в меры, хотя здесь и рассказывать было не нужно, все было понятно без слов. Девушка оказалась в списке тех лиц, которых Паскаль Лебонж готовился арестовать по материалам своего расследования. Раньше она несколько раз отказывалась давать показания, имея право не свидетельствовать против себя, но теперь она рассказала все. Ее показания запустили цепочку арестов, под давлением новых улик заговорили и остальные. Бывшему кандидату в меры не осталось никакого другого пути, чем за решетку.

\*\*\*\*\*

Стэфан шел в гору. Иногда ему казалось, что легче было тогда ползти в темноте. Ноги с каждым шагом наливались свинцом, воздуха не хватало, то и дело он поскользнулся на песке и сыпучих камнях, обе руки его были уже ободраны в кровь, когда он, сваливаясь, хватался за что попало, чтобы не покатиться вниз и не разбить себе голову. Он шел по следам неутомимых Уродов, был слабее, менее вынослив, и единственное его преимущество состояло в огромном желании, которого у Уродов, монотонно тянущих телегу, вероятно, не было. Добравшись до вершины, он двинулся вниз, идти было еще труднее, но он шел и через час с небольшим, выйдя на обрыв, увидел далеко внизу телегу, запряженную шестью Уродами. Стэфан подумал, что если бы он сейчас прыгнул и полетел так же, как тогда, когда во главе армии Говнюков несся с холмов, то догнал бы их в минуту. И очень захотелось ему прыгнуть, он даже разбежался уже, набрал в легкие воздуха... но передумал, трезво оценив, что просто убьется о скалы. Не отказываясь от своей идеи в целом, он решил попробовать свою способность летать на более пологом участке, который вскоре представился, и тогда он изо всех сил разбежался и прыгнул вперед. Но не взлетел, а весьма болезненно искололся о кусты и еще прилично треснулся о камни плечом. Вздохнув, он поднялся и подумал, что по крайней мере провел свой эксперимент и не сломал шею, и тут же, когда реальность жизни окончательно вступила в свои права, вытеснив волшебные приключения, ему пришла в голову мысль, что один он может и не одолеть шестерых уродов. Но тут же он услышал сверху звуки шагов и, обернувшись, узнал позади себя в облаке пыли полувзвод мечников, которые догоняли его во главе с учеником Мудреца. И тогда сердце его наполнилось радостью от осознания того, что все произошедшее с ним было правдой, что хоть секунд но он был Героем и теперь знает, что делать дальше.



## Послесловие

У Жульена Бенаму был целый год сложной и кропотливой работы, суды, восстановление разрушенного предприятия, Маша очень помогала ему, а через год вышла за Жульена замуж и родила ему двойню.

Однажды они сидели в старом кабинете деда и, разбирая бумаги, наткнулись на странные записи, сделанные чернилами на какой-то очень старой бумаге, часть из которой была перепачкана коричневыми пятнами. Бумаги были подписаны как «Сказки для Говнюков». И еще там была записка, где дедушка Жульена написал несколько строк, не обращая ни к кому, или обращая ко всем. Жульен прочитал ее сначала про себя, потом еще раз вслух, а потом даже и третий раз прочитал, чтобы лучше понять то, что хотел сказать этими фразами проживший жизнь человек.

«Вместе с жалким и ничтожным существованием порок любезно предоставляет человеку иллюзию удовольствия и символические атрибуты значительности. Чем умнее и предприимчивее зараженный человек, тем крепче и основательней он составит свою иллюзию, тем мощнее подкрепит ее внешними средствами и тем меньше у него надежд на спасение. Счастливы те, которых жизнь силою, опасностями и угрозой смерти выгоняет из лап болезни и возвращает к жизни в мире людей, где есть место настоящему счастью, а горе не бесконечно. Редкий из таких людей хоть иногда не оглядывается назад с вожденной тоской по прежним соблазнам.

Поистине же необыкновенны и достойны уважения те, которые сами способны из царства порока увидеть свет настоящего мира и имеют силы выйти к нему без внешнего понуждения. Возможно, это даже труднее, чем вытащить себя за волосы из болота».

Конец

Приложение.

Сказки для говнюков.

Мудрые «некто».

Зеленый росток, наконец, пробился из земли. Он вылез на белый свет, увидел солнышко и потянулся к нему изо всех сил. Солнышко было такое теплое и ласковое - хотелось тянуться к нему и расти выше и выше. Так и делал росточек до того времени, пока его судьбой не заинтересовались *некто*.

Эти *некто* начали беспокоиться, что росток может начать расти не вверх, а, например, вправо или влево, либо еще, чего доброго, начнет произрастать вниз.

Росточек, действительно рос не совсем прямо, он же не был луковой стрелкой, он был экзотическим, благородным растением и ему по природе было положено немного отклоняться от совершенно прямого направления роста.

Когда он в первый раз немного отклонился вправо, *некто* забеспокоились. «А вдруг он не остановится, а продолжит расти вправо. Из него же получится совершенно кривое растение»? - подумали *некто*, и решили поставить справа от растения крепкую стенку, чтоб он уперся в нее и дальше рос прямо вверх.

Росточек немного удивился, увидев, справа от себя любопытную стеночку. За день до этого ему уже надоело расти вправо, он уже собирался выравняться, но когда он увидел стенку, так захотелось ее потрогать, что еще некоторое время он рос в ее сторону, отложив свои мечты о ласковом и теплом солнышке. Когда он, наконец, дорос до стенки и прикоснулся к ней, она совершенно разочаровала его. Это была шершавая, грубая стена, совсем не привлекательная вблизи и еще, она больно царапалась, пока он выбирался обратно - к солнцу. Солнечного света теперь было немного меньше - ведь одну сторону закрывала стена, но от нее можно было отвернуться, и он радостно тянулся к солнцу, начиная уже забывать о противной, жесткой и колючей встрече.

Он так старался быть подальше от стены, что незаметно для себя забрал влево. Он просто так рос - то влево, то вправо, но получалось все равно вверх, но *некто* этого не знали. Они снова испугались, что их росточек может стать кривым деревом - и построили новую стену, уже слева.

И опять росток больно поранил часть своих стебельков, стало еще меньше солнца, но еще было куда расти, он мог отклониться вперед или назад, чтоб поймать солнце. Так он и делал, но *некто* каждый раз пугались, что он станет кривым деревом и каждый раз строили новую стену в которую он упирался. Когда росток уперся в последнюю стену - он понял, что оказался в колодце. *Некто* радостно думали, что вот теперь то ему будет некуда расти кроме как наверх, и вот теперь-то он станет, наконец, красивым и прямым деревом, гордо несущим свои ветви навстречу солнцу. Но как раз солнца уже почти не было видно. Кругом были шершавые, грязные стены и ему стало тоскливо. Зачем и куда я буду расти, грустно подумал росток и перестал тянуться к солнышку. Его нежные листики начали желтеть, он стал опускаться ниже и ниже. Ему захотелось умереть.

*Некто* сердито подумали, что это строптивное растение хочет упрямо быть кривым и совершенно не хочет быть нормальным. «Оно даже готово умереть от вредности!» - Жаловались *некто* друг-другу, понимающе кивали и цокали языками. А росток сбрасывал свои крошечные листики, все больше желтел, он почти забыл, как выглядит солнце, и ему стало все равно, что будет завтра. Так бы, наверное, он и умер, или превратился бы в недоразвитое жалкое растение, приспособившееся к существованию на дне темного колодца, если бы не одна маленькая девочка. Она давно заметила странное нагромождение из кусков грязного шифера, картона и каких-то палок.

Как-то она заглянула внутрь и увидела там умирающее растение. Девочка не была очень храброй - она боялась, что ломаный шифер может ее поцарапать, а палки могут насажать ей в пальцы заноз, которые мама потом будет вытаскивать жуткой железной иголкой, но оставить росточек просто так умирать она не могла еще больше. Девочка собрала всю свою силу и всю свою храбрость, взяла в руку свою верную игрушечную лопатку для песка и, расшатав, повалила одну за другой все стенки, а потом еще и оттащила их подальше в сторону.

Росточек увидел солнечный свет и не поверил своему счастью! Он сразу вспомнил, что солнце - это именно то, ради чего стоит жить и к чему стоит тянуться. Солнце согрело его, капля за каплей наполнило жизненной силой. Когда через несколько минут, он привык к непривычно яркому свету, и осмотрелся по сторонам, то увидел рядом с собой маленькую девочку, которая стояла в своем красивом сарафанчике с любопытством рассматривала его. Она наклонилась, и своей маленькой ручкой аккуратно погладила один из его листочков. Это прикосновение почему-то наполнило росточек таким ликованием, что его листики начали на глазах зеленеть, он начал тянуть вверх сильнее, сильнее... и быстро вырос в огромное и красивое дерево с раскидистой кроной, сильным стволом и крепкими корнями, в тени которого девочка могла спокойно и безопасно отдыхать или делать все, что ей заблагорассудится.

А *некто* сначала очень удивились, но потом быстро все перепутали, перезабыли и до сих пор всем рассказывают, что дерево выросло таким высоким и красивым из-за того, что они благоразумно и своевременно направили его куда нужно.

12.08.2002.

## Крепость

Люди строили крепость. Они таскали тяжелые камни из глубины горы и год за годом возводили укрытие от злого холодного ветра. Ветер поклялся уничтожить людей и всегда убивал тех, кто выбирался из темных нор и щелей на солнечный свет. На открытом пространстве они были беззащитны перед ветром. Он сбивал с ног, замораживал и не давал дышать. Ветер не мог терпеть беспорядка! Во всем мире должен быть порядок! Все должно было быть равномерно распределено по поверхности в виде песка. Вместо гор, равнин и лесов на земле должна быть красивая ровная пустыня, в которой нет ничего неправильного, ничего выделяющегося. Все, кроме полной пустоты есть беспорядок! Так считал ветер! До пустоты было еще далеко, но все на Земле поддавалось ударам ветра - даже скалистые горы постепенно разрушались и рассыпались в пыль! Для ветра не существовало времени! Он дул, и за столетием проходило тысячелетие, а за ним еще и еще! Облик земли принимал правильные, ровные очертания. Разрушались горы, засыпались моря и реки, гибло все живое.

Но однажды ветер увидел несколько больших камней, на красивом ровном плато возле полуразрушенной горы. Под укрытием этих камней от него прятались жалкие людишки, которые почему-то не хотели обрести вечный покой. Он набросился на это строение, нарушающее гармонию пустоты, и убил много людей, но назавтра камней стало больше, и еще через несколько лет их стало так много, что убивать людей стало трудно.

Старая полуразрушенная ветром Гора наблюдала внутри себя копошащихся людишек. Они вытаскивали из нее камни, надрываясь от непосильной работы. Старой Горе было все равно. Она могла бы быть и кучей песка, ей было совершенно безразлично растащат ли ее по камушкам или оставят, так как она есть. Она находилась в вечном покое. Иногда, полости в горе обсыпались, заваливая людей, но сама гора была здесь не при чем. Ей было все безразлично. Но если бы гора умела удивляться, то удивилась бы их глупым усилиям. Почему бы им не лечь и не обрести покой. Все равно каждый из них рано или поздно умирает в своей жизни, и со временем, превращается в камень! Так зачем такие страдания? Но даже спросить этого у людей гора не хотела. Ей было все равно!

Мы - люди держащие кровлю! Мы подпираем ее бревнами, а иногда нам приходится держать ее на своих плечах. Если случается обвал - мы выходим из горы последними. То есть... почти никогда не выходим. Наша задача - дать возможность работать другим, которые выкорчевывают и таскают камни. Камни для нашей крепости. Мы можем погибнуть здесь, и каждый из нас готов к этому! Жалко умирать, но об этом некогда думать. Наши предки начали строить эту крепость, им было еще тяжелее, чем нам. Они передали нам свое дело, оно - наша надежда на спасение. И мы держим кровлю! И будем держать до конца!

Мы - таскаем куски горы для нашей крепости. Этот огромный камень, его, кажется, невозможно оторвать от его матери - горы. Но нам нужен именно такой, чтоб подпереть стену, уже расшатанную бешеным ветром. Наши пальцы белеют от напряжения, кажется, наша работа выше человеческих сил. Но мы сделаем это! Потому, что делали уже не раз и не два! Мы оторвем этот камень от безмолвной горы, и он станет частью нашего дома. Уже много лет мы делаем эту работу. Нас много, и мы строим нашу крепость. Нашу защиту от ветра. Ее начали строить наши предки, и закончат наши потомки. Мы, своей маленькой жизнью приблизим цель хотя бы на шаг.

Каждый из нас в любую минуту готов умереть, гора и ветер каждый день забирают наши жизни. Но тысячи других, не останавливаясь, продолжают вытаскивать камни из горы и возводить стены, за которыми будет жизнь для всех! Мы чувствуем гордость! Это гордость за себя, за каждого из своих товарищей, живых или погибших, за наше дело!

Я - крепость людей. Я состою из кусков камня, по сути, из той же самой горы. Но я - уже не гора. В моей жизни есть смысл - я защищаю людей от жестокого ветра. Я нужна им. Я пережила много человеческих поколений, и вижу, с какой яростью ветер пытается убить их и разрушить меня. Но мы стоим. И я, и они. Я просто делаю свое дело - стою против ветра. Я даже не могу сама стать крепче или слабее. Только люди могут меня укрепить, только они дают мне силу защитить их. Я с ними и они со мной, мы вместе - и в этом наша стойкость!

Ветер не мог одолеть людей один, иногда он призывал на помощь своего сына - Снега. Много раз он обращался к Снегу, но каждый раз это был новый Снег, новый сын ветра. Старый, вчерашний сын никогда не возвращался к своему отцу. Он всегда погибал. Таял, превращаясь в воду и поил ненавистных людишек, давал жизнь их жалким растениям. Ни один Снег

не мог устоять перед силой человеческого тепла. Но прежде чем растаять, каждый снег уносил много жизни. Больше, чем просто ветер. Он пронизывал людей своими колючими иголками, и они быстрее замерзали до смерти. Ветру не было жалко погибших сыновей, он не знал жалости, как не знал никаких чувств. Это был холодный и вечный ветер. Он сказал своему сыну только пять слов: «Лети и убей их, сынок». «Да, папочка!», - ответил молодой снег. Сын мечтал заслужить любовь отца и был готов убивать. Он не знал, что мечтам его невозможно сбыться. Ветер не мог любить никого, даже самого себя. Ему просто нравился порядок.

Снег яростно набросился на людей, как сотни предыдущих снегов, стал кружить, сбивать людей с пути, забиваться в глаза, заносить тропинки и дороги. Ему казалось, что вот-вот папочка его похвалит, но ветер уже забыл о нем и... огорченный снег растаял, дав людям воду, так нужную для продолжения их жизни.

Мой мужчина там - в горе, а я - его женщина! Я обхватила руками наших детей - сына и дочку и стараюсь не дать им замерзнуть. Ветер дует всегда, мы научились жить, презирая его, но сегодня добавился колючий снег. Многим суждено умереть. Пока мы держимся. Стена защищает нас. Если она устоит, мы останемся живы. Если упадет, я закрою детей своим телом, и до тех пор, пока я буду жить, ветер и снег не получат их! Мы не привыкли к жалости. Мой муж каждый день может погибнуть в горе или замерзнуть на пути к дому. Все что он делает, он делает ради нас. Мы знаем это и гордимся им. Он - наша надежда, а наши дети - его продолжение. Мой сын, так же как и его отец будет строить крепость, а моя дочь, родит тех, кто продолжит наш род. «Мы ждем тебя, любимый! Мы знаем, ты сделаешь все, чтобы спасти нас. Мы верим в тебя. Ты сильный и умный. Это знают все. И только я одна знаю, что ты еще и самый ласковый и самый нежный. Я очень люблю тебя, дорогой! Мыждемся...!»

Я камень, уже тысячу лет лежащий в горе. Я часть горы, но меня отрывают от моего ложа и пытаются, надрываясь тащить какие-то жалкие людишки. Чего им надо от меня? Как глупы и тщетны их усилия! Им никогда не сдвинуть меня с моего законного места. Они даже не понимают меня! За те несколько жалких десятков лет, которые отпущены им в качестве «жизни», невозможно изучить древний язык вселенной! Варвары! Ложитесь рядом и обретете покой. Каждый из вас, как и я станет спокойным и мудрым камнем! Остановитесь! Дикари и глупцы! В мире нет ничего лучше покоя...!

- Эй, ты, глыба, перестань попусту отвлекать нас своей болтовней!

- Он, кажется, услышал меня! Он ответил мне?!... Чего он на меня уставился?! Я камень, но от этого взгляда мне немного не по себе...

- Я понимаю твой язык, камень, но у меня нет времени на разговоры с тобой, я не собираюсь уговаривать каждый кусок бездушной горы. Мы вытащим тебя, как бы ты не сопротивлялся, и посмотрим, что ты будешь говорить, когда станешь частью нашей крепости! Мы будем жить вопреки ветру, и пускай он захлебнется своей злобой! Придет время, когда он не сможет убить никого из нас. Мы просто перестанем его замечать! Возможно, наши потомки найдут в его завываниях нечто поэтическое. Но это будет уже после нашей победы!

20.06.2006 г.